

# НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

# THE NEW REVIEW Новый Журнал

---

*Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942*

*С 1946 по 1959 редактор М. Карпович*

*С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев*

*С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль*

*С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)*

*Г. Андреев, Л. Ржевский*

*1976 – 1981 редактор Роман Гуль*

*1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),*

*Е. Магеровский*

*1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),*

*Ю. Кашкарров, Е. Магеровский*

*1986 – 1990 Редакционная коллегия*

*1990 – 1994 редактор Юрий Кашкарров*

*1994 – 2005 редактор Вадим Крейд*

Семьдесят девятый год издания

**Главный редактор – Марина Адамович**

*Редакционная коллегия:*

Марина Гарбер, Елена Дубровина, Мария Рубинс, Владимир фон Цуриков.

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская

Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рудольф Фурман

The New Review, Inc.:

T. Bobrinskoy; T. Chebotareva; G. Glinka; M. Jordan; P. Khlebnikov;  
V.Kreyd; G. Mesniaeff; A. Neratoff; I. Sikorsky; P. Tcherepnine; V. von  
Tsurikov; L. Vulfina, Y. Vulfin, M. Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 302, март 2021

© 2021 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» он-лайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly  
by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y.  
10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No.  
596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review,  
1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Сергей Захаров</i> – Аккуратно застеленный эшафот. Повесть ..... | 5   |
| <i>Владимир Батиев</i> – 1948. Роман .....                          | 36  |
| <i>Валерий Скобло</i> – Стихи .....                                 | 115 |
| <i>Сергей Шабалин</i> – Стихи .....                                 | 120 |
| <i>Александр Самарцев</i> – Из книги «Клинч». Стихи .....           | 124 |
| <i>Катя Капович</i> – Два рассказа .....                            | 130 |
| <i>Илья Журбинский</i> – Между миражами. Стихи .....                | 142 |
| <i>Сергей Попов</i> – Отпуск без сохранения .....                   | 145 |
| <i>Александр Беляев</i> – У промежуточной рябины. Стихи .....       | 169 |
| <i>Михаил Моргулис</i> – Рассказы .....                             | 173 |
| <i>Геннадий Кацов</i> – Стихи .....                                 | 179 |
| <i>Александр Немировский</i> – Стихи .....                          | 184 |
| <i>Каринэ Арутюнова</i> – Счастливые формы жизни. Рассказы .....    | 191 |
| <i>Александр Вейцман</i> – Стихи .....                              | 208 |
| <i>Эдуард Хвиловский</i> – Стихи .....                              | 212 |

## ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Письма К. Бальмонта А. Кусикову. Из архива В. Ф. Маркова<br>(Публ. – Ж. Шерон) .....                             | 216 |
| <i>Лариса Вульфина</i> – «Глобусные человечки». Переписка<br>А. Ремизова и Н. Кодрянской с Ф. Рожанковским ..... | 223 |
| Из семейного архива Федора Рожанковского<br>(Публ. – Л. Вульфина) .....                                          | 231 |

## КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА. ИСТОРИЯ

|                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Елена Кулен</i> – Иван Елагин. Материалы к биографии. Часть 3 .....                                                                                 | 239 |
| <i>Ренэ Герра</i> – К столетию Великого исхода.<br>К 150-летию со дня рождения И. А. Бунина.<br>Скитания русской души. К 140-летию Бориса Зайцева .... | 280 |
| <i>Георгий Велев</i> – По страницам романа «Братья Карамазовы» .....                                                                                   | 300 |
| <i>Юрий Иваск</i> – Иосиф Бродский: первые зарубежные книги.<br>К 25-летию со дня смерти поэта. (Со страниц НЖ) .....                                  | 310 |
| <i>А. Г. Ранская</i> – «Конек-Горбунук». Издание лагеря ДиПи Келлерберг .....                                                                          | 320 |
| <i>Елена Колмовская</i> – Военные мемуары белой эмиграции<br>как часть историко-культурного наследия .....                                             | 327 |

## ОЧЕРКИ. ЗАМЕТКИ

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Н. А. Ёхина, Т. А Сидорова</i> – Семья В. Н. Ипатьева:<br>неизвестные страницы биографий ..... | 348 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## ПАМЯТИ УШЕДШИХ

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Л. Оболенская-Флам</i> – Г. С. Туник-Роснянская. 1931–2021 ..... | 365 |
| <i>М. Адамович</i> – С. Л. Голлербах. 1923–2021 .....               | 369 |
| ОБ АВТОРАХ .....                                                    | 375 |

# ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Сергей Захаров

## Аккуратно застеленный эшафот\*

Случаются порой в жизни вещи, которым объяснения нет. Вот, скажем, два человека, мужчина и женщина, остановились переночевать в придорожном мотеле. Заведение, честно сказать, было так себе, они предпочли бы разориться на кусачую сумму и снять что-нибудь поприличнее – в три, а то и четыре честных звезды, – если бы в округе на ближайшие сто километров нашлось, что снимать. Мотель был единственным, как шест среди пустыни, и был, как уже сказано, так себе. Однако ужин неожиданно оказался хорош, а рыба – и вовсе восхитительна.

Отужинав, они приняли душ, вскипятили в малом походном электрочайнике воду, растворили кофе, прихватили сигареты и отправились на террасу – любоваться закатом. Вернувшись, они занялись сексом и после, с различными вариациями, проделывали это еще дважды. В том тоже ничего странного не было – оба находились в хорошей физической форме, знали друг друга всего три года и лишь год из этих трех жили на общей территории, то есть засыпали и просыпались в одной постели.

После жаркой, но не лишенной изящества постельной возни они выкурили еще по сигаретке и, снова оказавшись в кровати, уснули – оба и враз, как будто два одинаковых камешка с одним на двоих всплеском ушли в темную воду. Они вообще производили впечатление отлично синхронизированной пары. Даже сопение их – ровное сопение крепко и покойно спящих людей – звучало в унисон. Женщина была красива, мужчина – рыж: большего в куцем энерго-сберегающем свете ночника разглядеть, собственно, было нельзя.

Утром мужчина проснулся первым, как это бывало всегда. Он аккуратно снял со своей огненно-волосой груди тонкую крепкую руку женщины и, стараясь поменьше скрипеть рассохшимися досками паркета, выкрался на террасу курить.

С реки, большой и совсем близкой, наносило туман и прохладу. От стоянки дальнбойщиков летел глуховатый звук разогреваемого мотора, но не мог заглушить журчание сильной воды. Над самым ухом,

---

\* Лауреат Премии им. Марка Алданова, 2020.

невидимый в зябкой туманной вате, защелкал клювом аист, приветствуя самку. Мужчина курил и улыбался верному течению жизни. Скоро Таня проснется. Чуть позже они спустятся вниз, позавтракают, уложат вещи, отдадут на рецепции ключи – и поедут дальше меж серых холмов со срезанными верхушками.

Когда он воротился в комнату, тихонько задвинув дверь, женщины в постели не было – только что, должно быть, встала и теперь в ванной.

Он прилег, ощущая спиной тепло ее недавнего тела, и улыбнулся. Как странно, странно, сказал он себе – мы никогда не давали друг другу никаких обещаний, не говорили высоких слов и ни в чем не клялись, – может быть потому, что нам давно не семнадцать. Может быть... не знаю. Но вот что я знаю наверное: с клятвами или без, я готов ехать с этой женщиной хоть целую жизнь – меж серых холмов со срезанными верхушками. Холмы, впрочем, не навсегда; я знаю, мы уже однажды ездили этой дорогой. За холмами будут медные горы, между гор – ущелье, отвесней и уже которого мне не доводилось видеть в жизни, а потом мы снова выкатимся на равнину и к вечеру попадем в Толедо. Можно бы добраться туда и быстрее, по скоростной дороге в объезд, – но мы не любим спешить. Зачем спешить, когда ты в отпуске и тебе хорошо? Мне хорошо. Нам хорошо. Замечательно даже – если быть точным.

Женщина не возвращалась. Прошло уж, верно, минут десять, не меньше. Мужчина слегка нахмурился – самую малость.

Да, вот еще что, сказал он себе: когда я вернулся в комнату и увидел постель пустой, я начал было думать о чем-то, но бросил на середине, потому что думать мне было лень. Или потому, что думать об этом было неприятно? Ведь это случилось сейчас, только что, и, пока она в ванной, я вспомню и додумаю до конца – иначе буду мучиться целый день. Так бывает, когда забудешь вдруг фамилию прекрасно известного тебе актера – и места не находишь, пока не извлечешь ее из памяти. Ну ладно, не буду отвлекаться. Так что же это было?..

Ага, вот: когда я вернулся в комнату и увидел постель пустой, на краткий миг мне сделалось страшно. И не просто страшно, а предсмертно, мучительно страшно: когда кажется, что небо внезапно отяжелело и рухнуло на тебя всей своей немыслимой массой, сплющив и вдавив в жесткое мясо земли. Так бывает. Вся штука в том, что каждый из нас носит в себе свое внутреннее небо, а если оно по каким-то причинам перестает быть – наружное тут же принимается давить смертным прессом и задавит, в конце концов, – не сомневайся.

Как раз это со мной и произошло: при виде пустой постели я представил на миг, на малую его долю, что Таня ушла из моей жизни

навсегда, — и внутреннее мое небо мгновенно испарилось от одной только мысли об этом. Выходит, Таня — небо внутри меня. Как-то незаметно и исподволь она стала моим внутренним небом, а я и не задумывался об этом. Ну, тут-то как раз понятно: я и вообще не люблю усложнять жизнь ненужными размышлениями. Нам просто хорошо вдвоем, вот и вся недолга, — о чем и зачем тут ломать голову?

Женщина, между тем, не возвращалась.

Прошло уже двадцать, никак не менее, минут, а может, и все полчаса, — и он несколько встревожился. Ей давно пора бы выйти из этой самой ванной. Он наострил ухо, ожидая услышать шум льющейся воды — тщетно. Можно бы, конечно, предположить, что она застряла на унитазе: но пищеварение у нее отменное, своей способностью переваривать даже гвозди она гордилась и гордится по праву, так что этот вариант он отмел, за полной несостоятельностью, сразу. Еще... Еще она могла бы, положим, наводить красоту — но косметичка осталась лежать на столе: он, приподняв голову, хорошо видел ее упитанную бордовую тушку.

— Таня, — позвал он, и после еще раз, громче: — Таня!

Ответная тишина совсем ему не понравилась. Среди явлений малообъяснимых встречается такое, как чутье, — правда, не у всех людей, а лишь у тех, кому пришлось однажды жить с обостренными до сотой доли микрона чувствами, — потому что от этой остроты зависело само их существование. Если жить так достаточно долго, чувства обратятся в чутье, а оно, явившись однажды, останется с тобой навсегда. У него чутье было — и сейчас недвусмысленно давало о себе знать. Черт... Черт! Он быстро вскочил и вышел за три шага в узковатую прихожую: дверь в ванную была приоткрыта, и свет там не горел.

Теперь он испугался по-настоящему. На полу душевой кабинки не было воды, и на раковине умывальника — тоже. Он вгляделся попристальней в фаянс — ни капли, ни малого волоска. Похоже, она вообще не заходила сюда. Он вернулся в комнату — вся одежда ее, включая нижнее белье, была на полу и стуле. Он щелкнул замком и выглянул в наружный коридор, сам понимая, насколько это глупо: вряд ли она, даже при некоторой свойственной ей эксцентричности, ушла бы разгуливать в чем мать родила. Исследовал платяной шкаф и нырнул под кровать, и еще раз проверил ванную, и выскочил на террасу — в надежде смутной, что он, размышляя, незаметно на пяток минут уснул, и Таня, прошмыгнув тихонько мимо, сейчас курит под шум реки и выискивает новости в телефоне, и нашла, и зависла — но знал наперед, что это невозможно.

Вернувшись, он сел на кровать, почувствовав, что задыхается.



Наружное небо навалилось, подмяло тяжелым зверем и раскатало легкие в блин. Но просто так сидеть и задыхаться нельзя. Сейчас он спустится к стойке регистрации и попытается узнать, не видели ли ее там.

Набросив футболку, сунув в задний карман джинсов карточку-ключ, он потянул на себя входную дверь и, цепenea от непонятности – ткнулся горячечным лбом в сплошную холодную стену. Стена начиналась сразу же за проемом двери, отсекая номер от общего коридора напрочь. Мутновато-прозрачная, на ощупь она напомнила ему плексиглас. Он поклясться готов был, что две минуты назад никакой стены не было и в помине. Он коротко ругнулся, начиная впадать в отчаяние. Что же это происходит такое?

Ни оттолкнуть, ни сдвинуть стену было нельзя, а когда он ударил в нее рукой, а после еще и ногой наподдал, ожидаемо и пребольно ушибив большой палец, – стена не шелохнулась и не ответила даже малой вибрацией, поглотив звук и импульс удара без следа. Основательная конструкция. Монолит. Застонав в голос, он метнулся к выходу на террасу, но и там обнаружил ровно то же самое – сплошную мутноватую стену. «Замуровали, демоны!» – как всегда в критической ситуации, на ум побежали цитаты из просмотренных в юности фильмов, но смеяться желания не было.

Этого не может быть, этого не может быть... – напевал бессмысленно он, загнанно кружа в малом пространстве номера и лихорадочно перебрасывая глаза с предмета на предмет. Еще раз пять он сбежал к балкону и к входной двери, чтобы убедиться в том, что монолитные стены на своем неожиданном месте, – убеждался. Пробовал кричать, петь в голос и ругаться злым матом – не помогало.

Внезапно устав и выдохшись, он прилег на кровать и, глядя в потолок, принялся перебирать обстоятельства своей жизни, чтобы хоть чем-то занять враз отупевший от происходящего мозг.

\* \* \*

А женщина... Женщина сквозь сон слышала, что мужчина проснулся, чувствовала тепло его суховатой и жесткой руки, когда он выбирался из постели, и знала, что сейчас, стараясь не шуметь и, конечно же, наделав массу невообразимого шума, задев вечными углами своего твердого тела всё, чего задеть нельзя, он сходу отправится курить. За ночь он всегда успевал истоскаться по сигаретам больше, чем она. Ее всегда возмущало, как он может курить без кофе, – в особеннности, если это первая сигарета за день. Еще ей не нравилось, что, делая кофе или чай для себя, он всегда наливает чашку ровно на две трети – и не более.

– Нельзя так – жизнь неполная будет! – каждый раз упрекала его

она, и всегда он безропотно доливал чашку доверху. Да, он легко мирился с ее суевериями, хотя в следующий раз всё повторялось снова.

Жизнь, между тем, назвать «неполной» было нельзя – их совместную жизнь. Потянувшись как следует, она улыbnулась: вспомнилось отчего-то, как они познакомились.

...Три года назад погожим зимним вечером в ее магазинчик на улице Прованс, торгующий венецианскими масками, вступил один человек. Он действительно был один-одинешенек и, к тому же, рыж, как взбесившийся апельсин. В несколько более темном, но всё одно – огненном руне его холеной бородки проблескивало там и здесь редкое холодное серебро, добавлявшее ему солидности. На вид она дала бы ему лет тридцать семь, как впоследствии в точности и оказалось.

Попутно она отметила, что шарф его повязан с претензией, а туфли хороши, как у адвоката. С широкого лица на нее взирали два восторженных небесно-голубых глаза, разделенные мощным носовым кряжем. Глаза она сходила и по совершенно необъяснимой причине определила как «тамбовские», хотя, надо признать, всё же дала здесь маху. На деле глаза, вместе с самим «владельцем», оказались из Тулы. Тогда, впрочем, это имело второстепенное значение – настолько заворожил ее воинственный рыжий цвет волос посетителя.

– Здравствуйте! – не сказал, а именно выпалил человек, нервничая ногами и свалив невзначай тяжеленную вазу для зонтов. По неуклюжести его и излишней горячности она сходила поняла, что человек донельзя взволнован. Собственно, она поняла это с первой секунды, а теперь убедилась окончательно. Он рассыпался в извинениях, бросился поднимать тяжелую емкость, ударив при этом локтем в толстое стекло витрины, выпрямился снова и выстрелил следующей фразой:

– Дайте маску чумного доктора!

Вместо того, чтобы ответить по существу, она, всё еще под гипнотическим воздействием его рыжего обаяния, полутвердительно спросила:

– Но вы же, надеюсь, не станете утверждать, что это ваш натуральный цвет? Не станете? Умоляю, скажите! – Она даже руки сложила просяще на груди, хотя до того ни разу в жизни такой гадости себе не позволяла, – на что человек, внезапно утратив робость, подбоченясь до степеней наполеоновских, отвечал с естественным пафосом:

– Да, это мой родной цвет. Тот самый цвет, которым меня наделила природа, а еще – отец мой и мать!

Он беззастенчиво врал, как частенько делал это и впоследствии. Натуральный его цвет был несколько менее агрессивен и в точности соответствовал цвету бороды.

– Так что там с маской? – переспросил он: – Евгений. Евгений.

– Какой Евгений? – не поняла она и даже обернулась в поисках неизвестного Евгения.

– Я – Евгений, – пояснил, улыбнувшись, человек. Когда он улыбался, нос его делался еще шире, а глаза, напротив, обращались в самые китайские щелки – и всё потому, что улыбался он широко, и маленький скол на правом клыке ничуть его улыбки не портил.

«Какой нелепый, какой удивительный и нелепый этот Евгений!» – подумалось смятенно ей, и сделалось вдруг жарко, тревожно и хорошо – без всякой видимой причины.

– Таня, – сказала она. – Татьяна. Васильевна. Маску чумного доктора мы вам подберем.

Так они стали знакомы – ровно три года назад...

Мужчина, между тем, не шел обратно, и постель, хранившая тепло его тела, уже успела остыть. Несколько странно, сказала себе она: всегда эта его первая сигарета очень быстра, а после, вернувшись, он кипятит чайник, попутно громыхая чем ни попадая, но уже не по врожденной неуклюжести, а намеренно – чтобы к тому времени, когда кофе будет готов, она окончательно поняла: больше поспать не удастся. Порой она здорово злилась на него за этот естественный, как дыхание, эгоизм: проснулся сам – значит, никому теперь сна не будет.

Да, удивительно, сказала себе она: кажется, он сплошь состоит из качеств, привычек и наклонностей, которые раздражают ее в других людях неимоверно. Он решительно противоречит всем ее представлениям о спутнике жизни, с которым она могла бы связать оставшуюся судьбу, – если бы вообще имела хоть малейшее желание эту судьбу с кем-либо связывать, обжегшись многократно на предыдущих союзах. А он... Забывчив, необязателен, эгоистичен. Любит прихвастнуть и приврать, и, привирая, тоже хвастает.

Тусовщик, гедонист, ловелас, прожигатель жизни, ярый противник моральных устоев – во всяком случае, до встречи с ней. Опять же: моложе на целых полтора десятка лет – а ведь до него она никогда и никак мужчин младше себя в качестве возможных «своих» не воспринимала. Вдобавок, вопиюще рыж, и это при том, что стойкое предубеждение против рыжих вбила ей в далекой юности еще мать, категорически и не раз повторявшая: «Бойся рыжих и лысых, дочка: и те, и другие – сволочи!» Но при всем при том, нужно признать: она счастлива с этим рыжим и уже начавшим исподволь лысеть

«юнцом» — счастлива так, как никогда и ни с каким другим мужчиной не была счастлива в жизни.

Мужчина не шел, и она подумала, что кофе, похоже, придется делать самой. Сбросив одеяло, она легко вышла из постели и выяснилось, что ночник не соврал: женщина действительно была красива. К тем, кому слегка за пятьдесят, неподкупный дневной свет бывает ласков лишь в единственном случае: если они жестоким, а порой и мучительным, образом постоянно работают над собой. Женщина именно так и «работала» — и не углядел бы это только ленивый.

Спорт для нее и вообще долгое время являлся источником дохода, а после, когда с профессиональной карьерой в гандболе было покончено, осталась насущная потребность тела в привычных физических нагрузках, — и она старалась, как могла, эту потребность удовлетворять. Результат бросался в глаза, и большинство двадцатилетних девиц охотно выстроились бы в очередь за такой фигурой, как у нее.

Что до морщин, размера груди и прочих существенных аспектов женской внешности — существовали проверенные косметологи и пластические хирурги в Венгрии, услугами которых она периодически пользовалась, но не злоупотребляла. Так было и до рыжего, застрявшего сейчас на террасе, — и хорошо, что так: сейчас ей не нужно было краснеть за себя, когда их видели вместе.

Женщина еще раз потянулась. Потянувшись, посмотрелась в стенное зеркало — и осталась довольна собой. Большая темная татуировка в виде розы целиком закрывала ее правую коленку, наполняя лепестками на ногу сверху и снизу сустава.

— Жень! — позвала она, и еще раз, громче: — Жень!

Заснул он там, что ли, подумала она, и, забыв одеться, выглянула на террасу.

Терраса, к ее искреннему и глубокому изумлению, была совершенно пуста.

А дальше... Вздумай мы описывать дальнейший хаос ее действий в деталях — вышла бы точь в точь история, рассказанная нами о ее спутнике только что. Люди и вообще очень похожи: сказывается принадлежность к одному виду. Что до людей друг другу совсем не чужих, зачастую они и вовсе напоминают раздвоившуюся сущность одного единственного человека. Они одинаково мыслят, одинаково говорят и до смешного одинаково действуют в аналогичных ситуациях.

Дальше — были метания в пресловутую ванную и заглядывания в шкаф и под кровать; было безграничное удивление по поводу глухих и основательных стен, возросших в одночасье из ниоткуда и наглухо закупоривших ее в малом пространстве номера; был ярост-

ный пинок в одну из них, и ссаженный до крови большой палец, разве что не на левой, а на правой ноге...

\* \* \*

Всякий человек, если запереть его в клетке и оставить наедине с собой, неизбежно обратится к единственно доступному занятию: воспоминаниям. Мужчина, мгновенно уставший, ошарашенный, лежал, глядел в потолок и механически прокручивал в голове кадры фильма категории «Б» – на большее его ничем не выдающаяся жизнь не тянула.

Возможно, и даже наверняка, для кого-то детство, юность и то, что вслед за ними, – самая счастливая пора. Уверен, что таких людей много, но я не отношусь к их числу. Я не люблю ни свое детство, ни юность, ни то, что было потом. Если твой отец пьет, а потом начинает «торчать», а мать не в состоянии что-либо с этим поделать, кроме как смириться и терпеть, – вряд ли ты будешь вспоминать о детстве с ностальгией и слезами умиления на глазах. Поэтому я никогда и не вспоминаю – о своем гребаном детстве. Может быть потому, что помню его слишком хорошо?

Ведь помню же? Помню! – Помню в деталях и целиком, как если бы это было вчера. И маму хорошо помню: сразу – бессловесной, после – дерганой и злой, а потом и пьющей на пару с отцом или с кем угодно, – правда, к наркоте она так и не пристрастилась. Зато отец на этой гиблой тропе не знал себе равных. Из-за наркоты лишился и главного своего достояния – рук. Руками он зарабатывал на жизнь – был печником, как говорили, от Бога; ездил с подмастерьем по глухим и клал людям такие печи, что слава об этих печах бежала далеко впереди него, а люди выстаивались с заказами в очередь.

Дар редкий, профессия востребованная, заработки – только завидовать. Работа разъездная, забирались порой и на самый край области, чтобы вернуться в город только через три-четыре дня. Из одного такого «печного» вояжа рыжий печник захватил в город и невесту, такую же рыжую, как сам, крепкую семнадцатилетнюю девку, и, вроде, всё поначалу в новой семье ставилось складом и ладом, как лучшая из его печей, – куда только ушло? Во всяком случае, когда он, рыжий отпрыск рыжих родителей, подросток настолько, чтобы помнить и соображать, – бывшее счастье шло дымом из всех щелей.

Окончательную точку невозврата определил сам отец, когда убёг на ночь глядя в цыганский поселок за дозой – как был, в тапках на босу ногу и тренировочных штанах, – это в тридцать-то зимних градусов! – а нашли его далеко на трассе, замерзшим почти до смерти, но зачем-то живым.

Нос отошел, а половину пальцев на ногах пришлось ампутировать. И самое страшное и непоправимое – все десять пальцев на руках, все, до единого. Кончился знаменитый печник – как и не было. Ему, рыжему «Жеке», как звала его мать, шел тогда восьмой, что ли, год... Отец, запомнилось, плакал, черный и седой от сотворенного собою же глупого горя, просил у них прощения, умолял мать не бросать его, безмозглого калеку, божился, что покончено со всякой отравой на всю жизнь... А окрепнув, ушел в крутую нирвану пуще прежнего, нырнул туда с остатками белой головы. Правда, денег теперь не было, и он распродал всё еще имевшееся в квартире добро, а драть-ся и культями наладился не хуже прежнего. Он и квартиру продал бы, и быстро спившуюся мать отправил бы на панель, если бы не Сергей Максимович Катин, или «Батя» – как звали его все пацаны поголовно.

Вот дела, изумился он, – а ведь правда! Первый человек, о котором я могу сказать и вспомнить что-то хорошее, – Батя. Официально – бизнесмен, владелец нескольких предприятий; для милиции – «Серж», крупнейший криминальный авторитет в регионе; для прессы – теневой хозяин города, для конкурентов – смертельный ночной кошмар; а для таких вот пацанов из неблагополучных семей, как маленький рыжий Жека, – именно Батя и есть тот человек, за которым каждый из них готов пойти в огонь и воду.

Два детских дома в городе выживали только благодаря его поддержке. На острове «Соболиный» в двадцати километрах от города Батя основал летний оздоровительный лагерь, где пацаны жили, занимались спортом, изучали оружие и основы военного дела – в общем, вели здоровый и правильный, по мнению Бати, образ жизни. «Наша маленькая Сицилия» – так называл остров Батя.

Воспитателями и инструкторами на острове работали люди суровые: профессиональные военные и спортсмены, прошедшие в свое время школу тюрьмы, – однако дело своё знавшие отменно. Именно там он, сын безрукого печника, пристрастился к вольной борьбе и узнал, что самое главное в жизни – это верность, мужество, честь и взаимовыручка. А самое плохое – предательство и трусость. Подлецам, предателям и трусам в нормальном коллективе места нет, а наказание за такое должно быть только одно – смерть. Так учили суровые преподаватели – и он, черт побери, запомнил это! Запомнил, потому что слова эти проносились людьми Бати – человека, которого все они боготворили.

Батины люди подбирали сбежавших из дома пацанов на вокзалах, рынках и в теплотрассах, выясняли адрес, ехали незамедлительно туда и проводили с негодными родителями душевные беседы, после которых те и в самом деле брались за ум, хотя бы на время, – потому

что не внять рекомендациям серьезных гостей было нельзя. Так было и с ним, рыжим: однажды, не выдержав домашнего алкогольно-наркотического ада, он два месяца жил на голодной чумазой свободе и если всё же вернулся домой – то потому лишь, что в его присутствии струхнувший до заикания отец клятвенно пообещал доставившим беглеца на дом эмиссарам Бати, что завяжет со всякой отравой навсегда и свято будет блюсти родительские обязанности, – и с полгода «блюл», это точно.

– В моем городе беспризорников не будет, – любил повторять Батя, – и уличной преступности тоже.

«Мой город» – он всегда называл город своим, и оспаривать это желающих долгое время не находилось. И на остров, на их «маленькую Сицилию», он приезжал отцом и хозяином, на двух катерах, забитых под завязку подарками. Каждого приезда его ждали с замиранием сердца и о каждом вспоминали потом с восторгом и придыханием. Дисциплина на острове была сугубо военной, а Батя являлся всякий раз нараспашку, нашироке и навеселе; Батя оделял дарами и жил с ними, случалось, по несколько дней; Батя находил время побеседовать с каждым по отдельности и со всеми вместе, вникал во все их дела и разбирал все обиды, выполняя роль справедливого третейского судьи... Одно слово – Батя!

Эдакий криминальный Мичурин, он выдирали их, отщепенцев, из каменистой почвы беспризорья и семейной неустроенности, пересаживал в свой собственный сад, поливал, прививал, окучивал, защищал от сорняков, и вообще – холил и лелеял, как дорогие его сердцу растения. Когда приходила пора, особенно толковых он отправлял учиться на бухгалтеров, юристов, программистов, чтобы всюду после иметь грамотных и преданных ему безгранично людей. Он помнил их всех – сотни и сотни неприкаянных мальчиков – по судьбе и по имени, как помнил Юлий Цезарь каждого из своих солдат. Да они, эти мальчики, возросшие под его чутким руководством, и становились солдатами Бати, готовыми каждому из его врагов перегрызть глотку нараз.

А когда его, рыжего и восемнадцатилетнего, призвали вернуть воинский долг родине, – кто, как не Батя, организовал доставку его неверных родителей на присягу, да и после не забывал тоже?.. Служил он в танковых войсках, почему к нему напрочь приклеилась кличка «Танкист». И после армии его не забывали – да еще как!

– С танком, значит, справлялся, а с «кружаком», интересно, справишься? – спросил его, смеясь и пожимая руку, Сергей Максимыч, когда он дембельнулся и с вокзала направился к нему: поблагодарить за помощь.

Так он сделался личным водителем Бати. Сергей Максимыч к тому времени то и дело болел, обрюзг и постоянно находился в легком подпитии, однако руку на пульсе держал по-прежнему твердо, продолжая выстраивать в городе и области свой порядок. Он материально поддерживал пенсионеров, с прежним азартом возился с пацанвой на своей «маленькой Сицилии», а нежелающих идти под его крыло бизнесменов находили с простреленными глупыми головами у подъездов их домов. Сам Батя охрану вокруг себя не держал, полагая, что ему-то она уж точно ни к чему: кто в его собственном городе-государстве осмелится на него даже твякнуть? Однако нашлись, нашлись...

Как-то вечером, уже в сумерках, он подкинул Батю к его городской квартире, заглушил мотор и слушал указания относительно завтрашнего дня, когда уловил вдруг краем глаза неправильное движение справа, и тут же треснуло оглушительно раз и другой, время внезапно встало, и, казалось ему, он даже слышит звук, с каким пули сверлят дыры в стекле, хотя быть того не могло, а после хлопнуло еще два раза, ткнув его самого тупым и горячим в предплечье и бок, и сквозь переднее стекло он видел, как щуплая фигурка убийцы (почти ребенка, показалось ему) бежит, выхляясь, к арке двора.

Скорее инстинктивно, чем сознательно, он вдавил педаль «в полик», заставляя тяжелую машину чуть ли не подпрыгнуть, и настиг, так получилось, щуплого прямо в арочном проеме – настиг, крутнул руль, зацепив его правым крылом, и, не останавливаясь, помчал напрямик к областной больнице – благо, ехать там было полторы минуты. Домчал, заглушил мотор у приемного покоя, побежал, шатаясь, чувствуя живое, теплое и мокрое в рукаве, на свет, а когда увидел людей в белых халатах – отключился враз и почти с наслаждением.

Позже выяснилось, что его реакция и инстинкт спасли жизнь и Бате, и, не исключено, ему самому. Батю оперировали двенадцать часов, собирая по фрагментам раскрошенную нижнюю половину лица, и потом еще были операции и операции, так что на ноги Максимыч встал только через три месяца, а полноценно пользоваться развороченным речедвигательным аппаратом не смог уже никогда. У него, Танкиста, извлекли тупую макаровскую пулю из предплечья, еще одна чиркнула по кости, прошла через мягкие ткани руки навывлет и застряла в ребре, – оклемался он, тем не менее, быстро и вышел героем из тщательно теперь охраняемой бойцами Бати больницы. Вот только радости особой от этого «геройства» не было. Что-то во всем происходящем начало казаться ему глубоко неправильным; вот



только – что именно, определить он, как ни старался, не мог, и оттого мучился еще более.

– Слышь, Танкист, – позвонив, сказал ему вскоре после того Сашка «Борман», широколицый здоровый парень, ходивший у Бати звеньевым и знакомый ему еще по «маленькой Сицилии», – есть у нас подарок для тебя, подъезжай к девяти в «Дубраву», тебе понравится.

«Дубрава» была их штаб-квартирой, откуда Батя, собственно, и управлял своим государством.

К девяти вечера он был там; Борман и еще трое запрыгнули к нему в машину – он, повинуясь указаниям Бормана, повез. Сначала долго петляли по окраинным улицам, после углубились в бесконечные ряды гаражей и у одного из них, наконец, встали. Внутри гаража обнаружился древний «козлик», давно, похоже, стоявший на мертвом приколе. Сдвинули верстак с инструментами в дальнем левом углу, подняли пропыленный коврик – под ним обнаружилась крышка люка.

По крутым ступеням ушли все вниз, а там, за запертой на навесной замок дверью, обнаружился настоящий бункер, где в невеликой клетке с серьезными прутьями – такие бывают у цирковых медведей – и был тот самый «подарок». Ему поначалу так и показалось, что не человек это, а зверь – тот же медвежий детеныш, завозившийся при их появлении на красном, с прорехами, ватном одеяле. А присмотревшись, узнал, вычислил, определил непонятным чутьем того самого незадачливого киллера, который хотел Батю, да и его тоже, отправить на тот свет. Хотел – а сейчас сидел в неволе, глубоко под землей, с багрово-синим от обильного избияния лицом, в стойком запахе своих же испражнений, и от каждого нового звука дергался, как от удара током в пятьсот пятьдесят вольт.

– Ты молодец, Танкист, – похвалил Борман. – Ногу ему перебил, далеко это падала не ушла: нашли его наши ребята почти сразу. Всё, что нас интересовало, он уже рассказал. И кто заказал, и сколько заплатили – всё вспомнил. Так что теперь он твой, делай с ним, что хочешь, хоть на ремни режь. Бате он больше не интересен. Ты прикинь, этот урод, оказывается, когда-то на «Сицилии» всюю зависал – как ты или я. Я его вспомнил даже, хмыря. «Долото» его погнало.

Подойдя к клетке, он присел перед ней на корточки. Разобрать какие-либо черты в сплошном синяке лица было невозможно. Возможно, он тоже видел этого щуплого пацаненка раньше, на той же «Сицилии», а возможно, и нет. Да и какая разница? Не так давно этот человечек хотел его убить – его и Батю. А сейчас – сейчас знает, что и его смерть подошла, и дышит сипло рядом, на расстоянии вытяну-

той руки. Здесь дело случая и везения. Если бы парнишке в тот день подфартило – гулял бы сейчас, живым и здоровым, на югах и тратил заработанное на заказе на девочек, карты и вино. А Батя и он, Танкист, гнили бы себе на кладбище – как и планировалось. Да не подфартило – только и всего. Странно, но там и тогда, в этом вонючем бункере, никакой ненависти к убийце он в себе обнаружить не мог, как ни искал, – хотя по горячему следу порешил бы его не задумываясь.

– Давай, Танкист, чего тянешь, – подал голос Борман, – он же Батю и тебя наглушняк валил, и завалил бы, если бы знал толком, как это делается. Правильно я говорю, Долото? Не умеешь – не берись. На, Танкист, держи!

Борман раскрыл руку, протягивая нож – финку с латунным грибком и бело-зеленым набором, – и это ему не понравилось больше всего. Просто не понравилось – и Борман, с этим своим покатым лбом и раздетыми, без ресниц, глазами, – никогда не нравился тоже.

– Я водитель, – сказал он Борману спокойно, и это была чистая правда. – Вам надо – вы его и валите!

Борман не стал спорить – хотя смотрел недобро.

– Вот как значит... «Водитель»... Ну ладно, – сказал он, погоняв желваки, – Водитель так водитель. Вали тогда наверх и жди там! Повезешь потом – раз водитель.

Узким ходом, крутыми ступенями он поднялся наверх – и оттуда слышал, как грохотнуло железным, а после с минуту или две – или целую вечность, как показалось ему, – всхлипывало, материлось и подвывало внизу, пока, наконец, не стихло. А дальше...

...Да что там – начал, так вспоминая, сказал он себе. Дальше была поездка за город, в той же компании, но еще и со свертком в багажнике. Убив, они завернули его в то самое одеяло, после в брезент, и поехали топить тело в одно из давно освоенных мест – туда, где топили тела тех, кто по каким-то причинам не вписывался в параметры персонального мира, который истово отстраивал для себя Батя. У них всё было заготовлено впрямь и впрок: гусеничные траки, брезент, место на реке за городом, где дна было не достать... Имелся даже специальный парняга по прозвищу Садист, отслуживший срочную на флоте и намертво вязавший траки к ногам жертв особенно прочными, «фирменными» узлами...

Раньше просто ему, рыжему, не приходилось сталкиваться с этой стороной их деятельности вплотную. Потому что он на самом деле – водитель. И всегда был водителем – ни больше и ни меньше. Батя с широкого хозяйского плеча отвалил ему эту работу – и она его более чем устраивала. В дела он не совался, да особо и не звали, потому как

видели: не стремится. Тем более, что стремящихся сделать криминальную карьеру, «подняться», войти в ближний круг и в долю, вокруг Бати всегда хватало. Он же доли никакой не имел и сидел на зарплате, которую давал ему Сергей Максимыч. На хорошей зарплате, но, черт возьми, он и отработал ее стократно – в те полторы минуты после покушения. Так что место свое, права и обязанности он знал четко, как знал и то, что убивать в его обязанности никак не входило.

Но тогда он вез и в глубине души рад был безмерно, что ему не пришлось сделать это – убить. Потому что могли бы и заставить – и заставили бы, как пить дать, если бы не тот факт, что недавно он, а никто другой, спас самого Батю. Заставили бы, а вздумай он упереться, так и сам, глядишь, не вышел бы из гаража живым.

Я помню всё, всё до мельчайших подробностей, сказал он себе. Вспоминая, он так разволновался, что даже вскочил и принялся кружить в тесной клетке номера. – Я всё помню, и худшее из всего – это запах предсмертной тоски. Бивший в самые ноздри и заглушавший даже вонь испражнений, – запах тоски человеческого существа, которому предстоит вот-вот не по своей воле расстаться с жизнью. Но ты вспоминай, вспоминай дальше, раз уж начал, – ведь самое «тоскливое» было потом...

Тоскливое... «Тоскливое»... Кому тоскливое, а кому – прижизненный ад и вечная пустота... Вскоре после того, как Батя вышел из больницы, четыре молодых человека в масках забросали «коктейлями Молотова» кафе «Поворот», принадлежавшее главному его конкуренту – Бобру. Поговаривали, именно Бобер Сергея Максимыча и заказал. Из города он исчез незадолго до покушения на Батю и с тех пор так и не появлялся. Его кафе и сожгли. Делалось такое неоднократно и раньше, если не считать одного отличия: время было вечернее, день выходной, в кафе – полно молодежи, и потому вместе с помещением сгорели заживо четырнадцать посетителей, из них половина – мальчики и девочки моложе двадцати лет. А еще девять умерли после в больницы – и тоже поголовно молодежь. Вот такой «поворот». Время для акции, выходило по всему, специально и подбирали – чтобы страшней, а значит, и подходчивей вышло.

Вот тогда-то продавилось, прожгло, прорвало – и потекла бессловесная до того людская масса на улицу, блокируя здания милицйские и административные, – с ультиматумом прекратить бандитский беспредел.

Тогда, наконец, докатилось и до других верхов: поехали к ним на периферию высокие столичные комиссии – и кое-кого в милиции, а кое-кого в администрации уволили за «профнепригодность». Случилось и вовсе невозможное: Батю забрали в СИЗО, где через две

недели он и умер от «острой сердечной недостаточности». Хоронили его общероссийским криминальным бомондом, со всем положенным по его статусу почетом, – но империя его умерла вместе с ним. На развалинах ее тут же, впрочем, выросла другая, одобренная новым порядком, – так что для массы людской ничего не изменилось.

А вот Батину армию, оставшуюся без полководца, выкашивали безжалостно и власти, и конкуренты. Одних посадили, других застрелили, третьи подались в бега; он же, Танкист, сидел в городской квартире и пил затяжным невеселым кругом горькую. Пил один: отец к тому времени помер, а мать сразу после смерти его перебралась обратно в деревню, к корням: там ей пилося меньше и жилось здоровее.

Вот и сидел он на пустых метрах, поглощал прозрачные градусы и трясся от страха, потому что знал и без гадалки: вот-вот доберутся и до него – либо те, либо другие. Доберутся и выяснять – «водитель» или «не водитель» – никто особо не будет. Потому что рыжая его физиономия всюду и везде в последнее два года мелькала рядом с Батей. И кто поверит, если на то пошло, что он только водитель? Да и только ли? Ты сам-то уверен, что «только водитель»? – спрашивал он едко себя. Вспомни хотя бы убийцу-двоечника по прозвищу Долото: благодаря тебе он не смог тогда уйти, а через месяц пыток, смертного ужаса и жизни в клетке отправлен был на тот свет. То, что он пытался убить тебя, – другой вопрос. Сейчас не об этом, а о том, что в судьбе этого самого «двоечника» ты, так вышло, принимал самое активное участие, верно? То-то. Вот и скажи, положи руку на сердце: из-за одного лишь этого эпизода могут к тебе возникнуть вопросы – и у тех, и у других? Могут, и должны, и возникнут вот-вот – не сомневайся.

Три дня он вливал в себя водку, заедая ее страхом и тоской, но оставался тяжелым и трезвым. И спать перестал, а слух сделался острым, как у восковой моли. Он смотрел как-то передачу о самых лучших «слухачах» животного мира – так вот, бабочка, известная как «большая восковая моль», уделывала по тонкости слуха всех – даже слонов и летучих мышей. Так он и сидел в пустой квартире: большая рыжая восковая моль, замороженная снаружи и трясущаяся внутри, – сидел, ловил каждый звук и животное боялся.

Из дома он не выходил, свет не зажигал и слушал, слушал. Ночью, накануне четвертого дня, во двор его дома въехала незнакомая машина – он влет определил это по звуку мотора, даже не вставая с дивана, где лежал, глядя в пустоту потолка.

Мотор заглушили, но хлопка двери не было. На цыпочках он подкрался к окну: в темном салоне машины мерцали два оранжевых огонька. А вот это ко мне, сказал он себе сразу, – и знал, что так и

есть. В панике от нащупал у дивана бутылку и тянул водку прямо из горлышка; тепловатая пахучая влага пролилась мимо рта и стекала по шее и ниже, щекочущим до зуда касанием... Через час машина уехала, и он жадно втянул в себя воздух – первый раз, кажется, за весь этот час. Он не знал, кто был в машине: те или эти, но думал, что это уже неважно, потому что ожидание – хуже всего.

Утром того же дня он бежал: за сто пятьдесят километров от города, в самое глухое село, а скорее, выселки, где с год назад купил по объявлению в газете деревянный дом. За дом просили всего тысячу долларов. Он съездил, посмотрел, оценил близость реки и леса – и взял, почти не раздумывая. Зачем – он не знал, по большому счету, и сам, а теперь, вишь ты, пригодилось. Если понадобится, разыщут и там – но пусть лучше там, чем в городе. В городе оставаться он больше не мог. Город выдавливал его прочь, гнал, как шелудивого рыжего пса, потому что каким-то неведомым образом, постепенно и незаметно для себя, он предал этот город, он лишил себя права там находиться, и теперь должен был разобраться в том, что произошло, – и в себе тоже.

На выселках, где, кроме него, из живого люда имелся лишь десяток одиноких старух, к которым раз в неделю заезжала автолавка, где асфальт всюду прорастал травой, а из бетонной коробки давно заброшенного селпо вытарчивала там и здесь ржавая арматура, – он как раз и занимался тем, чем заниматься не привык и не умел, – думал, ломал извилины, силясь понять, как это вышло так, что первый человек в его жизни, о котором он мог сказать что-то хорошее, Сергей Максимыч, Батя, – взял вот так и сжег за здорово живешь двадцать три человека.

Вспоминал еще и любимую поговорку Максимыча: «Лес рубят – щепки летят». Так оно и было: Максимыч любовно взращивал свой собственный лес – а потом, если того требовали обстоятельства, рубил его без жалости, сомнений и нужды перед кем-то отчитываться – потому что, черт возьми, это был *его* лес. И щепки – тоже *его*. Его лес, его город, его «маленькая Сицилия».

Когда жгли с людьми кафе «Поворот», один из четырех в масках в суматохе поджег и себя. Трое остальных его не бросили, кое-как сбили огонь и утащили с собой, а два дня спустя его нашли повешенным в руинах молокозавода. Обгорелым и повешенным, напоминавшим, скорее, жестоко замученного мальчишкой кота, – он видел хронику в городских новостях. В больницу его не повезли, нельзя было – просто придушили и сунули в петлю. Также, поди, один из тех, кто воспитывался на «Сицилии» и готов был за своего Батю – в огонь

и воду. Что же, так оно и получилось: кого-то в огонь, кого-то в воду, а кого-то в петлю...

Сколько он рефлексировал там, в глуши, пьянствуя в обнимку с телевизором? Три, четыре месяца? Полгода? Он уж и считать перестал, но однажды проснулся непривычно трезвым, долго приводил себя в порядок, и, наплевав на все страхи, уехал в город. Человек – всё же общественное животное, да и размышления в пьяном угаре не прошли для него даром. Он как-то спокойнее сделался, что ли, – да и Печорина в нем поприбавилось, уж точно. Что будет – то и будет, еще раз повторил про себя он, минуя стеллу с названием города и выезжая на финишную прямую.

Ничего, однако не случилось. Криминальная война давно себя изжила. Полководец приказал долго жить, войско было рассеяно, а остатки его никакой опасности не представляли. Пообщавшись по телефону с парой знакомых, он быстро прояснил ситуацию. В городе перестали стрелять. Город закончили делить. Город привыкал дышать под новым хозяином. Теперь он, Рыжий, в этом городе был никто и ничто – и он радовался новообретенному ничтожеству. Он неуверенно шагал улицами своего района, привыкая к родному асфальту заново, и не знал, получится ли привыкнуть, и нужно ли вообще – привыкать.

Ответ нашелся сам и уже через полчаса – в кафе, где он никогда не бывал раньше, а сейчас решил зайти выпить рюмку-другую в цивилизованной обстановке. Кафе было новым, зато среди публики отыскался один полуприятель, давний знакомый по «Сицилии», который, после пары-другой «дринков», и предложил ему греческий паспорт – вместе с гражданством. Греция тогда принимала всех – без особых проблем, лишних вопросов и за умеренные деньги. Он и думал-то всего минуту-другую, прежде чем согласиться.

Не мог он оставаться в своем городе. Раньше сомневался, а сейчас вот точно это понял. И вопросы со стороны органов наверняка к нему еще имелись – так зачем ходить под топором и дразнить судьбу? Вот он и согласился, почти не раздумывая, и назавтра уже передал полуприятелю деньги – зачем тянуть? Так, оказывается, тоже бывает: заходишь в кафе хлопнуть рюмку водки – и круто меняешь весь жизненный курс. Он поменял – и ни секунды потом не жалел об этом.

В Салониках, где он осваивал новую родину, ему сначала всё пришлось по вкусу. Он снял халупу подешевле да поокраинней – деньги быстро таяли – и помаленьку знакомился с местными традициями и культурой, начав, как водится, с индустрии вечерне-ночных развлечений. Всё было лучше, чем прозябать в российской глуши.

Свое тогдашнее состояние он определил бы как «вялотекущую нирвану»: каждый день был похож на следующий, и каждый состоял из маленьких плотских удовольствий, которым не предвиделось края и конца, как не было этого самого конца и у его жизни. Да и о каком еще «конце» может идти речь, когда тебе всего двадцать пять и ты снова бессмертен? Если уж зашла речь о «конце», так ему нужно было заботиться о другом: как бы не подцепить что-нибудь в результате большого количества связей с бюджетными греческими гетерами.

Через месяц он в удивлении обнаружил, что в Салониках его «братьев по крови» – вагон и маленькая тележка. Были даже «тульские пряники», как он, а среди них отыскиались и знакомые по прежней жизни при Бате. Настоящая родина упорно не желала его отпускать. Родина пустила в Салониках крепкие криминальные корни, и вскоре его начали помаленьку «подтягивать». «Ну, не на стройке же тебе вкалывать с работягами за гроши! А с нами будут бабки, и бабки достойные.» Деньги у него действительно заканчивались, и он понимал, что вот-вот придется согласиться на вторую серию всё того же фильма категории «Б».

– Фигня какая-то, – озадаченно сказал он себе, уяснив положение дел окончательно. – Нет, это не Греция – это какой-то бардак!

Греция оказалась слишком родной, слишком русской – и с этим нужно было что-то решать. Он не желал «вторую серию» – до сих пор хотелось блевать и от первой. Еще раз подсчитав оскудевшие капиталы, он изучил карту Средиземноморья – и утром улетел в Барселону. Не проветриться – жить. Не то чтобы в Барселоне не оказалось его земляков, и не то чтобы там не было крепких молодых людей с криминальным или околोकриминальным прошлым, как у него. Были, но далеко не в таких количествах, это первое. А второе – он влюбился в Барселону так стремительно, незаметно и бесповоротно, что вскоре уже не представлял, какая сила может заставить его уехать из этого города. Не было – не было такой силы! Барселона напоминала ему высокохудожественный греховный рай, в котором категорически запрещалось просто жить – здесь можно было лишь наслаждаться жизнью. Он и наслаждался.

Уже на вторую неделю ему повезло устроиться водителем и курьером в редакцию крупнейшего русскоязычного издания Испании; ему положили хорошую зарплату, которой вполне хватало на все те маленькие радости плоти, к которым он был привычен... Испанский принцип «живи сегодняшним днем» как нельзя более отвечал его собственным взглядам на жизнь, – чего еще? «Чего же более?», как метко выразился классик. Он нашел свой город, а город принял его безоговорочно в свое огромное тело и сделал частью себя, давая

возможность наслаждаться жизнью ежесекундно, никуда не спешить, ни о чем не тревожиться и, что называется, «ловить момент»...

Здесь так жили все, и все доживали до глубокой старости, в душе оставаясь легкомысленными испанскими детьми. Ему нравилась эта беззаботность, потому что и сам он был таким же и не видел оснований что-то менять. Что нужно менять в мире, где солнце встает над горизонтом 330 дней в году, где хорошее вино ценится дешевле хорошей воды, а красивая девочка – не дороже ужина в самом наисреднем ресторане?.. Что нужно менять в мире, где тебе улыбаются не потому, что так велит профессиональный долг или этикет, а потому что людям нравится – улыбаться?..

Он тоже полюбил улыбаться, хотя наука далась ему не сразу. Он полюбил улыбаться, хронически опаздывать и никогда не делать сегодня то, что можно сделать завтра. Это воспринималось на испанской земле, как данность, как неперемное условие истинного бытия, и начини он вдруг поступать иначе – его бы не поняли и, пожалуй, даже решили бы, что он не в себе. Местная мораль гласила: по-настоящему человек живет, лишь когда ощущает полную гармонию с собой и окружающим миром, – и он полностью был с этим солидарен. На его долю хватило тревожений в «первой серии». Довольно! По сути, вся жизнь его в Барселоне походила на многолетний сон – но сон, надо признаться, самый приятный!

А потом он проснулся. Совершенно случайно увидел ее, Таню, в кафе рядом с ее магазинчиком, торгующим такими непонятными в 21 столетии вещами, как венецианские маски ручной работы. Тоже, что называется, – идешь, «никого не трогаешь», видишь за столиком кафе женщину – и понимаешь внезапно, что пропал. Или не внезапно, а два часа спустя – какое это имеет значение... Внезапно, или два часа спустя, ты понимаешь, что безмятежный сон закончился. Потому что ноет внутри, не дает покоя, болит – а всё из-за той неизвестной женщины за столиком кафе.

Он, изумляясь, решил проверить себя еще раз – и на утро следующего дня ровно в то же время был там же, – и снова видел ее за столиком кафе. И славные его подружки, девочки, с которыми так чудесно было проводить время, ничего не просившие, ни на что не претендовавшие, всего лишь искавшие, как и он, сиюминутного удовольствия девочки, девочки, которым всегда было слегка за двадцать, потому что девочки менялись, а его предпочтения – нет, – так вот, эти девочки вместе с предпочтениями вдруг, как выяснилось, не значат ровным счетом ничего – в сравнении с незнакомой ему женщиной за столиком кафе на улице Прованс.



Три дня он носил в себе самое непривычное оцепенение, а потом всё же отважился: набрал побольше воздуха и нырнул с головой в тот самый магазинчик, где была она. Нырнул и выпалил, отчаянно волнуясь всем своим естеством:

– Дайте маску чумного доктора!

\* \* \*

Женщина, устав и отчаявшись, прилегла на кровать и вспоминала – а что еще делать, когда ты заперта в неожиданной тюрьме? Она вспоминала свою жизнь, и себя в этой жизни, и по воспоминаниям выходило, что жизнь у ней была прямая и совсем, как бы это сказать, «одинаковая», что ли, – разве что менялись пейзажи-ландшафты да актеры в роли партнера. Жизнь одинаковая, потому что сама «одинаковая», – заключила, поразмыслив, она. Всегда я была одинаковая и ничего в себе так и не поменяла за целых полвека. Боже, ужас какой! Mamочки мои – уже за полвека!

Такая она в школе была – тихая, худенькая-незаметная, и заикалась сильно, отчего еще глубже зашивалась в себя. Занималась художественной гимнастикой, а старшая сестра Люська, в свои шестнадцать уже крепкая и грудастая, как натуральная красивая тетка, ее всяко гнобила. Поколачивала, деньги отнимала, от родителей на обеды полученные, – дедовщина, а точнее, «сестровщина», – как еще назовешь?

А она, худенькая незаметная заика, всё терпела, молчала, сносила, вплоть до крайнего момента, когда терпеть было уже нельзя. А когда терпеть было уже нельзя, что-то там внутри ее забитого существа переполнилось и хлынуло через край; она, эта терпила-молчала, схватила вдруг вилку, как была за столом, и бросилась – убивать ее, Люську, старшую родную сестру. Да, она хорошо помнила, как это было: стрелки будильника на полке над столом застучали вдруг оглушительно громко, после внезапно замедлились и остановились вовсе, и наступила – жаркая красная тишина. А ей, тихоне и зайке, мучительно хотелось одного – убить эту грудастую тварь, которая зачем-то зовется ее сестрой Люсей...

Не убила, конечно: спасло Люську то, что самбистка, да и вилка из гнувшихся-алюминиевых была... Не убила... Вот только издевательств с Люськиной стороны больше не было; ни издевательств, ни побоев, как отрезало. Такая она была – такой и осталась: терпела, куksилась, голову боялась поднять, сносила безропотно всякое притеснение – а потом вставала на дыбы и рвала всё, что рвется, и ломала всё, что можно сломать, – вызывая в окружающих самое неподдельное удивление. Такая – или, все-таки, не такая?

С гимнастикой у нее не сложилось – там маленькие нужны, а она, пришло время, вымахала в изрядную дылду даже по меркам Урала-батюшки. Тошая, правда, была, как смерть, но задница, что показательно, круглилась, как положено. В университете ее взяли играть за гандбольную команду, где быстро выяснилось, что гандбол – это ее спорт. Команда у них знатная была – высокие все, как на подбор, цепкие уральские девки. Красота! А главное – хорошие спортивные данные у каждой, а у кое-кого, как у нее, например, – так даже и выдающиеся. Скоро пошли и результаты. Им в студенчестве некогда учиться было – сборы-тренировки, травмы-болячки, выступления-победы... Нормальная спортивная жизнь в государстве, где спорт являлся идеологическим оружием.

Она мимо воли улыбнулась – вспомнила, как был влюблен в нее тренер. Она, по наивности и неиспорченности, долго понять этого не могла, а потом сообразила. Он и орал на нее вдвое меньше, чем на остальных девчонок, – можно сказать, совсем не орал; он и внимания ей уделял поболее, чем прочим. Растолковывал, показывал, разъяснял – вроде бы и нормально, она ведь из самых перспективных. Она радовалась, но постепенно научилась замечать, что «не просто так» ей такое внимание. Тренер, пока показывал, успевал нежно и страстно приобнять и потрогать ее там и здесь, вроде бы и незаметно, но нежно и страстно, она это чувствовала, – да и девочки, в вопросах пола куда более искушенные, чем она, вердикт свой вынесли: дескать, втрескался в тебя наш Васильич, Танюха!

Втрескался, да еще как! Женатый сорокалетний мужик с двумя белобрысыми детьми и тяжелой, как ладя, женой. Но втрескался – и прокололся. Однажды из поездки в Москву привез ей в подарок сумку синего-белого цвета с надписью красными буквами «СССР» (вещь роскошно-желанная!), набитую сплошь ее любимыми конфетами «Мишки на севере». Выспросил невзначай специально, какие конфеты ей нравятся, – и целую сумку привез! Но конфеты – это что! Главное, что под конфетами этими спрятан был самый настоящий, обалденно красивый, в противовес тодашнему ширпотребному бараклу, которое можно было купить в провинции, лифчик. Лифчик!

Обнаружилось это в раздевалке, когда она одаривала конфетами девочек, – точнее, когда девочки, отобрав у нее сумку, сами делили ее конфеты, – и нашли тот самый лифчик. Тогда начались, она помнила, совсем уж уральские подначки. Девки свердловские на руку крепкие, а на язык – злые. Когда же, вдобавок, выяснилось, что лифчик тот злополучный ей великоват, девчонки и вовсе разошлись, обсуждая на все лады, как это так получилось, что не успел тренер правильно Танюхин размер определить, – ведь, поди, не раз уже имел полную

возможность это сделать. Признавайся, Танюха, – имел? Ну и как он, наш Василийч, в постели? Старый конь борозды не портит – верно, Танюха? Кончилось тем, что лифчик был тут же и подарен Ирине, капитану команды: ей он как раз пришелся впору.

Впрочем, ни о какой «постели» с Василиличем и речи не шло. Он не заходил дальше «тренировочных» ласк: то ли опасался, то ли чуял мужским безошибочным нюхом: ничего ему здесь не обломится. И не обломилось бы, это точно! Девственность свою, непонятно зачем, она блюла яростно и строго – так и ходила до замужества полустарой девой.

Хотя, надо признать, мужикам она нравилась! Едва начав взрослеть, она вызывала в мужиках всеобщий восторг, но долго не понимала этого. Не понимала, например, что привлекательна для сокурсников-одногруппников, с которыми периодически, между спортом и спортом, ей все-таки приходилось встречаться на занятиях. Она, помнится, обижалась даже, наблюдая, что «мальчики» вовсю флиртуют и даже крутят романы с тремя другими девчонкам из группы, а ее, казалось, просто не видят в упор. Ей и в голову не приходило, что к ней не «подкатывают» потому, что считают ее совсем уж недоступной, да к тому же еще и недотрогой, – какой она, чего греха таить, и была.

Была и сталась до той самой травмы: перелома основания черепа. Ну, спорт есть спорт, – ты знаешь, на что идешь, хотя рассчитывешь на благополучный исход. У нее этот расчет не оправдался. Вспомнилось еще, как в больнице «добрая санитарка» напроорочила ей – из подслушанного или придуманного – кучу хворей и быструю смерть, – спасибо, поддержала, карга старая! Вылечить ее, конечно, вылечили, но с оговорками: с той поры стали терзать ее сильнейшие головные боли. А однажды во время сдачи экзамена случилось и вовсе непонятное, а оттого и страшное: она внезапно перестала видеть ровно половину пространства – вместо этой половины был чистый и пустой воздух и ватная тишина. Половина тишины – так будет вернее.

Седой доктор с мягкими руками и носом алкоголика посоветовал ей альпинизм – как единственную, по его словам, возможную панацею. Умнейший оказался человек и специалист прекрасный: в результате усиленных занятий альпинизмом четыре раза в неделю последствия той самой травмы исчезли через год начисто.

Альпинизм, кроме возвращенного здоровья, а значит, и возможности вернуться в спорт, подарил ей первого мужа. К тому времени ей стукнуло уже 22, и она всё еще оставалась девственницей, – слыханное ли дело? Даже не старой, а дряхлой девой – иначе не скажешь. Она всё еще почти не имела понятия об отношениях между полами.

Ну разве можно поверить в такое? А ведь так и было! Тогда-то, на фоне общих занятий альпинизмом, и начались ее отношения с большим, красивым и умным инженером, недавним выпускником их университета, который как-то незаметно вошел в ее жизнь, а после и в ее квартиру, где она продолжала жить с родителями.

Этот большой и красивый человек с плоскими ступнями быстро объяснил ей, что и куда направлено у мужчин и, будучи настоящим специалистом по любовной части, научил и ее извлекать из сексуальных игрищ массу разнообразных удовольствий. На этом его позитивная роль, к ее ужасу и изумлению, закончилась – не только в их совместной семейной жизни, но и в жизни вообще. Через два месяца после свадьбы он начал выпивать, а через полгода стал психически неуравновешенным запойным алкоголиком, способным на непредсказуемые вещи. Однажды, например, когда она вернулась с тренировки, мать поведала ей, что «твой скандалил, хаживал по дому в чем мать родила, пугал ее огромным членом и вылил весь свежесваренный самогон в унитаз». Мать была оскорблена в лучших чувствах – не из-за «члена», которым ее, крутую и бойкую по характеру, вряд ли можно было напугать, но из-за самогона, которым она приторговывала, чтобы свести концы с концами. Вылить самогон, да еще будучи алкоголиком, – это было за гранью человеческого понимания, и мать самым серьезным образом насторожило: а всё ли у зятя в порядке с «кукушкой»? Впрочем, это было лишь начало быстро прогрессирующего конца.

Муж деградировал стремительно. Она не успевала привыкнуть к очередной стадии его распада, как за ней тут же спешила следующая: низвержение в ад, как выяснилось, может длиться куда дольше обещанных девяти кругов. Она вспомнила, как однажды из-за безудержной пьянки муж угодил в очередной раз в больницу, а она, уже беременная и еще не разлюбившая, жарила ему сверхдефицитную, доставшуюся по талонам курицу (такие были годы), а потом бежала бегом в больницу, надеясь порадовать непутевого супруга редким деликатесом, – вот дура!

Д-дура! «Порадовала»... Мучимый похмельем, он презрительно смерил взглядом и ее, и курицу в обмотанной полотенцем кастрюле (двух «куриц», прости Господи!), и бросил ей с восхитительной ненавистью:

– Лучше бы ты водки принесла!

Развернулся и ушел, как английский король, – в продранной на локте больничной пижаме.

А она, как последняя дура, бродила кругами вокруг больницы, таская с собою кастрюлю со злополучной курицей... Кружила на ноч-

ном морозе и ревела от обиды в голос, а потом, обессиленная, села прямо в снег и сидела, разрываясь между двумя желаниями: выкинуть отвергнутую им курицу или всё же съесть. А потом обглаживала куриную ногу, сидя в том же снегу, и вспоминала историю, рассказанную ей однажды матерью. Отец, было дело, как-то загулял, пошел по бабам, а когда мать пыталась его усовестить, заявил без раздумий: не нравится что – бери под мышку телевизор и пошла! Сберкнижка с накоплениями – на мое имя, и квартира моя – так что как-нибудь выживу. А телевизор забирай – дарю!

И как после того стояла мать ошарашенная, на улице и нигде, и боролась с сильнейшим желанием броситься под трамвай. Она почему о том материнском рассказе вспомнила – и самой захотелось тогда до сладкого изнеможения – под трамвай. Доесть аккуратно курицу, найти свой трамвай – и покончить со всем разом. Так она, пожалуй, и поступила бы, если бы не дитя, которое четвертый месяц уже зрело у нее под сердцем.

Зрело, да не вызрело: потому ли, что аукнулось слепое и дурацкое хождение под окнами да сидение «куриное» в снегу, кто знает... Только случился выкидыш. Заглянула к ней в гости Ирка, капитан команды, и пили они вполне мирно чай, заедая сушками, – тут-то и началось. Когда, уже у больницы, ей помогли подняться с продавленного дерматинового сиденья «буханки», в этой вмятине всё было в крови, и дальше, идя больничным коридором, кровью несбывшихся на материнство надежд размечала она путь свой. А в больнице на нее еще и наорали: что ты, шалава, сделала, чтобы случился выкидыш?.. Она и отвечать-то на это не стала ничего, так была обескровлена и ошарашена.

Детей своих после того она иметь не могла. И мужу ничего не простила. Нравилось, нравилось ей в себе это качество – терпеть до последнего и резать навсегда. После выкидыша как раз и отрезало все ее тлевшие кое-как чувства. Он пьянствовал, пропадал, – ей было всё равно. Его гнали поганой метлой со всех работ – она воспринимала это с ледяным спокойствием. Он блудил с кем ни попадя – она взирала на это с отдаленным сочувствием; она и сама изменила ему пару раз, для порядка. Однако ничего от измены она не ощутила и поняла, что если так пойдет и дальше, мужа она просто убьет. Так, безусловно, и случилось бы, если бы незадолго до смерти он – вероятно, почуввав угрозу, – бесславно съехал пьянствовать на квартиру к матери, где и помер два месяца спустя самостоятельно. Помер и помер. Она слишком долго терпела, до края, до упора, до последнего донца, чтобы хоть призраком слезы отметить его уход. Она уже сто-

кратно успела оплакать его при жизни. Пролитых ею слез легко набралось бы на целое озеро, в котором с наслаждением она утопила бы этого человека – но он благоразумно помер сам. Мать его было жалко, это да, – и она еще долго поддерживала с бывшей свекровью хорошие отношения и даже помогала материально.

С мужем и детьми, таким образом, не сложилось, – зато у нее снова был спорт. Только спорт – которому она отдалась так страстно, как не отдавалась ни одному из тех немногочисленных мужчин, с которыми спала. Спорт отвечал ей взаимностью. Спорт больших достижений и громких побед... Скоро она играла за сборную страны, потом возглавляла сборную страны, ездила за пределы этой самой страны, чтобы вернуться с очередной медалью, и, вернувшись однажды, поняла, что ей не хочется сюда возвращаться, в эту самую страну. Не хочется.

К тому же, она знала, что бывает со спортсменами после завершения карьеры: мавр сделал свое дело – мавр может умирать. Болячки, травмы, угробленное здоровье – не в счет, когда из тебя выжали всё, что возможно было выжать «на благо родины». Иди гуляй. Спивайся, в лучшем случае – руководи спортивной секцией при районном Доме культуры. Ей не хотелось – в районном Доме культуры. Ей не хотелось быть расходным материалом.

Нужно было что-то менять – и менять поскорее. Для жизни она была еще вполне молода, а для спорта «больших побед» – почти старуха. Она поняла, что очень хочет выйти замуж, – за мужа из другой страны. К тому времени она уже знала силу своего воздействия на противоположный пол.

Результаты не заставили себя ждать. Судьба явилась ей в стокгольмском ресторане в виде седого стройного красавца со звучной фамилией Андерсон – ей, во всяком случае, фамилия показалась звучной. В то время она еще не знала, что Андерсонов, как и Карлсонов, в Швеции больше, чем в России – Ивановых. Да и звали «вошебника» не Ганс, а Ларс. Через десять минут знакомства он невзначай сообщил ей, что ему 73 года, – и благосклонно внял ее искреннему удивлению.

Она действительно удивилась, и действительно искренне: больше, чем на полтинник, Ларс не тянул. Видно было, что он тщательно следит за своим здоровьем. Ларс, в свою очередь, был восхищен ее славянской красой – и не скрывал этого. К тому времени она прилично владела английским и в состоянии была оценить, с какой утонченной ловкостью разбрасывает он комплименты. Тем не менее, через полчаса ресторанныго обольщения ей показалось, что она сидит в кабинете юриста и занимается обсуждением сделки, – да так, собст-

венно, и было. К тому же, как выяснилось, Ларс всего лишь год назад оставил работу в адвокатской конторе.

Впрочем, такой разговор – без долгих околичностей и лишних «муси-пуси» – нравился ей. Они с Ларсом сходу поняли друг друга. Ему нужна была молодая, симпатичная и порядочная женщина, которая скрасит остаток его дней и будет если не любить, то ценить его; которую приятно вывезти в свет и показать таким же седым и холемым приятелям из своего круга.

В обмен на это она получала шведское гражданство и абсолютный комфорт в установленных Ларсом и посильных для него пределах. Судя по конюшне с тремя скаковыми лошадьми, о которой Ларс несколько раз упомянул с большим энтузиазмом, «пределы» эти простирались довольно широко. Она почти не раздумывала, прежде чем сказать «да». Да что там – «почти»... Она ни секунды не раздумывала. Разбитый коленный сустав на правой ноге требовал от нее «закрыть» спортивную тему – так что и раздумывать было не о чем. Воплощенная мечта сама шла в ее крепкие спортивные руки, и не взять мечту за вымя было бы величайшей глупостью.

– Да, я стану твоей «маленькой разбойницей», – сказала она. Андерсон удивленно поднял брови. Она пояснила – Андерсон засмеялся, неожиданно громко и хорошо. Положительно, он уже начинал нравиться ей!

Так начался ее «шведский» этап, и ничего плохого о нем она, при всем желании, сказать не могла. Ларс был заботлив, нежен и предупредителен. Она, в свою очередь, честно старалась почувствовать в нем родного человека – и ей почти это удалось. Сексуальные его запросы через три года их совместной жизни свелись на нет – возраст, ничего не поделаешь. Она, со своей стороны, не была в претензии – в конце концов, в секс-шопах Стокгольма имелся широкий выбор «мужезаменителей», а изменять порядочному человеку ей никогда не пришлось бы в голову. Зато свершилась главная ее мечта: в Швеции она сделалась тем самым «пупом мироздания», вокруг которого охотно вращался ее новый скандинавский мир. И она была вполне довольна этим вращением.

Потом Ларс Андерсон умирал от рака, и она, как могла, старалась облегчить ему уход. Ей было безмерно жаль этого давно уже не чужого ей человека со сказочной фамилией, и, наблюдая, как скоропостижная смерть прибирает Ларса к рукам, она, мимо воли, пускала слезу.

– Всё, что у меня есть, достанется после моей смерти тебе, – часто, в знак благодарности, говорил ей Ларс, а она, помнится, обижалась даже: ну зачем об этом сейчас?

Тем не менее, когда он умер, выяснилось, что накопления на счетах – без малого полтора миллиона в американских долларах – были оставлены дочери от первого брака, не навестившей его ни разу в больнице и не явившейся на похороны. Собственно, эту самую дочь, которая была ее ровесницей, она впервые на оглашении завещания и увидела. Дочь смотрела на нее холодно, но при знакомстве вела себя вежливо – да и с чего бы ей быть чем-то недовольной? Вот так – поди разбери этих шведов... Впрочем, она была лишь слегка удивлена, но не раздосадована. В конце концов, деньги были заработаны им, Ларсом, и он имел полное право распоряжаться ими по своему усмотрению. К тому же, ей достались дом и конюшня с лошадьми.

Всё это вскоре после смерти мужа она продала и купила квартиру в Стокгольме, а через полгода удочерила Габриэлла. Она всегда хотела ребенка, не своего, так приемного, и взяла бы его себе уже давно – если бы не понимала ясней ясного, что Ларсу эта затея не понравилась бы. В конце концов, они «договаривались» не об этом.

Оказывается, она хотела быть матерью, мучительно хотела быть матерью – всегда. И став ею, радовалась так, как никогда и ничему не радовалась в жизни. Габриэлла – полумарокканка-полушведка – росла девочкой живой, непоседливой, непослушной, своенравной, словно ручная пантерка, но и ласковой, привязчивой, – одним словом, Габриэлла вырастала самой лучшей дочерью на земле.

Если бы кто-то сказал ей, что мир возможен без Габриэллы и что она прожила без этой девочки целых тридцать четыре года своей жизни, – она плюнула бы ему в лживые его глаза, такой мир не мог существовать по определению. Поэтому, когда одним декабрьским утром (Габриэлле исполнилось 18, и она уже не всякую ночь проводила дома) ей позвонили и, задав несколько вопросов, сказали, что нужно приехать на опознание, – она сочла это глупой и жестокой шуткой. В каком-то смысле это и было жестокой шуткой судьбы: надо же было насильнику и убийце, которого задержали лишь год спустя, да и то совершенно случайно, – надо же было ему выбрать в тот вечер именно ее девочку!..

Когда это случилось, она закрылась в себе; жила, питаясь исключительно болью. Когда-нибудь и эта боль должна была закончиться. Хотя, вопреки всем законам Бога и физики, боль в ней только множилась и возрастала, – и так продолжалось не один год. Она начала было пить, но вскоре прекратила: занятие это показалось ей на редкость неэффективным и глупым. И вообще, ей не хотелось спиться и сдохнуть в грязь и вони, опустившейся безобразной каргой, – не тот был характер! Тогда, неожиданно для себя, она устроилась работать уборщицей. Не то что бы у нее закончились деньги – дом и



конюшня Андерсона стоили немало, даже после покупки квартиры в Стокгольме оставалось кое-что на счетах... просто ей нужно было что-то делать, чем-то занять свое тело, а от спортзалов в ту пору ее воротило. Спортзалы были наполнены молодыми красивыми девочками, какой была и ее Габриэлла, – видеть их ей было больней больного.

Спорт к тому времени давно сошел для нее на нет. Сустав, как она и предполагала, полетел еще в первый год жизни с Андерсоном; ей сделали сложную операцию за большие деньги – деньги Андерсона, разумеется. Вставили ей в ногу черт-те что – но так, что она вновь ощутила ногу здоровой. Тогда-то она и сделала татуировку розы на всю коленку, чтобы скрыть беловатый длинный шрам, и добавила еще стебель с листьями и шипами.

Чтобы чем-то нагрузить тело и приглушить боль, она набирала побольше работы и бесконечно мыла, мыла и мыла. Она драила стокгольмские подъезды, надеясь заморить боль усталостью, но сил у нее было, как у красивой средневозрастной лошади, – и ничего не получалось. Однажды она поняла, что если не уедет из Стокгольма навсегда, боль попросту ее раздавит. Стокгольм навсегда останется для нее городом, отнявшим у нее Габриэлла. Каждый чертов камень этого северного красавца будет напоминать ей о том, что он лишил ее дочери, – вот что она поняла. После смерти Габриэллы каждый чертов камень этого города стал надгробным; она жила теперь на огромном кладбище. А если живешь на кладбище – разве сможешь забыть о смерти?

Сообразив это, она пришла к неизбежному выводу: нужно уезжать. А если уж уезжать, то куда-нибудь в самое противоположное место. Скажем, туда, где всегда тепло. Где всегда солнце. Где нельзя горевать – потому что это запрещено по закону жизни. Насчет последнего пункта она, правда, сомневалась, – зато с первыми двумя проблем возникнуть не должно. Она долго перебирала в памяти места, где уже успела побывать; потом села за компьютер и просидела почти сутки, но когда встала и привычно потянулась, решение было принято: она выбрала Барселону.

И, надо сказать, она не ошиблась с выбором. Этот удивительный город умел залечивать раны, как никакой другой. Она быстро освоилась и втянулась в барселонскую жизнь. Город поистине был удивителен – шумный снаружи и на редкость спокойный внутри. Да, ее внутренняя Барселона была незыблемой и спокойной, – а ведь покоя она и искала, переезжая сюда. Она выходила «в люди», заводила мужчин, оставляла мужчин, – и всё это ровно и без малейших потрясений. Всё было именно «спокойно». О том, что покой, в некотором смысле, подобен смерти или, на худой конец, сну, пусть даже и само-

му приятному, она не хотела даже и думать, — до той самой минуты, пока в ее магазинчик, торгующий карнавальными масками, не вошел упоительно рыжий человек с русским лицом, с которого на нее вос-торженно и слегка испуганно пялились два тамбовских глаза. Тульских, как выяснилось потом, но разве имело это какое-то значение?..

\* \* \*

Бывает, что ужас, который испытываешь во сне, настолько силен, что заставляет проснуться. Разбухающим черным комом ужас заполняет всё внутреннее пространство сна, давит на стенки его всё сильнее — и, сломав их, выдавливается в явь. Рыжий человек, проснувшись от ужаса, секунду приходил в себя — и ощутил, что правая его рука обнимает теплое тело женщины. *Его* женщины — той самой, которая никуда не исчезла и, осязаемая и живая, тихонько продолжала спать рядом с ним. Сон, дурацкий сон! Он мысленно с огромным облегчением выругался, подождал секунду, но ужас не спешил уходить, — разве что сделался глуше.

Он поискал и быстро нашел причину: только что, благодаря дурацкому этому сну, он впервые по-настоящему осознал, что когда-нибудь это случится на самом деле. Когда-нибудь он проснется в их общей постели один, похолодеет от ужаса, но спастись от него не сможет — потому что всё будет наяву. Рано или поздно, черт побери, так и произойдет, — потому что он на пятнадцать лет младше ее. Зачем-то он младше на эти гребаные пятнадцать лет! Конечно, всё может случиться иначе — если, например, они разбегутся еще до того, как это произойдет. Может быть, проснуться одной в их общей постели придется ей, а не ему, — никто ведь не знает, сколько ему отмерено. Но даже если и так — разве что-то это меняет? Я — или она. Она — или я. Если всё будет так же хорошо, как сейчас, кому-то из нас двоих придется через это пройти — и как это пережить? И можно ли пережить?

Насчет себя, например, я далеко не уверен. Да и насчет нее — тоже. Вот в чем настоящий ужас? — В неизбежности. Мы в ловушке, в которую загнали себя сами. Мы попали в зависимость, выбраться из которой не хотим, да и не можем, — потому что это сильнее нас. И чем лучше нам сейчас, тем хуже будет потом, когда один из нас проснется в постели один. Неизбежность — вот что хуже всего. Единственный способ избежать этого ужаса — покончить со всем до него. Лучше всего — прямо сейчас. Тихонько, тихонько выбраться из постели, одеться и выскользнуть бесшумным ужом из номера — и из жизни ее навсегда. Не только для своей, но и для ее же пользы: никто

не знает, сколько отжалело ему небо... И сможет ли она – смириться, принять, а потом – жить? Сможет ли, если всё продолжится и точка невозврата останется за спиной? Не исключено, что эта точка уже пройдена, – но, возможно, есть шанс?.. Конечно же, я боюсь, боюсь до дрожи, боюсь за себя, я не готов испытать наяву то, что испытал во сне.

Убрать руку с ее теплого и такого родного тела, оставить ей документы и ключи от машины, выйти из номера, и на первой же попутке в любую из двух сторон – бежать, бежать из нашей с ней общей жизни навсегда.

Желание это – бежать сию секунду – сделалось внезапно таким острым, что он убрал аккуратнo руку и начал было выбираться из постели, но сообразил вдруг, что она тоже не спит: равномерное и свободное дыхание спящего человека в какой-то момент прекратилось; он, занятый мыслями, занятый ужасом, просто не заметил этого. Она не спала – но не подавала вида, что не спит.

Он почувствовал себя так, как будто его поймали с поличным. Ему сделалось стыдно до жара в кончиках ушей. Он был уверен: она прекрасно слышала все его сумбурные мысли и знала о его намерении сбежать. Быть того, разумеется, не могло, но чувство не проходило. И он, откашлявшись, сказал:

– Ты не спишь, Таня. Я слышу, ты не спишь.

– Мне приснился нехороший сон, – голос ее всегда был чуть надтреснут с утра, и он любил в ней эту трещинку. – Такой жуткий, что я даже проснулась. Приснилось, что я открыла глаза, а тебя нет. Я зову тебя, ищу повсюду, а тебя нет. Вообще нет – понимаешь? И так мне стало плохо, так ужасно, что я проснулась, – и всё еще не могу прийти в себя от ужаса.

– Понимаю, – сказал он. – Очень хорошо понимаю. Но я есть – вот он, я!

Повернувшись друг к другу, они обнялись и лежали так какое-то время молча.

– Знаешь, – сказала она, явно продолжая какой-то разговор. – Не обязательно всё будет именно так (он не совсем понял, что означает это «так», но мгновенно внутренне насторожился). – Да... Я все-таки на пятнадцать лет старше тебя. Сейчас я еще ничего, но это сейчас... А потом... Потом, когда я стану глубокой старухой, ты всё еще будешь молодым. Ты будешь мужчиной в самом расцвете сил. Так вот, я хочу, чтобы ты знал: когда это время придет, можешь просто бросить меня и уйти. Я пойму и не стану тебя ни в чем винить. Просто уйти – ты ничего мне не должен. И за собой я оставляю это право – уйти. Тогда, во всяком случае, не придется – вот так...

– Чего не придется? Чего «вот так»? – переспросил он, хотя прекрасно знал, о чем она говорит. Все-таки она подслушала его мысли. – Я не уйду, если только ты сама этого не захочешь.

– Вот только не надо ничего мне обещать, ладно? – сказала она, начиная сердиться.

– Ладно, – легко согласился он. Он давно уже понял, как с ней ладить. – Ладно, как скажешь.

– Ну и ладно, – сказала она, тут же успокоившись. – Итак, какие у нас планы?

– Сходим в душ, трахнемся, позавтракаем и двинем дальше, – бодро ответил он. – Как тебе такой план?

– Отличный план, – засмеялась она. – Только давай ты первый, нагреешь для меня ванную, идет?

Последние слова ее прозвучали ему в спину: он спешил уже, исполненный радостного предвкушения, в душ.

Но позже, когда они стояли уже на пороге, готовясь захлопнуть дверь номера, взгляд его снова упал на кровать. И она показалась ему аккуратно застеленным эшафотом.

– Вот чертовщина! Вот напасть! – он даже ругнулся вслух, но, встретив удивленный ее взгляд, заставил себя улыбнуться. А вскоре уже забыл – и сон, и всё, о чем думалось.

Ровно урчал мотор, машина поела километры, и он готов был ехать с этой женщиной хоть целую жизнь – между серых холмов со срезанными верхушками.

*Каталония*

**Владимир Батшев**

**1948**

**Часть 2\***

**КОМИ АССР, СТАНЦИЯ КОСЬЮ, ПЕЧОРЛАГ.  
КОНРАД АЛЬВЕНХАУЗЕР**

Он попал в плен к русским в Нижней Силезии. Это пугало всех: страшные русские казались бóльшим злом, чем наступающие с запада американцы. Хотя – чем американцы лучше? И они, и англичане безжалостно бомбили страну, не оставив ни одного крупного города целым. Конрад видел фотографии Франкфурта, на которых остался нетронутым только шпиль собора Святого Варфоломея.

Сорок километров колонну пленных гнали два дня, почти без остановок. Тех, кто падал от усталости, пристреливали. Приводили новых пленных и гражданское население, колонна шла дальше.

В Траутенау – он никогда не забудет – на окруженное высокой каменной стеной кладбище загоняли пленных для проверки и распределения. Затем гнали в костел, где проверяли, допрашивали, и просто издевались. Пленных набилось до отказа. У алтаря сидели советские офицеры в фуражках. Они смеялись, курили и бросали окурки на заплеванной, испачканной кровью пол. Мимо стола с чекистами, по одному, проводили военнопленных, и офицеры быстро решали их судьбу, отправляя «по назначению». Одних выводили на кладбище для расстрела, других отгоняли в сторону для дальнейшего допроса.

В темноте, в битком набитом костеле Конрад начал разглядывать военнопленных и заметил казаков – они стояли отдельно от немцев маленькими группами.

В толпе слышались крики. Били по голове солдата-кавалериста, у ног его валялась казацкая папаха. Крик, ругань и беспощадные удары. Садистское обращение с казаками, крики, истерические визги

---

\* Предлагаем читателям НЖ главы из нового романа Владимира Батшева «1948». Первая часть романа вышла в издательстве «Литературный европеец» (Франкфурт-на-Майне) в 2020.

чекистов, запах пота и уже загноившихся ран создавали какую-то кошмарную атмосферу.

Казаки держали себя с достоинством. Несмотря на удары – не стонали и отказывались надевать папахи в костеле, в Божьем Доме. Одни молчали даже тогда, когда кровь заливала их лица. Другие что-то громко и ясно выкрикивали. В ответ следовали новые удары.

Конрад старался не поддаваться ужасу, ожидая своей очереди. В костеле не стреляли, но на кладбище слышались выстрелы. Шатаясь, к чекистам подошел раненый немец, танкист, старший лейтенант, и по-немецки рывкнул:

– Почему верующих казаков заставляют в папахах стоять в храме?

Чекист спокойно закурил папиросу и на неплохом немецком языке ответил:

– Мой Бог на меня не рассердится, а на твоего Бога мне насрать...

Рядом с Конрадом стоял сослуживец, Вальтер, они вместе попали в руки русских. Он дрожащим голосом прошептал, что это не коммунисты, а настоящие сатанисты.

Пленные казаки были на всё готовы, но только не на издевательства над Христом Спасителем, не на осквернение алтаря; они не понимали ничего и спрашивали друг у друга: «Почему же это у самого алтаря?»

Ночь пленные провели под крышей костела, а утром их выгнали на кладбище.

Советский офицер, видимо, главный, подал резкую команду, и в сопровождении двух автоматчиков вывели немецкого обер-лейтенанта в черной форме танкиста – того самого, кто накануне спорил с чекистом. На его лице заметны были ссадины, но шел он твердым шагом.

Автоматчики подвели танкиста к стене и отошли назад. По команде остановились, повернулись и взяли на прицел.

– Этот человек попробовал избежать нашего суда и пытался бежать. Именем Советского Союза он приговорен к расстрелу! – закричал чекист, – Огонь по фашистскому гаду!..

– Лебен зи воль, камераден! – крикнул танкист, подняв руку в знак приветствия в сторону пленных.

– Огонь!

Очередь из двух автоматов. Солдаты волновались. Стреляли плохо. Танкист всё еще стоял, но затем его тело медленно повернулось вокруг оси и мягко опустилось на землю. Он был еще жив. Дергалась голова и ноги.

Советский лейтенант бегом бросился к нему, на ходу через зубы матеря солдат. Те стояли молча, опустив дула автоматов к земле.

– Сукины дети! Бабы! Стрелять не умеют, – долетело до Конрада. Он не понимал слов, но догадался, что офицер ругается. Раздалось два выстрела из нагана. В упор, в голову. Тело еще раз вздрогнуло и замерло. Офицер толкнул его ногой, сплюнул и крикнул:

– Собаке – собачья смерть!

Лица пленных казались серыми, как пепел.

Больше Конрад таких кошмаров не переживал. Охрана молчала, над пленными не издевались.

Позже Конрад узнал, что и в других местах устраивались подобные расправы. Узнал, что казаков, которых отделили от немцев, расстреляли на церковном кладбище.

Немцев погнали на восток. На одном перегоне их сменили поляки в своих «конфедератках». Они были грубее русских.

В конце концов Конрад попал в лагерь Лаубан и уже оттуда – в Ростов-на-Дону.

В Ростовском лагере мыкались тридцать тысяч военнопленных. Большинство из них – немцы, но были и финны – больше тысячи человек, и итальянцы, и другие, – и они себя стойко держали. На работы сначала брали румын и итальянцев, потом венгров, и немного позже стали брать из немцев. Жизнь была нелегкая, и когда люди умирали, то лагерь пополняли пленными из других лагерей. Многие говорили, что в Ростовском лагере легче, чем в некоторых других. Когда через полгода Конрад попал на север, он убедился, что так оно и было.

Переводчиком в Ростовском лагере был юноша-немец, тоже из пленных, по фамилии Казак.

Услышав редкую фамилию, Конрад подошел к нему.

– Ты не сын писателя?

– Да.

– Он в издательстве «Фишер» работал?

– И сейчас, наверно, работает, хотя не знаю, есть ли еще издательства в Германии... А вы знали моего отца?

– Знал твоего папашу, носил ему стихи.

– Ну и что?

– Да ничего, не взял. Да я теперь стихов не пишу. Плохие были, со временем понимаешь.

Альвенхаузер давно не писал стихов – война и последующий плен начисто выбили из него эту способность.

Новые реалии окружили Конрада. Нужно было привыкать к плену, к строго охраняемым баракам, к чему за время военной службы никто не был подготовлен. Храбрый солдат неожиданно стал под-

лицом, дрожащий во время атаки боец вдруг открылся как отличный товарищ.

Как-то солдат украл у ефрейтора хлеб. Ефрейтор стал избивать солдата, но Конрад и другие пленные заступились за вора. Они видели, что тот голоден, дошел до предела. Ефрейтор побежал жаловаться.

Пришли охранники – русские и лагерные полицейские, из пленных. Недолго думая, стали бить всех палками, причем особенно усердствовали полицейские.

Альвенхаузер был поражен. Он перехватил палку одного из них и заорал:

– Как ты можешь бить своих? Мы же немцы, как и ты!

Полицейский вырвал палку и со всей силы ударил Конрада. Тот упал.

– Я тебе покажу – «свои»!

Русские посмеивались.

В лагере сформировался новый порядок, новая иерархия из русских надзирателей и их пособников из немецких солдат, которых нужно было остерегаться.

Голод стал главным мучением лагерной жизни. Не плен сам по себе, не колючая проволока, не работа, не теснота, не жара или холод – больше всего страдали от того, что очень мало хлеба, мало жиров и картофеля, от слишком жидкого супа. То немного, что получали заключенные, отличалось непревзойденным однообразием. Хлеб был плохо пропеченный, грубый, клейкий. После уборки капусты многие недели подряд давали только «суп» – вода с капустой. Другой месяц – сваренные в воде зеленые помидоры.

Он вспоминал Ирму и думал, как они были правы, что не завели детей. Как бы она справлялась с ребенком сейчас, одна, без него? До войны она работала у известной летчицы Ханнелоры Вальзер, но Вальзер, наверно, погибла на фронте; Ирма, кажется, ничего о ней не писала. Дом, где жили Ирма с Конрадом, по всей видимости, разрушен бомбежкой – иначе Ирма получала бы его письма и смогла ответить... А может быть, и не смогла бы – письма сюда не доходят. Да и как Ирма узнает его адрес – даже если бы доходили? Он насчитал шесть лагерей, в которых пришлось побывать за четыре года. Но главное, что не один он пишет письма в Германию, но уже полгода никто из немцев не получает ответа. Значит, просто цензура конфискует почту. Или что-то произошло с Ирмой?..

К нему подошел знакомый пленный – кажется, они вместе служили или в плен вместе попали...

– Ты чего мрачный? Куришь?



– Нет.

– Молодец. А то без курева люди с ума сходят. Есть хочешь? На, возьми, – он протянул Конраду корку хлеба.

– Спасибо, – Альвенхаузер впился зубами в неожиданный подарок.

– Мы с тобой оба фронтовики, а здесь куча тыловых. Среди них много всякой дряни.

– Это точно, – согласился Конрад, дожевывая корку.

– Вот и я говорю. Мы воевали, а они в тылу отсиживались. Ты ничего подозрительного не замечал? Ну, кого-нибудь из СС, переодетого? А? Или из армии Власова? Знаешь, здесь спрятались... Если чего заметишь или узнаешь, сразу мне скажи. Мы с тобой однополчане, должны помогать друг другу.

– А зачем тебе? – не понял Альвенхаузер.

– Я с советскими товарищами связь установил... С коммунистами. Я тоже был коммунистом, ну, давно, еще до войны; меня в армию, как политически неблагонадежного, не брали, потом зачислили в батальон связи... неважно! Они обещали помочь, если узнаю про...

– Ах, ты, гадина! – понял Конрад и схватил вербовщика за горло. Но тот оказался сильнее и ударом отшвырнул Альвенхаузера.

На другой день в барак вошел один из лагерных полицейских:

– Ты, ты, и ты – указал он на Конрада, – и вы оба – с верхних нар! Собирайтесь. Вас переводят в другой лагерь.

## TEL AVIV. ОЛОНЕЦКИЙ

Он помнил почти все, что произошло, пока не вылез на набережную и не получил удар прикладом в грудь.

В памяти только отрывки –

его волокут по асфальту...

пытается встать и получает удар ногой в спину...

падает...

полицейский участок, выбеленные стены...

он на полу...

парень, который на палубе держал пулемет, объясняет...

залитое кровью лицо Рашели...

палуба «Альталены», тяжелый металл палубы...

пули звякают о металл...

его отрывают от Рашели...

кричат на непонятном языке...

он выставляет руку, и руку заламывают назад...

голос на английском: «Вы арестованы»...

рука болит, но держит миску с вареными бобами, политыми соленым и вкусным соусом...

в здоровой руке алюминиевая ложка, похожая на ту, что была у него на фронте...

Молодой солдат, подпоясанный брезентовым ремнем (кожаных, наверно, нет, подумал Джордж) вывел Олонецкого в большое, удивительно светлое, необыкновенно просторное помещение, где кто-то знакомый помахал ему рукой.

...Что-то неприятное связано с этим человеком, но кто он – не помню; я его знаю, и он меня знает...

– Здравствуйте, сержант Олонецкий, не думал, что увидимся через столько лет.

Джордж не узнавал, рассматривая его волосы – светлые, каштановые...

...помнит меня по войне, но кто же он...

– Я не сержант, – только и произнес.

– Неважно! Я помню вас сержантом. Я работаю в американском консульстве.

– Я американский гражданин, – сказал Джордж.

– Несомненно. Что вы делали на «Альталене»? Еврейские власти считают его мятежным кораблем, а всех, кто на нем плыл, – инсургентами, то есть мятежниками.

Олонецкой узнал, наконец, человека из консульства.

– Майор Торстен! Мы с вами вместе служили...

Тот улыбнулся.

– Он самый. Но вы не сержант, а я уже не майор. Так что вы делали на «Альталене»?

Олонецкий секунду раздумывал.

– У вас есть связь с Вашингтоном?

– Есть.

– Тогда запросите в Пентагоне отдел Г2, вам объяснят, почему я был на корабле. И нельзя ли мне переодеться...

Торстен, видно, разочарован. Однако кивнул.

---

\* «Альталена» – танкодесантный корабль ВМС США, построенный для высадки десанта в Нормандии при открытии союзниками Второго фронта в 1944 году. После войны был продан еврейской сионистской организации «Иргун Цваи Леуми» (во главе с М. Бегоном). В середине июня 1948 года, в начале Войны за независимость в нарушение условий четырехнедельного перемирия, доставил для «Иргуна» партию оружия и группу из 940 репатриантов. В результате возникшего конфликта был обстрелян и потоплен Армией Израиля в порту Тель-Авива 22 июня 1948 года. В первой части романа этому эпизоду посвящено много страниц.

У Олонецкого болела голова, но когда через два дня его привели в пустую огромную комнату, где снова оказался Торстен, боли в голове исчезли. Словно их не было.

– Вы свободны, Олонецкий, – сообщил бывший майор. – Более того, сегодня вы улетите домой. Из Лодда летит самолет.

Джордж слышал голос Торстена издалека, словно из радиоприемника.

– У меня все вещи и деньги остались на корабле, – сказал он.

Торстен поморщился.

– Корабля больше нет. Забудьте о нем. Я привез вам деньги и одежду. Переодевайтесь.

– Как нет корабля? – не понял Джордж.

– Его потопили. Я не могу вам всего рассказать. Политические игры...

Джорджа интересовало другое.

– А люди?..

– На «Альталене» убито шестнадцать человек. Всех, кого выловили в воде и на берегу... И трое солдат армии обороны Израиля. Их похоронили. Вы, слава Богу, живы. Вам нельзя оставаться здесь. Идет война. Перемирие заканчивается. Арабы накапливают силы. Ваше начальство ждет вас с докладом. У самолета две посадки. Первая в Алжире.

Джордж с наслаждением переоделся в свежую рубашку и брюки. Пиджак оказался на размер больше, но так даже лучше. Брюки подерживали подтяжки, а не ремень.

– Спасибо, – искренне поблагодарил Торстена.

– Всегда рад помочь соотечественнику, – сухо ответил тот.

Олонецкий хотел что-то спросить, но передумал и не произнес ни слова, пока Торстен вез его на машине на аэродром; они молча пожали друг другу руки, и Джордж занял свое место у иллюминатора. Сухая еврейская земля, политая кровью, отскочила неожиданно в сторону и осталась внизу. Джордж тупо смотрел на облака, потом задремал, пока не проснулся от толчка – самолет произвел посадку.

И снова серые облака за окном.

И снова посадка, и снова он пил теплый невкусный кофе, а потом заснул – уже надолго, а когда проснулся и посмотрел на часы, оказалось, что прошло целых шесть часов.

## WASHINGTON, D.C. ОЛОНЕЦКИЙ

В аэропорту ждал брат Олег. Самый близкий родственник.

Он усадил Джорджа в машину, в новый «форд», и повез в свой

дом. Вокруг всё было новым, свежим, или Джорджу так только казалось – всё вокруг новое!

Он не узнавал окрестностей, хотя долгое время жил у брата.

– Здесь, кажется, раньше была спортивная площадка.

– Ну да. Ты помнишь? Только теперь здесь большой магазин.

– Как же! Мы с тобой играли в баскетбол. Столько нового... а здесь, кажется, было поле.

– Вспомнил! Новый поселок, дорогие дома, каждый с бассейном во дворе и гаражом на две машины...

– Две машины?

– Ну да. Одна – мужа, другая – жены.

– А если у них сын или дочь?

Олег засмеялся.

– Тогда гараж на три машины.

– Или на четыре.

Брат внимательно посмотрел на него.

– Тебя *там* не подстрелили, Юрка?

– Бог миловал.

– Ты изменился за время, что я тебя не видел.

Тот усмехнулся.

– Точно... Помнишь, как ты приехал в тридцать восьмом году? Такой же сумасшедший.

Ему не надо вспоминать.

Брат Олег представил Джорджа своей новой собаке:

– Это свой... Это мой брат, понял?

Большой белый пес внимательно рассматривал Джорджа. Потом обошел его кругом, обнюхивая.

Олег радовался.

– В нем десять кровей, это очень редкая и необычная порода, Юрка. Он – аргентинский мастиф. Его деды охотились в Аргентине на ягуаров. Представляешь, какой боец? У него в крови бультерьеры, мастифы, бульдоги, боксеры, немецкие доги, пойнтеры... Одним словом, десять кровей!

Джордж, зная братнины слабости, лениво улыбался.

– Красивый пес. Не спорю, красивый. Окрас необычный – просто альбинос, но ты же знаешь, я равнодушен к животным.

– Зато к женщинам нет, а? – подмигнул брат.

Джорджа как ударило – он вздрогнул. И лицо Рашели в крови выплыло перед ним.

Брат взял его за плечи.

– Что с тобой, братишка?

Тот отвел его руки.

– Не надо так, не надо. Она держала меня за шею, мы плыли, а вокруг шлепались пули... До сих пор ее рука ...– он положил ладонь на плечо, – вот здесь. Потом...

Он замотал головой.

– Выпьем? – предложил брат.

– Выпьем, – согласился Джордж.

Собака пошла следом за ними на веранду, улеглась в углу.

Потом они обедали. Жена брата сказала, что оставляет их для мужских разговоров, а ей надо в город, к подруге, и братья понимающе переглянулись, а когда она ушла, то выпили еще по одной.

Олег отложил вилку:

– Мне один человек, ну, чиновник из Госдепа, рассказал странную историю. Он сослался на тебя – дескать, ваш брат во время войны обнаружил архив...

Олонецкий оторвался от своих мыслей.

– Да. Архив НКВД из Смоленска. Неужели помнят?

– Помнят. Он почему-то считает тебя специалистом.

– Меня? – Джордж засмеялся. – Специалистом по архивам?

– Специалистом по России.

– Только потому, что я оттуда родом? Так ты тоже оттуда! Или Сикорский, который гидросамолеты... Кстати, потом перешел на вертолеты...

– Вертолетами они нынче зовутся.

– Какое ты слово старое вспомнил – *нынче*! Хм... я и забывать такие слова стал... Так, может, они не меня, а тебя...

Олег покачал головой.

– Тебя, Юрка, тебя. А вот почему – тебе видней.

– Из-за нашей родословной? Князей у них не густо в Госдепе...

Олег снова овладел вилкой, вертел ее между пальцами.

– Не думаю. Я и забыл наши титулы за тридцать лет... Они же не меня считают специалистом, а тебя.

– Они – это Госдепартамент? Положи вилку.

– Что тебе далась моя вилка? Я еще ем. Это и Госдепартамент, и ЦРУ, и армия, откуда ты собрался уходить. Тебе фамилия Дон Левин ничего не говорит?

Джордж на секунду задумался.

– Кажется, нет...

– Журналист.

– А!

– Ничего не «а». И даже не «бэ». Он писал о советах, о Сталине, о колхозах.

– Что-то мелькает, – напряг память Джордж.

Олег насмешливо сжал губы и отложил многострадальную вилку.

– До войны он выпустил книгу.

– Что-то припоминаю.

Брат улыбнулся.

– Ничего ты не припоминаешь. Ты тогда только приехал из Европы, рассказывал про Испанию... Дон Левин написал вместе с советским агентом... Ах, давняя история... Советский агент какой-то, убежал от Сталина, написал книгу, ну, Дон Левин помог ему ее обработать... Потом его, конечно, застрелили...

Джордж неожиданно вспомнил.

– Ты мне ее показывал! Красные буквы на белом фоне...

– Ну вот. Конечно показывал, она где-то у меня валяется – на полках или в подвале в ящиках со старыми книгами и журналами... Сейчас ее не найду.

Джордж расцвел в улыбке.

– «Я был агентом Сталина», вот как она называлась.

Олег восхищенно развел руками.

– Ну и память у тебя, Юрка! Может, за память тебя и приглашают на новую работу?

– Значит, меня приглашают, а я еще служу в армии и ничего об этом не знаю?

Олег скорчил гримасу.

– Это значит, что с твоим армейским начальством всё согласовано.

– Погоди, а причем здесь Дон Левин?

– Не знаю, но он каким-то образом завязан в этой истории.

Вечером он вернулся позже брата. Свояченица усадила за ужин.

– Лидя, – обратился к ней Джордж, – я забываю спросить: а где мои племянники?

– Слава Богу, вспомнил, – подавая тарелки сказала женщина. – Они в летнем скаутском лагере.

– Уже скауты? Замечательно. – он повернулся к брату. – А как твоя фирма?

Брат подозрительно посмотрел на Джорджа – дескать, откуда и зачем подобный вопрос.

– В фирме всё, как прежде. Собираемся открыть филиал в Сан-Франциско. Не хочешь его возглавить? Дело тебе знакомое – туристическое агентство...

Свояченица вышла на кухню.

– Соблазнительно, – принялся за еду Джордж. – Но мне предло-

жили не менее соблазнительную работу. Аналитиком в агентстве нацбезопасности.

– Первый раз слышу о таком агентстве, – искренне удивился Олег.

– Они занимаются радиошпионажем.

– А! – понял по-своему Олег. – Подслушивают чужие радиопереговоры.

Джордж кивнул:

– Почти угадал. Как ты понимаешь, любой шпионаж подразумевает и контршпионаж.

Олег уставился на брата.

– В каком смысле?

– В прямом. Меня приглашают аналитиком. Кто-то им сказал, что у меня аналитические способности! – он засмеялся. – Я думал, что такие только у математиков. А я с математикой всегда был на ножах.

– Наверно, вспомнили про твою память.

– Может и так. Но они имеют прямое отношение к армии, а я решил покинуть ее ряды. Не забывай – я подарил ей пять лет. Имею я право на гражданскую службу?

– Имеешь. Считай, уже ушел из армии. Не нужно тебе агентство национальной безопасности. Я говорил о тебе с нашим соседом, – он кивнул в сторону.

Джордж повернул голову, но ничего, кроме летней листвы, не увидел.

– Третий дом от нас, – пояснил Олег. – Он конгрессмен. Его в прошлом году избрали. Он член комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

– Ага, – понял брат.

– Вот именно – «ага»», – передразнил Олег. – Ему нужен помощник со знанием иностранных языков.

– Опять на госслужбу... Наверно, хорошо будет платить твой сосед, а?

– Думаю, не обидит.

– Если не обидит, я согласен.

– Его зовут Ричард Никсон. Что будешь пить? У меня есть хорошее итальянское вино.

Джордж задумался.

– Хорошее... но мне неинтересно итальянское вино. Извини. Оно меня тупит вместо того, чтобы веселить. Водка прочищает мозги, коньяк заставляет думать, виски растормаживает инстинкты. Французское и испанское вино – веселят. А вот итальянское – тупит.

Олег усмехнулся.

– Значит, будем пить бордо. У меня есть и оно.

Джордж причмокнул.

– Вспомним Францию. Я очень тебе благодарен. Как тогда, в тридцать восьмом. Мне было чертовски неуютно после Испании.

Олег снова взял вилку и нацелил ее на сардинку.

– Давай тогда выпьем за Испанию.

– Давай. Только неси испанское вино. Если оно у тебя есть.

Олег покачал головой.

– Есть, дорогой, у меня есть всё.

## TOLEDO, ИСПАНИЯ 1936. ОЛОНЕЦКИЙ

### *Flashback*

Это случилось в июне, когда мы с Колей Зуевым поехали в Испанию. Зуев старше меня на десять лет, он воевал у Деникина, но мы приятели, я зову его Кока, а он меня Жоржиком. Познакомились мы на заводе Ситроена. Я служил там полтора года переводчиком, а Зуев на сборке готовых автомобилей. Часто после работы заходили в кафе опрокинуть по стаканчику. Кока так и называл: «дружеский стаканчик». Когда Ситроен в очередной раз разорился, мы оказались безработными.

В Толедо у Зуева служил старый полковой товарищ, который обещал устроить нас на работу.

В Испании произошла в то время очередная революция, повсюду шли митинги, демонстрации, выборы, мерзкие красные флаги напоминали о России. Но мы старались не обращать на них внимание и держать язык за зубами. Все-таки мы иностранцы, и кто знает, какая реакция последует в ответ.

Железные дороги работали безобразно, но мы как-то добрались до Толедо.

Приятель Коки служил преподавателем в военной школе, вроде нашего юнкерского училища. Она располагается в Альказаре – старой крепости в городе. Он договорился с начальником школы, бывшим военным комендантом Толедо Москардо, что Зуев прочтет курсантам несколько лекций.

Представить Зуева в роли преподавателя мне было трудно, и я допытывался у него: что за лекции? На что Кока спокойно отвечал:

– Расскажу, как мы красных гоняли под Орлом и под Курском.

– Ты думаешь, испанцам будут интересны твои российские страсти?

– Думаю, да.

Мне досталась должность переводчика при Зуеве. Но оказалось,



что не только при Зуеве. В школе в качестве наглядных пособий существовало несколько французских пулеметов системы Гочкиса. Инструкции к ним на французском языке, разумеется. Мне пришлось переводить на испанский.

Я оказался единственным штатским в военной школе. Сначала чувствовал себя неуютно, но потом, когда на меня перестали обращать внимание, и я перестал обращать внимание на ухмылки и насмешки.

Признаюсь, меня совсем не интересовало происходящее в Испании. Девушки Толедо вызывали интерес. Мы с Зуевым обменивались новостями.

– Ну-с, как дела, шпак Жоржик, на лирическом фронте?

– На фронте, милый Кока, наше наступление увенчалось успехом.

Разливая «риоху», Зуев благожелательно кивал головой.

– Судя по тому, что пришел ты в начале восьмого утра, победа тобой одержана.

Затем победа уже не на лирическом фронте, а на выборах Народного фронта, каникулы в военной школе, окончание нашей работы и – «над всей Испанией безоблачное небо»...

Мы с Кокой попали, как кур в ошип, в генеральский мятеж.

В Толедо мятеж подавили, в военных казармах местные красные расправились с офицерами – их просто выбрасывали из окон. Все, кто успел, бежали к нам, то есть в Альказар.

Курсанты разъехались по домам, но в крепости оказалось около полторы сотни офицеров, столько же солдат, национальные гвардейцы, фалангисты, и мы с Кокой – всего около тысячи человек.

Почему мы остались, а не уехали домой? Да, мы – иностранцы. Да, то, что происходит, – внутреннее дело испанцев. Но – мы белые, а не красные, мы не большевики. Мы проиграли в борьбе у себя на родине. Почему мы должны беззаботно смотреть, как московские большевики в другой стране хотят насадить свои порядки? Мы не можем стоять в стороне! Если победят красные, то начнется большевизация Европы.

Мы с Зуевым никуда не уехали, а пошли к коменданту и сказали, что остаемся. Он даже не удивился, а только кивнул головой. Он, наверно, даже не знал, что Зуев – опытный солдат, а я – князь, то есть человек из старого и благородного рода. Он, наверно, думал про нас как про иностранцев, которые работают в военной школе.

Москардо запер ворота и отказался сдаться красным.

Замок стоял на скале, стены толстые, трехметровые, – что нам могли сделать простые винтовки? У нас позиции, как сообщил мне

Кока, по всем правилам: на крепостных стенах – мы, словно средневековые рыцари, а в окнах замка – пулеметные гнезда для тех пулеметов, инструкции к которым я недавно переводил. А красные и воевать не умеют, считали мы.

Ну, действительно, смотрите: подход к училищу – один, со стороны площади. Вся площадь была под нашим огнем, под аркадами всё перебито, пули прыгали по грудам стекла и поднимали мелкие тучки пыли. Посреди площади стояли два сожженных автомобиля, кажется, «ситроены».

Площадь со всех сторон огорожена баррикадами. За ними в мягких плюшевых креслах и в качалках, как в театре, сидели анархисты в красно-черных шапках, с красно-черными галстуками.

Пальба началась, когда к баррикадам подошла группа кинооператоров и репортеров. Они несли штативы, осветительные приборы, несколько камер. Несколько фотографов с разных сторон снимали эту процессию. Потом велели анархистам стать в позу – выставить руку с пистолетом, поднять винтовку, приложиться к ней, выстрелить.

Мы подумали, что начинается атака, и начали отстреливаться.

На другой день красные решили поджечь Альказар. Именно так. Облить со всех сторон бензином, поджечь и во время пожара захватить училище.

Привезли пожарные цистерны, наполненные бензином, начали поливать стены, подожгли... стали разбегаться. В результате запылали цистерны и сами анархисты.

Ну, просто театр какой-то, а мы с Кокой – участники спектакля!

Сегодня с утра – новое действие в пьесе, и все опять страстно принимают участие. Красные согласились пропустить в Альказар священника – то ли для переговоров о перемирии, то ли о выдаче заложников, то ли для отпущения грехов перед смертью.

Из Мадрида привезли каноника кафедрального собора отца Камараса. Вот он идет в сопровождении целой орды – офицеров, дружинников, начальников и болельщиков, репортеров, фотографов и просто празднующихся. Отец Камарас в пиджаке, обшитом шелковой тесьмой, в крахмальном воротничке, с большим белым кружевным платком в руках, похож на доктора. Он не знал, как держаться. В правой руке у него распятие, за левую ухватился лохматый красный офицер без фуражки. Священник вошел по обломкам через трещину в стене.

Стрельба прекратилась, пришедшие на площадь не расходились, ждали, чем кончится «перемирие».

Из училища спустилась группа солдат и трое молодых офицеров, вчерашних курсантов. Они вышли через пролом в стене и оста-

новились в двадцати шагах от дружинников и горожан. Обе стороны смотрели друг на друга молча, с огромным интересом, ожидая, чем закончатся переговоры, затем один из солдат неуверенно сказал:

– Прямо смерть без табака!

Тотчас же двое дружинников вытаскивают бумажные пачки с сигаретами. Другие вслед за ними лихорадочно шарят в карманах и ищут табак. Все в крайнем азарте; видно, что каждый будет по-детски неутешен, если не сможет потом похвастаться, что дал осажденным покурить. Сержант вмешивается в это дело: он разрешает только двоим присоединиться к нему и подойти к нашим с сигаретами.

Они отрывисто переговариваются:

– Сдавайтесь! Вас обманули! Переходите к нам, к правительству!

– Не дождетесь!

Офицеры, довольно истощенные на вид, обрывают разговор:

– Вы думаете купить их за пачку сигарет? Это не выйдет.

Молодой парень из осажденных, с обвязанной грязной тряпкой головой, бормочет негромко:

– Нам всё равно, кто нас расстреляет...

Сержант повысил голос:

– Это вранье! Это ложь! Правительство не расстреливает солдат-матежников, которые добровольно складывают оружие. Мы наказываем только вожаков, фашистских зачинщиков. Вас обманывают! Солдаты, образумьтесь! Схватите ваших тюремщиков и выйдите из Альказара! Мы давно разгромили бы вас и уничтожили, если бы не наши жены и дети, которых вы держите заложниками. Но поверьте: еще день-два – и терпение наше кончится. Если мы пожертвуем жизнью дорогих нам людей – поймите, как ужасна будет расправа с вами.

Один из наших солдат крикнул:

– Зачем это всё? Зачем разрушать Испанию?

Дружинники хором, наперебой отозвались:

– Кто же ее разрушает? Это вы ее разрушаете, негодяи, бляди генеральские!

Начинается перебранка. Переговоры закончились ничем.

В кабинете коменданта полковника Москардо зазвонил телефон. Из губернского управления говорил начальник милиции Толедо. Запись разговора сохранилась.

*Начальник милиции.* В истреблении людей и творящихся преступлениях виноваты вы. Я требую, чтобы в течение десяти минут Альказар сдался; в противном случае расстреляю вашего сына Луиса, находящегося здесь, в моей власти.

*Полковник Москардо.* Не верю.

*Начальник милиции.* Чтобы вы убедились, что это правда, ваш сын подойдет к аппарату.

*Луис Москардо.* Папа!

*Полковник Москардо.* Что, сын мой?

*Луис Москардо.* Ничего. Говорят, что меня расстреляют, если Альказар не сдастся.

*Полковник Москардо.* Тогда вручи свою душу Богу, крикни «да здравствует Испания!» – и умри, как патриот.

*Луис Москардо.* Целую тебя, папа.

*Полковник Москардо.* И я крепко тебя целую, сын мой. (*Обращаясь к начальнику милиции:*) Можете сэкономить время, данное мне, потому что Альказар никогда не сдастся.

Через несколько дней Луис Москардо был расстрелян.

На другой день над замком появились два самолета, которые сбросили бомбы. Одна разорвалась во флигеле, где мы с Зуевым жили месяц назад, другая на крепостной стене, еще две упали в городе.

В «Возрождении» я прочитал о процессе и казни в Москве Зиновьева и Каменева.

Мы с Кокой заспорили.

– Эти люди уже давно не играли никакой роли в красной Москве, их исчезновение ничего не изменит. Я тебе скажу, что история повторяется.

– Ага, значит, русский «термидор»?

– Нет, Кока, скорее, расправа Робеспьера с Дантоном и Демуленом.

– А стихи Горянского хороши! Ты только послушай, – он стал вслух читать:

Спасибо Сталину;  
Шестнадцать подлецов  
Отправились в страну отцов –  
Шестнадцать палачей родного края...

Тебе от нас привет.  
Небесный свод сегодня синь и ярок.  
Ты нас вознаградил  
За скорби многих лет.  
Хвала тебе за щедрый твой подарок!

Хвала!  
Что там шестнадцать!  
Еще дай сорок  
И сотни дай,  
И тысячи давай,  
Мост намости без тёса и без свай  
Через Москву-реку  
Из падали советской.

Я в ответ:

– Не по-христиански радоваться казням, пусть и таких гадов.

Кока говорит:

– Перестань, Жоржик. Мы бы сами их повесили без колебаний.

А ведь Кока прав. Родители рассказывал, как Зиновьев свирепствовал в Петрограде, еле ноги унесли – сначала в Харьков к тетке Дарье, потом в Крым...

Нашу дискуссию с Кокой прервали красные, которые притащили две пушки и открыли огонь по училищу. Мы слышали каждый выстрел их орудий, но почему-то снаряды перелетали через наши головы и даже не разрывались.

– Да у них снаряды холостые! – обрадовался кто-то из солдат, и тут же снаряд разорвался, ударившись в стену.

– Ну что Кока, похоже на Крым? – подначивал я друга.

Кока не поддавался.

– Похоже. Так же пули свистят. Но здесь жарче.

Лейтенант приказал всем надеть каски. Мы стали прислушиваться к выстрелам.

Ничего не понимаю!

– Кока, мне кажется, что...

Снова разрыв снаряда, правда, не рядом, а где-то в другом месте.

– Когда кажется – крестятся, – ответил Кока.

– Жаль, не вижу этих пушкарей, – подал голос один из солдат, – перещелкал бы их за милую душу...

– А что они сделают с нами, если ворвутся сюда? – спросил другой солдат.

– Яйца отрежут, – равнодушно ответил стрелок.

– Как отрежут? – не поверил тот.

– Ножом, – уточнил стрелок и захохотал.

– Ты шутишь, – снова не поверил солдат.

– Когда отрежут – будет не до шуток.

Я продолжал прислушиваться.

– Стойте! Тише! Давайте считать – мне кажется, что только третий снаряд разрывается.

Солдаты замолчали. Мы услышали:

– Один...

– Второй...

Какие-то болванки ударили в стены, как молотком.

– Третий...

Раздался взрыв.

– Ты прав, Жоржик, – согласился Зуев, – у них половина снарядов дефективные...

Лейтенант вернулся с биноклем и стал изучать позиции красных.

На другой день после обстрела лейтенант похвалил меня:

– Джордж прекрасно вел себя во время вчерашнего обстрела. Я ходатайствовал перед командиром гарнизона, чтобы его официально зачислили в наши ряды.

Мне выдали карабин системы «Маузер», пояс с пряжкой с национальным гербом, два подсумка с 70 патронами. Лейтенант показал несколько ружейных приемов. Кока смотрел и улыбался.

26 сентября войска генерала Хосе Варела перерезали дорогу на Мадрид. К полудню следующего дня начался штурм Толедо. Республиканцы спешно отступали.

27 сентября изможденный Москардо отпрапортовал Вареле: «В Алькасаре всё спокойно, мой генерал».

## USA. КЛИВЛЕНД, ШТАТ ОГАЙО, ИЮЛЬ. ВАРЛОВ

Писатель Хемингуэй в своем романе дал мне фамилию Варлов.

Что ж, фамилией больше, фамилией меньше – не столь важно.

То, что меня когда-то звали Лейбой, а моего отца Лазарем, помнила, наверно, только моя жена.

Даже я забывал свое имя за длинной серией имен и фамилий, которые приходилось носить. Так и теперь, переменив в очередной раз место жительства и сменив паспорта на те, что хранились в тайнике, мы превратились в мистера и миссис Брентон.

Надеюсь, что рука Москвы не дотянется до Кливленда, как она не дотянулась до меня еще в Испании.

## MADRID 1936. ВАРЛОВ

### *Flashback*

В начале сентября 1936 года моя подруга Лиза поставила вопрос

ребром: или я бросаю семью и ухожу к ней, или она так хлопнет дверью, что я запомню на всю жизнь.

Я улыбнулся и сказал, что семью никогда не оставляю, и пусть меня не пугает: в моем кабинете двери обиты толстой кожей, и никакого хлопка не получится.

Лиза работала в нашем наркомате, только на другом этаже. Она сжала губы, аккуратно закрыла дверь, вышла на Лубянскую площадь и тут же, у дверей НКВД, застрелилась. Действительно – «хлопнула дверью»...

Чтобы замаять скандал, начальство решило сплавить меня куда-нибудь подальше – пока страсти утихнут: как говорится, с глаз долой.

9 сентября 1936 года я получил исходящее от Политбюро распоряжение: отправиться в Мадрид в качестве представителя Кремля при испанском республиканском правительстве. Официально я значусь политическим советником в полпредстве.

Мое задание состояло в организации разведки и контрразведки, которые могли бы противостоять франкистам и стоящим за их спиной итальянцам и немцам. Другая задача – организовать в тылу противника партизанские и диверсионные отряды. Знакомая работа! Мне приходилось заниматься этим летом двадцатого года. Я служил в 12-й армии и создавал подобные отряды в польском тылу.

Абсолютно не готовые к войне республиканские части, состоящие из отрядов народной милиции, отступали перед регулярной армией мятежников.

Нам обоим – и мне, и главному военному советнику Берзину – приходилось делать общее дело: организовывать людей на борьбу. С мадридских улиц стали исчезать люди в военной форме, которых было много еще неделю назад. Одни шли на фронт, другие гуляли в пиджаках с цветными платочками в верхнем кармашке. Что ж, ясно, кто остался.

Правительство решило выехать в Валенсию – там спокойнее. Действительно, что ему оставаться в Мадриде? Война в представлении многих проиграна, раз Толедо уже взят. Думать иначе может только тот, кто надеется на чудо. А что такое чудо? Как можно обороняться с такими войсками, с таким командованием, когда Мадрид не укреплен, когда нет никаких фортификационных сооружений, когда он открыт со всех сторон со всеми своими миллион-ста-тысячами жителей?

Ко мне зашел приехавший вчера Михаил Кольцов из «Правды», а «Правда» – главный партийный орган. Если я – глаза Хозяина, руки его и мозг, то Кольцов – аналитик. Он знал меня под псевдонимом Швед, но догадываюсь, что ему сообщили и фамилию Варлов. Впрочем, он никогда ее не упоминал.

– Вы верите в чудо? – спросил он.

– Чудо? – удивился я. – Нет. Чтобы отстоять Мадрид, надо сто самолетов, сто танков, две дивизии с пулеметными взводами на каждую роту, вырыть окопы вокруг города, траншеи и блиндажи, соорудить минные поля.

– Если бы мы здесь имели сто самолетов, сто танков и даже одну дивизию из Белорусского военного округа, то смогли бы уже дойти до Севильи, до португальской границы.

– Я окончил военную академию, товарищ Кольцов, – сухо пояснил я.

Он усмехался иронически, покусывал карандашик, думал о своем.

– А еще что нужно для чуда, товарищ Швед?

– А еще почистить город, – продолжал я. – Выслать тридцать тысяч фашистов. Расстрелять тысячу бандитов и две тысячи буржуев. Закрыть все кабаки и притоны.

– Да вы политик, товарищ Швед! – всё с той же нехорошей усмешкой сказал он.

– Такая у меня работа, товарищ Кольцов, – закончил я аудиенцию.

Кольцов ушел, а я лишний раз понял, что с ним надо держаться осторожно – он понимает все намеки, все недомолвки, всё мотает на ус, которого у него нет, – бредется чисто.

У меня пока мало людей, но скоро мы организуем здесь свой НКВД. Правда, пусть сначала это будет ВЧК – с теми же полномочиями и внесудебной расправой с изменниками. А то получается полнейшая чепуха! Фашисты пролезают во все щели. Мне рассказывали, как в Лериде жена расстрелянного фашистского генерала заявила, что хочет искупить на фронте грехи мужа. Местные мудрецы надумали (или послушались хитрого совета), что будет осторожнее использовать ее не на фронте, а в тылу. И устроили в канцелярию народной милиции. Через три дня «раскаявшаяся» вдова исчезла со списками милисианос.

Ночью ко мне в номер постучали. Я вскочил с пистолетом – всё может быть...

Опять Кольцов вместе с молодым парнем из «Юманите».

– Что случилось? – глядя на их перекошенные лица, спросил я.

– Нужна ваша помощь, – пояснил Кольцов.

Что же оказалось?

Корреспондент «Юманите» неплотно закрыл штору, несмотря на предписание всем жителям о светомаскировке против воздушных налетов авиации мятежников.



Мимо шел патруль и, заметив луч света, выстрелил. Затем пришел и сам патруль, начался переполох с выяснением личности, проверкой документов, руганью.

На шум проснулся и прибежал Кольцов. Стали требовать документы и у него. Он со свойственным ему нахальством отказался их предъявить, заявив, что «его здесь все знают». Просто лень было идти за документами.

Забрали обоих до выяснения.

Единственное, на что согласился патруль, – дойти до меня и выяснить ситуацию.

– Я знаю товарищей, – сказал я патрульным, показав свое удостоверение, подписанное премьером и военным министром.

Патрульные с уважением вернули документ и козырнули.

Когда они ушли, я сказал Кольцову:

– Здесь не Москва, товарищ Кольцов, и вашего имени недостаточно, чтобы хлопотать за нерадивого коллегу, пусть даже из коммунистической газеты...

– Ничего, – заверил он меня, – дайте только срок, и меня здесь будут знать от стара до мала.

– Срок дать – не проблема, – кивнул я.

Он засмеялся, оценив мою глупую шутку: срок у нас получить теперь можно запросто. У нас – в смысле в СССР. Но в Испании, надеюсь, мы еще передадим местным товарищам опыт борьбы.

Они уже приобретают опыт, наш опыт. Вчера расстреляли двести представителей буржуазии – всех этих адвокатов, журналистов, профессоров, литераторов, которые пусть не откровенные враги республики, но потенциальные противники, значит, могут принести вред своим критиканством, сплетнями, болтовней.

В тот день шифровальщик постучался рано.

Сначала он принимал радиogramмы, расшифровывал их и только потом приносил мне.

Что-то случилось, раз он принес всё сразу.

– Товарищ майор госбезопасности, – официально обратился он ко мне. – Вам телеграмма спецшифром.

Я напрягся. Я знаю, *кто* посылает мне телеграммы спецшифром.

– Оставьте шифровальную книгу и идите, – приказал я.

Думаю, шифровальщик тоже знал, *кто* может послать мне *такие* телеграммы. И боялся одной мысли о том, что он знает.

Замечательно!

Как же Хозяин держит в страхе всю страну, что одна мысль о

том, что его непосредственному начальнику посылает телеграммы сам, заставляет подчиненного дрожать от страха?

Великий человек Сталин.

Великий диктатор.

А я – его рука в Испании.

*Совершенно секретно.*

*Мадрид. Шведеу*

ПЕРЕДАЮ ВАМ ЛИЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ХОЗЯИНА.  
ЕЖОВ

НА ВАС ВОЗЛАГАЕТСЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УСПЕХ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ. РОЗЕНБЕРГ СООТВЕТСТВЕННО УВЕДОМЛЕН. ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

По мне как бы он ни подписывался – Иван Васильевич, Иосиф Виссарионович, всё равно – Хозяин.

Франкисты стоят в нескольких десятках километров от Мадрида. Положение республики ухудшается. Гражданское население покидает столицу, правительство готовится последовать за ним.

А товарищи из ЦК Испанской компартии ликуют. Меня вчера чуть не задушили в объятиях, когда я заехал к ним. Педро Чека, самый сдержанный из них, воскликнул:

– Такой радости мы просто не ожидали!

Я ничего не понял, посмотрел на других. Хосе Диас, светясь глазами, добавил:

– Нам ничего на свете не страшно!

У меня был, наверно, дурацкий вид, потому что ко мне подошла Долорес, улыбаясь:

– Да он ничего не знает! Как замечательно! Читай!

Она протянула мне телеграмму, которую ЦК КПИ получил из Москвы.

*Мадрид. Центральному Комитету*

*Коммунистической партии Испании*

*Товарищу Хосе Диасу*

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЫПОЛНЯЮТ ЛИШЬ СВОЙ ДОЛГ, ОКАЗЫВАЯ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ РЕВОЛЮЦИОННЫМ МАССАМ ИСПАНИИ. ОНИ ОТДАЮТ СЕБЕ ОТЧЕТ, ЧТО ОСВОБОЖДЕНИЕ ИСПАНИИ ОТ ГНЕТА ФАШИСТСКИХ РЕАКЦИОНЕРОВ НЕ ЕСТЬ ЧАСТНОЕ ДЕЛО ИСПАНЦЕВ, А ОБЩЕЕ ДЕЛО ВСЕГО ПЕРЕДОВОГО И ПРОГРЕССИВНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. БРАТСКИЙ ПРИВЕТ! И. СТАЛИН

Я поздравил товарищей, но мне очень хотелось сказать: «Товарищ Ибаррури! Товарищ Сталин, конечно, желает вам победы. Но когда желают победы, не приказывают увезти испанский золотой запас в СССР».

Однако я ничего не сказал, а поехал к полпреду Розенбергу – раз ему тоже была телеграмма, надо обсудить.

Золотой запас испанцев – 140 миллионов фунтов стерлингов. Все попытки правительства Испании закупить оружие у «Виккерса» в Англии, у «Шкоды» в Чехословакии, у немецких фабрикантов встречали противодействие. Существует политика невмешательства в испанские дела. Советский Союз 28 августа тоже подписал запрет на «экспорт, реэкспорт и транзит в Испанию любых видов оружия, боеприпасов, самолетов и военных кораблей».

Но это – для международного общественного мнения.

Сталин считает, что старая Испания кончилась, а новая должна примкнуть или к итало-германскому лагерю, или к лагерю его оппонентов. По его убеждению, ни Франция, ни Великобритания не согласятся с тем, чтобы Испания, от которой зависит вход в Средиземное море, оказалась под контролем Рима и Берлина. Дружественная Испания необходима Парижу и Лондону.

Он решил не прибегать к открытому вмешательству, а поставкой вооружения создать в Испании режим, контролируемый Москвой. Тем самым он сможет внушить французам и англичанам уважение к себе, добиться от них предложения о союзе, и тогда СССР либо пойдет на такой союз, либо превратит его в предмет торгов, чтобы достичь своей заветной цели – договоренности с Германией.

А что контакты на высшем уровне с немцами идут, я знаю: агентура сообщает. Я читал донесения: торгпред в Германии Давид Канделаки встречается с Герингом. Тайно. Ну, не измену же он задумал! Ясно, что по поручению Хозяина прощупывает немцев.

В дальнем углу обширного кабинета сидел скушающий шифровальщик. А хозяин кабинета в поте лица расшифровывал телеграмму.

– Можете идти, – отослал я шифровальщика.

– Привет недремлющему оку! – сказал хозяин кабинета полпред Розенберг.

– Какое я вам недремлющее око! – отмахнулся я. – У вас в посольстве свое есть.

– Ошибка, – признался Розенберг. – Я хотел сказать: Главному Недремлющему Оку.

Мы рассмеялись. Потом я сел напротив него и закурил свои любимые «Лаки страйк».

– Мда... – промычал полпред. – Расшифровали? – кивнул он на телеграмму.

Я в знак признания выпустил струю дыма под стол.

– Трудное дело, – добавил он, – «персональная ответственность», ха! Будто в других делах у меня не персональная ответственность!

Я пожал плечами и пустил дым в сторону – дескать, у меня тоже в телеграмме «персональная ответственность». Марсель Израилевич сел напротив меня, побарабанил пальцами по столу.

– Голову снимут, если не справимся, – сказал он.

Я согласно пустил дым.

– Или по ордену получим, – справедливо бросил он гирю на другую чашу весов.

– Ленина, – сказал я. – Орден Ленина, я думаю.

Розенберг выпятил губы. Ордена Ленина у него не было, а хотелось. Как и мне.

– Едем к Негрину, – решительно встал он.

Я загасил сигарету в каблук (пепельницы нет, поскольку посол не курит) и бросил ее в урну. Попал!

– Поехали, – согласился я, вставая.

Хуан Негрин, впоследствии сменивший Кабальеро на посту главы правительства, встретил нас настороженно.

Он занимал пост министра финансов, и мы считали, что, как всякого финансиста, его нужно будет долго уговаривать расстаться со своими деньгами.

Но социалист и прагматик оказался сильнее министра финансов.

– В Советском Союзе вашему золоту будет спокойнее, – острил полпред.

– Мы сразу же начнем поставлять вам вооружение, – вторил я. – Тридцать самолетов-истребителей самого последнего образца уже грузятся в Одессе. – Это было действительно так.

– Я понимаю... – кивал министр.

– Мы берем испанское золото на хранение, – еще раз сказал я. – А взамен поставляем оружие и боеприпасы.

– Я понимаю... – кивал министр.

Розенберг хотел начать убеждать, как вдруг Негрин согласился. Мы переглянулись: неужели добились?!

– Но как вы доставите в Россию столь драгоценный груз? – спросил Негрин. – Сколько испанских солдат потребуется для проведения операции?

– Нисколько! – поднял руку я. – Грузить будут советские моряки.

– Моряки? – удивился Негрин.

– Да! – импровизировал я. – Экипажи советских судов, на которых доставляют военные грузы. Вы, вероятно, знаете, господин министр, хотя это военная тайна, – я сделал паузу и со значением посмотрел на Негрина – он в ожидании «военной тайны» чуть ли не раскрыл рот, – что в испанские порты только что прибыли суда из Советского Союза. Они привезли танки.

Розенберг вмешался, и Негрин повернулся к нему.

– Официально наша помощь Испании ограничивается медикаментами и продовольствием, вы понимаете...

– О да! – воскликнул министр. – Итак, прибыли медикаменты и продовольствие. И вы хотите использовать моряков, которые привезли нам, – он сладостно улыбнулся (ему хотелось кричать от радости!), – медикаменты и продовольствие, для погрузки золота.

– Мало того, – сказал я. – Прибыли танковые экипажи. Они тоже будут использованы на погрузке.

#### WASHINGTON, D.C. ОЛОНЕЦКИЙ

– Я знаю про вас всё, – широко улыбаясь, провозгласил конгрессмен. – Вы воевали, имеете боевые награды, выполняли специальные поручения в Европе.

Олонецкий кивнул.

– Знаю, что многие ваши родственники были убиты коммунистами во время революции. Мы с вами вместе будем бороться с коммунистами. Нам не нужны коммунисты в Америке. Согласны со мной? Особенно коммунисты, которые получают деньги из Москвы.

Олонецкий всмотрелся в конгрессмена. Никсон ему нравился – открытостью, улыбкой, модным галстуком – Джордж захотел купить точно такой же.

– Я думаю, что особенно опасно нынешнее наступление коммунизма во всем мире, – произнес Олонецкий. Блокада Берлина, забастовки в Италии, партизаны в Греции, коммунистические перевороты – именно перевороты – в Чехословакии, Венгрии и Румынии...

– Да-да, Джордж, – прервал Никсон, – извините, что прерываю вас. США – свободная страна, и у нас тоже есть свои коммунисты. Никогда об этом не задумывались? Я раньше тоже об этом не думал. Они получают деньги от Сталина, чтобы стрелять в нас, воровать наши секреты. А я этого не хочу. Вы ведь тоже не хотите, чтобы в вас стреляли?

– В меня стреляли два месяца назад.

– Коммунисты?

– Нет.

Никсон поднял ладонь, словно защищаясь.

— Два месяца назад вы служили в армии. В армии стреляют. Теперь вы не служите в армии. Вы чувствуете разницу?

— Пока нет, — признался Джордж.

— Постараюсь, чтобы вы ее почувствовали. Вот пакет с документами. Изучите и утром приезжайте в комиссию. К десяти утра. Я там буду с девяти. Комната номер семь. Кажется, всё.

— А пропуск?

— Он вам заказан. Пока временный, до 1 сентября.

Следующая встреча — с известным журналистом Дон Левиным.

Встретились с ним в кафе, пили прохладительные безалкогольные коктейли. Беседу начал журналист.

— Мне нужна ваша помощь, мистер Олонецкий. Мы с вами оба из России. Я родился в Мозыре.

— Я американский гражданин, — сухо оборвал Джордж. — А Мозырь, кажется, Польша.

Дон Левин повел головой.

— Я тоже американский гражданин. Мозырь не Польша, а Белоруссия. Но всё равно — Россия. Я сюда приехал юнком и всего достиг сам. Я пятнадцать лет писал для газет Херста.

— Я знаю, — кивнул Олонецкий. — Зачем я вам понадобился?

— Вы жили в Париже до войны.

— И в Париже тоже.

— Наверно, всех там знали? — заглядывая ему в лицо, спрашивал Дон Левин.

— Кого всех? — не понимал Джордж.

— Русских.

Джордж рассмеялся.

— В Париже до войны жило тысяч двадцать русских. Если не больше. Неужели всех можно знать?

Дон Левин хотел ответить, но какой-то шум отвлек его. Он извинился и отошел к стойке, где хозяин включил радиоприемник.

Скоро он вернулся.

— Ей гораздо лучше, мистер Олонецкий! К ней уже пускают журналистов. Я к ней поеду сегодня же.

Олонецкий не понял.

— Простите?..

— Учительница Косенкина!

— А... — довольно равнодушно отозвался Олонецкий, который уже слышал по радио и читал в газете об этой истории.

Но Дон Левин принял за незнание и стал рассказывать.

– Оксана Косенкина два года работала учительницей школы для детей советских служащих в Нью-Йорке. Перед своим выездом из Советского Союза скрыла, что ее муж был арестован НКВД. Видимо, это узнали, и Косенкину хотели отправить в Советский Союз. Она испугалась и попросила убежища у американских властей. Просьба ее была удовлетворена. Но советский консул Ломакин уговорил Косенкину вернуться в консульство, заверив ее, что ей ничего не грозит. Как только Косенкина пришла в здание консульства, ее арестовали. Консул Ломакин стал ее допрашивать по известным методам НКВД. Обманутая женщина в отчаянии выбросилась в окно с третьего этажа. Врачи спасли ее.

– И что? – почти враждебно произнес Джордж.

– Как что? Это же ужасно!

– Что здесь ужасного? Для русских в этом нет ничего особенного. Разве не выше, чем с четвертого этажа, прыгнули пять миллионов советских солдат, которые сдались в плен летом 1941 года гитлеровской армии? Разве не перерезали себе вены осколками стекол в Дахау и Платтлинге, когда американцы выдавали их Сталину? Разве не бросали матери детей под английские танки в Пегнице, когда их вместе с отцами выдавали большевикам? Разве не был разгромлен Божий храм в Кемптене? Разве не приходил в Англию лес из Архангельска с написанными на бревна кровью словами «Спасите нас!» и «SOS»? Да миллионы в сталинских концлагерях бросились бы с любого этажа, если бы только им представилась такая возможность! Разве всё это не происходит уже в течение 30 лет?

Дон Левин сидел молча.

Потом решительно встал и потянулся за своей шляпой.

– Поедемте со мной в госпиталь, мистер Олонецкий.

– В какой госпиталь? Зачем?

– В госпиталь «Рузвельт». Поговорим с учительницей Косенкиной.

Встреча с Косенкиной произвела на обоих тяжелое впечатление. Вообще, вид забинтованной, лежащей в гипсе женщины и не мог вызвать ничего другого.

Дон Левин старался ее успокоить.

– Зачем, ну зачем я осталась жива! – без конца сокрушалась Косенкина.

– Вы спасены. Вы в свободной стране. Мы спасли вашу жизнь, – повторил Дон Левин.

– Когда бы я хотела спасти свою жизнь, я спокойно вышла бы через двери консульства, – ответила она.

Олонецкий усмехнулся.

– Кто бы вас выпустил из этих дверей?

Косенкина замолчала и задумалась.

Толстовскому фонду, президентом которого была Александра Львовна Толстая, принадлежала ферма. Косенкину привезли на ферму и отправили на кухню чистить картошку. Это ее не обидело, она считала, что каждый должен здесь что-то делать.

Вместе с ней на кухне чистила картошку молодая женщина.

– Как вас зовут?

– Ольга.

– А я – Оксана. Вы тоже... советская?

– Нет, – улыбнулась та. – Я не советская.

– А! Вы из старой эмиграции, – поняла Косенкина.

– Нет. Я месяц назад приехала из Европы.

Косенкина попробовала нож – острый.

– Не бойтесь, не порежетесь, – успокоила напарница. – А вы?

– Я учительница из школы при консульстве.

Ольга улыбнулась.

– Коллега! Я тоже раньше была учительницей. Преподавала физику.

– А я – химию.

– Вы замужем?

Косенкина помолчала, смотря на кожуру, сползающую из-под ножа.

– Мужа арестовали во время войны. Дали десять лет.

Ольга горько усмехнулась.

– А моего в тридцать шестом году. Через два года получила известие о его смерти...

Дверь открылась, и Косенкина повернула голову. На кухню вошла... дама. Именно дама, только так могла бы назвать ее Оксана. Она высокомерно посмотрела на работу женщин, заглянула в бак с начищенной картошкой.

– Я вижу, картошку вы чистить умеете. Двоим здесь делать нечего, справится и одна, – заметила она. – Надеюсь, вы так же хорошо умеете мыть полы. Пойдемте я покажу, где ведро и тряпка, – позвала она Косенкину.

Это показалось издевательством. Все-таки она учительница, ее уважали и дети, и родители, и *там* никто не посмел бы ее так грубо обидеть. Она никак не ожидала, что здесь, среди русских, которые в свое время также отвергли советскую власть и очутились за границей, она найдет такой прием.



Оксана вдруг почувствовала себя совершенно одинокой, обиженной и униженной. Она попала в среду людей, которые как будто через нее, через таких людей, как она, могли выразить свою неприязнь к советской власти, как будто она была виновата в том, что они оказались эмигрантами и теперь свою ненависть к той стране вымещают на Оксане.

– Мне показалось, что даже концлагерь в своей стране, среди таких же людей, как и я, мне легче будет перенести, – говорила она Дон Левину.

– Что за чушь! – вырвалось у него, и он переглянулся с Олонецким.

Ей стало страшно. Что ждет в будущем? Мыть полы и чистить картошку? А вокруг ни слова поддержки, только высокомерное пренебрежительное отношение. Ольгу, с которой она чистила картошку, отправили на какую-то другую работу, не с кем даже перекинуться словом... Она взяла листок бумаги и стала писать письмо советскому консулу:

«Дорогой Яков Миронович... я люблю нашу родину... и ненавижу капиталистическую систему... я советский человек... Я бесконечно восторгаюсь вами как личностью, достойной нашей родины... заберегите меня отсюда... Умоляю вас. Не дайте мне погибнуть здесь... Я обезволена...»

6 августа генеральный консул Яков Миронович Ломакин получил сумбурное письмо Косенкиной.

Тогда же он узнал, что и директор школы Самарин вместе с семьей попросил политическое убежище у американских властей. 7 августа Ломакин, вице-консул (и резидент МГБ) Зот Чепурных и сотрудница консульства поехали по адресу, указанному в письме. Предварительно, по телефону, начальнику бюро по поиску пропавших людей при Департаменте полиции Нью-Йорка, Джону Кронину, сообщили о причине поездки на ферму и попросили о сопровождении. Капитан Кронин обещает оповестить ближайшее к ферме полицейское управление о визите консула.

Представительская машина приехала на ферму. Косенкина собрала свои вещи и вышла навстречу машине с советским флажком.

Президент Толстовского Фонда, графиня Александра Львовна Толстая распорядилась служащим Фонда окружить машину и увела Косенкину в дом. Полчаса она тщетно пыталась убедить учительницу не уезжать с советскими дипломатами. Косенкина не слушала доводов, повторяла «будь, что будет» и хотела уехать. Только убедившись в ее непреклонности, Александра Львовна попросила работни-

ков не задерживать машину, поскольку Косенкина решила уехать с консулом «по своей доброй воле».

Полицейский, оповещенный Крониным, приехал с двадцатиминутным опозданием. Александра Толстая заявила ему, что женщину, искавшую у Фонда приюта от репатриации в СССР, увезли на консульской машине.

Ломакин привез Косенкину в консульство и через три часа принял большую группу журналистов. В этой экстренно созданной пресс-конференции участвует и Косенкина. Ломакин демонстрирует конверт и письмо, написанное на пяти страницах от руки. Он читает выдержки из него в английском переводе и передает копию для анализа криминалистами из ФБР.

Журналисты уходят, двери запираются и начинается допрос Косенкиной:

кто ей помогал бежать?

где директор школы Самарин?

о чем с ней говорили на Толстовской ферме?

сколько денег обещали за предательство родины?..

Вокруг консульства днем и ночью шумела веселая толпа журналистов, жаждавшая сенсации, и зевак, обыкновенных прохожих. Они видят в окне Косенкину, и какой-то дурак кричит:

— Прыгай!

Толпа подхватывает крик:

— Прыгай! Прыгай!

Косенкиной показалось, что она сходит с ума...

— Я чувствовала себя, как зверь, попавший в ловушку. Я дошла до такого состояния, что готова была покончить с собой, но ничего у меня под руками не было. Я, с трудом соображая, что делаю, не помню, как подошла к окну и шагнула через подоконник. Я хотела раз и навсегда кончить пытку, длившуюся дни и ночи. Я бы разбилась насмерть, если бы моя нога не запуталась в каком-то проводе, и только это, к счастью или несчастью, спасло мою жизнь. Но удар был такой, что когда я пришла в себя, то решила — всё, конец, я не думала, что выживу. Да и зачем я осталась жива? Ведь всё, что происходило вокруг меня, казалось мне страшнее смерти...

Олонецкий слушал учительницу и думал о том, что еще одна жертва прибавилась к десяткам миллионов жертв.

Потом он ехал домой, в квартиру, что снял в приличном районе; думал о судьбе несчастной учительницы. Дон Левин обещал после госпиталя взять ее к себе в усадьбу, писать вместе с ней книгу о жизни в СССР.

## ПРЕССА

«Любовь к свободе глубоко заложена в каждом человеке.»

*Christian Science Monitor*

«СССР – громадный дом ужасов.»

*New York Times*

«Ломакин должен покинуть США.»

*Государственный секретарь Маршалл*

«Громадный дом ужасов существует с 1917 года. С 1945 года вероломно стали передвигаться стены этого дома всё дальше и дальше на запад. Это должно сделать нас стойкими.»

*New York Times*

«В западных зонах Германии и Австрии около 100 000 советских граждан, объединенных общим желанием остаться вне СССР. Точного их числа установить нельзя, т. к. они скрываются под чужими документами. Ведь в результате Ялтинского соглашения мы их эшелонами отправляли на восток, где люди гибли или попадали в концентрационные лагеря. В лагерях ДиПи тысячи и тысячи более крупных людей, чем Самарин и Косенкина, – профессора, генералы, журналисты, чиновники – и они влачат жалкое существование. Они как бы вообще не существуют, они – как привидения...»

*New York Herald Tribune*

«Дело Самарина и Косенкиной – живая иллюстрация борьбы между большевистской и демократической идеологиями. Оно произвело на нас такое потрясающее впечатление, потому что в нем на наших глазах разыгралась трагедия живых людей. Эти несчастные должны найти у нас убежище. Советское консульство еще не является советской территорией, а свободной американской землей.»

*Christian Science Monitor*

«Мы знаем, что означает ‘освобождение’ этих людей, оно значит – лагерь и смерть! Мы преклоняемся перед Самариным и Косенкиной за то, что они избрали свободу. Нас потряс случай с Косенкиной, произошедший у нас на глазах в Нью-Йорке.»

*New York Time*

## КОМИ АССР, ПЕЧОРЛАГ. КОНРАД АЛЬВЕНХАУЗЕР

В рабочей зоне лагеря стоял небольшой завод, Альвенхаузер работал там электриком. Работы было много – проводке исполнилось больше десяти лет, ее приходилось менять на различных участках ежедневно.

Мастером на заводе работал старый заключенный, немецкий инженер Ульрих Гуммер. Он приехал в Советский Союз после прихода Гитлера к власти. Он состоял в коммунистической партии и, как многие ее члены, которые не перешли к нацистам (а таких оказалось тоже очень много), перебрался на «родину трудящихся». Сначала служил в каком-то учреждении, потом на фабрике по своей специальности, а в 1937 году его арестовали и осудили на десять лет. В лагере ему добавили еще пять лет «за антисоветскую агитацию».

Гуммеру нравилось говорить с Альвенхаузером по-немецки. Это давало ему чувство принадлежности.

– Тебя освободят, как и других пленных, – убеждал он Конрада. – А такие дураки, как я, сгниют в тундре.

Но Конрад не верил в освобождение.

– Прежде, чем нас освободят, я сгнию рядом с тобой, – хмуро отвечал он. – Лучше, как те ребята...

Гуммер понял, о ком говорит Конрад, – он имел в виду группу заключенных, которые пытались недавно бежать, но забыли о собаках.

Немецкие овчарки очень умные животные. В зоне они опаснее человека, ибо не поддаются ни лести, ни обману, ни ласке. Иногда солдаты обкрадывали своих собак, поедая с жадностью мясо, которое полагалось их питомцам. Собаки прекрасно натасканы и, если пойманная ими жертва не оказывает сопротивления, они ее кусают для острастки, т. е. рвут на ней одежду, не повреждая тела. Для увеселения «собаководов», на какой-то особый свист или команду, они меняют тактику и вместе с ватниками отрывают ключьями и человеческое мясо.

Когда беглец, пойманный собакой, сопротивляется, защищается или старается убежать, пес норовит сразу же схватить за горло, что ему большей частью и удается, ибо люди истощены до крайности и едва держатся на ногах. Где уж тут бороться с сытым и здоровенным полуволомком.

Альвенхаузеру пришлось видеть, как дрессируют овчарок.

Какой-нибудь солдат или, чаще, кто-нибудь из заключенных надевает на себя несколько пар ватной одежды и начинает травить собаку. Ему дают в руку палку, которой он может защищаться. Пес совершенно звереет. Его собаковод, стоящий рядом, принимает уча-

стие в этой «игре», подбодряя собаку одним и тем же выкриком или свистом. Это повторяется изо дня в день. Затем «псевдожертву» выводят в тайгу, и там начинается учение на природе.

Конрад очень любил собак, но не знал, кого больше ненавидит: чекистов или их псов!

Он видел трупы смельчаков, задавленных волкодавами в первый же момент бегства на волю...

Их беспрерывный лай со всех четырех сторон зоны как бы всё время предупреждал о тщетности всякой попытки к бегству. Псы не давались в руки, не нуждались в ласке, не принимали подачек. Их приручить не было никакой возможности. Псы знали, что дружбы между ними и заключенными не может быть, и отвечали им той же ненавистью. Самый запах заключенного (а нищета, голод, непосильный труд создают весьма ощутимую и неприятную симфонию запахов) приводил их в бешенство.

Эта вражда была не на жизнь, а на смерть. Блатным иной раз удавалось «накрыть» собаку-чекиста, и они ее тотчас убивали и съедали. Собачье мясо считалось в лагере величайшим деликатесом. Многие считали, что собачий жир является лучшим лекарством против туберкулеза. Сколько раз приходилось слышать: «Эх, кабы мне пару жирных собак – я был бы опять здоров!»

Конрад считался опытным лагерником, не как в первый год, когда в каждом заключенном видел своего союзника, брата по несчастью, врага советской власти. Ему не раз приходилось раскаиваться в своей наивности и учиться подходить к людям с недоверием, ожидая от них в любой момент предательского удара в спину. Но поначалу он был наивен и не мог измерить глубины падения, на которую способен человек. Опыт пришел с годами.

Он не переставал думать о побеге.

Однажды он решился и заговорил об этом с Гуммером. Ульрих долго, не мигая, смотрел ему в глаза, как бы стараясь в них прочесть – говорит ли Конрад правду или же за словами скрывается подленькое желание донести. Очевидно, прочтя верный ответ на свой вопрос, он сказал:

– Прежде всего, ты абсолютно не знаешь местных условий вообще и климата, в частности. К нему нужно привыкнуть. Никто так быстро не гибнет, как новичок, еще не обтерпевшийся на Крайнем Севере. Без запасов пищи и теплой одежды проще повеситься на пояске в лагерной уборной, чем мучительно ожидать «белой смерти» в тундре. Но даже если тебе улыбнулась удача, тебя выдадут местные комяки... Это природные охотники, сотни и сотни лет, из поколения в поколение проживающие в Богом забытых лесах. Для них тайга –

открытая книга. Они в ней не могут заблудиться. Они знают ее так же хорошо, как мы знаем город со всеми его улицами, если мы в нем прожили с рождения и до смерти.

По ничтожным следам, по сломанной веточке, смятой опавшей листве, просто по каким-то обычному глазу невидимым приметам они находят беглого раба и с величайшим удовольствием, без зазрения совести передают его палачам. Комяки всегда идут на охоту со своими собаками, нюх и чутье которых на сто процентов превосходит других собак.

Если беглецу неожиданно посчастливится, и он, добредя до комяцкого селенья, по наивности зайдет в избу в надежде получить корку хлеба, – он будет немедленно передан чекистам. Они за пуд муки, за пять килограммов сахара, за несколько метров паршивого советского «текстиля» и пару катушек ниток, за пятьсот ничего не стоящих в тайге советских рублей выдают беглых чекистам.

Конрад тяжело вздохнул.

– Так что же остается? – вырвалось у него.

– Если ты уже решил бежать, то после тщательной подготовки и одного шанса на побег, ни в коем случае нельзя идти на юг. Шанс на спасение лежит именно в уходе на север. Погоня никогда не предположит, что человек добровольно идет на голодную и холодную смерть в ледяной пустыне, и будет его искать в более теплом направлении.

– Но что там на севере? – не понял Конрад.

– На севере можно добраться до самоедов и остаться у них жить. Самоеды ведут довольно тихую, но такую суровую, голодную и примитивную жизнь, что даже «живуха» в лагере может показаться верхом блаженства. Единственным утешением может послужить полная гарантия, что самоеды не выдают беглеца. Цивилизация их еще не затронула, и они гнушаются предательства и подлости в любых видах...

– А дальше?

– Дальше... Выбраться от самоедов на свободу, в другой мир, – почти никакой надежды. Значит – нужно выбирать между сроком в лагере и бессрочной каторгой у самоедов в их «иглу».

Конрад не сразу поверил инженеру, посчитав его или отпетым пессимистом, или безвольным человеком, но через некоторое время ему пришлось убедиться в его правоте.

Он сочинял письмо Ирме, когда его послали поправить электропроводку на столбах вне лагерной ограды, на самой опушке дикой и совершенно непроходимой тайги.

Когда-то, еще до войны, здесь стояла лагерная следственная тюрьма. Теперь от нее остались лишь развалины. Сразу за грудой камней начинался овраг, густо заросший лесом. Конрад работал без конвойного. Охранники видели, в какой степени физического истощения он находился. Они знали: побега не будет. Да и куда бежать в непроходимой, заболоченной и совершенно пустынной приполярной местности?..

Окончив работу, он спустился в овраг в надежде набрать грибов и ягод, которые там росли в изобилие. Грибы он складывал в шапку, а ягоды отправлял в рот. Пробираясь сквозь кустарник, он поскользнулся и заскользил вниз. Из-под ноги покатился человеческий череп. Он вздрогнул, не веря, и стал осматриваться. На земле из-под хвои и сухих листьев белел еще один череп, еще один, еще... еще! Да сколько же их здесь? Сотни черепов и костей...

Конрад бросил собранные грибы и, трясаясь от ужаса, пустился в бегство из оврага смерти. Он боялся рассказать о своем страшном открытии. Он знал, лагерь быстро учит подобному знанию: чекисты не любят любопытных, а еще меньше – разглашение своих тайн.

Через несколько месяцев, уже на этапе, узнал, что в овраге во время войны расстреливали тех заключенных, которым можно было пришить совсем невероятные обвинения в «связи с военными событиями».

Альвенхаузер решил бежать, пока оставались силы. Тщательно готовясь к побегу, он обдумывал все мелочи, все «за» и «против». Но бежать одному невозможно, нужен надежный напарник. Конрад выбрал Хельмута, с которым познакомился в ростовском лагере и который тоже попал в Печорлаг. Хельмут сразу же согласился.

Конрад работал электриком, ему было легче, чем Хельмуту, который валил лес на лесоповале. Побуждения к побегу у них были разные. Конрад доходил больше морально, чувствовал, что нервы не выдерживают, да и физически он становится всё слабее и слабее...

Он решил бежать, чтобы умереть на воле. Как дикому зверю, хотелось вдохнуть вольным воздухом – казалось, что в лесу, в тайге, где нет духа чекистского, смерть придет желанной и милостивой спасительницей. На самоубийство он никогда не смог бы решиться. Вера в Бога и в Его Провидение всегда была сильна и жива в нем.

Хельмут же хотел жить – и жить во что бы то ни стало. Жить, даже если ему свою жизнь придется купить ценой убийства человека. Он хотел домой, в свой городок возле Ганновера, к родителям, к жене Карле.

Исправляя проводку (а она почти всюду была изношенная), Конрад имел возможность бывать в кухне. Он собирал вонючие куски соленой рыбы и аккуратно складывал в пустые жестянки, которые передавал приятелю, а тот закапывал их в снег в потайном месте.

Хельмута удалось на два месяца устроить помощником фельдшера, чтобы он немного отъелся, подкрепился и физически был способен к долгому и тяжелому путешествию через тайгу.

Трудно себе представить, как должен человек бороться сам с собой, отрывая ото рта лишний кусочек хлеба или кучку камсы, которую ему выдавали на обед. Но они переламывали себя, и казалось, что продуктовый запас вырос в настоящее богатство.

Наконец настало лето, и Конрад стал ежедневно приставать к Хельмуту – когда же двинемся в путь? Но Хельмут избегал товарища, не смотрел в глаза и выглядел каким-то пришибленным и раздавленным. Неужели же в нем умерла его кипучая жажда жизни, стремление к семье? Почему?

Альвенхаузер не верил в сны, но однажды, как раз в те дни, когда считал, что малейшая проволочка косит шансы на побег, ему приснилось...

Он увидел себя и Хельмута, идущими через густой темный лес.  
...они идут через лес.

Лес растет на крутой горе и приходится цепляться за ветки деревьев, чтобы подняться вверх.

Они карабкаются, но всё время скатываются вниз.

Потом между ними появляется заборчик – маленькая оградка, которой ограждают клумбы.

Заборчик начинает расти, становится забором, он растет вверх...

Конрад просит Хельмута перелезть к нему, но тот не слышит или не обращает внимания на просьбы.

Забор всё выше, и Хельмут скрывается из глаз...

Когда Альвенхаузер проснулся, то посчитал сон пророческим. Он пошел к Хельмуту и спросил:

– Хельмут! У нас всё готово! Почему мы оттягиваем? Мы теряем шанс уйти незаметно... Ведь скоро настанет весна, растает лед. Болота мы не перейдем...

Хельмут сидел молча, отвернувшись, сжав крепко свои костистые ладони между коленями.

– Хельмут! – взорвался Конрад. – В чем дело?! Отвечай! Ведь когда растает снег, наши продукты сгниют, да, кроме того, их заметят и найдут!

– Их никто не найдет... они не сгниют... – тихо ответил Хельмут. – Их нет.



– Как нет? – не понял Конрад. – Куда же они делись?

– Я их съел... Я... подлец... Пойми, когда я был голоден, эти банки с камсой и камбалой неотступно стояли у меня перед глазами. Сухари... кусок сала, который ты выменял... Голод сосал, не давал спать... Я долго терпел. Изо дня в день боролся с искушением. Потом... решил взять только горсточку камсы, только один сухарик...

Хельмут всхлипывал, закрыв лицо локтем руки.

Альвенхаузер хотел ударить Хельмута, но сдержался. Трудно передать те чувства, которые обуяли его: злоба, разочарование – и жалость, презрение...

– Сегодня – горсточка, завтра кусочек. Тайком от тебя я пробирался в наш «склад», и потом я окончательно упал, как собака, я сожрал сало. Я знал, что я пожираю свой и твой шанс на свободу... Я знал и не мог остановиться...

Конрад проглотил комок, вставший в горле, молча хлопнул Хельмута по спине и торопливо ушел. Из тайги дул суровый ветер, захлестывал снегом, слепя глаза, играя безжалостно полами бушлата.

Замок мечты о свободной жизни или свободной смерти рухнул на глазах... и всё же...

Он шел по лагерю к бараку, никого не замечая.

По лицу лились слезы отчаяния. Он кричал какие-то проклятия и грозил кому-то кулаком. Не Хельмуту... Не было жалко червивых сухарей и куска прогорклого сала. Было жалко – человека!

Альвенхаузер не заметил идущего навстречу опера.

– Стой! – заорал тот. – Почему не приветствуешь, фашистская морда?

Конрад молчал, приходя в себя.

– В карцер!

...Десять дней он думал о Хельмуте, о том, как человек перестает быть человеком.

Его вынесли из карцера на носилках. Он попал в лазарет.

Через неделю Альвенхаузера выписали, он снова ремонтировал проводку и станки на кирпичном заводе.

Кто-то рассказал, что Хельмут крутится возле начальства, но Конраду тот был уже безразличен.

Жизнь уже не казалась совсем черной, в ней появлялись просветы. Пусть серые, но просветы! Немцев в лагере почти не осталось, их место заняли венгерские и словацкие заключенные. Тоже из пленных.

На заводе ежедневно вывешивались списки осужденных за саботаж: почти все станки были старые, механизмы изношенные. Ответственность за станок нес рабочий. Портился станок – того, кто

работал на нем в эту смену, обвиняли в саботаже и добавляли пять лет к сроку.

Неожиданно на завод пришел Хельмут.

Испуганный, дрожащий, он бросился к Альвенхаузеру с просьбой помочь устроиться в цех на любую работу:

– У меня вражда с блатными... Не ладил... Начальник приказывал... я исполнял... Они поклялись меня убить. Хотели прикончить... Помогите, ведь мы оба немцы...

Конрад смотрел в собачьи глаза прежнего приятеля. Вспомнил, как тот убил в себе человека, и его стало жалко. Альвенхаузер поговорил с мастером. Тот согласился и взял Хельмута кочегаром.

Три дня Хельмут выходил на работу, озираясь, и вдыхал полной грудью только тогда, когда закрывалась дверь электростанции.

На четвертый день он не появился в котельной: его убили ночью, во время сна – ударили ножом в сердце, потом отрезали голову...

Блатные не простили!

## МОСКВА. КРЕМЛЬ

Вечером 2 августа улыбающийся Сталин встретил представителей союзных держав: Бэдель Смита, Петерсона, Франка Робертса и Ив Шатэнно.

Сталин улыбался, и послы принимали это на свой счет. На самом деле причиной сталинской улыбки было сообщение из Израйля.

В этот день израильская авиация сбила пять английских истребителей. Позже выяснилось, что их приняли за египетские самолеты, которые ежедневно обстреливали израильские позиции.

Сталин прочитал сообщение и ухмыльнулся в усы – не иначе, *наш* летчик сбил англичан.

«Кто летчик?» – написал рядом с сообщением, чтобы лишний раз удостовериться в своей уверенности, убедиться в собственной непогрешимой интуиции.

Летчиком, сбившим два английских самолета (еще два сбили зенитчики, а один – сам удрал, но в сводках написали – сбито нашей авиацией пять египетских самолетов) оказался Шломо Вецкер, действительно бывший советский истребитель, награжденный двумя орденами Красного знамени и орденом Отечественной войны.

Разговор продолжался 2 часа 40 минут. После уже Молотов продолжал переговоры.

СССР соглашался снять блокаду, если союзники признают точную марку как единственную монетную единицу в Берлине и

если союзники признают, что прав на оккупацию Берлина они не имеют.

Переговоры прекратились. Блокада Берлина приближалась к шестидесятому дню. Самолеты доставляли ежедневно по 3000 тонн продовольствия, и угроза голода отпала, хотя население получало только по 1600 калорий в день. В советском же секторе выдавалось еще меньше, да и продукты были несравненно худшего качества.

Всякое движение в Берлине прекращалось в 18 часов, освещение на улицах уменьшалось на три четверти. Газ и электричество отпусались на два часа в день. За отсутствием угля 4600 предприятий не работали. Приближалась зима, стали рубить уцелевшие после бомбардировок деревья. Деревя для отопления выдавалось по 150 килограмм в месяц на семью. Берлинцы стоически переносили лишения. Ненависть к СССР увеличивалась. Когда полиция советского сектора пыталась проникнуть в западную часть Берлина, жители бросали камни и кирпичи из развалин.

23 августа в 10 часов вечера Сталин пригласил трех союзных послов и заявил, что у него есть план для урегулирования конфликта в Берлине.

Послы переглянулись. Бэдель Смит заявил, что и у американцев имеется план и любопытно оба плана сравнить. Сравнение планов показало их сходство.

Главными вопросами были:

- 1) единая для двух частей Берлина денежная единица,
- 2) прекращение блокады.

Осуществление плана решили поручить командующим войсками.

Сталин был в хорошем настроении и предложил гостям обильное угощение.

Столы ломились от закусок и выпивки.

Но когда после съеденного и выпитого Сталин предложил послам подписать соглашение, послы почувствовали ловушку. Они еще раз перечитали сталинский договор и заметили, что в нем появился пункт, по которому западные державы отказываются от создания независимого западногерманского государства.

Бэдель Смит сразу же заявил протест.

Сталин вскипел, крича, что восстановление Германии, смертельного врага Советского Союза, недопустимо... Послы ушли из Кремля в полтретьего ночи.

## КОМИТЕТ ПО АНТИАМЕРИКАНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОНГРЕССА США

3 августа 1948 года бывший коммунист и агент советской разведки Уиттекер Чамберс дал показания комитету по антиамериканской деятельности Палаты представителей. Он нарисовал устрашающую картину подрывной работы скрытых коммунистов. Среди коммунистов, проникших в высшие эшелоны власти США, он назвал Эльджера Хисса.

До войны Хисс служил в Министерстве сельского хозяйства, Конгрессе, Верховном Суде США, Министерстве юстиции, а в 1939 году стал политическим советником Дальневосточного отдела Государственного департамента. В этом качестве он участвовал в Тегеранской и Крымской конференциях «Большой тройки», принимал участие в создании Организации Объединенных Наций. В декабре 1946 года вышел в отставку и стал президентом одного из влиятельнейших вашингтонских аналитических центров – Фонда Карнеги.

Спустя два дня, 5 августа, перед Комитетом для показаний предстал сам Эльджер Хисс. Он отрицал, что когда-либо был членом компартии или имел друзей среди ее членов; он ни разу в жизни не встречался с Чамберсом.

– Обратная сторона вопроса заключается в том, можно ли верить обвинениям, высказанным перед этим комитетом в виде не подтвержденных документами утверждений, – человеком, который называет себя Уиттакером Чамберсом. Является ли он человеком, внушающим доверие, правдивым человеком, человеком чести? Явно нет. Он признает это, и Комитет это знает. Является ли он хотя бы вменяемым человеком?

Председатель Комитета, который сомневался в виновности Хисса, удивился.

– Вы сказали, что не знаете Чамберса?..

– Не знаю.

– Откуда тогда ему известны подробности вашей жизни?

– Не знаю. Он журналист, а они – пронырливые люди, что хочешь узнают.

– Откуда вы узнали, что он журналист? Вы же говорите, что никогда его не видели.

Очная ставка Хисса и Чамберса:

*Хисс:* Вы Джордж Кросли?

*Чамберс:* Никогда не знал об этом.

*Хисс:* Но вы ведь жили некоторое время в моей квартире на 28-й стрит?

*Чамберс:* Конечно, Эльджер. Ведь в те времена мы оба с тобой были коммунистами.

*Хисс:* Я хочу предложить вам, мистер Кросли, или как вас теперь называют, повторить это заявление вне Комиссии. Тогда я буду иметь возможность привлечь вас к судебной ответственности за клевету.

Никсон задает вопросы:

- Выходит, вы его видите в первый раз?
  - Впервые вижу.
  - Вы никогда не были коммунистом?
  - Никогда.
  - Даже в ранней юности?
  - Не был.
  - И до войны? Находясь на государственной службе?
  - Я не был коммунистом.
  - Вы продолжаете утверждать, что не знаете Чамберса?
- Хисс сглотнул.
- Я уже сказал, что знал его под другим именем.

В перерыве – разговоры:

- врет и не краснеет, по лицу вижу, что врет...
- он мне и раньше не нравился...
- нравятся девочки...
- сегодня он во главе Фонда Карнеги...
- а мы его допрашиваем не про сегодняшний день, а чем он занимался раньше...
- без доказательств мы ничего сделать не можем...
- как бы я хотел посадить его за решетку!..
- Бог с ними, будем думать о более конкретном...

Чамберс, в сущности, был несчастным человеком. Он в течение десяти лет пытался обратить на себя внимание, а от него отмахивались. В 1938 году пропала его подруга Джульетта Пойнт. Она тоже была коммунисткой и работала на советскую разведку. Не знаю, чем она не понравилась кремлевским хозяевам – то ли своей самостоятельностью, то ли усомнилась в московских процессах. Но в один не прекрасный день она исчезла, и, вероятно, ее полуобъеденный рыбами труп обнаружили рыбаки. Чамберс испугался. Он тоже не верил результатам московских процессов, да и какой нормальный человек мог поверить в бред, что несли подсудимые? И эти процессы – результат той идеи, в

которую верил Чамберс! Так грош цена идеи, если она приводит к подобным результатам. Он рассказал свою историю А. Тот пересказал ее президенту Рузвельту. Но президенту было не до советских агентов.

Второй раз Чамберс испугался, когда прочитал о таинственной смерти в отеле беглого советского шпиона Кривицкого. Шел март 41-го года, Москва и Берлин тискали друг друга в объятиях и нагло делили Европу.

В мае 1945 года Чамберс, боявшийся мести Москвы, предпринял третью попытку явки с повинной. На сей раз обстановка в Вашингтоне была совершенно иной. Информация Чамберса совпала со сведениями, полученными от двух других источников: агентурной сети Элизабет Бентли и бывшего шифровальщика советского посольства в Оттаве перебежчика Игоря Гузенко. Директор ФБР Гувер направил президенту Труману совершенно секретный меморандум.

В перерыве Джордж подошел к Чамберсу. Тот бросил недокуренную сигарету в урну.

– Вы тоже мне не верите? Но я докажу!

Олонецкий усмехнулся.

– Верю или не верю – не играет роли. Нужны веские доказательства. Они у вас есть?

Чамберс кивнул.

– Есть. Я вспомнил. Десять лет назад, когда я порвал с коммунистами, у меня оставались бумаги...

Джордж насторожился.

– Десять лет назад? Какие бумаги?

Чамберс скривился.

– Понимаете, Хисс передавал мне различные бумаги, я их прятал в тайнике... В тылке.

Олонецкий не понял.

– В какой тылке?

– Такой специальный тайник для хранения документов... У меня остались документы, которые он передал в последний раз... Они до сих пор у меня в тайнике, я вспомнил...

– Бумаги, которые вам передал господин Хисс десять лет назад?

– Да. В тылке...

Джордж попросил Чамберса не уходить и пошел разыскивать Никсона. Рассказал ему о разговоре с Чамберсом. Никсон сразу ухватил суть дела.

...Конгрессмен держал в руках две половинки тыквы. Внутри лежали фото пленки в кассетах и бумаги, свернутые в рулон.

Никсон развернул бумаги, Олонецкий показал членам Комитета две половинки искусственной тыквы.

Хисс изменился в лице.

– Это не мои бумаги, – громко сказал он.

– Допустим, – ответил член Комитета, – но они напечатаны на вашей пишущей машинке.

– Это не доказательство, – у Хисса сорвался голос.

– Не доказательство? – удивился конгрессмен.

– Нет, не доказательство.

Члены Комитета засмеялись.

– Совершенно так же отрицал Тито Розетти – помните, господа, мафиози, который прикрывался постом директора банка...

– Господин Хисс, вы сотрудничали с агентами Советов. Я не спрашиваю, сколько вам платили, меня это не интересует. Может, вы и не получали денег, а сотрудничали из идейных соображений? Тогда я с чистой совестью могу обвинить вас в том, что, будучи на государственной службе, вы состояли в коммунистической партии. Только коммунисты могут сотрудничать с Советами из идейных соображений.

– Я склонюсь к тому, что Хисс получал от русских деньги, – подал голос пожилой член Комитета в очках в золотой оправе.

– И немалые, – добавил Никсон. – Иначе как объяснить, что свою должность в Госдепартаменте и в ООН он променял на московские подачки?

– О нет! – возразил немолодой член Комитета с седыми висками. – Я знал одного знакомого... Он променял одну красивую... нет, *очень* красивую женщину на некие сомнительные удовольствия... Наверно, господин Хисс тоже имел какие-то удовольствия...

Джордж смотрел на всё как на спектакль, в котором он и зритель, и один из его создателей, и актер, а может, и соавтор пьесы. Ему хотелось смеяться, наблюдая, как разоблаченный шпион оправдывается.

– Жаль, нельзя его арестовать прямо здесь, – мечтательно шепнул Никсон на ухо Джорджу.

Тот согласно кивнул.

– Эффект был бы потрясающим!

Никсон не ошибся. Газеты сделали имя молодого конгрессмена известным всей Америке.

## ОЛОНЕЦКИЙ. 1937. ИСПАНИЯ

### *Flashback*

Город был занят рано утром, но взвод, в котором служили Зуев и Олонецкий, отпустили «погулять» только после десяти.

В стену дома уперся огромный трактор со спущенной гусеницей. На радиаторе выдавлено «Сталинец». Рядом валялся разбитый пулемет, пустые коробки из-под патронов, кобура, винтовки...

Зуев обрадовался, словно встретил старого знакомого.

— Смотри, «Максимка»! У меня такой же в Гражданскую был. И целая пулеметная команда под началом... Значит, красные от советчиков получают оружие...

— А ты сомневался?

— Ни часу не сомневался. Вон и трактор...

На набережной Джорджа поразил странный запах. Пахло вином, но каким-то необыкновенным, кислым.

Набережная была покрыта осколками стекла, разбитыми ящиками, досками.

Пожилой мужчина в голубой панаме что-то искал среди осколков. На вопрос Зуева, что он ищет, неизвестный ответил:

— Бутылку шампанского.

— Почему шампанского? — не понял Олонецкий.

— Потому что город нуждался в муке, а прислали пароход шампанского.

— Пароход шампанского? — не поверил Олонецкий и переглянулся с товарищем. Зуев недоуменно повел плечом, но продолжал слушать.

— Ну да. Почему вместо муки шампанское? Кто же знает! Да не всё ли равно. Что тут было! Если бы вы видели... Когда красные узнали, что отрезаны от Астурии, они кинулись на штурм кооперативов. К двум часам ночи все подонки города собрались на набережной. Пели, танцевали, ругались, дрались. Пьяные мужчины и пьяные женщины... Тут же на улице на виду у всех совокуплялись... Одним словом, дикая оргия. На рассвете те, кто еще держался на ногах, бросились на поиски «фашистов», еще не расстрелянных. Пьяная орда вламывалась в дома, требуя, под страхом смерти, денег во французской валюте. Какие франки?! Все пути во Францию отрезаны, нельзя ударить ни по суше, ни морем, ни даже по воздуху. Эта охота за французскими деньгами стоила жизни многим почтенным гражданам. Вы понимаете, что такое последние дни красного владычества! Разгул грабежа!

— И, наверно, вожаки сбежали? — усмехнулся Джордж.

— Конечно! Разумеется! Губернатор сбежал, забрав десять миллионов пезет. Его все звали Жанетто — он же служил официантом в кафе «Мондиаль». И главный комиссар... И те, кто убивал невинных... Вам доставалась только мелюзга. О! Вот она! Нетронутая бутылка! Я хочу ее выпить за ваше здоровье, господа. За вас, за наших освободителей от красного кошмара...

Они выпили бутылку, стали искать, нашли еще несколько, и



тоже их выпили. Незнакомец, которого звали Мигуэлем, рассказывал:

– Тринадцать месяцев красного владычества! Людей убивали по подозрению в чем угодно... Убивали, желая ограбить... Просто под пьяную руку. Каждая из бывших у власти политических организаций имела свою тюрьму и свой «подвал», но большинство убийств происходило на мысе Майор, где маяк. Несчастных привозили на площадку и выпускали. – Пой и танцуй. Если повеселишь нас как следует, заработаешь жизнь, – кричали палачи. И некоторые из несчастных пели, плясали и кривлялись в надежде спастись. Но не спасся ни один. Когда палачам надоедало мучить свою жертву, они привязывали камень к ногам несчастного и сталкивали его в море с высоты 100 метров. Из 11000 человек, убитых во время красного террора, более 3000 было убито на маяке. Старый смотритель маяка не смог вынести этого ужаса и сошел с ума. Тогда назначили другого, человека Народного фронта, нервы которого оказались крепче.

Они распрощались с Мигуэлем, и ноги сами понесли на мыс Майор, к маяку, который был виден отовсюду.

Первое, что бросилось в глаза – красные буквы слов на стене: «Союз братьев-пролетариев». Ворота открыты, и площадка перед маяком оказалась усыпана странными предметами: пустой бумажник, пилотка, пиджак, рваная рубашка; еще дальше – женские подвязки, разорванные книги... И много окровавленных бинтов. Раненых привозили прямо из госпиталей.

Он поднял платье, видимо, принадлежавшее полной женщине. Палачи раздели ее, чтобы забавнее поиздеваться на площадке.

К ним подошли журналисты, двое с фотоаппаратами. Они что-то спросили у них, но Джордж не расслышал и только махнул рукой – дескать, что тут объяснять.

Они расстались с этими корреспондентами, но к ним подошли другие, и мордатый – сразу видно, англичанин! – представился, громко заявив, что его фамилия Филби, спросил какую-то чепуху на ужасном испанском, Зуев попросил говорить по-французски, и Олонекский чуть не рассмеялся, зная зувский французский, и вместо него ответил что-то про русских борцов с коммунизмом, которые воюют в рядах испанской национальной армии, что коммунизм – общий враг для испанского и для русского народа, и что-то мелькнуло нехорошее в глазах журналиста, но Олонекский сразу же забыл об этом...

Кое-где валялись револьверные гильзы. Их было немного. Зато лежала груда крупных булыжников, из которых каждый был обмотан проволокой – готовый груз для приговоренных к смерти.

Он облокотился на перила, через которые перебросили в море три тысячи казенных, и посмотрел вниз.

Много он видел страшного и зловещего за время войны в Испании.

Он видел людей, разорванных снарядами и бомбами, видел целый взвод, сраженный пулеметной очередью. Мертвецы всегда и всюду были безмолвными и неподвижными мертвецами. Здесь же, в прозрачайшей воде, до самого песчаного дна освещенной отвесно падающими лучами солнца, Олонецкий увидел три стоящие человеческие фигуры. Их ноги удерживались на дне камнями, как водоросли корнями. Три гигантских водоросли медленно качались в такт с дыханием моря. И каждый раз, когда над головами этих трех проходила волна, чтобы разбиться об утесы мыса Майора, шум ее казался стоном замученных.

Зуев подошел, покуривая сигарету, он любил табак покрепче, и Олонецкий, не видя друга, узнал его по запаху табака.

Кока остановился за спиной.

— Ты что, Жоржик? — спросил он и подошел ближе. — А! — понял он. — Я уже видел... Знакомый почерк...

Олонецкий отошел от края. Его трясло. Зуев рассказывал, лениво цедя слова, — как говорят, вспоминая неприятное:

— Когда в девятнадцатом мы вошли в Севастополь, то узнали, как там матросня развлекалась. Они офицеров вывезли в море, привязали к ним камни и сбросили в море. Спустили водолазов проверить... Место рыбаки указали. Водолазы вылезли, вид ужасный... Волосы дыбом... Там, на дне, рассказывают, покойники стоят... Только шевелятся, словно приветствуют... К ногам камни привязаны... Здесь то же самое... Не удивлюсь, если окажется работа знакомых товарищей. Какого-нибудь Ягоды из ЧК!

Он сплюнул.

Олонецкий выдохнул, замотал головой.

— Это не советчики... Это испанцы...

— Что? — нахмурился Зуев. — Какие испанцы?

— Местные большевики, испанские... Понимаешь, зверство заразительно... Еще Достоевский писал: если Бога нет, то всё дозволено.

Зуев обнял друга.

— Да шут с ним, с Достоевским. Не всё ли равно, по каким местам бить большевиков: по морде, по затылку или по пяткам? Главное — бить их в России, Испании или Германии! Главное, бить и не давать опомниться! Где высунется, так и трах по комиссарской морде!

Они решили вернуться к своему отряду. Зуев крикнул в раскрытые двери маяка, но никто не ответил. Даже эхо.

Они спустились с площадки и пошли через сад.

Возле старой лиственницы на лавочке сидели девушки – блондинка и брюнетка. Рядом с ними на траве сидели солдаты, которых они узнали, – из соседней роты, которая первая ворвалась в оставленный красными город. Они смеялись.

Девушки смутились, увидев незнакомых.

– А где сторож маяка? – поинтересовался Зуев.

Девушки еще больше смутились.

– Он сошел с ума, – сказал брюнетка.

– Это первый сторож... я же спрашиваю о втором, назначенном красными.

– Его вызвали сегодня утром, как свидетеля, в военный суд – пробормотала блондинка. Затем она прибавила: – Это наш отец. Но у него совесть чиста, так же, как и у нас. Мы все трое были сосланы сюда, и мы ничего не видели и не слышали. Клянусь вам!

– Ничего не видели? – удивился Олонецкий. – Ничего не слышали? А эти несчастные, которых сбрасывали живыми в море, разве не кричали? Не молили о помощи? И вы ничего не слышали?

– И не видели? – зло добавил Зуев. – Тогда пройдите десять шагов и посмотрите сверху вниз, где три трупа еще качаются в воде.

Он сплюнул в сторону и вместе с Олонецким быстрыми шагами пошел из сада.

С неба раздался грохот. Они подняли головы и по привычке, по усвоенной армейской привычке, бросились на землю – на них пикировали самолеты.

Грохот разрывающихся бомб, крики, беспорядочная стрельба и – тишина.

Контузило его не сильно, но на несколько дней он оглох. Ему писали вопросы и сообщения, а он писал в ответ, забыв, что может говорить, что голос у него остался.

Джорджа выписали через неделю и вместе с Зуевым откомандировали временно (пока окончательно не поправится) в охрану тюрьмы.

Прятели поворчали для порядка – «мы солдаты, а не тюремщики», но, справедливо рассудив, что в тылу спокойнее, чем на фронте, и война без них всё равно не кончится, подчинились.

Тюрьме было двести лет, не меньше. Ее директор занимал свое место и при короле, и при Народном фронте, и при Франко. Тюремщики нужны при любых режимах.

– У нас содержится триста красных, – рассказывал он. – Конечно, состав регулярно меняется. Расстреливаем, – пояснил он.

– Часто? – почему-то спросил Джордж.

Директор равнодушно ответил:

– Почти каждый день. Но что с ними прикажете делать? Военный суд вынес приговор – будь любезен выполнять... – и, предугадывая следующий вопрос, заторопился. – Нет-нет, господа! Вас никто не может заставить... Не думайте! Расстреливать людей, пусть даже и красных, нет... Этим занимается специальная расстрельная команда. Вы – фронтовики, у нас на поправке здоровья... – он подмигнул.

Потом повел их по коридорам, показывая на двери:

– Красные ополченцы... Летчик со сбитого самолета... Анархисты... Мародеры... Англичанин...

– И англичанин? – удивился Зуев. – Настоящий англичанин?

– Наверное, из международной бригады, – предположил Джордж. – Красный?

– Не знаю, какого он цвета, – пояснил директор. – Политическое дело. Он журналист. Написал фельетон про одного из наших генералов... Тому не понравилось...

– И журналиста в тюрьму?

– Пока к смерти не приговорили, но генерал обещал...

Олонецкий с Зуевым переглянулись, и оба вздохнули, понимая какая им служба теперь предстоит.

– Здесь трое крестьян, приговорены... Тут дезертир... Бывшие муниципальные советники... Они при красных... Бандит... приговорен, сегодня, наверно, к стенке... Воры... Самые обычные воры, ограбили магазин... Видите таблички на каждой двери? Там написано...

Директор ушел, а им велели раздать заключенным хлеб и кофе, который прикатил на тележке хмурый надзиратель.

– Ты что такой хмурый? – подбирая испанские слова, поинтересовался Зуев.

– Зуб болит, а доктор уехал к родственникам до понедельника.

– Положи водкой или коньяком, – посоветовал Зуев.

– Только это и остается, – согласился надзиратель.

У последней в коридоре двери Олонецкий наклонился, чтобы прочитать имя заключенного.

– Артур Кестлер\*. А, тот самый англичанин...

Кестлер не был английским подданным, но он приехал корреспондентом английской газеты, и его стали считать англичанином.

---

\* Кестлер, Артур (*Arthur Koestler*, 1905–1983), писатель и журналист, еврей, уроженец Венгрии. В 1938 году вышел из рядов компартии, осудив сталинский «Большой террор»; в 1940-м издал роман «Слепая тьма» о «Большом терроре». В 1967 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

Он посмотрел в глазок. Журналист ходил по камере. Губы его шевелились – он, видимо, считал шаги. Олонецкий открыл дверь.

– Хотите немного поболтать?

Кестлер остановился и удивленно посмотрел на него.

– Поболтать? Хм... Почему бы и нет? Хотя со стороны странно – арестант болтает с надзирателем.

– Почему странно? Скучно, монотонно, чем-то надо разнообразить такую жизнь.

Кестлер смотрел на них.

– Вы не похожи на тюремщиков.

– К счастью или к сожалению? – улыбнулся Джордж.

– Еще не знаю.

– Мы – солдаты, добровольцы из терсио карлистов... Сюда направлены после госпиталя.

– А! – понял журналист. – Добровольцы?

– Добровольцы, – повторил Зуев. – Не только красные набирают по всему свету шантрапу в свои международные бригады... – он запутался во французских глаголах и замолчал, подыскивая слова.

– Но и Франко набирает всякую шантрапу в свои войска, – закончил с улыбкой Кестлер.

Олонецкий рассмеялся.

– Мой друг запутался во французских глаголах, – перешел он на английский. – Но я вам не рекомендую так острить в будущем.

Кестлер расцвел.

– Сразу видно образованных людей!

– Я окончил Сорбонну, – уточнил Олонецкий.

– Вы французы?

– Мы русские.

Журналист секунду смотрел на него.

– Понимаю... Вы – белые русские... Эмигранты. Наверно, из аристократов или помещиков...

Олонецкий был невозмутим.

– Совершенно верно, из них. Как у большевиков поется – «Кто был ничем – тот станет всем». А у нас наоборот, не правда ли, Кока? Кто был всем – стал ничем. Так вот, чтобы в Испании не повторилось подобное, мы и приехали сюда воевать. У нас во взводе Санчес – испанец, тоже доброволец, его отца – владельца большого поместья – жестоко убили еще в прошлом году, разбушевавшимся крестьянам не давали покоя его земли. Сын спасся, благодаря чистой случайности, что стало с матерью и тремя сестрами, он не знает. Почти, как у моего друга, – Джордж кивнул на Зуева, – крестьяне в семнадцатом подняли на вилы отца многочисленного семейства, и тоже – из-за земли.

Год спустя дошли сведения, что две сестренки его замерзли зимой, а мать сошла с ума...

Кестлер вздохнул.

– Я был в России... в советской России.

– Давно? – подал голос Зуев.

– Пять лет назад. Я видел... голод на Украине.

– Видели? И что? – чуть не задохнулся Олонецкий.

Кестлер даже зажмурился от того, что ужас тех дней явственно встал в воспоминаниях:

на станциях, вытянувшись в ряд,

стояли и просили милостыню крестьяне с отеками руками и ногами,

женщины протягивали в окна вагонов жутких младенцев с огромными качающимися головами, палкообразными конечностями и раздутыми торчащими животами,

дети выглядели, как зародыши в сосудах со спиртом.

– Это ужасно, – признался журналист.

Помолчали.

– А за что вас заточили в тюрьму? – переменял тему Джордж. – Директор сказал, за фельетон против какого-то нашего генерала...

Кестлер сморщился.

– Какого-то! Не какого-то, а генерала Гонсало Кепо де Льяно. Он дал мне интервью три месяца назад. Интервью и портрет публиковались и в газетах. Кепо читает по-французски, скорее всего. Представляете себе его лицо, когда ему попадается «Портрет генерала мятежников» – свой собственный портрет и притом вполне правдивый. Представляете? Он пообещал спустить с меня три шкуры, если я попаду к нему в руки. И вот правительственные войска, по вашей терминологии – красные, – оставляют Сантандер, в город входят войска мятежников... националистов. Я иду по главной улице и нос к носу сталкиваюсь – с кем бы вы думали? – с адъютантом генерала Кепо де Льяно. Представляете? «Вот ты мне и попался», – обрадовался он, и я оказываюсь в тюрьме.

Зуев с Олонецким снова переглянулись.

– И за это вас посадили в тюрьму? На вашей двери табличка – «Особо опасный преступник». Вы понимаете, что это такое?

Журналист хмыкнул.

– Конечно, понимаю. Могут и расстрелять.

– А ваши коллеги... Английский консул... Разве они не могут помочь?

Кестлер улыбнулся.

– Чтобы помочь, надо знать, где я, а у меня не принимают ни

писем, ни заявлений. Знаете это испанское «завтра, завтра»? Уже две недели я слышу «завтра, завтра»... К тому же страшная англофобия – по обе стороны: и здесь, и... по ту сторону...

Олонецкий решился.

– Пишите письмо, я переishлю английскому консулу.

Он вспомнил о Филби из «Таймса», подумал, что можно разыскать его и передать письмо Кестлера, англичанин англичанину должен помочь. Но тут же остановился. Филби работает в пресс-центре при штабе Франко, а Кестлера арестовали за то, что он опубликовал памфлет про генерала из штаба Франко. И вообще, Кестлер, конечно, левый. Не коммунист, но точно левый. Не будет мордатый Филби помогать Кестлеру. Не знаю почему, но не будет.

(Тут Олонецкий ошибался: Кестлер был не просто левым, в то время он еще состоял в компартии.)

Ночью Кестлер проснулся. В глухой тишине он услышал бормотание священника и негромкое бречание его колокольчика.

Открылась дверь камеры – третьей слева; голос выкрикнул чье-то имя. Разбуженный откликнулся: «Que?» – «Что? Что случилось?», – и священник, словно в ответ, громче забормотал молитву, сильнее размахивая колокольчиком. Тот, кого разбудили, застонал и стал полуглухим голосом звать на помощь: «Socorro! Socorro!»

– Кто ж теперь поможет, – равнодушно произнес сопровождавший священника надзиратель. Человек, которого уводили на смерть, смолк. Спокойный, деловитый тон тюремщика оборвал его жалобы. Потом он рассмеялся.

Он смеялся негромко, отнюдь не на публику.

– Да вы пошутили, – сказал он священнику. – Я сразу догадался: вы шутите.

– Нет, приятель, это не шутка, – отозвался тюремщик всё тем же невыразительным голосом.

Кестлер еще слышал, как он кричал во дворе. Минуту спустя раздался залп.

Тем временем священник и надзиратель открыли следующую дверь. Священник молился, колокольчик звенел, заключенный плакал, хлюпая носом, точно ребенок. Он звал мать: «Madre! Madre!» И опять: «Madre! Madre!»

– Раньше надо было о ней думать, – заметил тюремщик.

Его увели.

Они подошли к следующей двери. Заключенный ничего не сказал, когда его вызвали. Наверное, он тоже слушал, стоя у двери, и успел подготовиться. Однако когда священник закончил молитву, он еле слышно спросил:

– Почему я должен умереть?

Священник ответил торжественно:

– Вверь себя Богу: смерть – это свобода.

Его увели.

Рано утром, раздавая еду, Олонецкий подошел к камере Кестлера, посмотрел в глазок, кивком подозвал Зуева и открыл дверь.

– Почему вы не едите? – спросил Джордж.

Кестлер ответил, что у него нет аппетита.

– Боишься? – догадался Зуев.

– Да.

Олонецкий ничего не сказал, пожал плечами, протянул сигарету и осторожно прикрыл дверь, чтобы она не захлопнулась с грохотом.

В теплый апрельский понедельник пришел парикмахер, побрил надзирателей и, конечно, Олонецкого и Зуева.

– Побрей англичанина, – попросил Олонецкий.

Цирюльник пожал плечами.

– Почему бы и нет?

Джордж стоял рядом и наблюдал торжественную процедуру бритья.

Брадобрей спросил, не царапает ли бритва, Кестлер отвечал, что бритва просто прекрасная.

– Хотите покурить? – предложил Зуев.

– Очень хочу покурить.

Цирюльник закончил свою работу. Зуев свернул сигарету и поднес огонек.

– Жизнь прекрасна! – засмеялся журналист.

Парикмахер ушел.

Зуев поманил Кестлера пальцем и показал на дверь камеры снаружи. На табличке стояло только имя, а пометка «особо опасный» исчезла.

Изоляция – по-видимому, благодаря вмешательству извне, – прекращена.

– Понял, англичанин?

Тот кивнул головой.

– Твое письмо дошло до консула, и он принял меры, – тихо произнес Зуев.

Кестлер не верил своим ушам.

– Пойдешь гулять?

Кестлер посмотрел на него с изумлением – еще спрашивает!



## ПАРИЖ, ЛЕТО 1937. ВАРЛОВ

*Flashback*

Нога, подвешенная к потолку, словно зенитная пушка, должна пугать прилетающих мух.

Ребро ныло, будто его постоянно передвигали с места на место, а голова начинала трещать по вечерам.

Вот что такое – последствия аварии.

Варлов считал, что авария подстроена. Кто-то умело вытащил шплинт из колеса, и на скорости машина полетела в кювет.

Слава Богу, что остались целы в перевернувшейся машине, слава Богу, что она не загорелась. И, конечно, слава Богу, что это произошло уже на французской территории, по дороге в Париж.

Подстроить такое могли франкисты. Или немцы.

Но могли такую штуку подстроить и свои. Та веселая компания партизанских командиров, которых Варлов отправил в валенсийскую школу готовить кадры диверсантов.

Но, может, всё не так плохо, как кажется? Может, авария просто разбередила какие-то тайные комплексы? Он смотрел в окно – там весна, тридцать седьмой год только начался, дела на фронтах идут неплохо, шпионов отлавливаешь замечательно, покушение на Франко готовится вовсю (Филби, журналист-англичанин, должен получить пропуск в штаб мятежников в ближайшие дни, его завербовал Малый три года назад, я был с ним на связи в Лондоне), – чего тебе не нравится?..

Сломанная нога – вот что ему не нравится. Слишком долго кость срастается.

В дверь постучали, и в одноместную просторную палату просунулась голова Николая Смирнова, резидента НКВД в Париже, работающего под маской второго секретаря советского полпредства.

– Заходи! – обрадовался Варлов. – Мне сказали, что навесят, но не сказали кто.

Смирнов исчез, дверь открылась, и он вошел. Не один. Вместе с ним шагал большой, как шкаф, варловский кузен и коллега Зиновий Кацнельсон, заместитель наркома внутренних дел Украины.

– Шлимазл! – засмеялся он.

– Зямка! – отозвался Варлов, и они обнялись.

Зиновий был таким же, как всегда, улыбчивым, крепким, довольным. Сразу напомнил детство и маму, которая ждала в Москве, в квартире в Спасоналивковском.

Смирнов довольно крикнул, поставил стулья с обеих сторон кровати – благо она стояла посредине палаты.

– Спасибо, Смирнов, за сюрприз, – сказал Варлов. – Нечасто родственников встречаешь за границей...

– Я в командировке, – пояснил Зиновий, и кивнул на резидента, – по его душу.

– Проштрафился? – поинтересовался Варлов. За Смирновым водились грешки, как за каждым резидентом, – больше, конечно, по части развлечений и нарядов жены (такие доносы посольские стукачи писали в наркомат сотнями). Но ничего серьезного за ним не числилось.

– Что вы! Товарищ комиссар государственной безопасности второго ранга приехал...

Варлов улыбнулся.

– А ведь мы твое повышение по службе не отмечали... С тебя причитается...

Кацнельсон повел глазами, потом на окно. Варлов понял.

– Причитается, – согласился приезжий.

– Смирнов, в больнице бутылочку не сообразим? – спросил Варлов, зная, что здесь ничего алкогольного не продают. Это не Испания, где на каждом углу и в каждом доме вина – пей – не хочу, как говорят русские.

– Да, Смирнов! – подхватил Зиновий. – А ведь, правда, надо обмыть мой приезд! Жаль, Лева, не могу в парадной форме предстать перед тобой.

– А у меня парадной нет, только повседневная. Да и там всего один ромб, я только майор, – напомнил Варлов и усмехнулся: – Парадную ввели после моего отъезда.

– Смирнов! – снова обратился Кацнельсон к резиденту. – Может, прямо здесь, в тесном, так сказать, коллективе чекистов и отметим, а?

Резидент растерянно посмотрел на Варлова и облизнулся: выпить ему хотелось.

– А товарищу Шведу можно?

– Можно, можно! – не дал ответить Зиновий. – Распорядись, Смирнов!

Смирнов вскочил, словно мальчишка (что делает с народом присутствие вышестоящих товарищей!):

– Я сам сейчас съезжу в ближайший магазин...

Зиновий остановил, схватив за полу улетающего к дверям пиджака.

– Тогда, Смирнов, мчи аллюр три креста в посольство и привези нам пару бутылок «Московской особой».

Смирнов улыбнулся и исчез за дверьми.

Зиновий посидел с минуту, разглядывая сидящего в постели родственника, потом подошел к окну, затем придвинул стул еще ближе к постели.

– А теперь, товарищ родственник, он же товарищ Швед, он же товарищ Варлов, поговорим наедине...

Варлов расхохотался.

– Ну, Зяма, ты и режиссер! Классно разыграл спектакль!

Тот удовлетворенно хмыкнул.

– Смирнов не раньше, чем через полчаса вернется, мы с тобой успеем посекретничать... Правда, жаль, он знает, что мы с тобой наедине оставались.

Варлов насторожился. Кацнельсон – заместитель наркома внутренних дел Украины, член коллегии НКВД СССР. Ба-а-альшой человек дядя Зяма, как говорит его племянница и дочь Варлова. И он опасается? Чего?

– Ну-ка выкладывай свои страхи, родственничек!

Тот расстегнул пуговицы на пиджаке, стал еще больше домашним, каким-то уютным, оперся рукой на стул и спросил:

– Ты представляешь, что делается дома? Не по газетам, а хотя бы по сводкам? Ты же получаешь сводки из наркомата каждую неделю. Потом радиограммы тебе шлют – и нарком, и Сам.

– Так уж и шлют! – отмахнулся Варлов.

– Шлют-шлют! – поднял палец Зяма. – Все знают, что ты любимец Хозяина. Что он специально не назначил тебя замнаркома, потому что ты не чиновник, а оперативный работник. И он это ценит.

– Ага, – ослабил Варлов, – то-то я два года просидел в замначальниках транспортного управления.

Зиновий развел руками – дескать, начальству виднее.

– Не убежит от тебя место замнаркома, – сказал он. – Приедешь из Испании – считай, оно твое. Думаю, Агранова скоро снимут. Да-да, не удивляйся. Его дни сочтены. И, думаю, Артузова тоже.

– Ты что? – не поверил Варлов. – Заслуженных чекистов? Да у них по два значка «Почетный чекист»!

– Дурак! – чуть не крикнул Зиновий. – А Генрих Григорьевич – не заслуженный чекист? Но – сняли. Два значка «почетный чекист»! А Бухарин? А Рыков? Пока мы тут с тобой сидим, их уже арестовали.

Варлов вытаращился на него.

– Кого? Старых большевиков? Бухарина, «любимца партии»? Человека, который всегда боролся с Троцким? За что же, интересно, их арестовали?

Родственник покосился на дверь, потом наклонился и тихо сказал:

– Ты что, не понимаешь, дурачок, что арестовывают не за конкретную вину и не за какие-то проступки? Идет уничтожение старой гвардии большевиков. Всех людей с дооктябрьским стажем. А чаще – и до первой революции. Ты понимаешь? Да?

Варлов понимал. Ох, как понимал! Но он много лет работал в «органах» и никому не верил, даже родственникам.

– Термидор, – сказал он. – Троцкистом ты стал, Зяма.

– Дурак! – шепотом закричал тот в ухо кузену. – Вы тут ни хрена не понимаете, что происходит в стране! Да что в стране! В собственном наркомате!

– А что в наркомате? – насторожился Варлов.

– Ага, заерзал! – зарычал кузен Зяма. – Мы с тобой погорим. Может, не в первую очередь. Но во вторую – точно. Ох, как гореть будем...

– Так что в наркомате? – не понял Варлов.

– Чистка начинается. Новая метла – секретарь ЦК Ежов – метет жестко. Ежовые рукавицы у него, видать. Слышал пословицу: *еж съел ягоду?* То-то!

Варлов не поверил.

– Фантазии. Вы там в сплетнях штаны себе протерли. Неужели у вас в Киеве такие разговоры?

Кацнельсон посмотрел на него, как на больного. Впрочем, он прав – Варлов больной, потому и в больнице.

– У нас уже лежит приказ наркома внутренних дел Союза товарища Николая Ивановича Ежова о чистке... Это до Москвы еще не дошло. Но думаю – дело пары месяцев. Ах, да, кстати, о двух значках почетного чекиста... Чертока помнишь?

Варлов поежился. Черток слыл садистом даже среди дознавателей секретно-политического управления. Он был следователем Каменева. И склонил того к даче убийственных для себя показаний.

Склонил он его своеобразно. В жару камеру Каменева топили по-черному, старый человек задыхался от духоты, а Черток пил в прохладном кабинете минералку и спрашивал: «Ну как, надумали, Лев Борисыч, признаваться в своей преступной деятельности?» Потом о маленьких детях начинал разговор, которые ни за что ни про что страдают за родителей.

Черток! Садист. Палач.

Варлову не хотелось даже говорить – стало противно.

– Успокойся, – сказал Зиновий. – Чертока больше нет.

Варлов удивленно повернул голову.

– Как нет? Умер?

Зиновий кивнул.

– Умер. За ним пришли, и он выпрыгнул из окна.

Варлов приподнялся на постели, он начинал понимать.

– Ты хочешь сказать, что за ним пришли *наши*, и он пытался бежать?..

Кузен Зяма усмехнулся и, как обычно, смешно мотнул головой. Варлов всегда улыбался, видя это движение – так мотают головой слоны в зоопарке, когда им что-то нравится. Но Зиновий-то не слон, хотя и большой.

– Нет, не бежать. Его пришли арестовать по приказу нового наркома. Он крикнул: «Я вам не Каменев, я сознаться не буду!» И выпрыгнул с двенадцатого этажа вниз.

Варлов вспомнил дом ОГПУ. Ему предлагали в нем квартиру, но жена Маша закапризничала, сказала, что у нас в Спасоналивковском тише и, вообще, жить в одном доме с коллегами глупо, хотя бы потому, что будет не дом, а продолжение работы: все будут заходить по-свойски и опять – про дела. (Так уже было, когда жили в общежитии ОГПУ в Грузии, где Варлов командовал погранвойсками.)

– Вдребезги разбился? – зачем-то спросил Варлов

Хотя человек, который прыгает с двенадцатого этажа, разумеется, разбивается насмерть.

– Насмерть, – подтвердил Кацнельсон. – А у него, между прочим, тоже два значка «почетный чекист» имелись, и в звании он был в таком же, как и ты, – майор государственной безопасности, что по общешеремейскому означает – комбриг. Понял, дурачина?

Он еще раз огляделся.

– Лева, мы с тобой двоюродные братья, – начал он. – Ты понимаешь, наверно, что я неспроста приехал в Париж...

– Догадываюсь, – съязвил Варлов.

– Нет, не догадываешься, – почему-то вздохнул он. – Ты здесь большой человек. Думаю, кроме тебя, нет более крупного чина из НКВД в Европе.

– А что, меня назначили замом Ежова? Потому ты и послал за бутылкой?

То, что рассказал Кацнельсон, представлялось чистой фантастикой. Однако, как сказал кто-то из классиков, правда страшнее и фантастичнее любой выдумки.

Год назад, готовя процесс Каменева и Зиновьева, Хозяин вызвал наркома Ягоду и сказал:

– Интересно, неужели никто из обвиняемых не сотрудничал с царской охранкой?

Ягода понял: сигнал! Надо готовить материалы о сотрудничестве старых большевиков с охранкой.

– Я думаю, – продолжил Сталин, – что должны быть документальные доказательства.

– Конечно, товарищ Сталин, – согласился Ягода.

В НКВД могли подделать любой документ – была бы команда дана. Подделывали даже американские доллары, а тут – какие-то документы.

Сталин продолжал внимательно смотреть на своего Фуше\*. Нарком внутренних дел продолжал:

– Можно найти бывшего офицера охранки, уцелевшего во время революции, и заставить его засвидетельствовать, что некоторые из обвиняемых были царскими агентами. Признания, подтверждающие свидетельства, получим от обвиняемых. А затем свидетель и заключенные расскажут свои версии. Процесс ведь открытый, товарищ Сталин! Я думаю, что это потрясет всю страну, – закончил Ягода.

– Меня не интересуют подробности, – сухо прервал Сталин.

Найти живого офицера охранки оказалось не так просто. Во-первых, почти всех их выбили во время Гражданской войны и последующих чисток. Во-вторых, тот, кто вовремя не сбежал за границу, так спрятался, что найти оказалось чрезвычайно сложно.

Ягода велел перерыть полицейские архивы. Один из архивов бывшего департамента полиции находился в Ленинграде, с первых лет советской власти им часто пользовались Дзержинский, Менжинский, а затем и Ягода.

Помощник начальника Секретно-политического отдела НКВД двадцатипятилетний Штейн активно взялся за поиски. Однажды в архиве ему попала изящная папка, в которой заместитель директора департамента полиции Виссарионов хранил особо важные документы.

Открыв папку и листая бумаги, Штейн увидел анкету с прикрепленной к ней фотографией молодого Сталина.

– Редкая фотография! – обрадовался он. – Реликвия! Неизвестные документы о деятельности вождя в подполье!

Он собрался звонить наркому Ягоде с сообщением о находке, когда что-то заставило его полистать бумаги.

Штейна пробил холодный пот. Он резко обернулся – за спиной никто не стоял. Но от этого лучше не стало.

---

\* Фуше, Жозеф, герцог Отранский (Joseph Fouché, 1759–1820), политический и государственный деятель. Известен особой жестокостью при расправах с противниками в годы Революции (1789–1799), предательством Робеспьера. Во времена Директории (1795–99) был министром полиции; сумел организовать широкую сеть шпионов и провокаторов. Служил при Наполеоне, позднее был сослан императором.

Обширные докладные и письма, написанные рукой Хозяина (а его почерк Штейн, как и все чекисты, знал по резолюциям на различных бумагах НКВД, отправляемых к вождю на утверждение).

Страх застилал глаза Штейна потом. Он стирал пот и гипнотически тянулся к бумагам – он читал донесения Сталина, – донесения агента охранки!

Затем уже не страх, а ужас заставил Штейна вскочить. Он работал в НКВД не первый год и прекрасно знал порядки. Он знал, что бывает с теми, кто слишком много знает. Он знал, *что* случилось с охранниками Кирова. А если кто-то узнает про то, что *такая* папка с *такими* материалами побывала в руках у сотрудника НКВД? Что с ним будет?

Он незаметно вынес папку из архива и несколько дней мучительно соображал, что делать дальше.

Мир перестал быть двухцветным. Кроме черного и белого, в нем оказались и другие цвета, к восприятию которых Штейн не был готов.

Он выхлопотал командировку в Киев.

Наркомом внутренних дел на Украине работал бывший начальник Штейна по центральному аппарату НКВД Балицкий. Они дружили не только как сослуживцы, но и домами.

Балицкий схватился за голову, когда прочитал «бумаги Виссарионова». Потрясение было не меньше, чем у Штейна. Балицкий тем более знал, чем может кончиться для него знакомство с документами охранки.

Уничтожить? Спрятать? А вдруг папки хватились и уже ищут?

Балицкий вызвал своего заместителя, соратника с первых лет революции Зиновия Борисовича Кацнельсона.

– Надо проверить подлинность документов, – предложил тот.

Проверили тут же, в кабинете, – не посвящать же в такое дело экспертов!

Каждый документ исследовали детальнейшим образом. Хотя и простым глазом было видно, что бумаги подлинные. И почерк Хозяина не изменился за годы.

Сомнений не осталось – до середины 1911 года Сталин являлся агентом царской охранки. Мало того, он пытался сделать карьеру в царской полиции! Некоторые из сообщений Сталина относились к 4-й Государственной Думе. Большевистская фракция в Думе состояла из шести депутатов. Руководил ею Роман Малиновский – тоже агент охранки. Но его роль выяснилась гораздо позже.

Но что делать с документами?

На всякий случай сделали несколько фотокопий, которые спрятали в надежных местах.

– А папка? – насторожился Варлов. – Вы ее, надеюсь, уничтожили?

– Нет, – признался Зиновий. – Мы хотели познакомить с ней Якира, командующего Украинским округом, и Косиора, генсека ЦК Украины...

– Что? – Варлов чуть не вскочил с постели. – Вы это сделали?

– Нет, Лева, не сделали. Я решил посоветоваться с тобой. – Он виновато смотрел в лицо родственника. Что-то Зиновий не договаривал. Варлов догадывался.

– Зяма, только не ври. Где папка с «бумагами Виссарионова»?

Он глубоко вздохнул.

– Ну, где?

Он молчал, смотрел в пол, не хотел говорить.

– Ты ее... – не поверил Варлов.

– Да. – Он раскрыл рот, как побитая собака. – Она у меня. Здесь. Варлова подбросило. Если бы не прикрепленная к раме нога, он обязательно бы вскочил.

– Где – здесь? У тебя в портфеле?

Тот обреченно кивнул.

– Ах ты, гнида, провокатор подлый. Меня, майора госбезопасности, специального уполномоченного Политбюро – ставишь под удар? Так это понимать? Ах ты, троцкистская гадина!

Варлов вытащил из-под подушки любимый «вальтер-7,65» и навел его на Зиновия.

– Вынимай папку!

Родственник застыл с открытым ртом.

– Папку! – резко приказал Варлов и спустил предохранитель большим пальцем.

Глядя в глаз пистолета и пытаясь унять дрожь в руках, заместитель наркома расстегнул свой портфель и вынул оттуда пакет. Потом раскрыл его. В нем лежала обычная папка-скоросшиватель.

– Это? – не поверил Варлов.

– Внутри, – пробормотал визави, не спуская глаз с револьвера.

– Бери папку, – скомандовал Варлов, – и неси ее в шкаф.

Родственник подчинился.

Шкаф стоял в углу. В нем полагалось хранить вещи больного, но кроме вещей в шкафу, лежало множество книг, бумаг, скоросшивателей, папок, портфелей – Варлов отбирал канцелярские принадлежности для Барселоны. Ему приносили образцы, он их смотрел, и медсестра складывала отобранное в шкаф. Там образовался небольшой склад.

– Видишь портфель крокодиловой кожи с ключиком на цепочке?



Положи в него папку и закрой на ключик. Закрыв? Спускайся вниз, возьми такси и поезжай в банк «Лионский кредит». В отделение на бульваре Вожирар. Сейф номер одиннадцать. Код – три девятки плюс два. Запомнил, замнаркома? И – обратно!

Краска прилила к лицу двоюродного брата.

– Прости меня, Лева, – сказал он. – Я боялся выпустить ее из рук.

– Идиот, дубина стоеросовая, не мог догадаться положить в банковский сейф свой пакет?

– Когда, интересно, я мог это сделать? – парировал он. – Если с поезда – в посольство, а из посольства – к тебе. Но спасибо тебе еще раз. Мне, честно сказать, это в голову бы не пришло.

Варлов усмехнулся и сунул пистолет под подушку.

– Поживи с мое на Западе, ты много полезного узнаешь.

Что делать с документами?

Материал – первый класс, ничего не скажешь. Всегда Варлов подозревал, что у товарища Сталина рыльце в пушку. И Свердлов его не любил. Вместе в ссылке находились, а не любил. Считал Сталина стукачом. Об этом сейчас не вспоминают.

Ах, какое же мерзкое чувство испытывал Варлов!

Состояние слуги, узнавшего тайну хозяина. А он узнал *такую* тайну, за которую расстреляют сразу же, как узнают, что она ему известна.

Если Зяма не провокатор (а Варлов надеялся, что нет, – не тот человек), то едва ли узнают.

Балицкий и Штейн.

Ох, а не сказал ли Зиновий своим сослуживцам, что едет ко мне? Если сказал, на меня уже навели ищек.

Где гарантия, что тот же Штейн или Балицкий завтра не расколются на допросе? Или просто для карьеры не доложат вышестоящему начальству?

Ну, не психуй, не психуй. Твоя нога заживает, ты больше симулируешь, чем она болит на самом деле; ты просто хочешь отдохнуть, ты уверен, что в Испании отдыха не будет, что снова артобстрел, снова Барселона, снова чистка Мадрида, снова расстрелы «пятой колонны», снова кровь.

А хочется отдохнуть!

Какой тут отдых, когда такой материал в сейфе!

Интересно, кто придет раньше – Смирнов с бутылкой или Зиновий?

Раньше пришел резидент и удивился, не застав московского гостя. Но Варлов объяснил, что у товарища Кацнельсона неожиданно заболел живот, вероятно, от парижской воды, – помнишь, Смирнов,

как долго к местной воде привыкал? – вот он в галльон и заскочил, ты разве его не встретил – галльон ведь в коридоре?

– Нет! – засмеялся Смирнов. – Я по черной лестнице поднимался...

– Хорошую водку принес? – поинтересовался коллега.

Резидент с гордостью вынул из бокового кармана пиджака «Московскую». Варлов показал на подоконник – там стояли стаканы.

– Наливай, наливай, Смирнов, – подзадорил он резидента. – Раз у него живот схватило, пусть меньше и достается.

Водка забулькала, наполняя стаканы.

Не те стаканы у нас дома, мелькнуло в голове Варлова, – граненые большие и маленькие стаканчики, которые зовутся у нас «стопками» или «стопарями».

– Не похожи на наши стопки, – словно читая мысли, сказал Смирнов.

Варлов согласно кивнул, взял стакан, и тут ворвался Зиновий.

– Не обоссался? – крикнул кузен, кивая на повернувшегося к дверям Смирнова. – Как там, в туалете, лучше, чем в московском?

Зиновий прочитал ситуацию мгновенно и потерял свой живот: дескать, побаливает.

– Вы, товарищ комиссар госбезопасности второго ранга, водки с солью выпейте, – посоветовал Смирнов. – Как рукой снимет. Старинный рецепт.

Зиновий огляделся и не нашел стакана.

– А где? – толкнул он резидента. – Водка с солью где?

Варлов долго помнил, как, наклоняясь к нему в тот момент, когда Смирнов уже открыл дверь, Кацнельсон шепнул:

– Если нас с Еленой пристрелят, я хочу, чтобы ты и Мария позаботились о нашей дочке. Ей всего три года, ты помнишь.

Варлов окончательно поверил, что родственник действительно проделал длинный путь от Москвы до Парижа только затем, чтобы передать документы.

Документы... Его отпечатков на папке нет и не будет. Даже если за Зиновием следили, что маловероятно.

## ПЕЧОРЛАГ. КОНРАД АЛЬВЕНХАУЗЕР

Конвой пополнялся из новобранцев. Таких специально набирали в конвойные войска – злобных садистов, каждый из которых старался выслужиться перед начальством.

Заклученные работали на прокладке «узкоколейки». Бригада маленькая, всего шестнадцать человек. Охрана – четыре конвоира, начкон и собаковод с немецкой овчаркой. Район работы вдоль полотна

дороги захватывал каких-нибудь тридцать метров. Конвоиры расположились на возвышении, скучали, перебрасывались между собой шуточками. Собаководу захотелось прикурить. Спичек не оказалось, а у эков горел маленький костер, в котором грелись клинья для забивки в шпалы.

– Эй, мужик! Дай огня! – крикнул он молодому парню, работавшему рядом с Конрадом.

Солдат находился вне «зоны», которая даже на такой работе была определена. Парнишка знал, что любой из конвоиров имеет право стрелять, если он перейдет или даже только подойдет к линии огня. Он сделал вид, что не слышит собаководу или не принимает приказ на свой счет.

– Слышь, гад фашистский! Эй, мужик! Дай огня! – повторил злобно солдат.

– Идите к костру, и я дам огня, – ответил паренек. – Вы же знаете, что я не могу к вам подойти. Вы будете стрелять.

– Выходи, сволочь, я тебе говорю! – совсем освирипел собаковод. – Неси уголек прикурить!

– Не выйду! Я жить хочу!

– Ну что ж! – вдруг по-звериному оскалил зубы солдат. – Коли так, я сам к тебе пойду, чтоб ты и дальше жил.

Солдат привязал собаку к дереву, поправил ремень и медленно пошел к костру. Паренек широко открытыми глазами, весь побелев, смотрел на идущую к нему смерть в чекистской шинели.

Конвоир подошел и, равнодушно вынув из кобуры наган, четырьмя пулями сразил несчастного.

– Ложись, бляди! – крикнул он.

Заключенные упали в снег.

Чекист нагнулся, вынул уголек, прикурил и, сбросив его на землю, с сигаркой в зубах, подхватил под мышки еще теплое, трепещущее тело парня и потянул его за зону. Подошел начкон.

– Что тут у тебя? – для порядка спросил он.

– Заключенный номер... какой там у него? – убит при попытке к побегу.

– Мать твою... – выругался тот. – Он же живой!

Парень был еще жив, когда его привезли в лагерь и выбросили из саней в снег перед штабом. Он застонал.

Пришел вольнонаемный врач, велел перенести несчастного в больничный барак. Пришлось вызвать начальство. Бедняга, при полном сознании, умирал в страшных мучениях. Примчались следователи из Управления Усть-Вымьлага. Солдата-убийцу увезли, но безобразия продолжались.

Вскоре Конрада перевели работать на пилораму. В его обязанности входила подкатка бревен для распила на доски. Кроме того, полагалось вывозить опилки за зону, чтобы избежать пожара. Опилки вывозили метров за пятьдесят за трехметровый забор на тачках. Дополнительная охрана внимательно следила, чтобы за зону выходили только люди с тачкой, быстро ее переворачивали и бегом возвращались за следующей.

Конрад открыл ворота, положил трап и вернулся к своей лопате и пустым тачкам. Он нагружал тачки, а несколько заключенных вывозили.

Заключенные покатили свою тяжкую ношу. Конрад вытер пот со лба, смотрел им вслед и вдруг заметил, что конвоир, сидевший напротив ворот, медленно поднимает автомат. С тачкой шел знакомый Конрада австриец Гуго. Альвенхаузер бросил лопату и закричал:

– Zurueck, Hugo! Erschiesst!

Гуго бросил тачку и, повернувшись, побежал к воротам зоны. Солдат вскочил, выругался и выпустил целый диск в спину бегущего.

Гуго упал уже в зоне завода, приблизительно метра за полтора от ворот. Конрад бросился к нему, но солдат выпустил в его сторону очередь. Альвенхаузер успел закатиться за штабель досок.

На стрельбу сбежались все конвоиры. Подбежали и работяги. Они хотели подойти к Гуго, но их не подпускали, кладя огневую дорожку между заключенным и убитым.

– Сволочь, – произнес в адрес конвоира молодой заключенный Митя Баранов, бывший телефонист в штабе Власова, – в отпуск ему захотелось, гаду...

Да, солдату хотелось домой. Солдат знал, что отпуск дают тем, кто отличится по службе. Самым большим отличием являлось пресечение попытки к бегству. Конвоир долго ожидал ситуации, когда убийство ээка дало бы ему право на отпуск. Возможность нашлась.

Конвоир получил в награду часы и долгожданный отпуск.

Заключенные пошли жаловаться начальству, но их выгнали и велели собираться на этап.

## НЬЮ-ЙОРК. ОЛОНЕЦКИЙ

Прощаясь, Дон Левин передал Олонецкому пакет.

– Не спрашивайте сейчас, откуда у меня эти бумаги, позже расскажу.

Когда Джордж раскрыл пакет и стал вчитываться в «Бумаги Виссарионова» (так он назвал его содержание), то первое, что пришло на ум, – фальшивка.

А если документы подлинные?

Тогда это бомба.

Несомненно, бомба, размышлял Олонецкий.

Но тут же привычный холодный душ сомнений окатил его. Ну и что? Кого интересует прошлое советского диктатора? У всех диктаторов темные пятна в биографии. Один в прошлом торговал живым товаром, другой убил жену, третий ограбил банк, четвертый печатал фальшивые деньги.

А Сталин был агентом полиции. Хотя за ним водились и грешки коллег-диктаторов: он убил жену, грабил банки, торговал живым товаром... ну, может, этого не было, но зато торговал ворованными драгоценностями. Да-да, большевики продавали драгоценности из музеев, картины, фарфор...

И фальшивые доллары печатали! Году в тридцать третьем, помнится, был скандал...

Он сразу вспомнил слова Рашель о коммунистах, вспомнил рассказ подполковника Ван Влита о Катыни, вспомнил содержимое папок Смоленского архива...

Его передернуло. Он не хотел вспоминать то, что отодвинул в дальнюю комнату памяти. Мало того — запер дверь в эту комнату.

Разберемся в бумагах.

Письмо заведующего Особым отделом департамента полиции Еремина начальнику Енисейского Охранного отделения А. Ф. Железнякову от 12 июля 1913 года, содержащее данные о Сталине как об агенте Петербургского Охранного отделения, — вот документ.

Знаете, сколько работы надо предпринять, чтобы доказать его подлинность?..

Внешний вид? Тьфу! Любой специалист состарит любую бумагу за два часа, и вы будете гадать, какому веку она принадлежит.

Подписи? Через полчаса другой специалист покажет вам две подписи — вашу и поддельную, и вы ни в коем разе не отличите одну от другой. Нет, здесь должна быть проведена большая работа.

Требовалось доказать:

1. Арестовывался ли Сталин в 1906 году?
2. Возраст, качество, сорт и все прочие признаки бумаги, на которой напечатан документ, а также место и время ее изготовления.
3. Тип пишущей машинки, на которой отпечатан документ. Употреблялся ли он тогда в России?
4. Был ли А. Ф. Железняков в то время действительно начальником Енисейского Охранного отделения?
5. Занимал ли Еремин соответствующую письму должность?
6. Подлинность подписи Еремина.

Нужен всесторонний анализ документов.

Кто может это сделать? Где это могут сделать, чтобы никто посторонний об этом не узнал?

Совершенно верно – в ЦРУ.

## МОСКВА. ПОСОЛЬСТВО ЧЕХОСЛОВАКИИ. НОЯБРЬ

В ноябре на приеме в посольстве Чехословакии к послу Мейерсон\* подошел английский журналист Паркер, они были знакомы, и спросил, не хотела бы она познакомиться с Эренбургом.

– Он здесь, я вам его представлю.

– Конечно, хочу. Никогда не видела сталинского лауреата...

Журналист растворился в толпе, чтобы возвратиться со знаменитым советским публицистом.

Эренбург обратился к послу по-русски.

– Я, к сожалению, не говорю по-русски, – ответила Голда. – А вы говорите по-английски?

Он смерил ее презрительным взглядом и ответил:

– Ненавижу евреев, родившихся в России, которые говорят по-английски.

– А я, – парировала она, – жалею евреев, которые не говорят на иврите или на идиш.

Эренбург отвернулся и пошел к столу, где находились выпивка и закуска.

У стола с рюмкой водки стоял кинорежиссер Донской.

– А, Марк, и вы здесь, – подняв бокал, произнес Эренбург. – Я вам не советую громко говорить о возможности эмиграции наших евреев в Израиль.

Донской испугался.

– Я сказал о том, что может быть какая-то ограниченная эмиграция...

– И не заикайтесь об этом.

Испуганный Донской махом выпил свою рюмку.

– Почему же господин Донской не может иметь свое мнение об эмиграции? – поинтересовался у Эренбурга атташе израильского посольства Нимир.

---

\* Голда Меир (урожд. Мабович, в замужестве – Мейерсон, 1898, Киев, – 1978, Иерусалим), политический и государственный деятель, 5-й премьер-министр Израиля, министр внутренних дел Израиля, министр иностранных дел Израиля, министр труда и социального обеспечения Израиля. В 1948 году – как Голда Мейерсон – посол Израиля в СССР. Фамилию «Меир» стала использовать с 1956 года.

Эренбург уставился на него.

– А, и вы здесь... Так вот, хочу предупредить вас по-дружески. Ваше государство будет иметь много неприятностей, если не оставит в покое советских евреев и не перестанет их соблазнять сионизмом и эмиграцией.

– Илья, вы пьяны, – тихо сказал Донской.

Эренбург повернулся к нему.

– Да? Это мое дело. А почему вы еще здесь? – он громко захохотал.

### АШХАБАД, ТУРКМЕНИЯ. КОНРАД АЛЬВЕНХАУЗЕР

Соседом Конрада по нарам оказался испанец Кампесино. Его звали Валентин Гонсалес\*, но все называли его Кампесино. В переводе с испанского его прозвище означало «деревенщина».

Но Конрад всегда обращался к нему по имени – Валентин, и тот принимал обращение за уважение.

Испанец прославился во время гражданской войны в Испании. Он командовал у республиканцев полком, а потом целой дивизией. Он носил густую черную бороду. Бороду он обещал сбрить после победы над Франко.

Во время обороны Мадрида Кампесино командовал батальоном. Однажды приехал к новобранцам на занятия по стрельбе. Бойцы мазали по мишеням. Кампесино выстроил их и сказал, что возиться с лодырями у революции времени нет, потому он, комбат, каждому, кто промахнется, будет отстреливать мизинец на левой руке (правая нужна для боя). Упражнение выполнили все. Кампесино приказал отнести мишени подальше: продолжаем занятия, условия прежние. Показываю, как надо стрелять. Взял винтовку, выстрелил – и промахнулся. Достал из кобуры пистолет, отставил мизинец – и отстрелил. С каменным лицом снова взял винтовку. Попал в яблочко. Бойцы стояли ошалевшие. После поражения республики, Кампесино уехал в Москву, учился в Военной академии, но не поладил с Долорес Ибаррури и другими вождями компартии, был исключен, ударился во все тяжкие и в конце концов оказался в лагерях.

---

\* Гонсалес Валентин (Valentín González González, он же, в СССР, – Петр Антонович Комиссаров, 1904–1983, Мадрид), военный и политический деятель, коммунист, один из командиров во время гражданской войны в Испании. После поражения в войне с 1939 года жил в СССР. Прошел через десяток лагерей ГУЛага, совершил несколько побегов – последний в 1948 оказался удачным. Жил в эмиграции. В 1977 году вернулся в Испанию.

Вместе с Конрадом они работали на стройке.

Новостройка – два четырехэтажных дома, будущие чекистские квартиры. Бригаде заключенных выпала самая неблагодарная работа – подносить известку штукатурам.

Известь разводили внизу в утепленном бараке. Тяжелый деревянный ящик наполняли доверху раствором. Весил он килограммов пятьдесят, и они вдвоем тащили его по лестнице наверх, на третий этаж. Двое подносчиков прикреплено к двум рабочим. Они едва успевали таскать и наполнять ящики. Тело покрывалось липким потом, сердце хотело разорвать грудную клетку.

Наверху штукатуры, вольные, из местных, брали раствор на мастерок и закидывали им покрытую дранкой стену. Серая масса плохо приставала, половина падала на пол.

– Вы, работяги, на нас не обижайтесь, что мы вас гоняем, раствор – дрянь, не держится. Вон видишь, – штукатур показывал на заляпанный пол.

– А отчего плох? – спросил Конрад.

– Известно, экономят. Всё побольше глины да песочка, а известь Бог весть куда идет, налево, кому-то по благу квартиры ремонтируют.

К обеду заключенные совсем выбивались из сил. К счастью, штукатуры устраивали перерыв. Кампесино вытаскивал кусок сырого, клейкого хлеба. Альвенхаузер и пожилой седой заключенный, с которым они наполняли ящики, доставали свой хлеб.

Мимо шел не известный, но явно при начальстве, зэк – на нем была не казенная, а своя шапка.

– Чего расселись, помогайте раствор замешивать.

– Пока не поедим – не пойдем. Наше дело подносить. И так тяжело!

– Ты что сюда на курорт приехал?

– Ты, видно, сам курортник! – огрызнулся седой.

– Тебе до меня дела нет, я бригадир 72-й бригады.

– Вот своей бригаде и указывай, а я – из пятнадцатой.

– А где бригадир?

– Я ему не сторож.

– Ну, я тебе запомню.

– Запомнил один такой...

Разгневанный бригадир, ругаясь, ушел.

## WASHINGTON, D.C. ОЛОНЕЦКИЙ

Он приехал в Ленгли, поболтал со знакомым сотрудником, получил свой пакет и, не выдержав, заглянул в него.



На все вопросы давались положительные, подкрепленные неоспоримыми фактами, ответы, а именно:

О том, что Сталин доносил в охранку на неугодных ему членов партии, закавказских меньшевиков, давно сообщалось в эмигрантской печати. Грузинский меньшевик Ной Жордания отстаивал правильность этих сведений.

1. Сталин был арестован в Тифлисе в 1906 году в день раскрытия подпольной типографии на Авлабаре (15 апреля) и немедленно освобожден (книга Троцкого «Сталин» и другие данные).

2. Бумага представленного документа не американского и не западноевропейского изготовления и давнего происхождения (заключение «Экспертизы по проверке сомнительных документов» после исследования документа в лаборатории).

3. Известный американский эксперт по разного рода историческим документам Альберт Д. Осборн установил, что письмо написано на бумаге русского довоенного производства и на пишущей машинке «Ремингтон», № 6, того типа, которым пользовались в Охранном отделении. – Такие машинки в дореволюционные годы имелись во всех русских правительственных учреждениях.

4. А. Ф. Железняков действительно занимал указанную должность в указанное время (сведения от нескольких лиц, знавших его по Сибири и проживавших сейчас в США).

5. Еремин действительно занимал в указанное время указанную должность и был хорошо известен среди чинов Особого корпуса жандармов (сведения получены от генерала А. И. Спиридовича в Париже. Автор письма Еремин действительно существовал и одно время служил в Киевской охранке под начальством генерала Спиридовича).

6. Подпись на документе... Здесь ответа нет.

Придется поехать в Париж, показать Спиридовичу. Лучше лично показать и поговорить с ним.

Забавный тип – Спиридович! В 1918 году издал книгу «Партия социалистов-революционеров по данным царской охранки». И еще одна книга была у него, ставшая ныне не то, что библиографической, а вообще редкостью, – «Партия социал-демократов по данным царской охранки». В ней начальник царской охранки писал, что Джугашвили-Сталин – сатанист, что у него шесть пальцев на руках и ногах.

Чепуха, конечно, но может Сталин действительно родился шестипалым – ведь бывают уроды, – а потом сделал операцию? Шесть пальцев – опознавательный знак для любого полицейского сыщика.

Да, а если документ все-таки сфабрикован?

Если пренебрегать всеми доказательствами и попытаться утверждать, что документ сфабрикован, то его подлинность от этого только выиграет. Почему? А потому, что он мог быть изготовлен не раньше, чем Сталин сделался диктатором, то есть уже в тридцатых годах и за пределами СССР.

И что же?

В распоряжении изготовителя должна была быть машинка и бумага дореволюционного образца. Он должен был быть в курсе личного дела Сталина в департаменте полиции (то есть дела тридцатилетней давности), в курсе агентурных сведений Охранного отделения о социал-демократическом подполье и в курсе служебных правил и порядков полиции.

Это не всё.

Документ был бы иначе составлен, то есть лишен сомнительных, трудно доказуемых деталей, как, например, кратковременный арест Сталина в 1906 году (тщательно скрываемый факт).

Закключение: документ являлся фактом реальности раньше, чем Сталин стал диктатором.

...Какая же гадость – эти советские большевистские дела!

Олонецкий облегченно вздохнул. Не так уж и важно, откуда Дон Левин взял письмо Еремина. Неважно, откуда взял его профессор Бурначов. Важно, что оно подлинное. И американское правительство должно знать правду о своем бывшем союзнике.

Джордж закрыл пакет, положил его в портфель, пошел к дверям, но что-то мешало так просто уйти, какая-то преграда. Он обернулся и увидел аккуратно подстриженную голову незнакомца, трубку в его зубах. Незнакомец нарушил правила – он стоял за спиной дешифровщика Гарднера и через его плечо наблюдал за работой.

Удивленный Джордж вышел и направился к дежурному:

– Кто там у Гарднера? – поинтересовался он.

– Это английский представитель. У него есть специальное разрешение, – успокоил дежурный.

Раз представитель, значит, официальное лицо, начальству известное. Но при выходе из здания Олонецкий попросил у охранника журнал регистрации посетителей.

Под номером шестым значилось – Гарольд Ким Филби, представитель SIS при ЦРУ.

Он вернулся домой довольный собой, вынул из пакета заключение экспертизы, еще раз прочитал.

Потом сварил кофе. У него стояла последняя модель кофейной машины, и он каждый раз умилялся, когда имел дело с агрегатом.

Телефон оторвал от кофе.

Звонил Дон Левин.

– У нас... неувязка... – смущенно признался он.

– Что случилось? – взял быка за рога Олонецкий.

– Вы помните, откуда появился документ?

– Какой? А... Помню.

– Он появился от профессора Бурначова.

– Помню. Я хотел с ним побеседовать.

Дон Левин вздохнул.

– Поздно. Бурначов умер.

– Умер? – Олонецкий не поверил.

– Насмерть сбит машиной вчера вечером.

#### КОНЦЛАГЕРЬ В АШХАБАДЕ. 5 ОКТЯБРЯ 1948

Конрад проснулся от страха.

Что-то приснилось. Он еще не открыл глаза, как услышал далекий грохот.

У Альвенхаузера спина покрылась холодным потом.

– Выходи из барака! – услышал он знакомый голос конвойного и сел на шконке.

Грохот приблизился. Ничего не понимая, Конрад схватил ботинки, и толпа заключенных вынесла его наружу.

В поселке падали здания, поднялась пыль. Такое зрелище можно увидеть только в кино: сильный шум, пыль, крики бегущих людей.

Автоматные очереди не могли заглушить идущего из-под земли шума.

– Выходи, все – выходи из бараков! – кричала охрана, но заключенные уже выбежали.

Под ногами гудело. Второй барак затрещал, от него отвалилась стена, стала сползать крыша.

– Ложись! – заорал конвоир. – Фриц, падла, ложись! – он поднял автомат, и Конрад понял, что выстрелит.

Земля была теплой и твердой. Не паркет, подумал он. Рядом сопел испанец. Они встретились глазами, и Конрад согласно прикрыл веки.

Автоматная очередь оглушила.

– Поверху бьет, гад, – услышал Конрад.

Земля дрогнула, кто-то закричал. Из-под земли, откуда-то из глупин что-то билось, рвалось наружу, поднималось вверх.

Кричали все. Охрана стреляла поверх голов. Кто-то матерился.

Рядом стоящее дерево переместилось, гул усилился; строительные плитки, лежавшие штабелем, рассыпались, стали прыгать, как живые. Вдруг земля в десяти метрах треснула, затем появилась другая трещина. Приподняв голову, Альвенхаузер увидел исчезающий барак, который провалился в бездну. Он услышал треск и обернулся: трещина прошла в пяти метрах слева.

Он испугался, не до наблюдений. Решил, что земля уже раскололась на части. В кромешной темноте несколько секунд слышался грохот разрушающихся зданий, треск ломающихся балок. Глухой шум, подобный вздоху, пронесся по городу, и тотчас же наступила мертвая тишина. Воздух наполнился густой удушливой пылью. Ни одного звука, ни криков о помощи, ни звуков животных, — как будто бы под развалинами погибло абсолютно всё живое.

Я оглох, решил Конрад. Но услышал крики о помощи, стоны раненых, плач, мат и выстрелы вдали.

Рядом оказался Кампесино.

— Бежим! — толкнул его испанец.

— Куда? — не понял Конрад.

Но Кампесино уже вскочил, протянул руку и встряхнул немца.

Конрад поднялся, и земля снова дрогнула под ним.

Испанец крикнул, Альвенхаузер не расслышал, но пошел за ним, кто-то шел следом, потом побежал рядом, невидимый в темноте; силуэты, чернее наступившей темноты, выделялись на фоне звездного неба и зарева над городом. Они перепрыгнули через тела лежащих, напоролись на поваленные столбы, матерились, продираясь через них, потом послышался незнакомый голос — Конрад догадался, что голос — его собственный: «Мы будем идти всю ночь, по звездам, нам надо пройти тридцать, нет, двадцать километров, и мы будем в Иране».

Кампесино крикнул, но Конрад опять не расслышал. Он наткнулся на дерево и схватил ударившую в грудь ветку. Он чувствовал дрожь в ногах. Затряслись ветки деревьев, толчки усилились. Земля заходила ходуном, и, чтобы не упасть, он крепко сжал ветку. Гул из-под земли нарастал с каждой секундой, земля под ногами дрожала. Он почувствовал сильную боль в суставах и упал на колени. Но ветку не выпускал, словно она могла спасти...

Альвенхаузер в забытьи куда-то шел, потом стал говорить, но его никто не слушал. Он остановился. Перед ним виднелся склон горы и долина внизу.

Кампесино о чем-то спорил с туркменом, приставшим к ним. Туркмен кричал и размахивал руками. Испанцу хотелось говорить, он слишком долго молчал.

– Ты знаешь, я знаменитый герой. Не веришь? Про меня Кольцов писал, Эрэнбург писал, Сталин мне руку в Кремле пожимал. Враги донос написали. Сталин поверил, и меня посадили.

Туркмена звали Ашведук, он снова закричал и показал рукой вперед.

Конрад вскочил.

– Солдаты?

– Нет солдат, – замотал головой туркмен.

Он сказал какое-то слово, но они непонимающе смотрели на него.

– Там... Персия!

– Что? – не поверил Кампесино и зарычал. – Мы уже за границей?

Туркмен показал рукой.

– Там – советы, здесь – Персия.

Ашведук показывал руками и повторял.

– Надо идти. Идти вперед. Солдаты поймают – назад отошлют. Советам отдадут. Вперед надо идти.

Ашведук давно не ходил за границу, но раньше, лет пятнадцать назад, он хорошо знал эту дорогу и горы, и недалекую равнину – контрабандисты издавна осваивали местные тропы.

Поймали его в самом начале войны. Он считал, что из-за войны охрана границы ослабнет, а в Иран вошли англичане – сколько же товара можно приобрести на той стороне и принести сюда!

Но по дороге его задержали пограничники.

– Солдат тоже человек, – пояснял Ашведук испанцу. – Он тоже кушать хочет. Туда идешь – дай ему немного денег. Обратнo идешь – солдат тебя ждет. И у него жена есть. Дай ему денег немного, дай для жены чулки или платок, и он будет доволен. Он будет доволен и отвернется, когда ты через границу пойдешь. Плохо, когда командир не разрешит солдату. Он боится солдата, он меня увидел и кричит: хватай его, арестуй его. И солдат хватает меня. Хороший солдат, я ему чулки для жены давал. Но командир рядом. Он без командира пропустил, а когда командир – не может. В тюрьму меня посадил. Десять лет в лагере сидеть будешь. Десять лет!..

## PARIS. ОЛОНЕЦКИЙ И СПИРИДОВИЧ

Дверь открыл старый человек, который пытался скрыть свой возраст и старался держаться прямо.

Ну да, ему семьдесят пять, вспомнил Джордж.

– Александр Иванович? Я тот человек из Америки, о котором вам писал Марков.

– Василий Степанович? Да-да, он мне писал. И я читал. Проходите.

Олонецкий вошел в небольшую переднюю.

– С кем имею честь.

– Олонецкий. Джордж... Простите, Георгий Михайлович, если угодно.

– Прощаю! Михаил Николаевич, директор департамента в министерстве...

– Мой отец, – кивнул Олонецкий и, предвзяв следующий вопрос, выпалил: – Он умер в Бельгии перед войной.

– Очень, очень приятно познакомиться с вами. Немного знал вашего батюшку.

– Спасибо, – снова наклонил голову Олонецкий.

– Ох, Боже мой! – воскликнул генерал. – На улице дождь. Раздевайтесь, пожалуйста. Калоши снимайте. Макинтош повесьте здесь.

– Благодарю вас, Александр Иванович.

Старый генерал надул щеки.

– Насколько я понимаю, вы привезли некий документ, о котором мне писал Василий Степанович Марков.

– Совершенно верно.

– Прошу, – показал на кресла перед письменным столом Спиридович и уселся не за стол, а напротив посетителя. – Ну-с, показывайте, сударь.

Олонецкий достал из портфеля копию документа и протянул генералу. Тот посмотрел на бумагу, перевернул ее на другую сторону и вопросительно посмотрел на Олонецкого.

– Это копия. Она напечатана на новом копировальном аппарате фирмы «Зирокс». Ничем не отличается от оригинала.

– Да! – воскликнул старик. – Вот они, чудеса американской техники!

Он помолчал.

– Не будем отвлекаться.

Пока Спиридович читал письмо, Олонецкий осматривался. Было заметно, что в доме присутствует женщина – на шкафу отсутствовала пыль, пол вымыт, небольшой коврик у письменного стола вычищен, стекла книжного шкафа блестят. Наверно, и фикус у окна полит, мелькнула мысль. Несколько фотографий на стене за столом – Спиридович в молодости, Спиридович в кругу офицеров, портрет Николая II, молодая женщина.

– Я вспомнил... – подал голос Спиридович, отрываясь от листа. – Вспомнил те, старые времена. Не скрою, письмо Еремина взволнова-

ло меня. Не знаю, сможете правильно оценить мое мнение или нет. А ведь это-то в данном случае Вас и интересует.

– Да, Александр Иванович.

Генерал отложил письмо на стол, откинулся в кресле и начал как опытный рассказчик.

– Вы, наверно, знаете, что будучи переведен в 1899 году в Корпус жандармов, я был назначен в Московское Охранное отделение под начальство знаменитого Зубатова. Благодаря Зубатову и его школе я сделал блестящую служебную карьеру. В сорок два года я был уже генерал с лентой, был осыпан царскими подарками. Русские революционные партии трижды пытались меня уничтожить и, в конце концов, вывели из строя, тяжело ранив в Киеве. Еврейский Бунд и Самооборона меня не трогали.

– Почему? – искренне удивился Олонецкий.

– Потому что там, где я служил, еврейские погромы не происходили, они были немыслимы при мне! Этим я был обязан, главным образом, школе Зубатова. Она научила меня любить людей без различия национальности, веры и профессии, научила бороться честно и упорно со всеми врагами государственного порядка, научила выдвигать против их революционного фанатизма фанатизм государственной политической полиции. Едва ли не самую главную роль играла тогда «агентура», т. е. привлечение на сторону политической полиции членов различных революционных партий. Оставаясь в рядах своих партий, эти господа должны были секретно информировать политическую полицию о работе своих партий и, тем самым, должны были помогать расстраивать эту работу.

– Да, я читал вашу книгу. Очень интересные воспоминания. Особенно для историков. А вот агентура...

– Мы их называли «секретными сотрудниками», общество именovalo их «provokatorami». Умением привлекать революционеров на служение правительству и его политической полиции отличался сам Зубатов. В этом была его сила. Этому искусству учил он и нас, подчиненных ему офицеров. «Помните, – говорил он нам, – секретный сотрудник – это ваша любимая женщина, с которой вы в нелегальной связи. Берегите ее, ее тайну, как зеницу ока. Провал сотрудника для вас – служебный неуспех, для него – позор, часто смерть...»

– А вот в письме указан Еремин.

– Да, Еремин... В 1903 ко мне в Киев был прислан из Петербурга от Зубатова, который в это время был уже заведующий Особым отделом Департамента полиции и руководил всем политическим розыском по империи, поручик Александр Михайлович Еремин. Его только что перевели в Корпус жандармов. Зубатов оценил его, нашел пригодным

и способным для службы по розыску (собственно, Охране) и прислал мне его на «выучку», дабы Еремин под моим руководством воспринял все принципы политического сыска – так, как его понимал сам Зубатов.

– А что он был за человек?

– Уральский казак! Окончил Николаевское кавалерийское училище, во всех отношениях оказался умным, хорошим офицером, который и воспринял твердо принципы правильной розыскной работы, без «провокаций», без раздуваний, но упорной и систематической, где одним из главных элементов являлась «агентура» с ее «секретными сотрудниками».

– То есть нашел свое место в жизни? – иронически произнес Олонецкий.

– Да. Еремин полюбил «агентуру» и, когда понадобился выдающийся офицер для заведывания Охранным отделением в Николаеве (на Черном море), Еремин был назначен туда по моей аттестации как вполне готовый для политического розыска жандармский офицер. Когда же летом 1905 я был серьезно ранен в Киеве и выведен из строя, по моему представлению Еремин был назначен начальником Киевского Охранного отделения. Позже Еремина перевели на службу в Особый отдел Департамента полиции, а в 1908 назначили начальником Тифлисского губернского жандармского управления, где требовался выдающийся жандармский офицер ввиду хронически запущенного там розыскного дела.

– Вы хотите сказать, что он хорошо работал?

– Блестяще! Завел отличную агентуру среди социал-демократов и разгромил все тамошние революционные партии, особенно партию «Дашнакцютун». Но тут у него начались... как бы назвать, чтобы было понятно?... – одним словом, он поругался с кем-то из окружения наместника Кавказа графа Воронцова-Дашкова, и по просьбе наместника Еремина перевели снова в Особый отдел Департамента полиции. Зная отлично, что при первом своем назначении в Особый отдел, из Киева, Еремин привез с собой в Петербург кое-кого из своих киевских «секретных сотрудников», которых по тем или иным причинам он не мог передать своему преемнику, я предполагаю, что и при втором переводе своем, в Петербург, Еремин мог взять кого-либо из своих кавказских «сотрудников».

– Так... Значит, он Сталина взял с собой...

– Не знаю, не знаю... Надо думать, что в Петербурге Еремин передал своего «сотрудника» начальнику Петербургского Охранного отделения, в то время он Особый отдел розыска в столице не вел. Это было всецело дело Охранного отделения.



– Вы хотите сказать, что Еремин передал своего агента другому офицеру?

– Вы совершенно правы, задав такой, я бы сказал, щекотливый вопрос! Далеко не все «секретные сотрудники» переходили от одного жандармского офицера к другому «по наследству». Многие отказывались работать при смене начальников. Всё зависело, главным образом, от личных взаимных отношений заведующего розыском с «секретным сотрудником». Отношения Еремина с «секретными сотрудниками» были настолько хороши и человечны, что особенно ценилось при секретной, с одной стороны, и подпольной работе, с другой, что переезд в Петербург кого-либо из кавказских сотрудников вполне вероятен.

– Вероятен... – протянул Джордж, погружаясь в сомнения. – Но письмо...

– Письмо точно указывает, что Сталин был одно время сотрудником политической полиции и на Кавказе, и в Петербурге. Чьим сотрудником? На Кавказе, безусловно, сотрудником самого Еремина. Только о своем «сотруднике» мог Еремин написать письмо. Только про работу своего «сотрудника» мог Еремин дать такую оценку, которая имеется в письме. Это оценка человека, который сам принимал от секретного «сотрудника» агентурные сведения и сам оценивал их. Помня работу Сталина по Кавказу, правильно оценивая его значение, особенно после вступления его в Центральный Комитет партии, Еремин, как начальник, понимающий и любящий розыск и агентуру, и указывает на Сталина начальнику Енисейского Охранного отделения, не говоря, конечно, что это его бывший «сотрудник».

– Но не является ли письмо Еремина подложным, поддельным?

– Нет. И своими недоговорками, и всей своей «конспирацией» оно пропитано тем специальным розыскным «агентурным» духом, который чувствуется в нем и заставляет ему верить. Это трудно объяснить. Но я это чувствую, я ему верю. Это удивительный документ. Где-то в рассказах кавказцев о Сталине было указано, что его подозревали в молодости в выдаче сотоварищей... Где-то это было...

– Надо поискать...

– Да-да, но ведь у этой публикации из десяти человек – девять в свое время были предателями... Удивляться нечему. Подпись на письме – подпись Еремина. Шрифт машинки – надо полагать «Ремингтон», как говорили мы тогда, – система самая обычная в России. Сравнивая шрифт письма со шрифтом различных циркуляров Департамента полиции, что я вручил Вам, нетрудно найти там и шрифт того же «Ремингтона». Но, вообще, опираться на шрифт и по нему делать какое-либо заключение – дело шаткое. Верить надо содержанию

письма, его внутреннему духу. Они категоричны. Сталин предавал своих.

– Подпись Еремина... Есть с чем сравнить? – Вот что меня занимает.

Спиридович улынулся.

– Дорогой Георгий Михайлович! Вы же за тем и приехали. Сейчас достану.

Он открыл секретер, покопался в бумагах и достал тонкую папку с вязью на обложке.

– Это адрес, преподнесенный мне коллегами в мой юбилей. Здесь среди других есть и подпись Еремина.

Олонецкий достал из портфеля «минокс».

– Вы позволите?

– Конечно, конечно. Может лампу?

– Можно. Не помешает.

Когда Джордж закончил работу, генерал достал из висящего на стене шкафчика бутылку вина и два бокала.

– Это «Сант-Эмилион» 1938 года. Превосходное, скажу вам, Георгий Михайлович, вино. Я его перед вашим приходом открыл, чтобы оно шамбрировалось. Вино надо обязательно открыть на час-другой, чтобы оно напиталось кислородом и потеплело.

Он разлил вино.

– За успех? За успех!

Они выпили.

– Знаете, Георгий Михайлович, между нами... Мы с женой живем в Европе. А вы – вне досягаемости кремлевских молодцов и под защитой ваших властей, можно говорить, – иначе, чем здесь, где большевики свободно делают с нами, белыми эмигрантами, всё, что они хотят. Здесь нас никто не защищает, а когда мы хотим бежать, нам мешают ваши же власти. А во имя чего? Во имя тех же самых большевиков, во имя тех сплетен, которые они же подсовывают в разные консульства, – и им верят.

– Я постараюсь помочь, Александр Иванович, если вы хотите перебраться за океан.

– Хранит вас Господь Бог. Жалею, что у вас мало времени побеседовать спокойно. Есть вопросы даже более интересные, чем письмо Еремина. Но, может быть, еще приедете в Париж и тогда поговорим.

– Или вы окажетесь в Нью-Йорке.

– Дай-то Бог, – без всякого воодушевления отозвался генерал и допил свой бокал.

## FLASH-FORWARD

Олонецкий помог бывшему жандарму и начальнику Царской охраны перебраться в Америку. В 1950 году они встретятся в Новом Свете.

Конрад Альвенхаузер благополучно вернется домой. Он станет преподавателем в университете. Однажды на заседании кафедры узнает в одном из аспирантов прислужника из лагеря. Он доносил чекистам разговоры военнопленных, и тех сажали в карцер. При всех Конрад даст подлецу по морде. Разразится скандал, и Альвенхаузер уйдет из университета. Они с Ирмой переедут в небольшой городок под Франкфуртом, где Конрад будет директором гимназии.

Ирма родит ему четверых – двух дочерей и двух сыновей. Детей Конрад станет воспитывать в строгости – как воспитывали и его. По субботам будет пороть. Для порядка, как объяснит Ирме.

Один из сыновей, Хайнц, закончит факультет славистики в Кельне у профессора Казака. Того самого Казака, с которым его отец сидел в лагере. Кстати, отец сидел в лагере и с будущим президентом Вайцеккером, но пленных всё время тасовали, перебрасывали из лагеря в лагерь, и в памяти Конрада эти встречи почти не отпечатались. Хайнц станет изучать русский язык и поедет в СССР. В Ленинграде его арестуют и приговорят к пяти годам заключения в лагере. Не может ГУЛАГ выпустить отца и сына Альвенхаузер из своих лап!..

Впрочем, о судьбе Хайнца читатели знают из романа автора «Франкфуртский поток», а кто не знает – пусть попросит книгу в библиотеке или прочтет в «Новом Журнале».

*Франкфурт-на-Майне*

## Валерий Скобло

\* \* \*

Неужели, Господи, кончается отчаяньем?  
Ночью, что чернее нефти и острее, чем игла?..  
Отпущением грехов особым совещанием?  
Все прощают... пристрелив из-за угла.

Кто б предупредил тебя... Собою двери вышиби –  
Липкую, тоскливую вину ничем не превозмочь.  
Знаешь, даже «вышка» не была собою выше бы,  
Чем бескрайняя, болезненная ночь.

Да, кончается всегда вот этим... этим в точности.  
А на что надеялся?.. И кто другое обещал?  
Неустойчивым балансом духа и порочности,  
Шатким равновесьем этих двух начал.

Выскочить во тьму – что там за жуть триасовая,  
Точно заживо в могилу оплывающую лечь,  
По карманам шарить, лишнее выбрасывая...  
...Жалкая... совсем бессмысленная речь.

### ИЗ «ФИЛОСОФИЧЕСКИХ ПОСЛАНИЙ»

Многие спрашивают, что с ними будет «после»?  
Очень немногие – а где они были «до»?  
Вопросами этими я задавался возле  
Самого края проблемы... И нес всякий вздор.

Искрою между двумя безднами – по Паскалю...  
Или еще столь же причудливо как-нибудь?..  
Если кого мыслями этими опечалю,  
Я убежденно скажу ему так: Позабудь!

В чем я точно уверен, что и забудет сразу,  
Вычеркнет он и меня, и мою болтовню.  
Вряд ли кому охота передавать заразу,  
Лучше пресечь ее решительно, на корню.

О «после», возможно, хоть что-то ответят в церкви,  
А с этим «до», как говорится, ни встать ни лечь.  
Истерся вопрос, буквы выцвели и померкли –  
Большинство не врубается, о чем же здесь речь?

Лучше безногим быть... рыжим, слепым, альбиносом,  
Даже совсем не дружить со своей головой,  
Чем задаваться нелепым, дурацким вопросом:  
Что все-таки до рождения было с тобой?

...Из никуда в никуда – вот, что всё это значит.  
Типа: гейзер, фонтан, а потом – пропасть, обвал.  
Этот стишок мною был утром сегодня начат...  
Подумав, на этой строчке его оборвал.

\* \* \*

...И будут ходить от моря до моря  
и скитаться от севера к востоку...

*Амос, 8, 12*

Продвигаясь медленно от севера на восток,  
Подчиняясь чему-то, вроде законов Ману,  
Похожие на ползущий ледниковый поток,  
Мы припали телом к Великому океану,

За спиною оставив гнездо, родовой очаг,  
Полуостров Кольский, древнюю Гиперборею.  
И здесь-то наш железный порыв иссяк и зачах,  
Уподобившись громадному старому змею.

Оттолкнувшись мощно узорным хвостом от Хибин,  
Головой упираясь в полуостров Дауркин,  
Мы в любое время и не бодрствуем, и не спим.  
Иерархия наша проста: вохра и урки.

В бесконечной тундре, извечной полярной ночи  
Бронзовели кожей, и стали глаза раскосы.  
Мы забыли места, где, как в сказке, слезли с печи,  
Нам чужды все этносы – чукчи и эскимосы.

Говорил нам Господь: «Наступают те дни, когда...»  
 Не для нашего слуха... Вот эти дни настали.  
 Меркнет свет для меня лишь...

как будто в глазах слюда.

...А в словах ни угрозы не было, ни печали.

\* \* \*

Первым по двору проходит дворник,  
 Сам-то он не местный, и не знает,  
 Что весной всегда бывает грязно.  
 С этим и бороться бесполезно...  
 Непонятное под нос бормочет,  
 Грязью возмущается бессвязно.

День потом мелькает быстротечный,  
 Люди бредут туда и обратно,  
 Глядя друг на друга без улыбки.  
 Ясно, что они совсем чужие,  
 Что им слова о любви и о братстве?  
 Все надежды и мечты их зыбки...

Днем детей во двор гулять выводят.  
 Матери бегут за ними с криком.  
 Любят, но чересчур осторожны.  
 Дети убегают и смеются,  
 Тоже непонятное бормочут...  
 Но они не совсем безнадежны.

Поздно-поздно на детской площадке  
 Бомжи потихоньку распивают,  
 Без разносолов всяких, закусок.

.....  
 Утречком прилетают вороны,  
 На помойке тюкают пакеты,  
 Долго поделить не могут мусор.

\* \* \*

Полны этой верою те христиане:  
 И Марк, и Лука, и Матфей,  
 Что время Суда уже не за горами,  
 Что день сей у самых дверей.

И род не прейдет, – говорят они хором.  
Томительно тянутся дни...  
В возмездии этом – ужасном и скором  
Находят отраду они.

А Павел уже не уверен, пожалуй:  
О сроках – нужды нет... – писал,  
Себя ощущая песчинкою малой.  
И я – разве тоже не мал?

Но день тот чудесным казался подарком  
Им всем – и слова их просты.  
Что день тот неведом, с Матфеем и Марком  
Я здесь соглашаюсь... а ты?

Не знает о дне том и часе ни ангел,  
Ни даже – замрем – Иисус.  
А ты, доверяясь Нотрдаму и Ванге,  
Не самый последний ли трус?

\* \* \*

Я о телом и духом скорбящих  
Не хочу... и не смог бы о них.  
Я страданий не знал настоящих,  
Правда нет говорить за других.

Тех страданий, подобных ожогу,  
Гнущих даже железных в дугу.  
Бог не дал мне таких... слава Богу,  
А домысливать вряд ли смогу.

Но помыкавшись властью по больницам,  
Много видел и сам перенес.  
Замечаю по малым крупичам  
Те следы от невидимых слез,

На земле незаметных... и выше,  
Смысл которых пока не пойму,  
О которых ни книг не напишешь,  
Да и песни слагать ни к чему.

\* \* \*

Так ли банально зло? Скажу, что, пожалуй, да.  
Но тем привлекательней оно, как ни странно.  
Оно ведь понятно, как льющаяся вода,  
Свободно струящаяся в кухне из крана.

В этой банальности – большой соблазн и искус.  
Такое, как все мы, – ясное и простое.  
Оно – смельчак в такой же степени, как и трус,  
Но ежечасно смелеет и без простоя,

Глядя в наши глаза и не встречая отпор,  
Ясно каждому: знает о нас всё буквально.  
В ситуации этой может быть честный спор?  
Это так банально... Думаете, банально?

\* \* \*

Я родился под знаком прошедшей жестокой войны,  
Вырастал я под знаком последней войны – предстоящей.  
Был и сам я, и страхи мои никому не нужны –  
Не нужны они жизни – жестокой, суровой, кипящей.

Настоящие люди потребны таким временам,  
И о них новый Кампов напишет большие полотна.  
Я всегда доверял своим детским безжалостным снам,  
В коих вымысел с правдой внахлест были пригнаны плотно.

Было в воздухе явственно слышно дрожанье струны  
Во дворежном колодце, под питерским солнцем согретом.  
Слабаки не бывают воспеты на кромке войны,  
Не бывают, поверьте, – кому они на фиг нужны?  
Или всё же бывают?.. Ответьте, кто знает об этом.

*Санкт-Петербург*



## Сергей Шабалин

\* \* \*

Мы по третьим причинам свое вычисляем старенье,  
по далекой газете, придавленной надолбой книг,  
по истлевшим блокнотам, припрятавшим стихотворенье  
или спешные строчки, что вряд ли оуклятся в стих.  
Ты – просушенный солнцем и рано померкнувший гравий,  
индикатор потери, рубец на морщинистом лбу...  
Форвард, ставший паролем в имэйл твой, давно не играет,  
позабыта рок-группа – твой будничныи пропуск в фэйсбук.  
Изменился контекст, по оплошности ставший культурным.  
Для прибывших в сей мир ты ненужный, чужой матерьял.  
Ты добил до-минор, но не вспомнил тональность ноктюрна,  
может, ты – пианист, что тетрадку для нот потерял?..  
Твои изыски будто историю вновь перепишут.  
Ватман дней твоих бранных исчиркан, но ангельски чист.  
Ты здесь временный гость, будто голубь, присевший на крышу,  
эфемерный, как тень, мимолетный, как шорох и свист.  
Будь ты белым, как снег, или красным до степени инфра,  
ты беззвучно-бессилен на этом большом рубеже.  
Но за странной чертой еле светит нечеткая цифра  
на две тыщи двадцатом – укутанном в ночь этаже...

\* \* \*

Здесь змеисто-резиновый шланг  
и машина с начальственным лого  
на капоте, останки живого,  
обреченно-притихшего слова,  
вымывают из стылых щелей  
навсегда отшумевшего дома.

Но к чему этот цирк шапито?..  
Безучастный японский каток,  
равнодушная тонна металла,  
монотонно трамбует асфальт.  
Здесь был парк, но унылая фальшь  
деловито его заровняла.  
Деловито-унылая фальшь...

Здесь за мертвой кирпичной стеной  
не хватает несущих конструкций.  
Подоконников нет и стекла.  
Ни герани в горшках, ни настурций.  
Лишь сквозняк и далекий закат.  
Там, где жизнь когда-то текла,  
там, где песня струилась когда-то...  
Тень стены, как рубец, пролегла,  
тень стены под раскатом катка  
и каток под настилом заката.

И лишь поросль сорной травы,  
по привычке смотревшая ввысь,  
не заметив железа с кобальтом,  
завершив окаянный реванш,  
безоглядный свершила демарш,  
продырявив надгробье асфальта.  
Прорастая сквозь толщу асфальта...

## ПАРК СКУЛЬПТУР

### 1

Предлагаю пройтись вечером  
по знакомому «Парку скульптур».  
По дорожкам строго размеченным  
до поляны, где на посту  
восседает Сократ мраморный.  
Он мыслитель — ему положено  
быть глухим (подчеркнуто-камерным)  
к звону душ случайных прохожих, но

и Сократ однажды не выдержит  
и шагнет в наш мир из античности,  
увидав на поляне выжженной  
загорелую мисс без лифчика...  
И забив на контекст культурный  
он покинет свой склеп скульптурный,  
чтоб понять, почему окурок  
избегает знакомства с урной...

## 2

Ну, а нам... Нам что делать далее –  
как доплыть чрез все не могу  
до вечерних огней Рузвельт Айленда,  
что зажглись на другом берегу?  
Нам челнок бы спустить на воду  
и грести со всех сил до острова,  
делаэров вспомнив обманутых  
гастролирующими прохвостами.

Не предвидели скупщики ушлые  
свой табак душистый пожевывая,  
как проворно рабсила дешевая  
хлынет вверх из трюмов удушливых.  
И причалы снесет дощатые,  
чтоб построить пристань надежную,  
И настанут дни беспощадные  
пострашнее стрел краснокожего.  
Понаедут новые вороги  
на «Мажестиках», прочих боингах...  
От нашествия алчных воинов  
станет тесно в Нью-Йорке городе.

## 3

Потому что девчонок голеньких –  
равно как бумажек зелененьких.  
Не хватает на толпы новеньких  
с кораблей сошедших соколиков.  
И услышат деяги прошлого  
похоронные марши бравурные.  
И чинарики, в вечность брошенные,  
проплывут над пустыми урнами...

Неспособность предвидеть историю –  
это оксюморон? Близоруки мы –  
как индейцы, что в миг профукали  
златоносную свою территорию.  
Их фигурки построены группами  
в незабвенном парке скульптур.  
Где налажен уход за трупами  
и окурков хватает, и урн.

\* \* \*

Бросаю в ящик галстуки различных колеров,  
где свитера ночуют шерстяные,  
рубашки, пиджачки... мой прежний гардероб  
служебный не востребован отныне.

На разных амплитудах от и до,  
от вечности до сиюминутья  
я чувствую злой ток  
подгнивших проводов,  
подошвами разламывая прутья.

И хлеб для голубей, шагая в никуда,  
и сорную траву прессую каблуками...  
И падают мосты, а с ними поезда  
под вечными, большими облаками.

Холодный яркий день за шиворот берет,  
и в бликах фар стремительно сгорает.  
Это не просто шаг, не просто поворот.  
Другая плоскость и дуга другая.

*Нью-Йорк*

Александр Самарцев

## Из книги «Клинч»

\* \* \*

Облака тончайшие над Вяткой  
будто перья плавкие фламинго  
ты забыла – можно быть наглядной  
ненаглядной ангельски но мимо  
Так сошлось что фокус перевернут  
и земля небесного разлива  
гасит удивленье удивленных  
жжется обоюдно боязлива

### ПЕРЕД СЛОМОМ

(отрывок)

Сочатся софиты Дворец позаброшенный некий  
в тумане прошиты нагорному солнцу камбэки  
но свет – ненадёжа особенно для диабетных  
кто медлит итожа красоты и в кадрах и в клетках  
укол инсулином – усядётся кой-как на кровати  
в луче ли всемирном глазища вращаясь нехстати  
шарманщика дервиша подвижны голосом джина  
палаты меж правдами выжжены – речь нерушима:  
«Тебе только сорок? Пока я бодался с парашей  
изъяла Система твой порох – я узел пропащий  
я черное зернышко в ней я ее бородавка  
но крови не будет черней Сумгаит-Карабаха  
удушлива слава моя – два узилищных срока  
горбатится голубь-змея верблудицей барокко  
из Спасских ворот я как Чацкий бегу оглашенно  
(шнурки отберут – это в счастье почти одолжение)  
Красивую маму окном винограда мне дали  
она в кружевном – на дудук как из рога слетали  
стрекозы и ангелы прямо с белейшей Мтацминды  
под это жестокое танго подтают обиды  
но жижу метельную в робе на складе мету я  
и через трахею всё впитано всё что целуя  
извергнула сказкой кровя прометейная печень

(пристрой на метле те края где раздвоен калечен  
орел ассистент мой – нужна же профессия бичо!)  
А что намаячишь стихами о Лăуре хныча?  
Преклонная Лиличка брови подводит Мальвиной  
зачем перед птичкой подставлена выя с повинной  
разверстый над нею платок вроде ризы христовой  
гранатовой кровью намок он как день сорокóвый  
взойдете по леснице шаткой средь свечек сполошных  
сочтенных моею загадкой которой заложник  
тот стол антикварный для трупа он и для коллажей...  
на улочке в гору тон в тон эту исповедь вражьей  
примять журналюге остаться тебе дебютантом  
все лишние крúги потащишь в отсчете обратном  
давай! – гонорарная ведомость ждет за массовку  
ты – гость перевала и недоросль с дублями сбоку  
присаженный пульсом ты сам – аневризма развилки  
а снег – пахлава и бальзам... я устал извините...»

...Грузиться опущенным сводам в купель монолога  
на яркую площадь выходим беспечного года  
она продлевает помаду по зеркалу ванной  
в окне черепичную терпкую вроде экранной  
трепать эту кровлю как фен монастырские свитки  
забуду мерцательно вспомню хоть буквы сникли:  
овца за овцою пасут своего режиссера  
тропинкой сквозною – от света отпавшие зерна  
И в три направленья пришпорь табуретку наездник  
над ширмой повеяло гульканьем фресок скабрезных  
ковчегом ладоней смыкаясь команда трекратна  
ура! – это снято на зависть напором гидранта  
но порох щеки не линяет щетиной навеки  
больничных зевак с костылями туманные веки  
Сундук порастаскан потухли сырые софиты  
их линзы опасно снежинками дублей забиты...

\* \* \*

Оглянусь – отопрут  
может не захотят  
от нутра ли вовнутрь  
заодно ли (навряд)

подмешав на желтке  
брызнув ласточкою-слюной  
на зубцы в закутке  
там наличник златой  
василек черемша  
посиделочки глухоты  
снег как шерстью шурша  
уходя – уходи  
оттоптался намаясь  
гордо? крадучись? кто мол такой?  
Я присвою нас малость  
но ты перекрой  
перекрыт этот газ  
одинешенек омут-вопрос  
что ни сном не задаст  
пусть обыщет блок-пост  
Я от службы убёг  
от заданий – тебя сквозь тебя  
завязать в узелок  
мертвой зоны себя  
но когда отопрешь ниспошлешь  
разменяешь порядок всего  
он отмокнет с подошв  
а иначе за что ж  
Рождеству – Рождество?

\* \* \*

Расцарапан живот под рубахой украденной книжкой  
И она то лисенок то голубь – премногое б вышло  
из ее кирпича только нас не догнать  
я ведь сам – позабытая полем кровать  
на резбе шарик никеля отполирован зеркально  
для кого лебезя колосится безбрежная спальня?  
Переливчата волнами складно послушно строга  
в отраженное сферой быльё не наступит нога  
Тронь – рогожей на ощупь соломой сухими снопами  
золотого обреза страницами спинки щиты  
сельсовет где-то рядом – наследие месопотамий  
войско черных смородин с холмом горизонта на ты  
Покаянию давнему долг этой кражею вкопан

за откуда куда лишь бы никелю свежесть свинца  
никого на мембране пружин а заляжем бок о бок  
и сорочка подброшена хвойным приливом лица  
Унесенным названием кровь запеклась подростково  
как муляжная ижица стрижена ветром под ять  
в параллельных мирах ей задание проще простого –  
стартануть затмевая омытую полем кровать

## ПУСТЫРЬ

Из троллейбуса – сколько выходят  
растворятся минутой спустя  
о секретном подземном заводе  
не болтая – за это статья  
Рыхло гулко – фантом на фантоме –  
чуть с наклоном пустырь пустырем  
словно зеркало мерзлое в доме  
все-то бзика при нем  
формой допуска переобуты  
невозможно из песен синеть –  
наши кухонные минуты  
твердь искра бесконтактная сеть  
углубляемы – только дороже  
рассекреченные они  
живы дважды пропущены тоже  
возвращеньем куда ни взгляни  
От хтонической той оборонки  
где мы есть или шепчем где нет  
ничего – истончается тонкий  
ложнофокусный след

## РАЗЛИВ

Волга у Сызрани шпалы лизнув накрыла  
движет владеет ею одно – «хочу!»  
кто здесь изогнутый поезд а кто страшила –  
с валом пространств никакая судьба не паршива  
незащищенному пасынку москвичу  
Блики на лицах соседей азарт доминошный  
схожим течением – струечно вперехлест



земли целинные губы гармошкой  
насыпь вдоль мачт вороньё вскопошилось тревожней  
кто-то ведь и промеж нас альбинос  
Друг-покровитель – по-братски отец – ненасытно  
(кнопкою в блиц) а от мамы скатерка бела  
ждут привыкая врасплах или так за спасибо  
точки возврата твоей запятой ли загиба  
хрупкой шкалы новостей пересменок тепла  
Высоковольтен разлив отражаемый зудом  
кто здесь родней пропускает замах  
сами себе семафоры мосты по минутам  
из провожающих тут же и переобутым  
в шлепанцы в старые кеды – не жмут вот и ах  
Двери на воду открыты на волю отлёта  
до слепоты про запас из толпы никого и не встретить  
а помахал тебе – или почудилось – кто-то  
«рыбу» в круизе костяшек замучит икота –  
домик сметаемый будто бы присно и впрядь

### ГОРОД И ЧУТЬ-ЧУТЬ ЮЖНЕЕ

Километр по прямой до залива – полоской бесцветною дразнит  
или 20 минут не спеша поглазеть на вокруг  
добралось до меня всё мое разморозкой мгновений заразных  
их пучок подсобрал перед лестницей Дюк  
застывая со шпагой ввиду блеска палуб и доков  
счет ступенек то мряка то зной непременно собьет  
как внезапный твой коммент включил бы облом этих сроков  
этих волн без него этой ссылки под грохот свобод  
Ближе к вечеру – синий уже не оттенок а лакмус  
перемены стихий – твердь лишается сил  
рухнуть ей не даст кипарисная гуща согласных  
и пока повороты шагов не прижал не накрыл  
шум прибора сродни барабанам из прачечной  
подражая ему я кручусь мимо лая с приветом затейливых дач  
полускрытых кустами чьи клички забытые начисто  
заливаются по-петушину как от них ни фигачь  
а навстречу кто в масках кто без сторонясь прилипаний  
без намека на юмор с возвратом и лень про запас  
наконец близкой тины всюду запах чувства разбанит  
где союзы? где речь? где песок неотёрт и зубаст

не успевший обсохнуть? – накатит залижет барашек  
жизнь – избыток смертей или наоборот  
воздаянья зеркальная блажь туго-натуго ляжет  
сквозь дышать не моги в безнаказанно гулкий черед  
Я стою пересыпан ракушечным сором тупарь-одиночка  
не рыбак по камням и назад не ходок  
здесь тобою обвита рука из непрожитого заочно  
или обе спелёнуты в скомканный этот плоток

*Киев*

Катя Капович

## Два рассказа

### ГДЕ ЗДЕСЬ КУПИТЬ НЕБОЛЬШОЙ БУБЕН?

– Как тебе этот? – спросила Люда.  
– Супер!  
– Не, ну правда? Это же важно!  
– Ну, если важно, то возьми розовый! Он тебя омолаживает.  
– Розовый?! Ты бы пошел в розовом на встречу директоров банков?

– Не пошел бы! – честно ответил Алик.  
– А этот? – она показала ему серый.  
– Прекрасно! – ответил он.  
Она кивнула и показала пальцем на верхнюю полку.  
– Подай там – коробку с обувью!  
– Есть подать там с обувью, товарищ майор!

Было обычное воскресное утро, на календаре девятое сентября две тысячи первого года, ровно десять лет с их приезда в страну. Завтракать садились поздно. С вечера остался холодец, свекольник и колбаса из русского магазина. В ОВИРе, протягивая им визы, служащая, с впалыми щеками и узкими губами сказала: «У вас двухкомнатная квартира, тридцать квадратных метров, в хорошем районе – зачем вы уезжаете?» Алик ответил, что не в квадратных метрах счастье.

– А в чем? – спросила она рассеянно.  
– Поеду, разузнаю, в чем, и напишу вам!  
– Ой, пожалуйста, не надо!  
«А вот взять бы и написать ей!» – подумал он.

Недопитая бутылка водки стояла в холодильнике под наклоном, как будто она много пила вчера.

– Свекольник даже вкуснее на следующий день! – сказал Люда. – Где же Андрей?

В коридоре слышались детские шаги. Шаги забежали в ванную комнату, потом снова проскакали в сторону детской, и через минуту сын припрыгнул на кухню.

– Я – лягушка!

Алик выдвинул табурет для сына. Этот стол и три табурета фирмы «Мебель Май» они привезли с собой. Шкафчик для посуды, правда, купили здесь. И сына сделали здесь. Он был их счастье.

– Ешь! – сказала Люда и поставила перед сыном тарелку, добавила ложку сметаны.

Счастье вертелось на табурете фирмы «Мебель Май» и не хотело есть свекольник.

– Она обещала блины! – воскликнуло счастье и показало пальцем на мать.

– В следующее воскресенье будут тебе блины! Маме надо собраться в дорогу. Ешь, что дают!

– Я не буду это! – сказала счастье и отодвинуло тарелку со свекольником.

Алик терпеливо объяснил, что, во-первых, не «она», а «мама», а во-вторых, не надо капризничать.

– Помни, что где-то в этот самый момент у некоторых детей вообще нет еды. И не только сейчас. Иногда даже неделями нет, а то и месяцами. Дело плохо, брат! Так что ешь свекольник!

– Они умирают?

– Умирают, умирают! – рассеянно ответил Алик, наливая водку в рюмку.

– Прямо сейчас?

– Да, да. Ешь!

Услышав, что где-то некоторые дети прямо сейчас умирают без еды, сын замер.

– Ешь, ешь, их потом воскрешают!

– Как?

– Они зовут шамана, и он бьет в бубен и поет ритуальные гимны, пока человек не проснется. Ведь смерть – это просто очень крепкий сон.

– Как у тебя?

Алик поперхнулся водкой.

– Ну ты знаешь, это самое...

– Вот-вот! Устами ребенка глаголет истина! Я тебя умоляю: не проспи завтра. Мы постоянно опаздываем в школу из-за того, что ты не слышишь будильник! – сказала Люда.

– Купи мне бубен, – попросил сын.

– Хорошо-хорошо, – сказал Алик и выпил.

Днем делали уроки, писали и считали. После обеда Алик взял сына в Централ-парк, чтобы жена могла спокойно дособиаться. В парке они с сыном взялись играть в бадминтон, но ветер уносил

воланчик. Вставили в него камешек для веса, и воланчик полетел ровнее.

– Мягче, мягче! Поддавай снизу! – повторял Алик.

«Мягче, мягче, снизу поддавай!» – вспомнил он голос отца. Так же вот по воскресеньям ходили в Измайловский парк, находили ровную площадку. Тридцать лет прошло. Наверное, отец тоже считал его счастьем. Веселый, работающий человек, прошел ребенком через детский приют на Урале, выучился на инженера, строил железные дороги в Сибири, а погиб, переходя шоссе перед домом: пьяный водитель грузовика не затормозил перед пешеходной «зеброй». Отец умер в машине скорой помощи от кровоизлияния в мозг, и Алик с тех пор мучился только одним. Он всё время представлял темное нутро скорой и спрашивал невидимого отца: «Тебе было больно?».

Только игра в бадминтон заладилась, как прибежал бультерьер, толкнул Андрея рылом и, когда тот повалился в траву, унес его ракетку. Возмущенный Алик побежал за ним, но не догнал. Расстроенный сын сказал:

– Ты обещал бубен!

– Какой бубен? А, бубен!

Дошли до детского магазина на Бродвее. Алик спросил продавщицу:

– Скажите, где здесь купить небольшой бубен?

– Бубна нет, – ответила она лаконично.

На ней была розовая юбочка и розовая кофточка с рукавами-воланами. На голове – обруч и ушки. Она равнодушно пожала плечами и смерила сына взглядом.

– Мы продаем деские костюмы для Хэллоуина. Абрахам Линкольн на сэйле.

Алик посмотрел на сына, но тот помотал головой. Девушка с ушками ждала.

– Так возьмете Линкольна или как?

– Мы будем искать бубен, – ответил Алик розовой девушке.

Они пошли дальше, зашли в пару китайских магазинов: бубна нигде не было. За всеми этими хождениями где-то оставили вторую ракетку. Возвращаться и искать было лень, тем более, что зажелтели фонари, стало быстро смеркаться. Было уже темно, когда добрались до дому. Алик помог сыну снять курточку и повесил ее на вешалку, до которой тот не доставал. В шесть лет Андрей выглядел как пятилетний: бледный, с тонкой шеей. Собранный чемодан жены стоял у двери с таким видом, как будто собирался ехать сам.

В понедельник десятого сентября в четыре утра приехавшее за

Людой такси прогудело вниз. Хлопнула дверь. Внизу в продовольственный приехала машина, загрохотал подъемник. Грузчики перекрикивались громко и мешали уснуть. Потом Алик, наконец, провалился в сон, которым спят только страдающие бессонницей люди, и проснулся от телефонного звонка. Откуда-то издалека раздался осипший голос жены. Она прокашлялась.

– Ты где?

– А ты? – удивленно спросил Алик.

– Я в Чикаго.

Спросонья он решил, что ослышался.

– Где?

– В Чикаго.

– Как ты там оказалась?

– Ты что, выпил?

– Нет, что ты, ведь еще утро!

– А где Андрей?

– Наверное, спит.

Алик получил за всё сразу. За то, что сын опять опоздает в школу. И пошло, поехало. За то, что он обещал поменять замок еще в начале лета, но не поменял. Люда припомнила ему, как в квартиру проник мужчина: она как раз вышла из душа голая, он стоял в пальто и обуви на их новом паркете. От него пахло алкоголем. Увидел ее, сказал: «Ты не похожа на Фариду!»

– Ты представляешь, что я испытала, когда незнакомый мужчина увидел меня в таком виде?

– А тебе бы было легче, если бы это был знакомый мужчина?

– Мне было бы легче...

Он не услышал дальше, в телефоне проехал поезд.

– Я захожу в метро! Не забудь, что сегодня придут! – донеслось сквозь помехи.

– Кто?

– Ты что! У нас же сегодня собирается книжный клуб! – прокричала она.

Понедельник в конторе всегда был легким днем. Алик закончил дела вовремя и поехал за сыном в верхний Манхэттен. Они вернулись домой. Алик открыл холодильник и среди белого безмолвия увидел кусок старого сыра и остатки холодца. Тут только он вспомнил, что она дала список продуктов, которые надо купить. Он нашел список в кармане куртки и кенгуриными прыжками помчался в магазин. Там он, к своему удивлению, увидел очередь, какой не видел со времен советской власти.

– Амиго, что тут происходит? – спросил он шепотом у знакомого кассира.

Тот развел руками.

– Студенты! Начало учебного года. А что у тебя там?

– Ерунда всякая. У меня сын один дома остался.

– Ну, давай пробью быстренько!

В общем, он всё успел сделать к началу собрания книжного клуба: разложил на блюде сыр, в одну плошку – маслины, в другую – оливки, поставил на стол бутылку «Пино Нуар», бокалы. Пришел из комнаты сын, окинул взглядом:

– А хлеб?

Да, сказал Алик и нарезал и положил в плетеную корзинку хлеб. До прихода книжных дам оставалось еще полчаса. Алик налил себе красного вина и стал пролистывать заданную книгу. Они обсуждали рассказ Гоголя «Записки сумасшедшего». В магазине, где он ее купил, Гоголь стоял в разделе «Легкий юмор. Анекдоты». «Действительно, обхохочешься!» – пробормотал Алик, наливая себе еще вина. Он очень надеялся, что книжные дамы не придут. Бывает такое: мысленно баррикадируешь личное пространство, иногда срабатывает.

Они пришли – милые, интеллигентные американки: две медицинские работницы, две офисные служащие и русская парикмахер Надя. Она по-русски почти не говорила, приехала в пятнадцатилетнем возрасте и умудрилась забыть всё. Вся мировая несправедливость состоит в том, что язык так долго учится и так быстро забывается. Алик услужливо подал дамам бокалы с вином, а себе налил виски. Со стаканом в руке он опустился в кресло и стал слушать, как они обсуждают героя, называя его то Прошкиным, то Прищикиным. Мысли его носились далеко.

Часы показывали два часа чего-то, когда он открыл глаза. Судя по волчьей темноте за окнами, все-таки было два часа ночи. Значит, он уснул во время заседание книжного клуба. Шея затекла. Он простонал:

– Ах, как неудобно получилось! Людка убьет и правильно делает!

Он встал, перенес посуду со стола в моечную машину, попил воды из крана. Вода оставила во рту вкус хлорки, и, чтобы смыть его, он плеснул в стакан виски. Когда он распростался на холодном супружеском ложе, он окончательно проснулся. Тогда он взял из тумбочки таблетку, которую обычно принимала жена. «Очень легкое снотворное!» – говорила она ему. «Как она там?» – подумал Алик, проваливаясь в сон.

\* \* \*

И было утро нового дня... Он взял сына за руку, и они перешли на другую сторону Бродвея, чтобы ехать в школу. Алик подсчитал, что если обойдется без пробок, то они приедут позже на каких-нибудь жалких двадцать минут, а дальше он нырнет в метро и будет на работе в восемь тридцать. Он работал брокером в знаменитой компании «Marsh & McLennan». Его офис – предмет его гордости – располагался на сотом этаже в World Trade Centre. Алик уже держал руку поднятой, и в этот самый момент он увидел его: небольшой красный бубен висел в окне магазина.

– Стой здесь и не сходи с места! – крикнул он сыну.

Алик проскочил между машинами и купил. Сын был счастлив. Он хотел взять бубен с собой в школу, но Алик сказал, что он получит его вечером, потому что они уже здорово опаздывают и, если сын еще явится с этим бубном, то будет им от мамы нагоняй. Он и так будет, конечно.

Желтое такси подъехало к бровке, они сели.

– Отец, гони! Тут без сдачи!

Алик протянул шоферу червонец, хотя проезд до школы стоил только пятерку.

– Ох, опаздываем! – сказал он сыну.

Тот вздохнул и положил руку на руку отца.

– А эти гимны, они какие?

– О, они красивые!

– И они воскрешают по правде?

– Да, да.

Сын кивнул. Между ними возникло то особое понимание, которое только бывает между немного провинившимися мужчинами.

Сдав сына с рук на руки учительнице, которая смерила его кислым взглядом, Алик вышел из школы. И тут на него навалилось. Его мучило похмелье. «Черт с ним, я всё равно уже опоздал на собрание!» – коварно пронеслось в голове. Рядом был ирландский бар, окно которого приветливо подмигивало ему светящейся рекламой пива «Budweiser». Он вошел в утреннее пахнущее моющими средствами помещение пивной. Ничего не будет, если он присядет и выпьет стаканчик! – пронеслось в голове, – вот она, обманчивая легкость похмельного человека.

Он заказал, и ему подали на салфетке высокий стакан.

Он выпил залпом. В душе стало тепло и как-то уютно. Он пожалел себя за вечную рабочую каторгу и попросил еще пива и кофе.



– Десять лет назад мы с женой приехали в Америку! – сказал он бармену.

– Поздравляю!

– Женщина, которая выдавала нам визы, сказала, что мы с женой пожалеем.

Бармен непонимающе улыбнулся.

– Я ее люблю. – сделал признание Алик. – Не женщину с визами, а жену!

– А! – сказал бармен.

– То-то! – сказал Алик, довольный тем, что прояснил ситуацию. Зазвонил телефон. Это была она.

– А-лë! Это ты, любимая? – спросил он игриво.

Она же в ответ только кашлянула.

– Где ты?

– На работе.

– Идиот! – закричала она и вдруг зарыдала.

Она говорила и говорила: проклятья мешались с ласковыми словами, которых он в жизни от нее не слышал. Она говорила, что он – ее единственный свет, ее любовь. И уже ничего нельзя было понять, что она говорит, а только смотреть на работающий над головой бармена беззвучный телевизор с бегущей внизу строкой и бесконечно повторяющимся кадром: влетающим в здание самолетом. Он тоже плакал от горя. А потом от счастья, что жив. И снова от горя, от счастья.

## НЕДЕЛЯ В ПИТЕРЕ

Кира Львовна с дочерью Аллочкой устраивали в Бостоне домашние вечера, создавая вокруг себя такой уют, что хотелось сидеть и сидеть в гостях. Вот уже и подробности вечера забываются, а ощущение светлого праздника остается надолго и держится в душе. К началу застолья две женщины еще хлопотали всюю: несли из кухни горячие пирожки с грибами, выкладывали на блюдо со льдом кислые помидоры собственного приготовления. На Кире Львовне простое платье, гладкие волосы убраны в прическу, из украшений – только серебряная цепочка с рубиновым кулоном. Уютная Аллочка в узких джинсах и вязаном свитере приглашает всех к столу. Она молода, черные волосы касаются широкого ворота, низкий голос действует успокаивающе. Еды было много, и вся она вкусная.

После обеда женщины подавали кофе с ликерами. Они улавливали по выражению лиц, по какой-то особой тактильной реакции, с

кем и о чем беседовать и, если чувствовали, что людям не интересна тема, то с легкостью переводили разговор на другое. Всё это делалось по-простому, радостно, с сердцем, с искренним пониманием окружающих. Мало кто из круга знал, как сильно Кира Львовна тосковала по прежней жизни. Просто иногда мелькала фраза: «А у нас в Питере зимой, бывает, идешь вдоль Грибоедова канала, и слышно, как поет лед, подмерзая».

Вообще-то Кира Львовна приехала в Америку исключительно потому, что дочь нуждалась в ней. Аллочка влюбилась. Он был режиссером, старше ее на восемнадцать лет, жил в Канаде. Познакомились на кинофестивале. Сошлись. Чаще всего он приезжал к ней в Бостон, но однажды под Новый год она прилетела без предварительной договоренности, хотела устроить сюрприз. Она привезла ему в подарок лыжи «Цитадель», его мечту. Была зима, ветер исколот ей лицо и руки, пока она добиралась от метро до его дома. У нее были ключи от квартиры, которые он в последний заезд забыл у нее на тумбочке в прихожей.

– Сюрприз! – закричала она, войдя.

В комнате за столом рядом с избранником безалаберной Аллочкиной судьбы сидела молодая девчонка – на вид годов двадцати пяти – двадцати семи. Проревевшись в подъезде, Аллочка поехала в аэропорт, по дороге вспомнила, что оставила лыжи на остановке такси. С этого всё и началось. Аллочка заболела. Она не могла ходить на работу, не занималась девятиклассником-сыном, худела, таскалась к психиатру, влезла в долги. Она была так плоха, что Кира Львовна после очередного телефонного разговора решила. Она приехала и нашла Аллочку в полной апатии, а внука Антона заброшенным. Мальчик учился плохо. К десятому классу волочился в последних. Въехав в трехкомнатную Аллочкину квартиру, Кира Львовна лечила любимую дочь домашним пенициллином – так она называла куриный суп. Поставив Аллочку на ноги, Кира Львовна взялась за внука: занималась с ним алгеброй и физикой. Она за несколько месяцев подтянула его по истории, даже по английскому. Ведь для написания складного текста важно, чтобы была складной мысль. Антон из неуспевающего унылого разгильдяя вдруг превратился в усидчивого подростка. Дом особенно ожил, когда с благословения Киры Львовны Аллочка поменяла квалификацию.

– Надо делать то, к чему сердце лежит! – настоятельно увещевала она дочь, и та бросила ненавистное программирование.

Аллочка открыла свой бизнес: стала возить туристов из России. Вот так она познакомилась с ним. Его звали Олег. Он тоже был из Питера. Атлетичный молодой человек перевез в Аллочкину спальню

чемодан, с которым приехал, – в нем была пара брюк, пара рубашек и ветровка. Его одели, обласкали. Он был маляром, работал на стройке. Но всегда мечтал заниматься живописью.

– Работа найдется! – повторял он.

Его часто можно было видеть у русского магазина. Потом он стал брать уроки живописи у одного художника. После месяца занятий, за которые платила Аллочка, он принес первый шедевр. Когда он повесил полотно с березами на стену, Кире Львовне стало дурно. Ее будто ударили по голове. «Парень-то он добрый, но эти его березы уж слишком напоминают милицейские дубинки!» – шепнула она дочери. За этим последовали другие полотна. Березки, березки – все прямые и полосатые. От них рябило в глазах. Стучал молоток, на стену вешалось очередное творение. Она обсудила вопрос с дочерью, но та попросила пощадить ее чувства, и деликатная Кира Львовна больше не заводила речь о творческих прорывах Аллочкиного жениха. Вообще, Кира была непритязательна. Она верила в то, что надо сосуществовать с людьми, не мешая им. Их душевное равновесие важнее ее комфорта и удобства.

Далее начинается происходить нечто вообще контринтуитивное для Киры Львовны. Олег делает свою веб-страницу, называет ее «С русским акцентом». Самым необъяснимым образом картины его покупают в городе и за пределами.

Кира Львовна с еще большим энтузиазмом занялась внуком. Учила его писать эссе для подачи в колледж. Хорошей темой для эссе считался рассказ о культурных корнях. Иные, может, и перегружают свои писания набором клише, но тут уж Кира Львовна проявила вкус в выборе реалий. В нее природа заложила понимание красоты, идущей от ясности изложения. Она рассказывала о городе на Неве, показывала альбом со старыми фотографиями. Антоша вбирал услышанное и увиденное. Но этого было мало. Ей хотелось вживую показать мальчику Питер, походить с ним по улицам, потрогать руками чугун оград. Она мечтала о поездке.

Они решили, что поедут в Россию на весенние каникулы. Так и планировали, оформили Антону гостевую визу. В их планы вторглась свадьба, приготовления к которой легли на ее плечи. Рассчитывать на молодых она не могла – все пошло бы прахом. Жених рисовал пейзажи с русским акцентом, Аллочка, как полоумная, бегала в поисках платья для себя, костюма для него. И еще, как всегда, на весну пришлось много работы по турбюро. Но Кира Львовна не сетовала ни на зятя, ни на дочь. «Пусть! Ей хорошо, и слава Богу! Живи и дай другим жить!» – повторяла она присказку мужа.

Жених творит, Аллочка водит туристов. Кира Львовна пишет и

рассылает приглашения, и ей помогает только внук. Вместе они разослали сто пятьдесят приглашений – все, написанные от руки. Впереди оставалось самое главное – составить меню. Кира взяла это на себя. Она поехала в русский ресторан выбирать блюда. Шеф-повар Арон доверяет ей. Кира пробует блюда, советует:

– Вот в эти котлеты из баранины хорошо бы добавить сухого мелкого укропу и провансальских специй.

Сразу видно, что она разбирается.

Она забегалась до того, что у нее поднялся сахар. Пару дней перемоглась, отдохнула – и снова в бой.

Но всё же ее нагнало и прихватило. Кира Львовна почувствовала, что голова кружится и во рту сухость.

Русский доктор, друг семьи, озабоченно потер переносицу и посмотрел в компьютер.

– Да, дорогуша, придется поднять дозу глюкагона! Что же случилось-то?

Кира показала на округлые бока.

– Ем варварски много, как говорил Чехов!

– Прекрасный писатель! Очень жизненный. Надо полежать, надо диету, надо покой!

– Покой нам только снится! – смеется больная.

Играли свадьбу, делали хupu – все по ритуалу, как надо. Аллочка бросала букет, и подружки прыгали и ловили. После поехали в ресторан. Столы ломились от яств, в хрустальных вазочках лежала икра. Плясали, веселились. Музыканты пили и наяривали русские песни. Потом в ход пошли цыганские мотивы, и Кира Львовна в нарядном платье, с рубиновым кулоном на высокой груди, в любимой шали с розами прошлась, поводя плечами, – да так, что все ахнули. Ох, хороша была свадьба! Ее потащили в круг. Она плясала и плясала. Приехали домой только утром. Она отлежалась денек и снова захлопотала, ведь внук сдавал экзамены, заканчивал школу.

Вот и сбылось. Был месяц май, как в фильме Хуциева, в ее любимом. Аллочка с мужем отвезли ее и Антошу в аэропорт, долго целовались, и – полетели. И вот она дома, стягивает пластмассовую пленку с мебели, трогает рукой обивку, открывает картины. Горячей воды нет. В окне – продрогшие тополя, через дорогу на Московском – реклама какого-то Папанина. А ей всё в радость.

– Пошли гулять! – сказала она внуку. – Только надевай куртку!

Антоша, румяный после холодного душа, надел куртку, потому что в Питере бывает тепло только в июне-июле.

Они ходили целыми днями, а то и ночами. Где-то останавливались, гладили каменного льва, снова брели. Со старинных тополей летел пух, устилал клумбы, зыбился в продувных подворотнях. Самый отвлеченный и умышленный город в мире был их в эти дни и чудесные вечера. Вдоль щербатых мостовых загорались горбатые фонари, чтобы осветить только себя же самих да еще бросить ложку меда в водяной деготь. В белые ночи сочится серебряный свет из неба; тяжелые фасады домов удваиваются в мостовых и каналах, всё кажется торжественным и немного печальным. И они кружили по его улицам, шли по набережной. И где-то вдруг стемнело; она села на скамейку, закрыла глаза. Ей захотелось спать, и она не понимала, зачем Антоша теребит ее за плечо, зачем зовет каких-то людей, опять трясет, кричит, бубнит что-то в телефон.

Кира Львовна проснулась на том свете. По тусклым, сочащимся сквозь ветки перистым облакам Кира Львовна догадалась, что одна жизнь кончилась и наступила другая. Она пришла к мужу. Он вышел из дверей в своем обычном костюме и серой рубашке. На ногах старые туфли. Стояло хмурое утро, с порывами мокрого ветра с моря. Она засмеялась от счастья.

– Ты не мерзнешь?

– Нет. Я соскучился!

– А уж я как соскучилась, родной!

Они дошли до знакомого дворика на Шпалерной, присели на скамейку.

Он закурил.

– Как ты? Как Аллочка?

Она сказала про свадьбу. Он уже был в курсе. Вообще поразительным образом выяснилось, что он знал обо всех новостях. И про внука, и про трения с зятем.

– А как сейчас-то? Поладила с Олегом?

– Как-то, вроде... – ответила она неуверенно.

– Он – хороший парень. Так что потерпи.

Она кивнула. Мужу она всегда верила.

Он положил ладонь на ее руку. Он говорил, что у него всё хорошо, он просто очень переживает за них. Хватает ли им на жизнь?

– Хватает, хватает, не волнуйся! – бормотала она.

Они долго сидели молча, рука в руке. Потом она заметила, что он клюет носом. Она провела по холодной щеке рукой.

– Ну вот! Я вижу, что ты замерз и устал! Пойдем к тебе!

Он покачал головой и сказал, что ей лучше вернуться туда, где она нужна.

– А ты?

– А что со мной станется? Я подожду!

Ей сильно не хотелось оставлять его: так бы и сидела вечность – рука в руке. Он отстранил ее от себя:

– Кирушка, надо жить, пока не позовут.

– А меня разве не позвали?

Он опять покачал головой и поднялся, чтобы уходить.

– Нет еще. Зато там, видишь, собралась вся наша семья. Аллочка с мужем прилетели, Антоша ждет... Не волнуй их, Кирюша!

– Да когда же они успели прилететь, ведь я всего несколько часов отсутствовала?

Он опять покачал головой.

– Это здесь прошло несколько часов, а там, – он показал на что-то впереди, за ее спиной, – прошло три дня.

Она взглянула в ту сторону, куда он смотрел, и увидела своих. Когда она обернулась, его уже не было. А потом исчезла улица и мокрые деревья. Она была в больничной палате – белые стены, тумбочка, подоконник. И вокруг происходило черт-те что. Распухшая от слез Аллочка кричала на медсестру.

– Что значит в больнице нет глюкагона?

Зять Олег бесконечно жал на кнопки мобильного и требовал какого-то Мухина. У Мухина требовал, чтобы тот срочно доставил глюкагон, потому что близкий человек в коме. На стуле, прижимая к груди пальтецо, сидел Антоша. Вид у него был совсем потерянный, глаза на мокром месте. Время от времени он хлюпал носом.

– Господи, неужели это всё из-за меня? – испугалась Кира Львовна. Ведь больше всего она боялась доставить хлопоты.

Кира Львовна облизнула пересохшие губы и тихо позвала:

– Антоша!

*Бостон*

Илья Журбинский

## Между миражами

\* \* \*

Уйду без посоха в страну,  
В которой дышит все покоем –  
Но не гонимым, не изгоем,  
Войду в ее голубизну.

Здесь все свободны и близки  
Друг другу. Время бесконечно  
Течет. Здесь глубока и вечна  
Любовь, лишённая тоски.

Так безболезненна она,  
Когда минует страх утраты,  
Лишь облака плывут, кудлаты,  
И вверх стремится глубина.

Уйду без посоха в страну,  
К которой путь не так уж долог.  
Вселенной крохотный осколок,  
Как в Лету, кану в тишину.

\* \* \*

Что-то в памяти вдруг  
ненароком мелькнет,  
остановит,  
лишит равновесья.

Как на срезе смола,  
закипает слеза,  
чтобы глазу

в преломление лучей,  
что блещут над водой,  
вдруг увидеть

голубые следы,  
и забыться,  
и вспомнить,  
и снова

всё забыть,  
чтобы дальше идти...

\* \* \*

Амбар моей памяти  
прогрызли серые мыши забвения.  
На что мне зерно?  
Загостился я в прошлом.  
Пора возвращаться, где зеркало нужно разбить,  
разметать  
ехидные эти осколки,  
всё, что не написано, — сжечь,  
что написано — сжечь,  
и погреться еще у костра,  
пока мыши шуршат.

## ОДИССЕЙ

О, как сладко поют сирены:  
«Свобода! Равенство! Братство!»  
К мачте меня корабельной  
Веревкой надежно плотно  
Вы привяжите,  
Чтоб был я совсем неподвижен;  
Иначе стану доблестным я комиссаром,  
С сердцем горячим, головою холодной —  
И чистыми этими,  
ласковыми руками  
Перестреляю  
всех!



*Игорю Пеняеву*

Как петляет тропинка жизни.  
Любовь и надежда  
возникают из ничего  
и незаметно исчезают.  
Но и горе, и безнадежность  
не более прочны.  
Какими изобразит нас судьба в следующем кадре?  
Разве угадаешь?  
Разве куколка в зимнем одиночестве  
может знать,  
что ей предстоит стать невесомой бабочкой?  
Разве бабочка знает,  
зачем она летит на огонь?

Сергей Попов

## Отпуск без сохранения *Лесная история*

Прощай, мой тихий сельский дом!

Тебя бежит твой летний житель.

*Сергей Аксаков*

По вечерам мы усаживались на старом причале и ждали водяного. Лохматого, пучеглазого, зеленоусого. С илистым брюхом, перепончатыми лапами, чешуйчатым хвостом. Он выберется, наконец, из неведомого омута у заброшенной береговой мельницы, поднимет со дна своих жен-утопленниц, и через минуту мы вздрогнем от его утробного хохота, зловещего крика, ледящего душу воя... Сидели молча, чтоб не спугнуть чудище ненароком. Ёжились от позднего холодка и предстоящего ужаса, тосковали оттого, что сомневались... Старой мельницы ведь в округе не было. Но так ли уж она страшилищу кровожадному необходима?.. Озоровать по-любому можно – места-то какие! Мрачные деревья, густой подлесок, исполинская трава... Они подступали вплотную к дощатым домикам, настырно протискивались между ними, неудержимо стремились прямо к воде... В глубине меркли тяжелые облака и медленные тени поздних неведомых птиц. Дощатый причал на глазах растворялся в темноте...

Домой мы пробирались почти на ощупь – ступали медленно, чутко, опасливо. Тропа истоно петляла, ныряла в ложбины, пряталась в кустарники. Потому приходилось часто останавливаться, слепо озираться, прислушиваться... А потом задирать голову и, позабыв о дороге, глупо глядеть на крупные звезды. Они были такими огромными, что не помещались в сознании. Их ровный холодный огонь уничтожал время, и мы стояли бесконечно долго... А между тем дома всю разгоралось испепеляющее материнское негодование. Но кто помнил о том, что его ждет?..

- А я думал, что больше и не увидимся...
- Чем больше думаешь, тем реже сбывается.
- Спорное наблюдение... И почему же?
- Не берусь объяснить. Из печального опыта...

– А я-то думал, что печали – удел неопытных... Слышал, ты будку свою продаешь. Потому на встречу и не надеялся... Правда?

– Была такая мысль. Но сейчас самое время именно тут покантоваться. И ковид, и мой бывший с делёжкой имущества... Это покруче ковида!

– Я без этого обошелся. И нисколько не жалею. Нервы бесценны.

– Умный ты. Надо было за тебя замуж идти...

– Кто бы еще позвал...

В этом дачном поселке мы жили каждое лето. Родители сначала снимали домик, а потом и купили его. Летняя жизнь была особой. Мы с друзьями безнаказанно занимались черт-те чем... Пропадали в лесу, тонули в реке, попадали под машины... Впечатлений хватало на весь год. До следующего лета.

В родительские времена главным печатным органом администрации садового товарищества была доска объявлений. Здесь можно было узнать даты общих собраний, фамилии должников, сроки замены счётчиков... И множество разнообразных сведений общего порядка, способствующих укреплению сознательности граждан. Как то: комплексы гимнастических упражнений, здоровые низкокалорийные диеты, правила воспитания подрастающего поколения... И взрослые не только глядели объявления. Задерживались, читали пространные вырезки, удивлялись, обсуждали... Как правило, критиковали прочитанное. Прежде всего за то, что оно возведено в ранг официальной информации. Это всегда задевает...

Я, грешным делом, думал, что доска сия давно уже сгорела на костре одного из бесчисленных субботников или сгнила на помойке рубежа веков. А потому немало удивился, когда негаданно увидел ее в целости и сохранности. И даже подошел, чтобы убедиться...

«1. Необходимо соблюдать меры индивидуальной профилактики. В этом главный залог сохранения здоровья.

2. Использование марлевых масок и медицинских перчаток обязательно в общественных местах. Это обезопасит вас и окружающих.

3. Помните, что наше здоровье в наших собственных руках. Проводите разъяснительные беседы о здоровом образе жизни с родными и близкими.

4. При первых симптомах заболевания не теряйте самообладания.

5. Необходимо вызвать врача. Если это невозможно, принимать срочные меры нужно самостоятельно.

6. Принимайте жаропонижающее, употребляйте достаточное количество жидкости, соблюдайте домашний режим.

7. Не настаивайте на сдаче тех или иных анализов, проведении тех

или иных обследований. Это прерогатива медицинского работника. В каждом конкретном случае целесообразен свой алгоритм обследования.

8. Воздержитесь от голословных обвинений сотрудников учреждений здравоохранения в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Это дезорганизует их текущую работу и привносит неоправданную социальную напряженность.

9. Не подвергайте огульной критике действия органов власти и управления, направленные на борьбу с заболеванием. Этим вы затрудняете их реализацию и существенно снижаете эффект от санитарно-эпидемиологических мероприятий.

10. Проявляйте бдительность и сообщайте о нарушениях санитарно-эпидемиологического режима в контролирующие органы. Этим вы поможете общей борьбе с болезнью и приблизите окончательную победу над ней.

11. Не забывайте о личной ответственности за нарушение гигиенического режима и несоблюдение социальной дистанции. Игнорирование предписанных норм влечет суровое наказание.

12. Только солидарными усилиями мы сможем переломить негативные тенденции в состоянии общественного здоровья. Лишь выступая единым фронтом против возбудителя недуга, мы можем защитить свое право быть эффективными и счастливыми. И мы сделаем это!»

Кое-какой народ в поселке жил, но многие домики пустовали. Из города эпидемия вычистила далеко не всех... Самая прочная связь — с привычным, въевшимся, ставшим тобой. Так что ничего удивительного.

Через несколько домиков от родительского в раскрытом окне я увидел толстую немолодую женщину. Она дружелюбно улыбалась мне из недр папиросного облака.

— Здравствуйте, тетя...

И я осекся. Никак не мог вспомнить, как ее зовут. Маша, Таня, Нина?.. А я ведь знал ее с детства... В последнее время имена испаряются из моей памяти. Ощущение от человека — навсегда. А помнить как звали — увольте... Значит, это не имеет значения. Всё, что лишено смысла, отмирает...

— Привет, дорогой! Давненько тебя не видно. Где пропадал?

— Работа, будь она неладна...

— Нужно и для жизни время выкраивать. Помирать, не пожив, — не по-божески...

— Вот и я так думаю. Так что поживу тут какое-то время. Правда, тесно тут. Но ничего — в тесноте, да не в обиде.

– А чего тесниться-то? Вон сколько будок заброшенных. За бесценок купить можно. С радостью отдадут...

– Посмотрим. Чем черт не шутит? А то и сделаюсь тут крупным домовладельцем да и осяду, хозяйством обросту... Смешно представить, правда?

– Это сейчас смешно. А потом по-другому глянется...

– Потом всё по-другому глядится. Дожить только надо.

– И то верно. Может, зайдешь? Чайком угощу.

– Нет, спасибо! Я уже кофеином заправился. А то башка лопнет раньше времени.

– Ну, тогда извиняй. Время всему свое...

Я взял отпуск. Без сохранения, по семейным обстоятельствам. Смех и грех. Какие такие, интересно, у меня обстоятельства?.. Со скандалом, конечно. Собрал свои нехитрые пожитки да и сюда прикатил... Не думал, что оказия такая случится. Почему я не оказался в авангарде борьбы с пандемией? Не парился в «скафандрах» по красным зонам? Не бегал, высунув язык, по домам температурающих? Не подправлял диагнозы для нужной статистики?.. А потому что не хочу быть расходным материалом. Как маски, перчатки, бахилы... А эскулапов наших несчастных нынче таковыми и числят. Вперед, братцы, – грудью на амбразуру! Пробил ваш час! Если не вы, то кто же?.. Вы ведь у нас хорошие? Да?.. Мы это всегда знали. Ну вот и замётано, вот и ладненько... Государство поумилялось, подачки какие-то посулило, поболтало-поболтало... да и позабыло, как это у него водится. А подика выбей из чинуш обещанные гроши... С инфарктом сляжешь. Но это уже мало кого волнует. Да и сколько здоровье твое стоять может?.. Кто, интересно, расценки эти утверждал? Хотел бы я посмотреть в глаза владельцу тайного знания...

– А тебе понравилось бы приглашение на вечеринку?

– Если бы я делала только то, что мне по шерсти!..

– С годами я совершенно отчетливо осознал одну вещь. Делай то, что тебе нравится. И не делай того, что не нравится. Иначе неизбежно станешь глубоко несчастным человеком. И сопьешься раньше времени.

– Альтернатива еще та... Неизвестно, что лучше.

– А нам никогда неизвестно, что лучше. Лишь только – что желаннее...

– Желания слишком сиюминутны.

– А оттого что их откладывают, они исчезают...

– С этим не поспоришь.

– А разве мы встретились, чтобы спорить?..

...В домике моем таились вещи прошлого века. Железная, с пружинами кровать, фанерный, беспощадно исполосованный кухонными ножами стол, не раз подвергавшийся оперативному вмешательству репродуктор «Нейва» отечественного изготовления. На него даже межсезонные ворюги не польстились – хоть и явно захаживали сюда с инспекцией. Впрочем, весьма благодушной.

Люди живут, время неизбежно меняется. И разные предметы, дома, переулки, города сопровождают их в движении календарном. Но это люди... А у меня всё ровно наоборот. Мне выпало всю жизнь быть исправным проводником старых вещей, прежних строений, их неизменного порядка... О городах я вообще молчу. Он у меня с детства числился одним-единственным... Родиной.

– А у тебя давно был секс?

– Где ты таких выражений деревянных набрался?!.. Ничего более дубового в жизни не слышала. Даже от врачей...

– Извини. Но что тут обидного?..

– Обидно за твой язык. Я что – на приеме у гинеколога? Спроси еще про последние месячные...

– А что? Совсем не лишне во избежание... Но я о другом. Маска-перчатки-презерватив не отвлекают?... Это я фигурально. Глобальная ситуация душу при этом не леденит?

– Маски и прочая – не в ходу. Сам видишь. А что касается души – ёжится она по другим поводам.

В родительской лачуге было темно и тихо. Я на удачу щелкнул клавишей репродуктора и крутанул тумблер. К немалому моему удивлению, допотопный агрегат решительно отозвался.

– ...водяной внимательно следит за каждым, кто так или иначе оказывается в пределах досягаемости. Водяной забирает на безвозвратное жительство всех, кто вздумает купаться в реках и озерах после заката. И особенно – в самую полночь... Как он выглядит? Это голый обрюзглый и пучеглазый старик с рыбьим хвостом или непомерно длинными ногами. Он опутан тиной или одет в красную рубашу. У него огромная окладистая борода и усы с налипшими водорослями. Он может обернуться зверем, свиной, коровой, щукой, уткой... А может явиться заросшим шерстью чертом с острыми рогами или еще кем... Водяной может ездить верхом на крупном соме. Потому эту рыбу и величают чертовым конем... Водяной – большой любитель похохотать в голос, а в ожидании близкой жертвы может азартно хлопнуть в ладоши. А еще любит подражать людям и животным – кричит, воеет, ухает, визжит, крикает и блеет. То ли

*пугает, то ли влечет к себе... По всей Великороссии он хватает цепкими лапами и с быстротой молнии увлекает вглубь всех забывших при погружении в воду осенить себя крестным знаменем. С особой страстью он зарится на тех, кто вовсе не имеет обыкновения носить нательных крестов. Такие в подводных весах обречены на самую мучительную работу – бесконечно перемывать песок... Водяной предпочитает жениться на утопленницах, охотнее всего – на девицах, что прокляты родителями... А бурные свадьбы его чреватые новыми негаданными несчастьями... Трупы сгинувших он возвращает не всегда. У него свои соображения и капризы. Поговаривают, что мертвецы идут порой на пропитание семьи. Но это – только слухи...*

– Привет, дорогой!

– Здравствуйте, тетя...

– Ну, что? Надумал тут обосновываться?

– Да приглядываюсь пока...

Так им всё вынь да положь... Ох и любит наш народ в чужую жизнь соваться! Медом не корми...

– А я тут уже кое с кем переговорила. Дешево дом отдадут...

– К чему бежать впереди паровоза? Всему свое время...

– Как знаешь... Может, зайдешь?

– Да некогда сейчас.

– Зря брезгуешь... Твоя покойная матушка частенько захаживала. И мир был, и дружба была...

– Да Бог с вами... В следующий раз обязательно загляну.

– Ну, гляди. Тебе виднее...

Я всегда любил ходить по одним и тем же улицам. Новые маршруты меня не влекли. Мое ветхое внутреннее равновесие питали сизмальства знакомые проулки и скверы. А нечастые архитектурные новости лишь подчеркивали его хрупкость. Почему я так дорожил этим отнюдь не фееричным и праздничным состоянием? Внятно ответить было невозможно. Но я подозревал, что если эта расстановка ощущений нарушится – случится нечто непоправимое. Так оно и произошло...

О чем разговаривали наши родители? О своей работе. Но разговоры эти вовсе не были скучными. О, сколько всего искрилось в родительских словах! Одутловатый зеленолицый заводелом, азартно клеящий пошедших на дно жизни сотрудниц-разведенков. Крючконогая нахохленная секретарша-весталка, исправно оповещав-

шая коллектив о том, с кем начальник будет ужинать сегодня. Вечно озабоченная выгодной партией квакушка-хохотушка, ежедневно меняющая наряды местного производства. Изрядно траченая семейной жизнью рыбоголовая чертежница в тяжких раздумьях об ответе на ухаживания...

И анекдотов родители не чурались...

– Что такое демократический централизм?

– Это когда все вместе – «за», а каждый в отдельности – «против»...

Мне давно хотелось поговорить с водяным. И не потому, что мне неинтересны люди... Это трудно назвать страстью к общению, но я зачем-то – порой ни с того ни с сего – звоню своим старинным знакомцам, с которыми не контактировал годами. Они не отвечают. И раз, и два... А потом выясняется, что человек давно умер... И ощущение сформулировать не получается.

У них были огромные выпуклые, в крупных прожилках глаза. Они надвигались неспешно, глядели в упор и, казалось, улыбались. Их зеленые лохмотья пышно струились вдоль тусклых туловищ. Они глядели насквозь, и мнилось, будто что-то радостное различали вдали. Ко мне никакого интереса они не проявляли, потому страшно не было. Лишь одно жгучее любопытство яростно подначивало обернуться. Что же их влекло?.. Что же такое неодолимо манкое светилось где-то далеко-далеко позади? Что же необыкновенное осталось у меня за плечами? Я хотел посмотреть, но у меня не было сил повернуть голову. Она точно вросла в шею... Впереди ничего веселого не вырисовывалось, потому я страстно силился крутануться на сто восемьдесят... И понимал, чего это стоит... Я и раньше много раз пытался это сделать. Жуткая процедура!.. Но даже когда выходило, никак не умел настроить свое зрение – а потому всю дорогу бесплодно пилился в речную мглу, сходил с ума, выдумывал невиданное...

Но водяникам дана была иная сетчатка, и они втайне ликовали.

– Ты в самом деле в медицинский случайно попал?.. А я на истфак поступила – благо, туда народ особо не рвался. Занялась славянской мифологией...

– Медицина – тоже мифология.

– Это почему же?

– Потому как никто никого здоровым не делает. Но заставить поверить – можно...

– Вот это санпросветработа!



– Как есть. Ну разве что в экстренных ситуациях выручить иногда или хворь бессрочную продлить... А тебя-то как на стезю этакую занесло?

– Из-за наших поздних бдений – речных да чащобных. Темь непроглядная, дрожь неумная, чудища подводные да небесные... Помнишь? Вот эта сомнительная братия меня и прельстила. И кому сейчас вся эта нечисть нужна? Поди попробуй продайся!..

– Она всегда нужна. И куда больше, чем кажется...

– А я-то думала, что это именно она мне всю жизнь загубила. Заманила в болото, зашекотала вусмерть...

– Одно другому не мешает. В нашей сказке без губителей – никуда...

– А мы в сказке?

– Ты еще сомневаешься?..

...кожа ее светилась зеленоватым. Где-то чуть дальше угадывался какой-то секретный светильник. Что это за фокус? Она спала на боку спиной ко мне, и линия бедра зловеще контурировалась на этом разбавленном холодом подозрения свету... У меня под окнами фонарей нет... Откуда же эта вкрадчивая подсветка?.. Я вдруг понял, что меня коварно и жестоко обманули. Но кто? За что? К чему вся эта ледяная игра в обличия?.. Я в ужасе приподнялся на локте и распахнул глаза...

Ее волосы, лицо, грудь послушно двигались в такт дыханию. А неровное пунктирное посапывание лишь подчеркивало всамделишную работу легких... Я на всякий случай тронул ее за плечо и убедился, что, слава Богу, оно теплое... Совсем с ума сошел... Что же это такое происходит?.. Пришлось встать, подойти к столу, налить рюмку... Зеленые звезды с издевательской прямою глядели на мою минутную трапезу. Редкие облака темными птицами висели над смутной душой. Лукавая река швыряла резкие отблески в пыльное родительское окно.

– Кстати, Блок не особо разбирался в древней мифологии. Есть такой у него стихок – «Сирин и Алконост». Это он в нежном еще возрасте начертал, картин васнецовских насмотревшись. Там он просто-напросто перепутал этих самых пресловутых пернатых... Что мы у Александра Александровича видим? –

Густых кудрей откинув волны,  
Закинув голову назад,  
Бросает Сирин счастья полный,  
Блаженств нездешних полный взгляд.

– А между тем, создание это страшноватое. Даром что птица райская – даже имя созвучно со стародавним названием рая – Ирий... Однако Сирин – птица темная, посланница властелина подземного мира. Кто послушает ее голос, забывает обо всем на свете и обрекается на беды и несчастья. И никто и ничто не может заставить человека не слушать голос Сирина. А другая – Алконост – светлая птица, воплощение солнечного бога Хорса. А что у некогда юного сочинителя? –

Другая – вся печалью мощной  
Истощена, изнурена...  
Тоской вседневной и всеночной  
Вся грудь высокая полна...

– У него еще про птицу Гамаюн стихотворение есть. Там, вроде, всё на месте...

Этой весной на улицах появились мертвые голуби. Такого раньше не было. Или я просто не замечал, что происходит вокруг... Расплющенные шинами сизые тушки в мелких лужах, редкие грязные перья на обочинах, голодные вешние вороны, слетевшиеся на поживу... Поначалу я грешил лишь на прежнюю свою слепоту. Но вскоре критическая масса птичьих трупов влѣгкую перевесила груз сомнения... Что-то явно переменилось в ближних небесах. И прежним их обитателям стало более невозможно постно существовать над здешней землей, безропотно перебиваясь ее скуными подачками.

– А у Плещеева... Помнишь из школы? –

Травка зеленеет,  
Солнышко блесит,  
Ласточка с весною  
В сени к нам летит...

Дам тебе я зерен,  
А ты песню спой,  
Что из стран далеких  
Принесла с собой.

– А ласточка, между тем, – насекомоядная птица, а не зерноядная...

– Стало быть, с птицами в отечественной поэзии, как я понимаю, не сложилось?

– Да что с птицами! Там и прочей живности досталось...

Всё в безмолвии чудесном  
Вкруг шатра; в ущелье тесном  
Рать побитая лежит.  
Царь Дадон к шатру спешит...  
Что за страшная картина!  
Перед ним его два сына  
Без шоломов и без лат  
Оба мертвые лежат,  
Меч вонзивши друг во друга.  
Бродят кони их средь луга  
По притоптанной траве...

– Это – «Наше всё», «Сказка о золотом Петушке»... Возникает вопрос: луг с конями откуда взялся, если действие происходит в тесном ущелье? И еще – как можно вонзить один меч друг в друга?

– Что делать? Разве ты не готова прощать классиков?

– Если б не прощала, о них и разговора бы не было... «И Терек, прыгая, как лвица... / С косматой гривой на хребте...» – у лвиц, как ты знаешь, грив нет. Но как такого юношу не простить?..

Когда, наконец-то, собрались выйти – стемнело уже основательно. Лес сливался с рекой, а река – с небом. Но мы всё же разглядели, как с причала по-комсомольски задорно нырнула ласточкой игривая жена-утопленница в купальнике фирмы «Работница». И водяные круги отчаянно сверкнули под лунным приглядом.

– Если б я только представлял себе, какая ты роскошная женщина, – женился давно и бесповоротно.

– Ели б тебе давным-давно не дали от ворот поворот...

Сосуды на ее груди проступали отчетливо. Вены дружно ветвились прямо под кожей и настойчиво змеились вглубь. Они всё контрастнее множилось вокруг сосков – голубели, синели, темнели... А потом и вовсе становились черной сетью на матовом – ноябрьскими кронами на вечернем небе, причудливым абрисом окончания, странным рисунком прощания...

Бедра ширились, размывались, оперялись... И на глазах превращались в огромные птичьи крылья. Они дразнили и ужасали своим издевательским размахом. И росли, росли, наползая на обшарпанные стены и заслоня пыльное окно... Волнистый пол шел речными бликами, в дальнем углу стремительно набухало грозное лоно... Через

минуту из него показалась зеленоволосая голова с безумными радостными глазами и разинутым в изумлении ртом...

Первые роды я увидел на третьем курсе. Нашу группу отправили на ночное дежурство в роддом. Он располагался в старинном ветхом особняке, пару сотен лет назад завещанном местным олигархом родному городу. В ординаторскую нас, само собой, не пустили, и разношерстный коллектив незадачливых дежурантов охотно рассосредоточился по просторным сумеречным холлам, непроглядным извилистым коридорам, пафосным пологим лестницам. Кто-то по внезапному требованию Эрота, кто-то для дерзкой встречи с Бахусом, кто-то ради сладких объятий Морфея... Облупленные статуи глядели на всё это безобразие с немим сочувствием.

Я же по своей нерастраченной любознательности расположился на кушетке невдалеке от родовой: и прикорнуть можно, и посмотреть, если повезет... Когда еще такой случай выпадет?

Здание было полупустым. Может быть, потому что почти разваливалось – через несколько месяцев роддом и вовсе закрыли из-за аварийного состояния... В полудрёме я запросто здоровался с теньми, дружно гнездившимися в этих неуютных пространствах. Спорил, соглашался, негодовал... Подсказывал, как было бы лучше... Трудно сказать, сколько продолжались бы эти увлекательные беседы, но в непосредственной от меня близости послышался долгожданный топот акушерки: «Воды! Отошли воды!» Грузная тетка в поисках дежурного врача потрусила дальше, а я тем временем засунулся в зальчик, из которого неслись крики... Кресло стояло за ширмой, по диагонали от двери. Чтобы увидеть, кто кричит, я проскользнул внутрь бывшей гостиной... Меж разверстых ног я увидел уже явившееся на свет, искаженное гримасой узнавания лицо, обрамленное патиновой порослью... Более всего я поразился не наличию ее, а цвету. А потому глядел, как завороченный, – минуту, другую... Пока за спиной не раздалось грозное: «А вы что тут делаете? Немедленно освободите помещение!» Последнее, что я там увидел, это огромные насупленные вороны на голых сучьях под уличным фонарем. В старинном витражном окне он был изумрудным...

Чем дольше я жил в родительской избушке, тем прочнее становились позабытые, казалось, детские привычки. Неспешный подъем без будильника. Краткий заплыв по сонной еще воде, полной холодной ряски. Головокружительно крепкий «индийский» в огромной кружке. И, конечно, настольный репродуктор...

– ...западноевропейские технологии птицеводства в дореволю-

ционной России не прижились. Хотя питомники и хозяйства того времени разводили именно заграничную птицу. Она была модной и дорогой. Вообще занятие птицами считалось делом почтенным. Этому посвящались целые трактаты. Так, в 1774 году появилась книга академика Теплова «Птичий двор». И в ней рассказывалось не только о падуанских или гиланских курах, но и о местных породах, которые обобщенно именовались русскими... С начала XVII века в Москве в Измайловском зверинце народу показывали не только лесную дичь, но и всякую птицу. И она была важнейшей частью экспозиции... В 1855 году прошла первая выставка птиц. А в 1880 отечественные поклонники петушиных боев основали Московское общество любителей птицеводства. А потом такие общества стали появляться и в других городах. Возникали племенные хозяйства, где внедрялись новейшие технологии. Птицеводы консультировали, проводили выставки и конкурсные испытания, поставляли чистопородных птиц всем желающим... С 1897 года Россия уверенно вошла в число лидеров по экспорту продуктов птицеводства, а с 1903 года она заняла первое место в мире в этой области. Доходы, полученные только от торговли продуктами птицеводства в России, существенно превысили доходы от оборота всей продукции животноводческой отрасли страны...

— А почему ты не рассказываешь о своей бывшей? Какой она была женщиной?

— В общем-то холодной... «О, Русь моя! Жена моя!...» Но мне это нравилось. Это оправдывало мою свободу.

— Я тоже не слишком страстная...

— А женщины у нас вообще не страстны. Они пристрастны.

— А ты не замечал, что они разные?

— Они одинаковые. А по большому счету, все они — одно. Одна... Разве нет?

— Это смотря как считать...

— Ну, если, конечно, как официальная статистика...

— Из этой статистики только статисты и произрастают... А они кого хочешь изобразят. Хоть женщину, хоть мужчину, хоть сома донного, хоть крота почвенного... Слов, один черт, им не полагается...

...Революция, Гражданская война и последовавшие за ними годы налаживания новой системы привели к разорению всего, что было наработано: частных питомников, коллекций и птицеводческих хозяйств, в которых сохранялись представители богатейшего отечественного и ввозного генофонда. Большой бедой стала коллективизация и многочисленные кампании по раскулачиванию, они практи-

чески уничтожили местные породы и разновидности птиц в СССР. Курс на индустриализацию привел к тому, что во всех хозяйствах утвердилась однообразная привозная птица.

Селекционная работа по разведению птиц в СССР снова началась лишь в конце двадцатых – начале тридцатых годов. Это было связано с ростом потребности в продуктах птицеводства. Для нового витка разведения птиц в СССР необходимо было развивать промышленные хозяйства на базе полноценных научных исследований. В рамках поставленных задач организовывались инкубаторные станции и профильные хозяйства. В Сергеевом Посаде открылся специализированный НИИ... Но все селекционные усилия по работе с птицами в СССР были направлены на достижение целей промышленного птицеводства, то есть на высокую продуктивность и экономичность. В планах было исключительно увеличение количества штук яиц и килограммов мяса. Многие отечественные дореволюционные и декоративные зарубежные породы остались в стороне от этого процесса. Основу для пород птиц СССР составили импортированные американские породы «Леггорн», «Плимутрок». Бесценный потенциал отечественных пород в расчет никто не брал... Но напряженная политическая обстановка шестидесятых заставила отечественных селекционеров активизировать работу. Результатом их усилий стало выведение порядка 20 новых пород птиц СССР... Параллельно формировалось большое число новых линий и кроссов, которые удовлетворяли промышленность по своим характеристикам яйценоскости, скороспелости и экономичности... А в 1966 году Советский Союз был удостоен права провести XIII Всемирный конгресс по птицеводству. Он с большим успехом прошел в Киеве. И в честь этого знаменательного события была выпущена почтовая марка...

– Всё потому и рухнуло, что птиц разводили только из-за мяса и яиц...

– А может потому, что плохо разводили?.. Больше народ свой разводили, чем пернатых. Да ведь и сам народ наш, если не разведят его, – что-то недоброе подозревает... «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» Так что развод – это социальный заказ...

– Стало быть, всё было правильно.

– Всё было, как было...

– Знаешь, что бедных школьников в тестах по литературе спрашивают? Почему в названии гоголевского сочинения «Майская ночь, или Утопленница» последнее слово написано автором с заглавной буквы?

– Нынче в нашей стране среднего образования я получить бы не смог... А ты, я погляжу, училка еще та... А у тебя в школе прозвище есть?

– Не интересовалась... Между прочим, у Николая Васильевича тоже «блохи» есть...

– Они в то время процветали...

– Ты находишь, что время сильно изменилось?.. Так я о своем, о «Мертвых душах». Детей же этим сочинением мучают... Там с временами года беда. В начале вообще неясно, что на дворе. Явно не зима, потому что Чичиков путешествует в бричке, а не в санях, но осень, весна или лето – сказать сложно. Во время поездки к Манилову Чичиков кутается в шинель, видит мужиков в овчинных тулупах, что заставляет предположить, что на дворе поздняя осень, ближе к зиме. Но потом вдруг дорога становится по-летнему пыльной, появляется зелень, в пруду по колено в воде бредут бабы. А уже через пару дней, когда Чичиков, объехав помещиков, будет в городе оформлять купчую, – он снова в шинели. А Манилов еще и в теплом картузе с ушами... Правда, говорят, что это он нарочно. Дескать, прием такой у него. Этакая длящаяся неподвижность... Ну, не знаю. По-моему, извечная наша безалаберность...

– А может, в этом подколка какая хохляцкая?

– Вряд ли... Кстати, «хохляцкого» в облике его было мало... Знаешь, каким Айвазовский его увидел? «Низенький, сухощавый, с весьма длинным, заостренным носом, с прядями белокурых волос, часто падавшими на маленькие прищуренные глазки. Гоголь выкупал эту неприглядную внешность любезностью, неистощимую веселостью и проблесками своего чудного юмора, которыми искрилась его беседа в приятельском кругу.»

– И откуда у хлопца испанская грусть?.. То бишь итальянская...

– Наверное, там писалось лучше...

– Потому что впрочем из возка птицы-тройки выпрыгнул...

– Может, и ты там на что-нибудь эпохальное сподвигнешься?

– Нет уж, увольте. Не желаю в гробу буйствовать...

Эпидемия возникла потому, что напрашивался какой-то событийный рубеж прежним друзьям, прежней любви, прежней литературе... Всё итожилось, распадалось, исчезало... Но время как будто не решалось подвести, наконец, жирную черту. Будто всё подыскивало – устало и с тайной надеждой на неудачу – подходящий письменный прибор. И вот Бог протянул то самое перо... Интересно, что нет никакого желания возвращаться к тому, что ограничено этой самой Божьей линией. Потому как жить по старым лекалам будет невыносимо скучно...

Формулировать можно бесконечно. Это забавный процесс, чреватый многими и многими странными открытиями... Но нужны ли они нынешней живности в здешнем лесу?

— А у Льва Николаевича со временем просто чертовщина творилась... Может, Гоголь оттого в гробу и перевернулся... Каждый герой «Войны и мира» стареет по индивидуальному графику. Календари у всех разные. Так, в 1805 году Наташе тринадцать лет, Вере — семнадцать. Через год Вере исполняется двадцать. Наташа же через четыре года вырастет только на три. Но к тому моменту, когда Наташе исполнится шестнадцать лет, Вере станет уже двадцать четыре. Четырехлетняя разница в возрасте между сестрами вырастет в два раза... Да и не только со временем у Льва Николаевича нелады... В той же «Войне и мире», заводя речь о Кутузове, Толстой всю дорогу забывает, что главнокомандующий обладал лишь одним глазом... А что видят читатели? — «...губы Кутузова дрожали, и на глазах были слезы», «...глаза его блестели глубоким, умным выражением», «...сузившимися, повеселевшими глазами взглянул на Вольцогена»...

— ...и читатели, пораженные живостью и исторической достоверностью образа великого полководца, не замечают этих трогательных шероховатостей...

— И Федор Михайлович недалеко ушел... Дарья Онисимовна из романа «Подросток» к концу книги становится Натальей Егоровной. А комната старухи-процентщицы из «Преступления и наказания»! «Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромною выгнутою деревянною спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном...» Нужно сказать, что Михаил Никифорович Катков, издатель «Русского вестника», где и публиковался роман, обратил внимание Достоевского на эти строки и посоветовал определиться с геометрией стола. — «Оставьте так, как есть», — подумав, ответил классик.

— Да, русская литература вообще попутала всех и вся... И оставила всё как есть.

На берегу было темно и тихо. Редкие водяные блики нехотя скользили по течению. Черные кроны лениво кренились под тяжестью невидимых птиц. Сонные звезды едва выглядывали из-за исполинских туч... Я был уверен, что ждать придется долго. Но оказалось, что прогнозы — не моя стихия...

Вдруг вода в десятке метров от меня вскипела, и яростные брызги засверкали при лунной подсветке. «Как всё быстро меняется», — мелькнуло в башке заскорузлого идиота...



– Ну что? Дождался?

– Не чаял, что ты так быстро...

– Быстро? А кто сызмальства меня поджидал? Или, думаешь, я не вижу ничего... Даром, что в придонных корягах век коротаю, а вот, поди ж ты, не ослеп...

– Вот уж не думал... Спасибо.

– Ну, я ж не зверь какой. Хоть и похож, что и говорить... Рассказывай, с чем пожаловал.

– Спросить тебя кое о чем хочу... Посоветоваться...

– Прямо как с наставником на производстве...

– Вроде того.

– Тогда, подшефный, валяй.

– Скажи, теперь – когда и то наше советское производство, и это недоделанное на дно ушли – заводы под водой дышат как-то?

– А кому дышать-то? Они ж задохнулись уже...

– Да я про людей...

– А воздух для них – вовсе не предмет первой необходимости. От него давно отвыкли...

– Ты думаешь, можно обойтись?..

– Обойдутся. А ты это с какой стати интересуешься? В пучину нацелился?

– Типун тебе на язык... Просто спросить хотел, поговорить о важном. Теперь ведь эти разговоры никому не понятны и не нужны. От них кругом вред один...

– А то – милости прошу. Заодно и нам поможешь. План-то выполнять надо...

– Какой такой план?..

– Продовольственный. У нас хозяйство плановое... Вон, глянь, сколько энтузиазма в русле...

И я вдруг увидел высунувшиеся из воды головы... И не понял даже, слушали они весь наш разговор или явили себя только что по мановению начальства... Многие оставались в тени. Но иные попали как раз в лунную дорожку. И я хорошо разглядел крючковатый нос секретарши, жабы щечки модницы, рыбы глаза чертежницы... В повисшей тишине они вопросительно глядели на водяного.

– Почему кругом молчат? – предварил мое недоумение тот. – И в самом деле непорядок... Работать надо.

Он трижды хлопнул в растопыренные щупальца, и раздалось вначале тихое, а затем всё более мощное пение. В этом хоре можно было различить и клекот, и уханье, и плач... Но общее звучание выходило дразнящим, энергичным, призывным... Только манкость эта была нисколько не опасной. Как у прежних песен про БАМ или

Казахстан. Авторы и слушатели охотно подмигивали друг другу и с комсомольским задором улыбались... И я тоже невольно осклабился сознательным речным сиренам. Ничего не напишешь – закон жанра...

– А что бы ты сказал, если я захочу полететь с тобой?

– Я бы сказал, что это невозможно.

– И почему же?

– Потому что ты и есть *родина*, от которой я бегу. И к чему тогда дергаться?..

– А непременно надо бежать?

– Надо. Иначе я изведу себя этим вопросом до смерти...

– Да ладно – живи... Шучу.

Мы стояли на краю леса у пологого берега. Зеленоватые речные блики вспыхивали совсем рядом... В десятке метров от нас уже начались выдавшие виды домики с редкими оконными огнями. Домики были дощатыми, куцыми, жалкими... Они стояли почти вплотык – наделы были мизерными. Но и этому первые дачники были рады без памяти. Собственный загородный дом!.. Капитальное строительство здесь было запрещено с самого начала – с шестидесятых. И запрета никто не снимал...

– Ты заметил, что в детстве мы возвращались домой долго-долго. А нынче вышли к родным пенатам почти сразу...

– Очевидно, кардинально поумнели.

– Если бы так – не застряли бы здесь наглухо...

– Не бойсь. Скоро всё одно отсюда исчезнем...

– Смотри!..

Я увидел, как полупрозрачное, едва различимое облако, точно речное чудище, переползло с водной поверхности на берег и накрыло квёлые обшарпанные будки. И трухлявые доски разом покрылись мелкими гребнями бесцветного пламени. А через пару мгновений гребни росли уже изо всех окон... Пламя яростно цвело в полной тишине, а потом грянули крики... Я вытащил мобильник и набрал службу спасения.

– Уже знаем... – ответила трубка.

Я незаметно и безотчетно переключился на дачный распорядок дня. Подъемы в половине шестого решительно ушли в прошлое. Очнувшись ни свет ни заря, я вновь забывался сладким сном. А из постели выбирался, когда светало уже вовсю. И чувствовал себя от поздних побудок куда бодрее прежнего. А потому в эти ранние часы безоговорочно шел на поводу у Морфея...

Когда в дверь постучали, я открыл глаза и увидел сизый предутренний сумрак, наплывающий с веранды. Кого это несет? Выбираться из-под одеяла категорически не хотелось, и я минутную медлил с возвращением к яви, лукаво надеясь, что это мне просто приснилось. Однако стук повторился. На сей раз он был громким и настойчивым. Стало понятно, что объясниться придется...

– В чем дело? – спросил я из-за двери.

– Откройте. Полиция, – бегло ответил бесцветный голос.

– Чем обязан?

– Мне необходимо с вами поговорить.

– А почему я должен вам верить? Может быть, вы грабить пришли...

– Подойдите к окну. Я покажу вам удостоверение.

– Да ладно. Чего уж там...

На пороге стоял средних лет мужичок без погон и особых примет.

На другом берегу у самой воды виднелись две фигуры. Мужчина и женщина. Они недвижно стояли, взявшись за руки. Река в этом месте была широкой, и в наползающих сумерках трудно было рассмотреть их лица. Однако мне они сразу показались знакомыми. Я даже был уверен в этом... Но различить их черты не получалось – темнота густела и размывала береговую линию. И чудилось, что их тела вырастают прямо из черной воды... Река всё ширилась, сливалась с небом, превращалась в бескрайний океан... И фигуры удалялись, тускнели, исчезали в непроглядных недрах последнего сна.

– Хочу задать вам несколько вопросов.

– Слушаю.

– В каком часу вы обнаружили возмещение?

– Точно не скажу. Наверное, часов в десять вечера.

– И где был очаг возгорания?

– Такое впечатление, что везде...

– А если точнее?

– Показалось, что всё началось с реки.

– Это только у Корнея Чуковского реки горят... Вам в детстве не читали?

– Наверное, просто показалось...

– Меня интересует то, что вы видели, а не что вам показалось.

– Я увидел, что всё горит, и позвонил...

– То есть вы решили позвонить, когда огонь уже распространился на многие постройки?

- Я ничего не решал. Увидел – и позвонил...
- Хорошо. А вы принимали участие в борьбе с огнем?
- Нет, я не был в самом поселке.
- То есть ко времени начала пожара вы из жилой зоны ушли?
- Да.
- А с какой целью, позвольте полюбопытствовать?
- Вышел прогуляться.
- Вы всегда гуляете в это время?
- У меня нет определенного времени для прогулок. Гуляю по настроению. Я на даче...
- Но именно в тот вечер настроение возникло?
- Не понимаю, к чему вы клоните.
- Просто интересуюсь. Это моя обязанность.
- Да, конечно.
- Что ж, спасибо. Позвольте откланяться. Не обессудьте, если потревожим вас еще.
- Бога ради. Только вряд ли я чем-то смогу помочь.
- Кто знает? Никто не знает... Пока.

Здесь, на обломках прежнего государства, я надеялся выпасть из поля зрения нынешнего. Выдохнуть, развеяться, забыть о причастности... Разумеется, можно было браво перешагнуть порог исцепанности и загнать в депрессию, в запой, в психиатрический стационар... Дело известное. Только от него бежать нужно. А куда бежать от сегодня как не в детство?

И я в самом деле думал, что мне это удалось... Пока держава не напомнила о себе. Решительно и как всегда бесцеремонно. Я так привык к этому державному стилю, что ничуть не удивился. А даже выдохнул с облегчением. Значит, я не во сне...

Бородатый вспомнил анекдот...

Поздней ночью стучат.

– Кто там?

– Почтальоны!

Хозяин открывает, а там товарищи в штатском.

– Абрам Моисеевич, какая страна самая богатая?

– СССР!

– А где самая счастливая жизнь?

– В СССР!

– Тогда какого черта вы решили перебраться к капиталистам?

– Понимаете, там почтальоны не будят людей в три часа ночи.

– Почему мы с вами нынче встречаемся? Потому что выяснились дополнительные обстоятельства произошедшего.

– Какие же, интересно?

– А вы сами ничего в этой связи не хотите сообщить?

– Вы любите говорить загадками?

– У меня предложение. Давайте, вопросы будет задавать кто-нибудь один. Я, например. Принимается? Вот и хорошо... Итак, ничего?

– По-моему, предмета разговора попросту нет.

– Ладно. Вы, вероятно, хотите делегировать свои гражданские обязанности мне... Поступил сигнал, что вы, владея домиком и участком в дачном товариществе, намеревались приобрести и другие домики и участки в нем. Так ли это?

– Таких намерений у меня не было. А хоть бы и были... В чем тут криминал?

– Не имея намерений, вы, тем не менее, обсуждали их со своими знакомыми. Странно, не правда ли?

– Говорить я могу с кем хочу и о чем хочу. А никаких домиков я не покупал...

– Вот и я думаю, зачем их покупать втридорога, халупы эти... Жить в пяти конурах сразу, один черт, не будешь... Тем более в гордом одиночестве. А вот территорию под поместье себе освободить – это самое то... Свой-то надел куций. Тесно ведь?..

– А вы бесцеремонны и фамильярны. Это метод работы такой?

– Опять вопросы... Я просто размышляю вслух... А цены на выгоревшие участки и в самом деле бросовые...

– Спасибо за информацию. Я подумаю.

– Вот и отлично. Подумайте. Хорошенько подумайте...

И я с улыбкой подумал об их проницательности... Ну, не смешно ли, что мои намерения видятся с точностью до наоборот? И так ли это смешно?

Что меня всегда здесь больше всего расстраивало? Немеренные вложения своего нутра и почти никакой выхлоп... Закон сохранения энергии не работает. Да и другие законы недалеко ушли...

– Здравствуйте, тетя!

– Привет, привет...

– Что-то давненько на чай к себе не зовете. Или стряслось чего?

– А то ты сам не знаешь...

– Напрасно. Я бы столько интересного вам порассказал... Не пожалели бы.

– Да? А что ж ты раньше молчал?

– Так разве могу я с вами тягаться? Вы ведь прямо-таки на шедевры разговорного жанра горазды. И не подозревал за вами такие таланты...

– Это ты о чем?

– О птичках. Вон их сколько в лесу нашем... Но чтоб так, как вы, заливались – таких не сыскать.

– Да ты шутник, оказывается...

– Кто кем только нынче не оказывается...

Люди – на то они и люди, чтобы расставаться. И нет ничего трагического в том, чтобы распрощаться при жизни. Потому как смерть – всего лишь один из вариантов завершения общения.

«С какой целью, когда и где вы родились?..» Была такая шутка про следователя...

– Думаете, я пристаю к вам по своей природной кровожадности? Поймите, погибли люди... Вы когда-нибудь видели обгоревшие трупы? Скрюченные пальцы, торчащие ребра, жуткие посмертные улыбки...

– Да. Разные ситуации бывали. Я врач...

– Знаю, знаю... Нынче быть врачом престижно...

– Я был врачом вчера.

– А я вчера был солдатом. Приднестровье, Карабах, Абхазия... И что с того?

– Ничего.

– Вот и я о том же. Мы говорим о сегодняшних проблемах.

– Вы называете это разговором?

Я старался не думать о том, что совсем не знаю языка. Нужно было учить его и учить. Но это для меня сложно... По правде говоря, для меня и русский сложен до отчаяния... К примеру, «охрана» и «защита» – это синонимы, а «правоохранительные» органы и «правозащитные» – антонимы... Ну что на это скажешь?

О чем же я думал? О зеленом цвете. Этот цвет живого и мертвого – единственное мое достояние. И меня не лишит его ни при каких обстоятельствах... А не вступить ли мне там в «Партию зеленых»? А что, я бы внес свежую струю, расширил смыслы... Эх, если б я только был способен на членство!

Я не помнил этого места на берегу... Плоский мыс округлыми очертаниями походил на грушинскую гитару-эстраду. Там были

люди, но фигур в темноте я не различал. Слышались гомон, смех, восклицания... Собравшиеся явно не скучали. И Бог с ними... Я бы так и проскочил мимо... Но почему я совершенно не помнил этого места? Мне же сызмальства здесь знакома каждая коряга! Может, я из памяти выживаю?.. Или так всё изменилось за эти годы?.. Или зрение бессовестно подводит?..

И вдруг меня позвали... Голос был знакомым. В последние дни я стал узнавать его безошибочно... И я, конечно же, подошел. Но человек без погон только глянул в мою сторону и продолжил разговор с массивным одутловатым субъектом.

– И почему же вы позволили себе морально разложиться напрочь?

– Да всё из-за пьянки проклятой... – виновато пролепетал заводителем.

– Не нужно путать причину и следствие. Особенно следствие... И человек повернулся ко мне.

– Может быть, вы нас рассудите?

– Позвольте поинтересоваться... Или вопросы – исключительно ваша прерогатива?

– А вы злопамятны...

– Ну что вы! Я лишь легко обучаем... А что до предмета разговора... Толочь воду в ступе – не самое эффективное занятие. Нет никаких причин и следствий. Есть процесс. Повлиять на него нереально. Можно лишь либо участвовать, либо нет. Товарищ участвует, а я – пас... А кстати, беззастенчиво использовать выпавших из процесса – для своих надобностей – некрасиво...

И я погрозил пальцем и заводителем, и человеку без погон... И любезно раскланялся со стоявшими невдалеке крючконосой секретаршей, полногрудой квакушкой-хохотушкой и чертежницей, похожей на немолодую рыбу. В руках они держали коктейли с трубочками и что-то весело обсуждали. Судя по всему, я попал на вечеринку...

Оглянувшись, я увидел пышнотелую особу почтенных лет с папиросой в углу рта. И решительно направился к ней.

– Очень хотел бы с вами познакомиться. Как вас зовут?

– А ты, что – не знаешь?.. С луны, что ли, упал?..

– Отчего же вы не хотите со мной знаться?

– Да ты еще дитём с маманей своей ко мне каждый вечер на чай забегал... Хороший она была человек. Не тебе, малохолный, чета. Ох, и вырождается народ... Просто страх божий!

– Целиком и полностью разделяю ваше отчаяние, уважаемая... – уж не знаю, как и поименовать, – из народа. Спасибо, что так полнокровно отражаете типические черты!

– Да ты просто сволочь...

Не берусь предположить, что произошло бы дальше... Но вдруг вода вскипела, и из неё показалась огромная усатая морда в волосах-водорослях...

– Ну что, не надумал? У меня вон и невест пруд пруди...

И из речных недр возникли головы его питомиц.

– Я же хочу улететь, а не утонуть...

– Да, кому улететь, тот не утонет...

– Мы улетим вместе, – внезапно появившаяся спутница по детским прогулкам крепко схватила меня под руку и повлекла на дальний край мыса. Оттуда было видно, как мужчина и женщина на противоположном берегу уходят всё дальше от воды...

– Так летим?..

Ответить я не успел. Раздались дикий вой, тяжкое уханье, истошный визг... А потом загрохотал хохот. Жуткий хохот, от которого иссякло дыхание...

«Очень прошу вас позвонить. Нам необходимо встретиться. Хотел бы задать вам еще несколько вопросов.»

Я всегда удивлялся, что по странному стечению обстоятельств не заболел. Столько работал с инфицированными, помогал, как мог, напрягался по наивности... Пока не понял, что по утвержденному сценарию переболеть должны все. Предприятия должны работать, а люди – хворать... И прививки – разумеется, не выход, а только отсрочка... Ну, чуть позже организм просядет... И там, куда я направлялся, – те же понукания и исходы... Другую систему координат не выдумали. Но чтобы не стать одной из мертвых точек на необозримых полях этой системы, нужно перемещаться. Обязательно перемещаться. Чтобы в каждый новый момент отсутствовать в прежнем месте. И тогда никакая система тебя не зафиксирует. И никакое время тебя не пленит... Это же так просто.

Они продолжали присылать мне эсэмэски. «Убедительно просим в течение трех суток известить о Вашем местонахождении. В противном случае будем вынуждены принять соответствующие меры. За препятствование следственным действиям в соответствии с законодательством предусмотрена административная или уголовная ответственность.»

...Даже когда самолет оторвался от земли, я так и не поверил во всамделишность происходящего. Даром что реалии эконом-класса были более чем земными... Сломанный рычаг кресла, мятый пласти-



ковый стаканчик в тесном проходе, блямба жвачки у иллюминатора... Но чудилось, что всё это инсценировка, розыгрыш, чья-то злая шутка... Я посмотрел сквозь стекло и различил реку, лес, кубики домиков. Всё на поверку оказалось крошечным, игрушечным, ненастоящим. А потом клочья облаков стали всё чаще заслонять то, что осталось далеко внизу... А вскоре и вовсе слились в молочную пену.

...Сквозь прикрытые веки я различал невиданное пернатое с громадным, уходящим в пучину туловищем и невообразимо длинной – под облака – шеей. Голова – оттого, что была на жуткой высоте – казалась маленькой, будто выя этого странного существа попросту сходилась на нет, завершаясь нелепым крючковатым клювом. Крылья нездешнего причудливого создания – с тусклыми пятнистыми перьями – были угрожающе велики... Казалось, это лишь призрак, исчадие немолодого воображения, ухмылка лукавой оптики... Но вдруг правое крыло отлепилось от исполинского остова и медленно – властно заполняя собою небо – поползло всё выше и выше... Тварь встрепенулась, по морю пошли частые буруны, грянуло в сумраке петушиное пение... И тут из-под спуда выкатился небольшой розоватый шар, который начал на глазах расти и наливаться кровью огня... Так это же Страфиль-птица, всем птицам – мать! Отечественная реинкарнация сказочного страуса. Даром, что в морях гнездится, – но как раз земли от бед вселенских стережет, следит, чтобы новый день всякий раз наступал... Значит, всё будет продолжаться... И я безбоязненно открыл глаза... И вспомнил, что еще в 1896 году на заседании Императорского Русского общества акклиматизации животных и растений барон Фальц-Фейн сделал резонансный доклад «О разведении страусов в России». Станные мысли порой лезут в голову, не правда ли? Да и где теперь она – Россия?

«Нам необходимо определить, почему всё произошло именно так, а не иначе. Это необходимо для сохранения законности и правопорядка. И во избежание повторения случившегося. Менее всего хочется, чтобы складывалось впечатление, будто следственные действия обусловлены некими сторонними мотивами и направлены против вас лично. Это досадное заблуждение. Закон для всех одинаков. И никаких мотивов, способных поколебать это утверждение, попросту не существует. Очень рассчитываем на вашу помощь.»

Я бы и хотел помочь следствию. Но чем я могу помочь?

*12 января 2021  
Воронеж*

Александр Беляев

## У промежуточной рябины

\* \* \*

Совсем другого качества душа.  
Пока мы жили – жили не спеша,  
А умерли – и стали друг для друга  
Штрихами одного карандаша.

В душе другого не видеть ни зги.  
Совсем другого качества мозги.  
Два полушария, а на рисунке – круга:  
Вот повод для восторга и тоски!

\* \* \*

Когда романы были толстыми  
Стихотворения поэмами  
Мы ограничивались тостами  
И госпожами-хризантемами

Когда деревья были травами  
А пальмы-кактусы десертами  
Мы не запаривались травмами  
А были письмами-конвертами

И в этой местности не знающей  
Тебя себя предметной области  
Звучал мотив долгоиграющий  
Как будто по закону подлости

\* \* \*

Зимой деревья в детстве как когда  
Писать эссе в японской идиоме  
Где кое-как еще туда-сюда  
Помимо прочего и кроме  
Выходит город та же параллель  
Кварталы книги и дома кому-то  
Подсобный корм подспудная капель  
И молока свободная минута

\* \* \*

*Памяти Вани Нестерова*

Физически практически никак  
Но за столом за вечным разговором  
За медленным (замедленным) где знак  
Для верности не брезгует повтором

Двойное отрицание (му-му)  
И радио (ja-ja) и леди Гага  
Вся эта соматерия к чему  
К тому что черепаха на полшага

И прочее. Квартал что твой фрактал  
Мы выходили в поисках палатки  
Где в каплях «упустил» и «наверстал»  
В пальто демисезонном без подкладки

\* \* \*

Нарежем помидоры огурцы  
Добавим сверху листики салата  
И сядем есть такие молодцы  
Печальные веселые ребята

Вообще о вкусах что ни говори  
Всё кажется не то на самом деле  
Включается снобизм в режиме free  
И тихо бродит в нездоровом теле

Эпично жить в эпоху киноа  
Булгура амаранта безглютена  
И слышать те же самые слова  
При выходе из метрополитена

\* \* \*

Не угадала и расстроилась  
Пришла в себя и ужаснулась  
Переживала беспокоилась  
Сама с собой соприкоснулась

Но тут всю попоёрли крокусы  
Мускари примулы и сциллы  
Она решила бросить фокусы  
И излечиться от бациллы

И глядя на кусты форзиции  
Аптекарского огорода  
Она сдала свои позиции  
Вот так устроена природа

\* \* \*

Ходить по выставкам с особенным прицелом  
Вести дневник (смотритель, крики детворы)  
Где все детали перестали (стали) целым  
И тут же скрылись затаились до поры

Музейный склад где все полотна мертвым грузом  
Висят местами освещенные лучом  
Как будто их сюда в холсте мешка кургузом  
Приперли с почты воздух пахнет сургучом

Предметы роскоши кому бы вас сосватать  
Огнетушитель мой любимый на стене  
Теперь осталось аккуратно распечатать  
И белой пеной белой пеной не не не

\* \* \*

Кухонные звуки  
В рационе злаки  
Порционной муки  
Памятные знаки

Крошки на паркете  
Кошки на кровати  
Разлеглись как эти  
Кстати и не кстати

Летняя рассада  
Хрупкая посуда  
Контуры фасада  
Выглядят отсюда

Дневниками Жида  
Облаками пара  
Среднего пошиба  
Позднего Годара

\* \* \*

Когда кремлевские рубины  
Курантам объявляют бой  
У промежуточной рябины  
Само собой  
Летят с катушек все турбины

Шумит прибор

У асимметрии с судьбой  
Есть общей почвы пласт глубинный

И купол неба голубой –  
Коворкинг почты голубиной

*Москва*

Михаил Моргулис

## Рассказы

### СНЫ НИКИТЫ

Что-то случилось с Никитой. А что, он и сам не знает. Лежит бородой вверх, да и не знает, что к чему.

А за окном темной пышной грудой лежит ночь и тихо дышит знакомыми пряными запахами деревьев и разных цветов. Запахи эти давно стали привычными, потому как чувствует он их побольше семидесяти лет.

Вот так капризная барышня судьба распорядилась его жизнью: забросила сюда, в теплые восточные края. И прожил он тут почти всю жизнь, и стал тут старым. А старость замечаешь по мелочам: не по бороде седой, а по тому, что руки стали корявей работу делать. Или вот скручиваешь папироску, а хоть немного табаку с бумаги да просыплется.

Что-то беспокоит Никиту в последнее время, не болезнь ли какая завелась? Да вроде не болит ничего. И никогда не болело. Вот у жены – болело, хоть и моложе его была намного.

Лола красивая была. Как и все армянки, с черными волосами да с черными глазами, да покрасивее других. И волосы покрасивее, и глаза, да и вся она покрасивее. Обнимал ее когда-то Никита возле моря и назвал ее «ночкой», уж точно она была похожа на темную ночку ласковую. Не суждено им было детей иметь – стала Лола болеть и на руках у него умерла. Вроде вышла куда-то, да никак с тех пор не воротится.

Нет, ничего не болит у Никиты, вот только в последнее время стали кости по ночам поскрипывать. От старости, надо думать. Тихо так поскрипывают. И скрип этот что-то Никите напоминает, а что – никак он вспомнить не может. А что-то знакомое-знакомое напоминает. Это как иногда вспоминаешь фамилию совсем известного тебе человека, она уже на языке вертится, а не вспоминается, а ты аж трясешься весь, так вспомнить хочется.

И еще – последнее время дни для него стали как-то по-другому видаться. Раньше-то теплыми утрами, пышными ночами отмечались, а сейчас стали они какими-то прозрачными. Прозрачно текут мимо

него дни. Так прозрачно, что сквозь них вся жизнь просвечивается. А мало ли чего за семьдесят лет случилось...

Вчера – или когда, ну да, вчера – приснился ему единственный дружок его, грек Харламгий, тоже здешний. Приснился он довоенным, с синими щеками: борода выбривалась не до конца. Сидят они на каком-то празднике. Харламгий кричит Никите что-то приятное, а Никита вроде оглох, ничего не может услышать.

А кончился сон тем, что Никита глянул – а глаза у Харлампия печальные, стонущие. И не говорит уже приятное, только повторяет: «Помни, Никита! Помни, Никита!» И звук такой, будто в пустой церкви говорят. Вместе они на войну ушли. Убил Харлампия немец с истребителя, когда Харламгий бежал в укрытие, нес солдатский котелок с кашей. А потом, когда самолет улетел, притащили и Харлампия, и котелок. Каша была еще теплая.

А то вот недавно ему послышалось – вроде Челнок залаял? Вскочил он, да лег снова, вспомнил: Челнока уже нет. Любил его. Да и тот, умирал – смотрел на него так, что Никите на земле оставаться не хотелось. Да кто ж виноват, что когда мир – собачий век короче людского.

А один человек специально не заводил у себя собак, оттого что собака меньше живет. А другой был человек, он не понимал тех, кто попугаев заводит. Разве, говорит, не страшно: смотришь на попугая и знаешь точно: ты помрешь, а он после тебя жить будет. И тошно от этой точности.

Много разных людей на свете...

Вдруг ветер за окном задышал с присвистом. Закричали гортанно какие-то птицы, разбуженные ветром. Никита опустил ноги на половицы. Прохладно гудел под ногами пол. Это ноги гудели натруженно, а казалось – пол.

Вышел на крыльцо. Ветер маленько буянил, впледел ему в бороду пару листьев. Вгляделся Никита в темноту и крикнул на птиц, словно на кошек: «Брысь»! Но тут же их пожалел, сердце как-то непонятно защемило; он еще раз оглядел темноту и вошел в дом. А потом решил выпить водки. Зажег свет, выпил, хватанул крупными ноздрями ржаного воздуха от корочки.

Захотелось посмотреть на себя в зеркало. Хмыкнул от смущения, покосился в зеркальную дверь шкафа. Погасил свет и снова сел на кровать. От луны в окно ворвался лоскут света, улегся на полу. Глядит на него Никита и думает: отчего это, когда он на птиц крикнул, сердце вдруг защемило. И тут он увидел в лоскуте света плетень – только не такой, как здесь, а петух на плетне сидит и кричит-кричит – про утро, значит, рассказывает. А вокруг всё зеленое и синее.

И лоскут света превратился вдруг в прозрачное течение дней. И в течении этом прозрачном увидел Никита давнее: он, совсем маленький, летает во сне. И трава, ласково стегаящая босые ноги. И круги от камня, брошенного в тихий печальный пруд. И кукушка, сошедшая от весны с ума и нагадавшая ему сотни лет жизни. И дым, до боли знакомый дым. И перезвон каких-то родных голосов. И руки мамы, пахнувшие хлебом.

Охнул Никита и понял, отчего у людей щемит сердце. И тогда уже совсем легко вспомнил, что старческий скрип его костей напоминает скрип первого снега под валенками. И как только он это понял, так стало ему легко. Перестало что-то мучить, загладилось.

И с той минуты стал Никита понимать, что пора и ему собираться в дорогу. Лола жена умерла, дворняга Челнок помер, детей нет, даже попрощаться по-родному не с кем, пообниматься, поплакать.

Второй раз в жизни Никита обратился к Богу. Первый раз – когда Лола мучилась, умирала, а сейчас вот второй раз.

Толком Никита не знал, как и что сказать, но похмыкал, слюну позаглатывал, потом заговорил, хоть и не очень складно. Я, значит, такой-то, скоро мне помирать, а я ведь ждал-ждал, что детишки у меня будут, не дал ты их мне, но понимаю, что на Бога нельзя обижаться, но вот видишь, мне и попрощаться не с кем, и никто не поплачет, когда меня в землячку положат. Ох, вроде не хочу обижаться на тебя, но, по правде, немного обижаюсь. Ну, а так всё хорошо: друзей не осталось, а коты приبلудные приходят. Придут и уйдут, не задерживаются, не нравятся им, что ли, здесь.

И стал думать Никита: когда померет, куда всё потом денется, как приготовиться, чего надеть, да и кто придет. Ну, если оставить стол полный, да самогона бутыл-другую, то придут, конечно.

Скрутил Никита сигарку, руки давно дрожать стали, прикурил со второй спички и решил сходить к Матрене Акульшиной, она баба неплохая, даром что, как и он, бобылихой живет. А он уже редко с людьми встречается, все думы про то, что прошло. Хлеб-соль-сахар когда покупает – здороваается, берет – и домой.

Сварил как-то суп из крапивы, хлеба накрошил, и вдруг голос девчоночий:

– Дед! Мальчишки кричат, чтоб водяной меня утащил!

Никита видит, что никого нет, но ответить надо:

– Пугают зазря, никого он не утащит.

Только раз такое случилось, больше не приходила, не звала она его.

Застал Матрену возле изгороди. В этой деревне она и еще ну пара человек – русские, а остальной народ – осетины. Прислонился Никита к забору и начал разговор, что вот помирать собрался, совет



нужен, как вырядить его, когда преставится. Хозяйство оставлять некому; что ей надо – пусть Матрена возьмет, остальное раздаст людям.

Матрена, тоже старая, говорит:

– Ты только не помирай в воскресенье, лучше во вторник или в среду. Людей я соберу, нас-то здесь сколько, ну человек двенадцать осталось.

Какие двенадцать, подумал Никита, и семерых-то не вспомню, а может, Матрене видней...

Так и порешили.

И в понедельник стал Никита готовиться к смерти. Растопил свою баньку, покряхтел, попарился всласть; побрился; одеколоном припасенным, «Шипром», обмыл лицо. Оделся во всё не надеванное – ну, кроме костюма. Медали достал свои три, орден за подбитый немецкий танк. Носки такие длинные, сорочка холщовая белая, кальсоны как полагается, белые с тесемочками.

Вспомнил, что ногти растут и на мертвых; покряхтывая, как сумел, срезал ногти на ногах и руках. Подумал, надо ли есть напоследок. Но захотелось. Луковицу почистил, картофелину тоже, вспомнил про припасенный шматочек сала, отрезал ножиком, с войны еще привезенным; пошел к шкафчику, там в бутылке чуть меньше половины казёнки, налил, бережно донес, выпил, крикнул, прожевал со вкусом луковицу с картофелинкой, подошел к кровати, улегся сверху всего.

И стал ожидать.

Думает: придет старуха с косой, бр-рр, ну, придется терпеть. А куда потащит, толком не известно. Слышит: зашли... да нет, это Матрена. Говорит:

– Как помрешь, я тебе глаза закрою... Ну чего, Никита, пора тебе, я лопаты приготовила, гроб какой-никакой, но всё ж сколотили, земля сейчас мягкая.

– Да вот, жду, – говорит Никита, – а она не приходит.

– Ну жди, жди, забегу через часок; может, отойдешь от жизни-то грешной.

Ушла Матрена, а Никита лежит себе, лежит, и как будто пчелы вокруг зажужжали. И залезает легко через окно девочка, – та, что разок уже приходила. Славненькая такая, белобрысенькая.

– А я за тобой.

– Да как так? – удивился Никита, – старуха ведь приходит.

– За плохими людьми – она, а за хорошими я прихожу. И по дороге вам ранки глажу.

Обрадовался Никита и шепчет:

– Слава тебе, Боже, что послал за мной ее.

– Медальки твои и орден я сберегу, с тобой они будут.

– Девочка, славная, с тобой умирать совсем не страшно... А ты кто та...

Но не закончил Никита вопроса, выдохнул и помер.

А девочка не стала дожидаться Матрену и Никите глаза закрыла.

## НА УГЛУ, ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЖИЗНЬ

Тишина вокруг. Она бывает разная, светлая или смертная. Вышел из дому.

Две мои собаки пошли было за мной, прошли чуть-чуть и решили вернуться. Понимаю их, настроение людей переходит к ним. Коты сейчас прячутся, собаки тревожно повизгивают. Иду и вспоминаю старый рассказ Уильяма Сарояна, где человек, почувствовавший себя самым одиноким в этом мире, кричит: «Эй, кто-нибудь!».

Прохожу по улице. Дубы склоняются ветвями, пальмы равнодушно, как люди, смотрят в небо. Прохожу дома один за другим – никого. Попрятались все от коронавируса.

Ночами по нашей улице бегают дикий черный кабан; вернее, часто перебегает дорогу; я один раз остановил машину перед ним, он замер, смотрит подслеповато. Помолчали, потом я ему по-русски:

– Борька, чеши отсюда!

Он понял и рванул. Но сейчас и кабана не видно.

Иду дальше. Никого. Дохожу до дома, покрашенного синим, а крыша темно-красная; стоит одинокая девочка, лет пяти-шести. Сегодня пасмурно, после дождя и перед новым дождем, а она смотрит на меня прижмурившись, как будто солнце ей мешает. Говорит как начитанный ребенок, редко такое:

– Привет, прохожий... ranger...

Отвечаю:

– Привет, девушка из дождя...

Она мне:

– Сегодня ты один – а где твои собаки? Они раньше с тобой ходили...

– Дома решили остаться, одиноко им...

– И мне одиноко, а тебе?..

– А мне... как тебе сказать... Еще одиноче, чем моим собакам...

– А мои родители каждый в своей комнате, за компьютерами...

– А ты чего в игры компьютерные не играешь?

– Наигралась. Сказки знаешь? Не, лучше скажи, какой это – коронавирус?

– Ну, я его всего два раза видел и плохо запомнил. И потом, он маски надевает – то как бомж, то как царь, то как злой вампирчик...

Но всегда таскает корону с собой... У него комплекс неполноценности... И кажется мне, что им управляют, в короне у него какое-то устройство, оттуда жужжит что-то...

– И мне он роботом приснился... Я в гараже сани искала и там заснула...

– А зачем тебе сани тут, во Флориде?

– А может, я от этого злою на Аляску убегу...

Тут выбегает к ней собака, небольшая, с развесистыми ушами, спаниель, наверное... Она ему замечает:

– Джозик, ты бы тоже дома сидел, вдруг эта вирусня и на собак полезет...

– Да нет, он собак не трогает...

– Не говори, от животных всё и пошло, и на нас перелезло... Вот Джозик лает целыми днями и неизвестно на кого... А мне известно: это он на него, на вирус, отгоняет его от нас...

– Жаль, что детям нельзя отходить от дома, а я до конца улицы дойду – помнишь, там старый-престарый дуб стоит... Я ему скажу пару добрых слов, может, он меня утешит...

– Он и меня знает... Передай привет от меня и от Джозика...

– Передам. А что-нибудь еще сказать?

– Скажи, что мы все стали одинокими, как он... И скажи: жаль, что он ходить не может, так бы пришел и ветками закрыл...

Я отдал ей честь по-военному, она обрадовалась этой глупости, и тоже отдала мне честь, и тихо засмеялась...

И пошел я, дошел до дуба. Никого и здесь. И говорю ему, шамкая, специально как старик:

– Вот, Дуб Дубыч, пришел я; ты вот ничего не боишься, и я не боюсь, и еще эта девочка с собачкой... Так что же будет?

Зашелестел он в ответ, присвистнул:

– Да не шамкай ты, раз ничего не боишься. Собаки лают, чувствуют – смерть идет. А я знаю: всех не заберет. Не дам я им, да и другие есть, что вас защитят... А ты иди в свою часовенку и призови ангелов белых, чтоб счастье твое сохранили... А счастье какое твое?

– Вот прожил долго – а сам не знаю, какое мое счастье... А может, его нет?

– Ну вот иди и проси ангелов сохранить то, чего нет... А может, это жизнь, а может, небо... и любовь к звездам или глазам...

Подумал я: может быть и не заканчивается всё это на углу нашем. Может, прав старый Дуб Дубыч.

И побрел я обратно, к тихому свету над домиком с крестом.

И слышу свой шепот:

– Эй, кто-нибудь!

## Геннадий Кацов

\* \* \*

уходит день за окоём,  
и след его теряешь лисий:  
как хорошо дружить втроем —  
ты, аполлон и дионисий

втроем входить в сиртаки ритм  
и на троих делить обеды:  
как хорошо среди апорий  
жить по закону архимеда

из спарты ехать до афин,  
давя в пути орех свой грецкий,  
и снять немой ковбойский фильм  
о жизни и о смерти в греции

к оракулу втроем ходить,  
пить ракию из иппокрены:  
нам от горгон и до годив —  
любое море по колено

олимпиада — всё игра,  
по сути, состязанье с богом:  
ни мир ни крепость нам, ни град  
в его обличии убогом

тот, кто разрушил парфенон,  
готов свалить колосс родосский:  
платон мне друг, и друг зенон,  
а зевс настолько свой, что в доску

как хорошо нажать «делит»,  
иного мира и не мысля,  
и с аполлоном впредь делить  
ответственность, и с дионисием

когда на равных древний грек  
с богами, что ему гекуба?

## ГЕННАДИЙ КАЦОВ

самоубийства грех – не грех,  
и смерть взасос целуешь в губы

телесен миф, brutalен, груб:  
на агоре распят спаситель,  
и женщины живут без рук,  
как и ваял их сам пракситель

## ПОЛЕТ МУЗЫКИ

плыла дневная музыка, как лист,  
как серое перо осенней птицы,  
как облака, которые сбылись,  
уплыв из снов, чтоб в небе раствориться,

как одинокий шарик голубой,  
что от тебя всё дальше уплывает,  
как радуга, когда в ладах с судьбой  
нить горизонта рвет ее кривая,

как всё, что будет позже: тишина,  
плывущая над Ойкуменой в полдень, –  
как взгляд плывет забытый из окна,  
чтоб эту тишину собой заполнить.

## ОСЕНЬ. НАЧАЛО

одинокое небо, узнаешь о его поре  
по стаям парящих птиц:  
клин летит, расширяясь, как ножевой порез,  
как брошенное «прости»

неизменна вода, вытекающая из всех щелей,  
она не обманет слух:  
чем поток неизбежней, тем в нем целей  
чей-то бродяжий дух

бесконечна зелень: послав в сентябре гонца,  
уйдет в другие края, –  
так слеза, в зависимости от черт лица,  
у каждого своя

неизбежны костры: уже в подпалинах парк,  
желтым сводит с ума,  
а затем, как факир, ты выдыхаешь пар –  
и наступает зима

### СТАРЫЙ ГОД

он погостил, и он сейчас уйдет...  
в последних числах уходящий год  
уже в обузу и совсем растерян;  
он выйдет за порог – и пропадет

пока же он кровать свою застелит,  
поговорит на кухне о потерях  
и бросит на будильник взгляд мельком,  
хоть уходящие часам не верят

так ни о чем и, в общем, ни о ком,  
прокашляв непривычный в горле ком,  
он поведет прощальную беседу,  
допустим, с отражением вдвоем

и, посидев минуту напоследок,  
простится окончательно к обеду,  
чтоб к полночи уже совсем уйти  
с улыбкой – мол, карету мне, карету!

куда теперь ему себя нести,  
себя – от них, от нас, от вас? И стиль  
прощения, хоть нету виноватых,  
в прощании с несказанным «прости!»

как будто младшим расставаться надо  
с собравшимся в дорогу старшим братом,  
и проводник его за дверью ждет,  
и – как его? – патологоанатом

он погостил,  
и он сейчас уйдет...

\* \* \*

на воздух ситцевый, прозрачный,  
уже два месяца бесснежный,  
ложатся тени в парах фрачных  
из жизни праздничной и прежней;  
легко взлетают диалоги —  
так встарь парили бы снежинки,  
и ветер на пейзаж пологий  
кладет, как грим, свои ужимки:  
кружат танцоры, туш оркестра  
сменяет в парке такты вальса  
и, осветив побольше места,  
к скамье фонарь льнет целоваться;

слетаясь с Марса и Венеры  
на незаснеженный пол бальный,  
дам приглашают кавалеры,  
звучит бокалов звон хрустальный,  
и ярко люстра над округой  
горит холодными свечами;  
припоминая в прошлом व्यюгу,  
от смеха клен трясет плечами...  
уже мазурки тур объявлен:  
с тобой танцуем до упада  
вдвоем среди январской яви,  
всего за день до снегопада

\* \* \*

мы ехали полем, мы мчались в боях  
за духа, отца и их сына:  
чтоб жил, не болея, священный трояк,  
давайте им вколем вакцину

нас жизнь побросала на дзот и на дот —  
и граду досталось, и миру:  
давайте же вколем еще антидот,  
пока не настал всем им вирус

содвинем бокалы и снова нальем,  
пойдем обрабатывать пашню:  
вдобавок, мы каждому кровь перельем,  
чтоб им не чихать и не кашлять

всё выше и выше полет наших птиц,  
поделим на всех пачку «шипки»:  
мы всё пересадим им, вплоть до яиц,  
чтоб адресом вирус ошибся

я пал на гражданской, мой брат-инвалид  
остался без ног под берлином –  
мы сделаем всё, чтобы духа ковид  
не тронул, отца и их сына

и внук у гранаты срывает чеку  
и песню поет про гренаду:  
уже повидал он на нашем веку,  
но вирусов только не надо

идут ноябри, а затем декабри,  
в землянке огонь слабо бьется –  
как перед атакой промолвил комбриг:  
«с вакциной и дурень спасется!»

мы вышли из серой шинели его,  
познали свои палестины,  
нам жить для здоровья – всего одного:  
для духа, отца и их сына

все жертвою пали в борьбе роковой,  
но если по новой родиться  
и вновь навести наш бинокль полевой –  
увидим: спасли триединство

не тонет веками наш гордый «варяг»,  
лишь корпус потерт на изгибе,  
а если с вакциной на нас выйдет враг,  
то сам от вакцины погибнет

*Нью-Йорк*



## Александр Немировский

### АРМЯНСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Путешествуя по Кавказу,  
вспоминаешь правило торговли:  
внешность продавщицы – движитель успеха.  
Приятная глазу,  
она – помеха  
для проходящих мимо.  
Так запятая тормозит фразу,  
выделяя заранее подготовленную  
мысль, что с контекстом не совместима.

Так же, паузой среди гор,  
лежит череда долин – перебор  
тонов от ночного до снежного,  
в городочках, что в шрамах от древних эпох  
и от эпох других,  
с историей, прослеживающей  
выживание, тем не менее,  
наперекор  
всему. Здесь церкви восходят с обрывов,  
чтобы их лучше слышал Бог.  
Северная Армения,  
слепленная из острых углов,  
из помятых зданий,  
где путник незванный,  
если посмотрит, глаза в глаза,  
то обретает кров.

Здесь подставлены взгляду колоколов голоса  
из ребер старых церквей молчанием  
над рекой, насупившей брови  
утесов.  
Внизу бурлит вода оттенка скал  
из камня цвета старой крови.  
Земля тут взрослыми  
нечаянно  
своих детей рождает.

Здесь туча над хребтом всё ожидает  
ветра,  
чтоб редко плакать каплями печали,  
промахиваясь то по лягушкам в речке,  
то по корове,  
жующей зелень медленно, в начале,  
где на плато бугрится крепость «Лори-Берд».  
Ее останки вечность  
поглощает,  
ровняя  
контуры травой по стенам,  
землей по крышам сохранившихся строений,  
чтоб, заслоняя свет,  
в дыру от купола корнями дуло время.

На западе долины – красный крест,  
а на скале с востока – белый.  
И тысяча минуло лет.  
Кому вот только –  
остаткам ли от этих стен или скотине?  
Она всё так же спелый  
щиплет корм,  
довольно  
мотая головой,  
и плоть ее не поменяла форму  
в картине  
пастбища (неправ был Дарвин).  
Чего нельзя сказать о камне;  
он так пророс травой,  
что взгляд от местности его не отличает.

Нога, нечаянно  
споткнувшись о булыжник,  
скорей заметит старую дорогу  
вниз по каньону от моста, что гордо  
над потоком еще вздымает  
арку. В подмогу  
памяти на ближнем повороте  
врос хачкар,  
ушедший по плечо  
креста в коричневом оттенке  
кружев.

История взимает дань, сжимая  
зрителя в размеры точки.  
Пар  
поднимая, солнце смотрит точно  
в душу  
в церквях, прямой луча  
соединяя окна в разных стенах.

## СТЕПЬ

Намурлыкать про прерию, что ли,  
пол-лица прикрывая платком?  
Пыль. Ковыль. Разноцветное поле.  
Минус лошадь с ее топотком.

Плюс – блестящая кровля  
сарая.  
По соседству: вигвам, грузовик.  
Бесконечность – прямая  
асфальта,  
где авто по велению ноги  
мчит куда-то, не выбирая  
куда. Сальто  
птицы над дальнею месой.  
Сухолей в понижение реки  
крутит столб, пробираясь по тесному  
руслу,  
где вода по весне лишь да в дождь.  
Ранчо, изгородь, далее – пусто.  
Или что-то растет. Только что –  
не поймешь.

Сказка детства: арба и лошадка.  
Барахлишко, винчестер да шляпа.  
Безразмерная прерия. Жарко.  
Капли пота над линией скальпа.

## CARNEVALE

Мне смерть глядит в глаза  
над масками прохожих  
и ветром шьет по коже.

Чтоб руку не подать – стреножит  
мысль. Курсив людей без лиц,  
где я неосторожной  
кляксой  
на страницах  
улиц.  
Я – жадность к жизни, – нарушение границ.

Я – память о былом, чему сейчас не место,  
как звук трубы, сломавшей Иерихон.  
Я будущий соблазн, пришедший не в сезон.  
Как пресно  
наблюдать безгубую невесту  
с безротым женихом –  
явилось б это сном.

Кино-ужастик, клип, где я невольный зритель.  
Историей сюжет  
от времени затёрт.  
Кому б вернуть билет  
и, чуть пригнувшись, выйти?  
Но в клипе появляется еще один актер.

## СОН

Мне снился пляж. Испанская ривьера.  
Ты в красном платье.  
Солнце грело  
сквозь виноград  
на столики уютного кафе.  
В руках меню – во сне  
не разобрать –  
что там, в какой графе.

Мы взяли «латте»  
с пышной пенкой и с рисунком из сердечка  
у официантки из славянского местечка,  
по «праде»  
судя и акценту.  
Мы платим временем,  
разбитым в евроценты

за башню мурскую, роняющую тень.  
За набекрень  
заломленную шляпку.  
За обещание неги позже жаркой  
ночью.  
За всё то прочее,  
за этот яркий  
сон,  
что сбудется еще когда — так вряд ли.  
За право ветра помнить твои пряди,  
хотя бы в нем.

## ВЕСЕННИЙ БЛЮЗ

*М.*

Зеленый колибри  
над цветками январской азалии.  
Сзади,  
за нею, кратко выбритая  
молодая поросль на газоне.  
Меж вымытых  
дождями кирпичей дорожек —  
свежий мох. А так садик —  
гол. Лишь ель  
иголок дрожью  
приветствует сезон зимы  
за вздох до окончания,  
ну и случайный  
ранний февральский шмель  
жужжит над прописью травы.

Ты там давно, где нет ни неба, ни небес.  
Ни шума. Лишь движение фотонов,  
чьи квантумные позывные  
нас связывают пуповиной нервов.  
Я здесь,  
в тени фронтонов,  
где природа предпочитает разводные  
мосты  
всем навесным.  
Наверное

так надо, чтоб прошел корабль. Я вслед  
ему гляжу и ўтра мне – пусты.

Февраль. Рассвет.  
Магнолия – в глаза.  
Мимоза – в ноздри.  
То паруса  
уже весны полощет воздух.  
Выносит голову опять  
лучом горячим  
и вспять  
вращается земля со мной незрячим.

\* \* \*

Человек состоит из оставленных за собой вещей.  
Из плащей,  
ключей и вообще  
из всего, чем дорожа,  
обрастает тело, живя на месте.  
Плюс из известия  
о тела смерти,  
ползущего, как пожар  
по сухой траве,  
по электронной почте,  
сообщениями на мобильник и прочими  
способами, стучащимися извне.

Несомненно  
наличие неумирающей части,  
вызывающей жалость.  
Части, что была, есть и пребудет.  
Она дополняет тело, особенно в старости,  
когда полной грудью  
уже не так дышится, как дышалось.

Еще люди,  
не все, а лишь некоторые,  
состоят из любви.  
Сначала к точеной фигурке за векторные,  
стройные ножки,

за извивы  
волос,  
еще за что. Потом  
уже просто,  
невзирая на потухшую кожу,  
в голос не задавая вопрос –  
заштопанные  
носки – как объяснение в чувстве.

Устье  
ручья, чьи воды размывает морской прибой,  
не ведает постоянства своих берегов,  
где струя смешивается с волной –  
они бессмысленны.  
Лишь вода – мутнее.  
Человек – берега, высланные  
вещами. Живет как умеет,  
оставаясь памятью про любовь.

*Калифорния*

Каринэ Арутюнова

## Счастливые формы жизни

Это было в какой-то другой жизни. Торшер казался диковинным прищельцем, книги таили секреты неизведанных миров. Уютный вечер, топот босых ног, хруст свежавывающего снежка (помните, укрытый пуховым одеялом двор), тени на стене и наивные истории с картинками на белой простыне голосом папы или мамы, или даже старшего брата. Счастливое время диафильма. Пыльная коробка с пленками – целое богатство! Огромный непостижимый мир, подвластный колесу проектора. Главное, дождаться темноты, задернуть шторы, расставить стулья.

Многое стирается из памяти, распадается на фрагменты (точно стеклышки в калейдоскопе), стена становится просто стеной, торшер – торшером. Тикающие ходики остались в другой жизни. Никто не всматривается в белую простыню, никому и в голову не придет повесить ее на стену, достать с антресолей заветную коробку с историями и выключить свет.

\* \* \*

Успокаивает то, как раньше. Как раньше, несмотря на смог и пыль, вдруг откуда-то шлейф августовский горьковатый, и некто в шлепках и майке, насвистывая, рассекает по двору с прижатым к животу арбузом, и где-то, совсем близко, как раньше, вспыхивает светлячок – ах нет, это зажженная сигарета, но вспышка из густоты сумерек точно утешение.

Или, как раньше, букочки «аптека» – не то чтобы светятся, но подают признаки жизни, и там, за толстым стеклом и перегородками, живет старый провизор Гольдберг – а вы и поверили! – нет, там тетенька с буклями седыми, которая и родилась с этими буклями прямо в аптечном окошке, я ее с детства помню... хотя нет, постойте, вот этого уже точно быть не может, видимо, все-таки, это ее дочь или племянница, или просто двойник, копия, клон. Хозяйка такого небольшого государства, в котором пастилки от кашля и укропная водичка для младенцев по-прежнему в цене – как раньше; грохочет трамвай, ничего ему не делается, те же рельсы и те же провода, и пас-



сажиры глядят в мутные окна, провожая взглядом неказистую архитектуру окраин.

Серое так и осталось серым – пыль, дома, разбитые ступени.

Подземный переход, как раньше, гнетет скудным освещением; как раньше, одна лампочка либо выбита, либо украдена, – но вот чудеса, я больше не боюсь (как раньше) темноты, я больше не семению, затаив дыхание, не ускоряю шаг, иду ровно, нарочито уверенно (не так, как раньше).

Когда поезд проезжает станцию «Днепр», ты видишь всё ту же статую, и реку, и сидящие напротив летние люди как будто просыпаются, и нет человека, который не посмотрел бы вдаль, сузив зрачки от внезапного света.

Как раньше, волнуют человеческие лица и голоса, радуется тяжелая припорошенная пылью кисть винограда (почти как «изабелла»); как раньше, есть ожидание чего-то непременно особенного и важного, что должно произойти, – письма, напоминания, встречи. Как раньше, нараспашку окно, и не хочется думать о том, что еще немного, и всё изменится, – впрочем, как и раньше, наступят долгие ранние сумерки, лишённые бесхитростного тепла.

Как раньше, живешь сегодняшним, откладывая покупку зимних ботинок на потом. Потом будет потом, и оно никогда не будет таким, как раньше.

\* \* \*

Соседку зовут Броня, и ей нужно всего ничего. Пол-луковицы. Ее силуэт, внезапно вырастающий в проеме обитой дерматином двери, на обратной стороне которой красуются цифры, выученные назубок. Что-что, а номер квартиры нужно помнить.

– Повтори – бульвар Перова сорок два, квартира – какая? Правильно, восемнадцать (одна из цифирек перевернута, но это ни на что не влияет).

Соседка с умилением провожает меня взглядом:

– Какая смышленная у вас девочка!

Она втискивается в прихожую и жадно озирается по сторонам. Ей всё любопытно – какие обои, где и почем брали, отчего мы не покупаем приличный сервант, зачем столько книжек, кто их читает и, льстивое, – у вас ученый зять! Особенный человек! У меня глаз наметанный.

Забыв про луковицу, она сидит у кухонного стола, теперь ее силуэт вдет в другую раму – там перспектива окна, занавеска, уставленный разнокалиберными банками подоконник, бельевая веревка, протянутая через кухню.

Их диалог одновременно напоминает шорох от монотонного перебирания крупы и звук включенного радио – саднящий звук остророжного кашля (в нем бултыхаются Бронины внутренности), шепот (на всякий случай), повизгивающий бабушкин смех (как будто молящий о пощаде) –

а она сказала, а он, а что он, ну и я ему говорю (она произносит «говору»), – шорох и вот это: «дз, дз, чш, щ, дз, грвр, грвр»... смысл утопает в звуках, и я с тоской думаю о том, что родители вернутся не скоро, и всё оставшееся время будет вот это «дз, дз, щ, гр».

– Да? А я – терпеть? Да? – неожиданно звонко и молодо взвизгивает Броня, и шарманка в ее просторной груди издает резкий жалобный стон, и потом опять шорох, что-то елозит по столу, будто немая рыба с выпученными глазами.

Я слоняюсь по двору в поисках то ли подходящего камня (как любая нормальная девочка-сорванец), то ли зарытого в прошлый четверг клада; отбиваюсь от мучнистой Вали с третьего этажа. Она говорит «мнясо», «папка побил», «верьевка» и трет свои маленькие оловянные глаза. Для меня это чуждый непонятный мир. Дома меня не бьют, а на стене висит завораживающая репродукция голой и странной женщины, восседающей на трехногом стуле. Хотя места в нашей комнатке до смешного мало, родители мои иногда танцуют твист и рок-н-ролл. Их молодые яркие лица не очень вписываются в облезлую раму, за которой однообразные пятиэтажные дома, гастроном с селедкой иваси и выброшенным по случаю зеркальным карпом.

Ведь это же не навсегда. Пятиэтажка, половички старухи Ивановны, бельевая веревка, трехлитровые банки, выстроенные в ряд, увитый зарослями несъедобного винограда балкон... Один и тот же повторяющийся сон. Подъезд, будто глубокий колодец, на дне которого погребены звуки, запахи, воспоминания. Расстроенный инструмент, в котором то и дело западают клавиши, застревает на одной и той же мелодии.

Я (будто скованная тяжкими предчувствиями) медленно поднимаюсь по лестнице и вижу (о, ужас) всё те же цифры на обитой дерматином двери. Одна из цифирек перевернута, но это, как вы помните, не имеет значения.

\* \* \*

Окно – точно портал в другой мир.

Кто помнит вату между стеклами, деревянную фрамугу и маленькую лисичку, довольно тяжелую, если взять ее в руки. Хотя, вполне возможно, что это такая собачка. Но, всё же, я бы назвала ее лисичкой.

И ни за что бы не выпустила из рук. По крайней мере, тогда. Я обернула бы ее в ватный кокон и придумала историю лисичкиной жизни.

У меня была похожая. Или все-таки это была собачка... Да! Была такая собачка, хранительница ниток, иголок, наперстков и пуговиц. Собачка была довольно серьезной и всегда смотрела вдаль. Собственно, собачкин организм был неотделим от такой специальной круглой штуки для хранения всякой всячины. Ох и любила же я рыться в этой самой всячине! Одних наперстков было несколько штук. Я надевала их на пальцы и кивала ими, точно головами в шлемах. Это были такие суровые воины, хранители пуговичных тайн.

Среди пуговиц были у меня фаворитки. Например, крошечные золотые с хитрыми внутренними петельками – вне всякой конкуренции, естественно, не иначе как принцессы, – не чета плоским, неказистым, цвета слоновой кости, явно срезанным со старого пододеяльника, – эти, конечно, из челяди. Вызывающе яркие, точно пожарники, – алые, выпуклые, спесивые – вечно рвутся вперед, затмевая нежное свечение изумрудной не пуговицы даже, а так, овального камушка, из которого, по всей видимости, собирались воспитать приличную пуговицу, но так и не успели. Ни петельки, ни ушка, ни дырочек. Но самыми прекрасными были крошечные, янтарные, некогда украшавшие цыплячьего цвета и легкости кофточку. Ах, с каким замиранием я ласкала их, какие смешные прозвища придумывала. Что стало с ними, загадочно светящимися в трубе задумчивого пса? Ведь не могли же они исчезнуть без следа?

Что стало с пуговичной собакой из дома на улице Притисско-Никольской? Одна лишь мысль о том, что ее больше не существует, печалит меня. Она была довольно увесистой, с благородной тяжелой головой и, скорее всего, в допуговичные времена выполняла роль пресс-папье.

При переезде на другую квартиру многие вещи теряются. Как бесследно пропала обезьяна Джаконя, пеликан, кукла Алиса (ах, что за кукла это была! – мечта любой девочки, она и была мечтой, пока однажды не оказалась в моих руках вместе с подаренными в день рождения «Королем Матиушем» и «Алисой в стране чудес»).

Но пока... ничего этого еще нет и не предвидится. А маленькая гладкая лисичка... – мне кажется, с ней не так страшно, не так одиноко в мире безымянных пуговиц и бесполезных наперстков.

\* \* \*

Лифчик был бумазейный, с тугими петельками сзади, с крохотными пуговками, которые с трудом втискивались в эти самые петли.

Привычно поворачиваясь спиной, выпятив живот, сводила лопатки, предоставляя возню с пуговичками мужским рукам.

Ну, пап, быстрее, мы опоздаем, — чулочки натягивала уже самостоятельно, на них — смешные толстые трикошки (трико). Короткое платье доходило до середины этих самых трико — в общем, довольно неуклюже всё это выглядело на маленькой девочке, но ей и в голову не приходило возмущаться нелепостью странной конструкции.

В углу терпеливо дожидались красные валенки с галошами — предмет особой гордости. Пыхтя, она втискивала ступню в валенок, послушно просовывала руки в рукава шубейки.

Как непросто давались девочке утренние подъемы, сборы, невозможность внезапно разбуженного и вечно опаздывающего человека, живущего по чужому и неудобному расписанию. Ватные ноги, тяжелая голова, вкус зубного порошка, медленно остывающий чай, который не то что пить — на который и смотреть было противно.

И всё же череду мучительных подъемов затмевает одно зимнее утро (на самом деле, их было много, но в памяти они слились в единое целое, безразмерное), белое безмолвие за окном, уют развороченной постели и эти полчаса, отнятые у сна (на самом деле, добровольно отданные), полчаса истинной свободы (от исправно работающего механизма). Раскрытая книжка, которую читаем вдвоем, — то ли по памяти, то ли по слогам. Нет, слово рождалось целиком, не поддавалось дроблению и расщеплению — за ним тут же (а то и раньше) возникала любопытная и вздорная козья морда, покатые лбы семерых козлят — прообраз утреннего эдема в складках пододеяльника и скудного света, оттеняющего долготу тишины.

Здесь она еще в пижаме, не стреноженная послушанием и зимними одежками, мучительно подробными, как будто специально неудобными, — вот-вот, со вздохом отложив книжку, коснется разложенного на стуле платья, но первое — лифчик (смешное слово, не правда ли, еще не обремененное взрослыми аллюзиями), пока что он плоский, полотняный, почти невесомый, — привычно сведя лопатки (откуда у маленькой девочки это движение?), она поворачивается спиной, терпеливо ожидая разрешения несложной задачи.

Впрочем, никто так и не заметит, как и при каких обстоятельствах исчезнет смешной и бесполезный (до поры до времени) предмет — наверное, вместе с чулочками, на смену которым придут колготки. Она многому научится. Протаскивать ускользающие, часто рыхлые, раздваивающиеся на концах шнурки в обметанные узкие петли, завязывать узелки — о, трогательность неловких пальцев, вновь и вновь сжимающих и с явным усилием вдавливающих ремешок или пуговичку. Коза и семеро козлят уступят место куда более

ярким героям – какое сладостное ощущение начала с каждой новой книжкой, новой историей, – теперь она справляется сама, без посторонней помощи. Слова резво оживают перед глазами, вспыхивают под пальцами. Иногда они читают вместе. Устроившись поудобней, она вдыхает знакомый запах.

– Да нет же, ты пропустил! – с балованным смехом указывает на оплошность, и он послушно читает, уступая ее требованию.

Всего полчаса. Полчаса, отнятые у сна и бодрствования. Она не знает еще, что у всего есть предел, и эти самые полчаса уступят место чему-то непреодолимому и архиважному – торопливому пришиванию воротничков, дописыванию домашнего задания. Красные валеночки и галоши, с которых натекла небольшая лужица, еще не кажутся анахронизмом, но уже немного тесны, а новые кожаные ботинки, остро пахнущие, довольно неудобные, хоть и качественно прошитые суровой нитью, еще красуются на витрине.

\* \* \*

– Я посланник небес, – немолодой мужчина в широченных брюках и светлом плаще пристально смотрел на меня сквозь толстые мутные стекла старомодных очков.

За стеклами угадывались крошечные беспокойные зрачки. В тот день шел дождь, не дождь даже, а мелкая мокрая взвесь летела из-за угла, – поддувал неуютный ноябрьский ветер, и вид у посланника был совсем невеселый.

– Я посланник небес, – повторил мужчина и сильно качнулся. Хорошо, что рядом стоял перевернутый ящик, – крикнув, посланник плавно опустился и уронил голову на колени. Сквозь давно немые пряди редких волос проступала младенческая кожа.

Мне стало страшно.

– Михаил Аркадьевич, – пролепетала я и коснулась заляпанного грязью рукава.

Нет, мы и раньше подозревали, что с учителем моим не всё ладно, – он часто опаздывал и переносил занятия, и, собственно, успехи мои на музыкальном поприще оставляли желать лучшего – дальше убогих песенок и корявых гамм дело не шло.

Начнем по порядку. Всё началось с того, что к нам пожаловали проверяющие из музыкальной школы номер шесть. Класс разбили на группы, и каждую группу прослушивали специально уполномоченные дяденьки.

Деловито одернув подол школьного платья, я рванула дверь на себя. Аккомпаниатор, полная яркоглазая брюнетка, вскинула голову и ободряюще улыбнулась.

Сейчас... сейчас я им покажу! (Надо сказать, до сих пор я абсолютно убеждена в том, что никто и никогда не исполнял эту песню лучше меня). К девяти-десяти годам у меня прорезался голос – скорее низкий, нежели высокий, и радовала я своих домашних совсем недетским репертуаром, начиная с «Коля, Коля-Николаша, где мы встретимся с тобой» и заканчивая «Вихри враждебные веют над нами». Так что, уж будьте уверены, внезапная музыкальная проверка не застала меня врасплох.

Откашлявшись, я оставила ногу чуть в сторону.

Брюнетка энергично ударила по клавишам и... Мне даже кажется, она не поспевала за мной, и высоченная, обтянутая джемпером грудь задорно подпрыгивала в такт громовым раскатам моего голоса, потому что от волнения (а я волновалась, как все начинающие артисты) я пела несвойственным мне басом (это потом уже, в музыкальной школе, окажется, что у меня альт, настоящий альт, тогда как у большинства девочек – сопрано, а у меня – серебряная трубочка, вставленная в серебряное горло, и называется она – альт).

– Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка! – блистая глазами, я притоптывала ногой и, клянусь, если бы в непосредственной близости от меня оказался вороной жеребец...

Но жеребца рядом не было. Напротив сидели те самые скучающие дяденьки. Но это поначалу скучающие. Уже со второго такта лица их оживились – как будто некто невидимый смахнул влажной тряпочкой пыль. Ближе к концу выступления дяденьки разразились и весело переглядывались друг с другом.

На бис я исполнила, конечно же, «Тачанку», «Поле, русское поле», «Орленка» (когда я пою «Орленка», то отчетливо ощущаю, как во лбу моем загорается звезда) и песню из «Неуловимых» (а тут я становлюсь одновременно Яшкой-цыганом, Данькой, чистым полем, звездным небом, воронным конем; я становлюсь синеглазой девочкой в белом платочке и Бубой из Одессы, я плачу и смеюсь одновременно).

Сморкаясь и утирая слезы (это были слезы восторга, дорогие мои), дяденьки долго расспрашивали меня о родителях, о том, что я люблю и кем хочу стать в будущем. Вердикт оказался вполне ожидаемым и ничуть меня не удивил.

– Скрипка! – один из них сделал меланхоличное лицо, изобразив, видимо, таким образом, этот прекрасный во всех отношениях инструмент.

– Фортепиано – широко улыбнулся второй; нос его лоснился, а толстые стекла очков затуманились. Я отметила несколько выступающие зубы и что-то кроличье в лице.

Можно сказать, что Михаила Аркадьевича я привела домой за

руку, таким образом поставив недоумевающих родителей перед фактом.

Концертное фортепиано «Фингер» привезли через месяц. Покупка эта образовала зияющую дыру в нашем и без того весьма скромном бюджете, но родители, посоветовавшись, решили затянуть пояса потуже, и, знаете, элегантный чужеземец до сегодняшнего дня стоит у стены, изредка напоминая о себе глубоким вздохом всё еще натянутых струн.

Я обзавелась нотной папкой и, собственно, нотами. Казалось, стоит откинуть крышку, водрузить ноты на пюпитр, и чарующие звуки польются, пальцы побегут, и это будет так же прекрасно и неизбежно, как, допустим, финальная сцена в «Неуловимых». Увы.

В тот самый день, когда изящный (но всё же громоздкий) инструмент стал членом нашей семьи (о, сколько радости от долгого ожидания, суеты, сдавленных криков «Левее! Правее! Осторожно, угол!»), – о, сколько благоговения перед этим заморским чудом, распахнувшим черно-белую пасть, – сколько надежд, увы, не оправдавшихся... В тот самый день, когда, коснувшись гладких клавиш (сиреневая, томная *ля*, нежно-голубая *си*, а *до* похожа на долгий-долгий понедельник), я замерла, вслушиваясь в постукивания невидимых молоточков по невидимым струнам... – в тот самый день жизнь моя превратилась в сплошной понедельник.

Детство кончилось.

Но тогда, ведя в дом (буквально за руку) этого немолодого, с розовеющими залысинами и набрякшими красноватыми веками мужжину, я об этом не подозревала.

Прихрамывающие гаммы, зубодробительные этюды, велеречивые и торжественные полифонии; портрет красноногого недовольного мужжины с оплывшим лицом в неопрятной бороде и распахнутом на толстой груди халате, и напротив – портрет другого, степенного и округлого, с купеческим пробором в тусклых ровных волосах; уроки сольфеджио и музыкальной литературы, тоскливые сумерки, презрительный взгляд хориста, ненавистный третий ряд, в котором окажусь я единственная, с выжженным на лбу клеймом «альт», – все эти палочки и крючочки, скачущие перед глазами, дни и вечера, вечера и дни, а также... смятые трех (пяти и десяти) рублевки... они порхали, кружились, таяли в глубоком кармане светлого плаща моего первого учителя.

В школу меня брали сразу в третий класс, условившись, что первые два я пройду за пару месяцев с уважаемым Михаилом Аркадьевичем.

– Не дадите ли авансом пять рублей? – смутившись, мама наша-

рила в сумочке бумажку и неловко протянула через порог. В следующий раз сумма аванса несколько возросла, но учитель так кланялся и шаркал ногами... От него странно пахло.

– Всё равно он хороший, – упрямо склонив голову, я продолжала уверять домашних, что лучше Михаила Аркадьевича... И это несмотря на то, что во время уроков мне приходилось не дышать или дышать в сторону.

Пальцы его рук были толстоватые, неповоротливые. Точно клешни, двигались они по клавиатуре, исторгая звук странным царапающим движением. Звук был сухой, глухой, тусклый, как, впрочем, и унылые экзерсисы, которые нужно было пережить, чтобы прийти, наконец, до настоящей гармонии. Иногда с красноватого вислого носа моего учителя свисала прозрачная капля. Я терпеливо ждала, когда же она, наконец, сорвется и упадет, но она всё не падала. Коричневая дужка очков была старательно заклеена скотчем, а воротник пиджака густо усыпан перхотью.

Вместе с Михаилом Аркадьевичем в дом вползали тяжелые запахи чуждого мира. Как будто кто-то распахивал комод, в котором нафталинные шарики, вещи, прожившие долгую насыщенную жизнь, кисловатый запах кожи, мыла, резкий, цветочный – одеколona и тоскливый, красноречивый – долгого безрадостного бытия. Мне было жаль его.

В очередной раз одолжив десятку, учитель исчезал на неделю. Звонить было, как вы понимаете, совершенно некуда, и мы терпеливо ждали. Я открывала и закрывала нотную тетрадь, догуливала (не без удовольствия) последние сентябрьские дни...

– Я посланник небес, – немолодой мужчина в широченных брюках и светлом плаще пристально смотрел на меня сквозь толстые мутные стекла старомодных очков.

В тот день шел дождь, не дождь даже, а мелкая мокрая взвесь, поддувал неуютный ветер, и вид у посланника был довольно жалкий.

– Я посланник небес, – повторил мужчина. Его сильно качнуло. Хорошо, что рядом стоял перевернутый ящик, – крикнув, посланник плавно осел и уронил голову на колени. Сквозь редкие светлые волосы проступала младенческая кожа.

Мне стало страшно.

– Михаил Аркадьевич, – пролепетала я и коснулась заляпанного грязью рукава.

Учитель поднял на меня блекло-голубые глаза, испещренные мелкими кровеносными сосудами.

– Валентина! – с неожиданным напором произнес он, – я требую



уважения, Валентина! – Он громко выдохнул, и облачко пара вылетело из его губ. Я отшатнулась.

– Женщина! – собрав, по-видимому, остаток сил, учитель поднялся с ящика и плавно взмахнул руками, – иди домой, женщина!

– Я посланник небес, – повторил он, возвышаясь надо мной. Широкие его брюки трепетали на ветру, а тонкие пряди взмывали, образуя что-то вроде нимба над головой, – казалось, еще немного и он взлетит...

– Дядь Миш! – чей-то невнятный темный лик вынырнул из-за угла, – иди до нас, дядь Миш, – там, в глубине арки, которая вела к тыльной стороне гастронома и овощного, уже звякало что-то, блестяло, булькало, – так вмиг обратная сторона бытия открывается взору ошеломленного ребенка, бегущего вприпрыжку с зажатой монеткой в руке.

– Мишаня! Иди до нас, не вы-буйся, – я отпрянула, вжав голову в плечи, и ринулась назад к дому. Позади раскачивался силуэт моего учителя и его соратников, наверное, таких же верных последователей Модеста Мусоргского и Михаила Глинки.

В четверг как ни в чем не бывало, смиренный и какой-то уменьшившийся в размерах, даже несколько усохший Михаил Аркадьевич вырос на пороге нашего дома.

– Не могли бы вы... – вежливо начал он, в широкой улыбке обнажая розовые десна и выступающие кроличьи зубы, – не могли бы вы, до получки... авансом, богом клянусь, – он улыбался и шелестел невидимыми миру крыльями, из тихих глаз его струилась совершеннейшая гармония небес – нежно-голубая *си*, сиреневая *ля* и длинная *до*, долгая, как долгий понедельник.

\* \* \*

*«Нет справедливости в сердце человеческого, запомните это, молодые люди! Продали, ясноликую Тamar продали! За красные три червонца продали! Продали люди! Пресвятую Деву Марию продали!»\**

На этом самом месте, как я ни крепилась, веки мои наливались слезами, и, стуча ногами, я выбегала из комнаты, потому что опасалась встретиться взглядом с папой, который (сейчас я в этом не сомневаюсь) тоже плакал, только без слез и судорожных вздохов, – мужчина (восточный, в особенности) не мог позволить себе разрыдаться (ох, это печальное заблуждение многих), не мог хлопнуть дверью и

---

\* Из фильма «Древо желания», реж Т. Абуладзе, 1977.

плюхнуться лицом в подушку, и оттого слезы эти неявленные точили его сердце, но, клянусь, я слышала их всегда.

Как же сложно приблизиться к сдержанному мужскому горю, прорваться сквозь броню защиты и привычного «не шуми, папа работает».

Дочерей и отцов разделяет пропасть обожания, восхищения, опасения (однажды впасть в немилость), страха (потерять расположение или же потерять навсегда).

Я вижу юношу, независимого, одаренного, ироничного, наделенного энергией жизни, тактом и умом, но, увы, вынужденного существовать в заданной системе координат – семьи (не будучи ни в чем на нее похожим), общества (являясь слишком яркой индивидуальностью для того, чтобы шагать в ногу с ним). Только сейчас я понимаю, как непросто ему было, как душно было растрчивать силы, энергию, талант на искусственные препятствия, создаваемые системой.

Я видела их всех. Насквозь. Людей системы. Источающих лесть, проявляющих фальшивое участие, якобы заботливых, называющих себя близкими друзьями (конечно же, он прекрасно знал цену этой близости).

В присутствии так называемых «друзей» мы не касались некоторых тем, причем, это никогда не оговаривалось. Достаточно было взгляда. Это была такая игра. Для взрослых. В которую мы, дети, оказались невольно втянутыми. Искусство недомолвок, иносказаний, полутонов. Какой нелепостью казались школьные политинформации после вечерних и ночных посиделок под голос «Немецкой волны» или БиБиСи. Негромкий говорок, обаяние человеческой речи, позывные (я помню их и сейчас), возвещающие об иной системе координат.

Подполье папиного кабинета. Запах покрытого лаком паркета, книжной пыли (тогда ее было не так много, и на нее не было аллергии). Заветное место на низком, покрытом грубым паласом топчане.

– А не выпить ли нам чаю? – этого сигнала я ждала и стремглав неслась на кухню. Хрупкие (и в то же время устойчивые) кремовые пиалы с тончайшим японским узором, резкий аромат чайных листьев, охваченных кипятком. Момент истинного дзена, спасение от внешнего хаоса. Привычная кухонная суета, тонкий свист закипающего чайника, папины шаги в коридоре.

Наш мир, наша крепость, в которой не было места чужому. Чужой непременно бы нарушил геометрию интимного пространства, порядок действий, причинно-следственную связь слов и пауз между ними.

Только я, папа и БиБиСи. Пулеметная очередь и стрекот печатной машинки. Сложенные стопками «Наука и жизнь», «Литературка»

(я ждала ее каждую среду), «Литературная Армения». Иллюстрации, которые прилежно (и, тем не менее, криво) вырезала. Бежбеук-Меликян, Сарьян, Минас Аветисян, Жансем. Счастливое время! Сложности взросления еще не отягощали меня. Долгота и широта зимних вечеров, в которых не было места бессмыслице плоского мира.

\* \* \*

Итак, она звалась Лилит.

Та самая Лилит, дом которой (на пересечении улиц Пушкина и Парпеци) примыкает буквально к подножию собора Сурб Зоравор, – та, с которой знакомы с моих и ее девятнадцати; знакомство случилось в тот краткий и счастливый миг дилижанского лета, которое казалось бесконечным.

Очарованные друг другом, мы расстались (думая, что ненадолго, вослед уверениям – до скорого!), расстались на долгие годы, вспоминая друг о друге вначале часто (писались письма, настоящие, бумажные), потом всё реже и реже, потом – почти никогда.

Такова жизнь. Некоторых теряешь не только из виду, но из памяти тоже. Но здесь иное. Случается, ты и словом не обмолвишься о человеке, а образ его брезжит в твоём сознании, где-то на периферии его (тебе кажется, что это периферия), освещающая некую часть тебя, еще не окончательно забытую, а значит, живую.

Образ высокой смуглой девочки, нараспев читающей стихи, ее высветленный скудным вечерним освещением профиль – о, этот профиль не спутаешь ни с каким иным, остался во мне надолго, и, ужаленная незнакомым мне прежде чувством, я изливала его на вырванных из тетради листочках в линейку. Нет, ничего «такого» за этим не стояло, разве что воспоминание о густой дилижанской ночи, о долгих беседах «ни о чем и обо всем на свете», и ощущение удивительной близости – не девчоночьей, детской, и не взрослой, осознанной. Точно всплеск по воде, или чистый звук речи, пробуждающий некие первозданные миры, сокрытые от меня, – язык будничной твоей жизни ничего общего не имеет с сакральным языком, который вдруг слышишь – не понимая, но уже любя, как можно слепо любить то, что так желанно, но никогда не станет частью тебя.

Итак, она звалась Лилит.

Нет, никакой истории не случилось. И даже (хотелось бы написать о чем-то таком, что буквально просится, но – увы, увы...) не было сплетенных девичьих пальцев, жаркого шепота, – ничего этого не было, кроме вот этой ворожбы – нараспев, вначале – на будничном

языке твоей жизни, а после – на том первозданном, божественном, в котором смыслы на ощупь, на взвесь, на обращение самое себя в слух, вырастают – будто сосуды в чутких пальцах гончара.

Итак, она звалась Лилит.

В то долгое дилижанское лето, насыщенное новыми смыслами, звуками, красками – логосом, – не из потрепанного армянского букваря, косноязычием своим внушающего лишь скуку, а живым, округлым, строгим, архаичным и юным, словом, не потому ли, что исходило оно от юного существа одной со мной породы?

Она звалась Лилит, и следующая наша встреча произошла два года тому назад, в том самом дворике Сурб Зоравор – не правда ли, как символично: в шадающем вечернем уже освещении, в волнении прогуливаясь вдоль и поперек, я вдруг увидела идущую – ее. Приближающийся силуэт обретал знакомые и неизменные черты по мере приближения, и по мере же приближения вмиг испарялось всё то, что могло бы разочаровать, опечалить или спугнуть. О, боги, человек видит и любит не столько глазами (хотя и ими тоже), но сердцем. Потому лишь только оно обладает стопроцентным зрением.

Она была так хороша! Всё с тем же своим певучим, густым, обволакивающим, обхватывающим голосом, живым, ярким и смеющимся (даже в момент грусти) взглядом, – она была та же стремительно сбегающая по дорожке девочка, и даже смуглые пальцы ее (с колючком на одном из них) остались теми же, знающими что-то, неведомое другим, – из мира шорохов, теней и звуков.

Итак, звалась она Лилит. И первая наша прогулка – по вечернему Еревану – в тот позднеосенний день – собственно, предзимний, – была данью нашей юношеской восторженности и неизменной вере в чудеса, которые, впрочем, неизбежны для тех, у кого (помимо будничных слов) существуют другие, и, если приходят темные времена, то спасают те, вторые, и, пожалуй, главные, – из светящихся сумерек, из густых дилижанских ночей; юные и древние, точно всплеск по воде или крик далекой птицы.

\* \* \*

Первые мои шаги по Армении можно было сравнить с приземлением на другую планету. Другая цивилизация, иная материя – шершавая, прочная, лаконичная; тут и там проступающие, вырастающие из земли символы ее. Вдруг всё во мне, вздрогнув, качнулось навстречу самой себе – будто в одночасье я обрела такое важное для меня знание, из какого, собственно, материала я скроена.

Дорога на рейсовом автобусе из аэропорта в центр. Держусь за

поручень, разглядывая (впитывая) всё вокруг. Так вот, оказывается, какие они (мы)... Сколько горящих глаз вокруг, сколько воздетых рук! Со мной родители, младший брат. Шутка ли, разместить семью из четырех человек в обычной квартире!

Дом на окраине Еревана. Время позднее. На веранде накрыт стол – давно, видимо, накрыт. Что Бог послал. Накрытые марлей плоские котлетки, начиненные острой зеленью, – по всей видимости, тархуном. Ломти пышного хлеба пури. Пури – белый грузинский хлеб. По утрам его развозит грузовик, и веселая разноцветная гурьба несется вслед за ним с радостными возгласами: «Пури! Пури! Пури!» Пури теплый, со вздымающейся румяной корочкой, – воистину, царский гость! А вот и лаваш, скромная пресная лепешка, сотворенная из муки, воды и щепотки соли. Лаваша никогда не бывает много, и мало не бывает. Во всех видах – свежий, еще дышащий, подсушенный, хрустящий – он всегда кстати, до и после любой трапезы. Много зелени – всякой, острой, нежной, в капельках влаги, пробуждающей аппетит в любое время суток.

– Совсем не кушаешь, да? – молодая женщина с ангелоподобным младенцем на руках, улыбаясь, придвигает тарелку, но мне не до еды и не до впечатлений, – поздний и долгий полет (впервые в жизни), который завершается здесь, в небольшой боковой спальне, на пышной хозяйской кровати, которую уступили гостям. Где будут спать они сами – неясно, но сил на понимание этого важного момента нет, глаза сами собой закрываются. Переступаю через спящих вполвалку, разметавшихся на полу детей. Они ничем не прикрыты, в комнате жарко, как будто натоплено, – из тьмы проступают раскинутые смуглые руки, ноги, белые трусики, всклокоченные головы, – кажется, их трое или даже четверо. Утром они окажутся девочками. Одна, и правда, – смуглая, лет семи, с дерзкими из-под небрежной мальчишеской челки глазами, ручки-палочки, исцарапанный нос, сбитые колени – маленькая разбойница, да и только. Следующая, младшая, – отчаянно синеглазая, тоже стриженная под мальчика, но такая – девочка, нежная девочка, вылепленная Творцом столь тщательно, столь вдохновенно – вот нежная ложбинка на затылке, вот пшеничного цвета завиток на макушке, вот смущенная полуулыбка из-под золотых ресниц. Еще одна – она капризничает, кукуется со сна, требует внимания, но, видимо, с недавних пор его недостает – ведь есть еще мальчик, Давидик, это его я видела вчера на руках молодой женщины, – вот он, венец творения, сын, с распахнутыми в мир глазами, отороченными мохнатыми, завитыми, точно у девочки, ресницами.

Там и сям разбросанные на полу тюфячки – виданное ли дело, дети спят на полу, и мне тут же становится жаль себя, не познавшей

этой неслыханной свободы, не ограниченной рамками кровати или раскладушки. Маринэ, Наринэ, Лусинэ.

Вот и все за столом. Солнце, точно огненный шар, выкатывается из-за утренней дымки – оно неумолимо, с ним невозможно договориться, не потому ли так темны комнаты и плотно опущены шторы, плач и агуканье младшего доносится откуда-то из глубины, из дневных комнатных сумерек.

Разноцветные тюфячки, пестрые стеганные одеяла – всё собирается, складывается, точно еще один дом – ночной внутри дневного, – та скорость, с которой сотворяется ночной мир, ошеломляет и открывает завесу, – эти дети, спящие вповалку на полу, эти руки в неустанной заботе, эти бережно прикрытые тряпицей ломти подсушенного хлеба, эта скатерть, готовая в любой момент развернуться навстречу ночному гостю, – неслучайны.

А вот уже другой дом: в проеме двери – седовласый богатырь, его зовут Саркис; – Нет, говорит Саркис, – и даже не думайте куда-то ехать, что, у меня не найдется тюфяка? Постели? Четыре? Да хоть десять! Посмеиваясь, выкатывает он свернутый тюфяк, еще один. И скромная квартира обычного ереванского дома превращается в вигвам, бивуак, надежное убежище. В любое время – зелень, хлеб, сыр, – мало ли чего захочется гостю! В любое время – хозяева, которые – само внимание и предупредительность; вот и накрытый в глубине вигвама стол, вот и смеющиеся глаза Саркиса, его обращенный в тебя взгляд, в котором не накопие сиюминутного, а дымка далекого и почему-то щемящего.

Если бы я знала тогда, если бы понимала (сквозь муки и терзания отрочества и мнимых несовершенств моих неполных четырнадцати), как важен был этот миг, к которому так стремился мой папа, – тот самый час, в котором сморенные дневным жаром и бегом дети наравне со взрослыми сидят за накрытым (чем Бог послал) столом, в то время как дом устilaется (изнутри) и будто сам собой раскладывается (наученный долгим опытом изгнаний), – и память моя, столь капризно избирательная, сохранит в самых сокровенных закоулках ее горячий ночной ветер, пресный вкус лаваша (прозрачный – воды) и безмятежный детский сон в глубинах старого ереванского дома на раскинутых как попало тюфяках, и одновременное чувство обретения и потери, с которым столкнусь много позже, по возвращении домой.

\* \* \*

На моем карнизе (за окном) какая-то голубиная вакханалия. Что-то происходит. Явно, космического масштаба. Карниз сотрясается от ударов птичьих лап, воздух раздираем голубиными стонами и (как бы

назвать этот странный множественный звук?) – бурным и частым взмахом крыльев, клетотом и таким горловым квохтанием и курлыканьем.

Звук, вступая во взаимодействие со степным августовским ветром (ничего, кроме сухого ковыля, сушеного кизяка и нет-нет, да и стоячими водами, их тяжелой недвижимой массой, и потом вдруг раз – далекими странами, голубыми озерами, кувшинками и ласточкиными гнездами), – так вот, звук, вступая во взаимодействие с воздушными массами, создает странный эффект моего случайного присутствия в бурной жизнедеятельности обитателей этого кусочка земли.

Август – удивительное время. Похоже, они выют гнезда. Или подыскивают место для таковых.

Я – тихий созерцатель птичьей жизни. Не хочется нелепым движением разрушить выверенность (на первый взгляд) хаотических действий. Вот беспокойный стон – в просвете рафаэлевский профиль кроткой голубки, и вновь – мощный взмах развернутых крыльев. Сложенные, они скрывают реактивную мощь взмывающей ракеты. Потоки воздуха несут ее к ближайшему дереву, и там, похоже, разворачивается основное поле действий. В семейное собрание вплетаются сторонние голоса каких-то тропических случайных птиц, неведомых тварей, болотных ужей, дятлов и полевых мышей.

Мое присутствие столь бесполезно и малозначимо в этой картине мира. Влияет ли оно на популяцию птиц? На мерцание далеких звезд? На зарождение новых галактик? На устройство птичьих гнезд? На разрастание старого дерева у моего окна? На созревание каштановых зерен, плодов, на их недолгий маслянистый блеск, на ажурную вязь листьев, на небеса, просвечивающие сквозь ржавые прорехи?

Венец творения? – Не смешите меня. С какой скоростью (и изяществом) эти существа выют свои гнезда. У них нет времени. Вот этот короткий просвет в жарких волнах августа, вот этот взмах и пикирование – по человеческим меркам – и есть те самые годы активной жизни (успеть обзавестись потомством, построить кооператив, выкормить птенцов). Кто из нас согладатый? Голубка, косящая удивленным глазом, или я, заносщая в условный блокнот свои наблюдения?

В последние дни августа всё живое, наконец, равно самому себе. Невидимый распорядитель отдает приказания, невидимые музыканты разворачивают партитуры. Движения выверены, точны, стремительны. Нет права на ошибку, оплошность.

Дерево у моего окна раскачивается, шелестит, сверкает, оно всё еще (как никогда) полно света и заключенной в нем жизни, но счет пошел на дни.

\* \* \*

Некто, охваченный жаром и предчувствием ускользающего лета – да нет, не предчувствием, а вполне конкретным осознанием, – хватается котомку, запрыгивает на ходу в отъезжающую маршрутку и мчится куда глаза глядят; впрочем, глаза его чаще закрываются от однообразия расстилающегося за пыльной шторкой ландшафта, как то: выгоревшие поля, поникшие подсолнухи, редкие человеческие силуэты на фоне невыразительных, напрочь лишенных элемента декора домов... – вон согбенная старушка у облупленной синей калитки, а вон корова бредет, невыразимо прекрасная спокойствием миндалевидных глаз, мужчина с обнаженным торсом поливает двор... – быстро пролетают кадры, не сообщая практически ничего об этих местах, кроме убеждения, что, оказывается, люди живут везде – на западе, на востоке, на севере, и вот случайно выбранный город становится реальностью, из наугад открытой Гугл картинки проступают очертания куполов, стен из красного кирпича, дворики, окошек, решеток, омываемых речкой, скованных полуденным жаром, отороченных нарядными клумбами улочек.

Жар изнутри, жар снаружи... все-таки август догорает, вспыхивает то медью, то ржавчиной, оставляя вкус неисполненного чего-то и однажды обещанного. Но близок вечер, прохлады, тишина, и некто взрослый и мудрый кладет прохладную руку на покрытый испариной лоб, и шепчет примирительно: – ну, вот и прошло, вот и ушло, а ты боялась...

\* \* \*

Из плотной туманной взвеси вспыхивают лица, голоса, огни, на скамейках застывшие силуэты влюбленных – на фоне плывущего в смоге мегаполиса, сбегających к реке ступенек, ржавеющей на обочинах листвы, точечных стволов – ветви будто китайским каллиграфом прорисованы, тончайшей кистью и пером обозначены; вон – собака идет, себя не помня; вон – Чертово колесо, будто нимб над Контрактной. Рисуетесь избитый сценарий апокалипсиса – то ли остров, окруженный водой, то ли осада, то ли прощание славянки. От безудержного веселья уличных музыкантов весело и пустынно, в осажденных городах всегда так. Сладко спится, потому что незачем знать, что там, за крепостной стеной. Жизнь прорастает сквозь бетон и пластик, ее формы причудливы, страшны и божественны, и разрушают любые представления о том, какой она должна быть на самом деле.



## Александр Вейцман

### СИЦИЛИЙСКИЙ ДИПТИХ

*Б. III.*

#### 1

Деревня Савока (удар на первый слог)  
есть продолжение скалы, небрежно треснувшей  
и отраженной в лунном свете после ливня.  
Когда-то, не так много лет назад,  
здесь Майкл Корлеоне обвенчался  
с девицей по фамилии Вителли.  
Вот церковь, вот дорога в местный бар,  
который называется «Вителли».  
Вот запах престарелых кипарисов  
с намеком на лимоны и вино.  
Вот две стены: под каждой по старухе,  
забывшей, как махал руками Ф.  
Ф. Коппола (удар на первый слог).  
Сегодня здесь опять, похоже, свадьба.  
Звучат колокола и тарантелла.  
За темными очками – лес зрачков.  
Над темными очками – только солнце:  
простое, неопознанное солнце,  
как жертва голливудской режиссуры.

#### 2

Над Таорминой, если в прошлом было небо,  
то это небо растворилось в полукруге  
античного театра. Стихотворец  
другой поры здесь мог бы написать:  
«Я не увижу знаменитой Антигоны» –  
и был бы прав. Отметим, что за прошлые  
полвека в Таормине не писал  
никто, что, с точки зрения сонорных  
согласных, – несомненная удача.  
Взгляд гусеницы, не стыдясь июльской  
росы на высоте в семь сотен метров,  
не чувствует пространства, но и не  
банален с точки зрения обрыва.

Цель строивших сей город, если вспомнить,  
была не в том, чтоб город был воздвигнут,  
а в том, чтоб вид с холма пришел жаре  
на смену, отозвавшись ре-дизем.  
По вечерам, когда гремит Гуно  
и спотыкается о тучи, а бродячих  
собак изгнали из церквей, здесь можно,  
прищурившись, увидеть клочок земли  
за полукругом моря: он походит  
на остров, где Тиберий строил виллы  
и пил вино, смотря то на рабов,  
то в даль. И, верно, вспоминал о солнце:  
оно казалось то простым, то неопознанным,  
и было жертвой голливудской режиссуры.

## ANNO DOMINI

Вот лидер государства, облаченный не во френч.  
При нем его жена с улыбкой юной Джуди Денч.  
Их дети, Марк и Майкл, убежденные, что море  
есть место, где хоронят, отпевая в фа-миноре.

Вот шеф администрации, честнейший и простой  
в общении, способный генеральскою звездой  
навевать чувство радости привыкшим жить при страхе  
в стране, где нет потребности ни в Генделе, ни в Бахе.

А вот сама страна, размером где-то в штат Вермонт.  
Затем — законы сей страны, давно пославшие на фронт  
мужчин без плоскостопия от сорока и старше,  
поющих славный гимн, хотя законов не читавших.

И, наконец, вот псы страны: куда ни глянь — здесь псы  
бездомные, но сытые, чьи мокрые носы  
уткнулись в желтизну листвы, покуда взгляд конвоя  
наказывает всякого, кто помнит гаммы воя.

## ВЗГЛЯД СВЕРХУ

За окном – через сетку – молчаливая синева.  
Кто-то пишет главу для «Окаянных дней-2».  
Кто-то на телефоне. Для нового страха  
хватит толики Генделя и толики Баха.

Приоткрой окно максимум на треть,  
чтобы, на ночь глядя, не зарифмовать «смерть»,  
а помянуть все тех немногих,  
кто не умрет, – ну, и заодно для легких.

Сквозь окно – через сетку – память идет вразрез  
с колокольным контральто, решившим, что до небес  
долетать непрактично, а для банальной веры  
хватит воздуха города и его холеры.

## HAMPTON BAYS

Залив преображается в квадрат  
и обрамляет гавань женским бюстом.  
Шум с запада встречает листопад  
хромой луной, не чуждой нежным чувствам.  
Рыбак безмолвно празднует улов,  
на дюнах простояв не больше часа.  
А из воды встает Н. С. Хрущев  
и машет кукурузой «пидарасам».

Всё это происходит в ноябре,  
в шестнадцатом году, воскресной ночью.  
Ночь тянется нашествием тире,  
натравленными ямбом на подстрочник.  
Вокруг ни фонаря: в тридцать седьмом  
здесь был маяк, но, веря слухам местным,  
он пал бесславной смертью, как нарком,  
замешанный в контактах с Тухачевским.

Ссутилившись, не ветер, а весло  
приводит воду в трепет, чтобы шепот  
забился вглубь, в чугунное жерло  
фрегатной пушки: «Вера в серп и молот, –

мы еле слышим, – это вера в идеал,  
который вечен и всемогущ, так как  
он верен, и о нем шептался Карл  
уже не Маркс, но все-таки не Радек».

### ЖИЗНЬ ВНЕ ЭПИГРАФА

Суббота в Оране наступила на три дня позже,  
чем Марди Гра. По аллеям с криками «Боже!»,  
то есть «Мон Дьё!», бежали Рамбер и крысы,  
в поисках лилий или хотя бы кипарисов.

Оран – обычный город: немного занудный,  
чересчур солнечный, вымощенный вдоль безлюдных  
улиц, являющий с колокольни собора  
дилемму не звонаря, а, скорее, Пифагора.

Был полдень, обыкновенный полдень, что в марте  
напоминает рассвет, точнее, анти-  
закат, когда под петушиные крики  
раздается *soprano castrato* из «Орфея и Эвридики».

### IN RETROSPECT

Прекрасная улица, где жил то Константин, то Марк,  
где фонари освещали кое-как  
мансарду художника в берете, гневно  
писавшего с натуры Полину Сергевну.

Прекрасная – и звезды врасплох, на холсте,  
четвертого февраля предсказуемо не те,  
обещанные в октябре, кажется, двадцать второго,  
под надписью «Здесь были Лена и Лёва».

А дальше – всё строго по правилам, на стене  
записанным, но забытым, когда в огне  
быстрее художника гибнут мольберт и картины,  
под взгляд растерянной и обнаженной Полины.

*Нью-Йорк*

## Эдуард Хвиловский

### ВЕК НЕ РАВЕН СУДЬБЕ

Бывает, что смерть приходит в лице распрекрасной феи  
и, тысячью ярких радуг, являет свою красу.  
Боюсь, что и не сумею сказать мудрецу халдею,  
что в красочной упаковке кончину свою несу  
туда, где уже не слышно ни голоса, ни клаксона  
и где возвещает утро назначенный бутафор,  
где нет ни конца с началом и ни молодца-резона,  
поскольку уже разбился остаточный светофор.

Взлетели сплошные миги на полном своем форсаже,  
и спрятался за кручину последний большой медведь,  
и не было там нисколько, нисколько там не было даже  
того, что весенним утром положено так хотеть.  
Еще хорошо успелось, еще хорошо случилось  
вдохнуть, хоть и с перепугу, свежайших, воздушных масс,  
но всё через день умчалось, но всё через день свернулось  
и рухнуло в два каньона в последний из первых раз.

Столкнулись с торнадо милым, столкнулись с торнадо главным  
и крыши, и даже ниши, и с ними колокола,  
отлитые невозможным, большим устремленьем славным  
в веках, из которых вышли сегодняшние дела.  
Прощай, дорогое время, прощай, болевая масса, –  
сегодня ведь годовщина ганзейских больших времен.  
Я не удержал ни стрелки, ни уровня ватерпаса,  
за что по законам нашим немедленно был казнен.

### ОПТИЧЕСКАЯ ЛИРА

Последний всплеск последнего приюта,  
последняя воздушная квартира,  
последний залп последнего салюта,  
последняя оптическая лира.

Все свечи зажжены, и без подсветки  
картины возвращаются на стены

без всякой предварительной разметки –  
при помощи желания и пены.

Манок не слышен – только дуновенья,  
и знаков нет на белой этикетке,  
нет с виду восхищенного мгновенья,  
как нет и хода мыслей у лорнетки.

Улыбка так подсвечена за строчкой,  
что написавший тоже улыбнулся  
и, не окончив то, что начал точкой,  
вошел в картину и не оглянулся.

### ЗА КРЕСТОВИНОЙ

Дитя уснуло, друг ушел в поход,  
а дева с челноком челночит долю,  
бродяга бродит у резных ворот,  
невольник опосредует неволю;

объездчик объезжает свой надел,  
волна волну как будто настигает;  
судья загружен, – очень много дел,  
и тень собачку снова догоняет.

Безропотен, фиксирую размер  
наделов пустоты, дождя и солнца –  
и это не измученный пример,  
а жизнь за крестовиной у оконца.

\* \* \*

Теряя самое дорогое,  
возводишь очи, а после – руки  
и зришь всегда расписное горе,  
следы разломов, цвета разлуки.

Органы с флейтами не помогут, –  
у них своя непростая доля,  
как и у тех, что смеются, стонут  
там, где и воля, и где неволя,

и то, что выпало мокрой картой  
на стол нисколько и не зеленый,  
и не покрытый глухим азартом  
там, где бывало подчас такое,

что плыли вёсны вдоль лет и пыли  
и вычитались, и умножались,  
и где нирваны любые были,  
и где помпеи от них остались.

### СОВПАДЕНИЯ

Из ниоткуда. Может быть, из знаков,  
из чисел и астральных притяжений,  
где никому никто не одинаков,  
как мнение разбросу прочих мнений.

Звучанье неизвестных миру звуков  
в присутствии молекул кислорода  
и перебор каких-то перестуков  
у выхода — чтобы потом у входа.

То совпадений жизнетворный случай  
в штрихах смертельно-чувственного ряда,  
не худший и не лучший, — просто тучей  
несущийся над смыслом рая-ада.

### ЧАЙ

Латунен неизбывный чайник  
в осатанелости мирской,  
воды и чайных дел начальник,  
несущий службу год восьмой.  
При нем салфетка расписная,  
заварка, чашки и щипцы  
для сахара и вязь живая,  
и листьев чайных огольцы-  
чаинки, одиноки внешне  
и внутренне, как ты и я,  
медлительны и безуспешны  
на ярмарке у бытия.

Теней случайных совпаденье  
со складками несет уют.  
Здесь за такие угощенья  
оплату вовсе не берут.

### ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

Случайный гость в водовороте жизни,  
он испытал биение частот  
любви о лоб и тризны укоризны  
за всё, что, слившись, не попало в рот.

Он был гоним, растоптан и опознан,  
забыт и выбит – а потом воскрес  
в тумане непрозрачностью морозном  
вне треб, каждений, милостей и месс.

Примкнул к кругам, потом примкнул к квадратам,  
у эллипсов в провинциях живал,  
был дедушкой и дядюшкой, и братом  
и фильмы о рождениях снимал.

Был награжден людьми, зверьми, дарами,  
потом отторгнут от больших сосцов,  
разметил полушария следами  
и выковал немало образцов

любви и нелюбви, и почитаний,  
и охлаждений, и больших миров,  
и радостей заслуженных страданий,  
и явных видений не явных миру снов,

был всем, кем так хотел неоднократно,  
и тем, что по душе и по уму,  
и было всё живоительно приятно...  
В конце сказал: «Всё это ни к чему».

*Нью-Йорк*



# ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

## Письма К. Бальмонта А. Кусикову

*Из архива В. Ф. Маркова*

Среди огромного архива эмигрантского литературоведа и поэта Владимира Федоровича Маркова (1920–2013)<sup>1</sup> встречается немало интересного материала, касающегося его научных интересов. В том числе здесь есть копии четырех неопубликованных писем корифея русского символизма Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1943) поэту-имажинисту Александру Борисовичу Кусикову (1896–1977) за 1922 год. Письма Бальмонта проливают свет на ранний период его жизни за рубежом. В них он делится своими творческими планами и надеждами. Видно, как он стремился расширить свою аудиторию, пытался выйти на французского читателя, но и, в то же время, сохранить русского. Можно предположить, что копии писем Бальмонта сделаны самим Кусиковым. Сам же архив Кусикова исчез и неизвестно, сохранился ли он вообще.<sup>2</sup>

Взаимоотношения Бальмонта и Кусикова были продолжительными и весьма глубокими. Бальмонт поощрял ранние поэтические опыты Кусикова<sup>3</sup>, принимал участие вместе с ним в двух поэтических сборниках – «Жемчужный коврик» (М., 1918)<sup>4</sup> и «Мы» (М., 1921). В январе 1919 года Бальмонт и Кусиков вместе выступали с чтением стихов на «вечере поэтов» в Всесоюзном клубе поэтов<sup>5</sup>. Когда 29 марта 1920 года праздновали 30-летие творческой деятельности Бальмонта, Кусиков приветствовал юбиляра от имени поэтов-имажинистов<sup>6</sup>. Вскоре после этого вечера Бальмонт навсегда покинул Советскую Россию<sup>7</sup>. Через два года эмигрировал и Кусиков – сначала он появился в Берлине, а потом переехал в Париж<sup>8</sup>. К 1930 году он окончательно отошел от литературы и жил тихо и уединенно во Франции до своей смерти.

*Ж. Шерон*

---

1. Шерон, Ж. В. Ф. Марков // Энциклопедия русского авангарда. Т. 2. – М., 2013. – Сс. 108–109.

2. Еще при жизни Кусикова некоторые документы из его архива были похищены, а потом при загадочных обстоятельствах возвращены. См.: *Р[оман] Г[уль]*. Письма писателей: письмо Сергея Есенина / «Новый Журнал». Кн. 95 (июль). 1969. – Сс. 227–230.

3. Марков отметил присутствие метрики Бальмонта в стихах Кусикова. См. *Марков В.* Очерк истории русского имажинизма (1919–1927) / Москва-Екатеринбург, 2017. – С. 160. Бальмонт в своем сборнике «Дар Земле» (Париж, 1921) посвятил Кусикову стихотворение «Джигутуй» (Сс. 46–47).

4. О появлении сборника Бальмонт написал жене: «‘Жемчужный коврик’ (где я вывожу в свет двух молодых поэтов)». См.: *Андреева-Бальмонт Е.* Воспоминания / М., 1996. – С. 510. В сборнике, помимо Бальмонта и Кусикова, участвовал некий А. Случановский.
5. *Галушкин, А.* Литературная жизнь России 1920-х годов. Москва. Петроград. 1917–1920 гг. / Т. 1; часть 1. // Москва. 2005. – С. 344.
6. Там же. – С. 536.
7. Марина Цветаева в своих известных воспоминаниях «Герой труда» указывает, что Кусиков был среди тех, кто провожали Бальмонта за границу.
8. См.: «Новый Журнал». 1989. Кн. 176 (сентябрь). – С. 228.

## ПИСЬМА К. БАЛЬМОНТА А. КУСИКОВУ

## 1.

*St. Brevin-les-Pins, L. Inf., Villa Ferdinand<sup>1</sup>*  
1922. 27 февраля. Утро.

Любимый Сандро<sup>2</sup>, но это сказка, и самая желанная! Вы – здесь. Почти вот тут, за стеной. Можно обнять Вас, поцеловать, услышать Ваш милый голос и подтрунивающий смех. Вы знаете, все последние дни, уже дней десять, я каждый день вспоминал Вас, перечитывая Вашу книгу...

«О если б знали вы, как сладостно аукать  
В пещере дум любимые слова!»<sup>3</sup>

Вот, милый братишка мой, эти две строки – пленительны, и вся моя душевная жизнь – в воплощении, напевном перевоплощении моего детства и юности, с которым я сейчас аукаюсь. Я пишу роман<sup>4</sup>. Я тоскую. Я пропадаю и выплываю. Я молюсь и пою.

Вас целуют: Бальмонт, Мирра<sup>5</sup>, Елена К.<sup>6</sup>, Анна Никол.<sup>7</sup> Я же шлю все нежные приветы Вашему папе, маме, Люси<sup>8</sup>, Любочке<sup>9</sup>, Трумму<sup>10</sup>. Сандро, я пишу тотчас, и напишу больше. Пока, обнимаю Вас. И знайте, что так, как Вас, никого не люблю.

Ваш Бальмонт.

P.S. Я наверно приеду в Берлин, но не тотчас. А приезжайте лучше ко мне сейчас.

---

1. В эмиграции Бальмонт долгое время жил в разных французских деревнях в Бретани.  
2. Так друзья называли Кусикова.  
3. Стихи Кусикова из его поэмы «Искандар-Намэ» (М., 1921–1922).  
4. Автобиографический роман Бальмонта «Под новым серпом» вышел в Берлине (изд-во «Слово») в 1923 году.

5. Мирра Константиновна Бальмонт (1907–1970) – дочь Бальмонта от третьего брака.
6. Елена Константиновна Цветковская (1880–1943) – третья жена Бальмонта.
7. Анна Николаевна Иванова (1877–1939) – ближайший друг семьи Бальмонта.
8. Люси – сестра Кусикова.
9. Не удалось выяснить личность.
10. Антон Трумм – муж сестры Кусикова.

## 2.

*St.Brevin-les-Pins*

*1922. 6 марта.*

*L.Inf.,*

*Villa Ferdinand*

Мой милый, милый Сандро, получив Ваше письмо, я так обрадовался, и все мои так обрадовались, что следующие дни мы ежедневно говорили о Вас, вспоминали, обсуждали, как нам скорее свидеться, мне ли ехать в Берлин или Вас звать сюда, в эту начавшуюся весну, с цветущими деревьями мимозы, с запевающими малиновками, зябликами, дроздами, лесными жаворонками, так хрустально звенящими, со стаями морских куличков, курлы, и вот лишь сейчас я чувствую, что все-таки, несмотря на все эти ощущения, Вы, хоть близко, но далеко, я в Бретани, а Вы в Германии.

Мой дорогой, я Вам ответил тотчас же, но бегло. Мне сейчас ехать в Берлин нет мыслимости, хотя я здесь бедствую. Среди проклятой дороговизны, среди подлого безучастия французов и тупоумного равнодушия, а частью и вражды русских буржуев (раса гнусная!) как не бедствовать? Много раз, замерзая, как в Москве, и часто не имея на что купить еды для своих и папирос для Елены и себя, я вспоминал Ваше ласковое смеющееся лицо перед моим отъездом за границу и Ваши слова: «Как Вы будете? Ведь Вы погибнете. Разве Вы и Елена Константиновна можете быть без старших?» Вы разумели себя старшим, и это было очень мило. Да, мы часто погибаем. Но Бог милостив, пока еще не погибли.

Сейчас у меня есть кое-какие надежды, хотя шаткие. Какие именно? Одна, которой я очень дорог и которая мне очень дорога, хочет издать 2-3 книги. Не знаю, выйдет ли что из этого. Выяснится недели через две или три. Потом французский издатель Bossard скоро будет печатать мою книгу «Visions Solaires», «Солнечные Видения» (Мексика, Египет, Индия, Япония, Океания<sup>1</sup>). Это даст мне (так, в

мае) три тысячи франков. Потом два-три французские журнала напечатают что-то из моих стихов и очерков. *Quantite negligible*<sup>2</sup>. Вот и всё. На это, конечно, в точности можно только пропадать. Но и этого было бы так трудно добиться, что переехать сейчас в Берлин, значит потерять и это, а с этим последний мостик. Нужно подождать и настоять на попытке.

Но, думаю, Берлина мне не избежать, а если он раньше мне был нежеланен, с Вами он делается милой обителью, и с Вами, любимый Сандро, я хоть к черту в пасть полезу.

Пишу я роман, как я сообщал. Это большая вещь, я в нее вложил свои детские и юношеские воспоминания. Очень бы хотел прочесть Вам.

Недели через две собираюсь быть в Париже, чтобы хлопотать об его помещении. Как думаю, пробуду там несколько недель.

Стихов писал много. Но они покоятся в виде рукописи.

Расскажите мне о себе, Сандро, о Борисе Карповиче<sup>3</sup>, о всех Ваших, милых и мне дорогих.

Встречали ли Вы Варю Бутягину<sup>4</sup>? Что она? Юргис<sup>5</sup>? Марина<sup>6</sup>? Вячеслав<sup>7</sup>? Брюсов<sup>8</sup>? Встречали ли Вы Екатерину Алексеевну Бальмонт<sup>9</sup>? Нину Бруни-Бальмонт<sup>10</sup>?

Как Ваш арабский?

Что хотите делать и печатать? Как уехали<sup>11</sup>?

Еще. Можете ли оказать мне услугу? Мне нужно послать 6 небольших томов Гофмана<sup>12</sup> (по-русски) Ек. Ал. Бальмонт, которой поручено их проредактировать за 5 миллионов за том. Если я их Вам прислал бы, не могли ли бы Вы с какой-нибудь оказией переслать в Москву?

Мой милый, напишите мне поскорее и побольше. Мои Вас целуют и я обнимаю. Привет Вашим.

Сердцем Ваш

К. Бальмонт.

P.S. Если бы Вы собрались к нам сюда погостить, это было бы красиво и желанно, как сказка. Елена добавляет: «Без всяких ‘бы’ через месяц или даже через неделю быть здесь». Миррочка добавляет: «Нарушив обет родительский, нашла для Вас невесту-бретонку, очень хорошенькую в профиль, прямо красавица».

---

1. Книга Бальмонта о его многочисленных путешествиях по всему свету вышла в издательстве Боссара; см.: *C. Balmont. Visions Solaries: Mexique – Egypte – Inde – Japon – Oceanie* / Paris, 1923.

2. Ничтожное количество (*фр.*)

3. Борис Карпович – отец Кусикова.
4. Варвара Александровна Бутягина (1900–1987) – юная поэтесса, начала писать стихи в 9 лет. Политический нажим на литературу заставил Бутягину рано уйти из нее (после 1932 года ее стихи больше не встречаются в советской печати).
5. Юргис Казимирович Балтрушайтис (Jurgis Baltrušaitis, 1873–1944) – поэт и сторонник символизма. После революции – посол Литвы в СССР.
6. С Мариной Цветаевой (1892–1941) Бальмонт дружил много лет.
7. Вячеслав Иванович Иванов (1866–1949) – поэт и теоретик символизма. Написал две обстоятельные статьи о творчестве Бальмонта.
8. Любопытно, что в своих письмах Кусикову того же периода поэт Валерий Брюсов (1873–1924) также интересовался судьбой Бальмонта; см. *Nivat, G. Trois correspondents d' Aleksandr Kusikov / Cahiers du Monde russe et soviétique*, 1974, XV (1-2), janv.-juin. – Pp. 204-205.
9. Екатерина Алексеевна Бальмонт (1867–1950) – вторая жена Бальмонта. В советские времена занималась переводами.
10. Нина Константиновна Бальмонт-Бруни (1901–1989) – дочь Бальмонта от второго брака.
11. Кусиков приехал в Берлин в командировку. Через год он станет «невозвращенцем».
12. Э. Т. А. Гофман (1776–1820) – немецкий сказочник.

## 3.

43, rue de la Tour,  
XVI, Paris.  
1922. 15 апреля.

Мой милый Садро, я Вам долго не писал, в душе была пытка и смута. Я живу здесь в бесполезном вихре, среди людей, в которых мало правды. У меня есть несколько близких, но этого не довольно. И когда я вспоминаю наши свидания в Москве, я знаю, что такие лики, как мой любимый Сандро, не повторяются.

Милый, я хотел приехать к Вам в Берлин, наводил разные справки, предпринимал разные хлопоты, нет, сейчас приехать мне к Вам нельзя. Да я и мог бы Вам очень повредить, если бы приехал. Ведь мои выступления всегда в резкой форме противобольшевистские, а Вы возвращаетесь в Москву. Я этого не знал. Если Вы сможете задержаться за границей, лучше приезжайте ко мне в мою тихую Бретань (St. Brevin-les-Pins, Loire Inferieure, Villa Ferdinand). Вы бы погостили у меня. Ведь это не невозможно. Вы могли бы получить в некоем West-Ost-Департаменте немецкий паспорт, а с ним и французскую визу. Так мне сказали здесь. У меня влиятельных связей нет.

Я остаюсь в Париже еще неделю и уезжаю в Бретань. Мой милый брат, Ваше письмо было такое растерзанное. Вам очень тяжело, я знаю. Мне хотелось бы обнять Вас, сказать Вам, что я всем сердцем люблю Вас.

Елена шлет Вам ласковый привет. Ей очень хотелось бы, чтобы Вы приехали к нам. Приезжайте, Сандро! Ведь Вы сможете всё, если захотите!

Милый, любимый, братски целую Вас.

Ваш К. Бальмонт.

P.S. Приехала ли Марина<sup>1</sup>? Не знаете ли чего о брате Елены<sup>2</sup>? Где он?

10.23 марта скончалась Т. Ф.Скрябина<sup>3</sup>.

Сандро, верное сердце, целую Вас.

---

1. Имеется в виду Марина Цветаева, которая эмигрировала из Советской России 11 мая 1922 года.

2. Константин Константинович Цветковский (1883–1955).

3. Татьяна Федоровна Скрябина (1883–1922) – вторая жена композитора А.И. Скрябина, с которым Бальмонт дружил много лет.

4.

*St. Brevin-les-Pins, L.Inf.*

1922.V.17

Мой милый Сандро, если Вы будете в Берлине и осенью, мы наверно увидимся с Вами. Но раньше осени не смогу, вряд ли смогу, попасть в Германию. В этом очень много личных обстоятельств и сердечного, и материального свойства, которых распутать, увы, не могу. Я, однако, человек бываю неожиданный – и вдруг могу появиться в Вашей квартире. Всё в воле Алла.

Милый, напишите мне по-человечески о себе подробно. Ваши письма такие взметенные.

Конечно, между нами никакой черной кошки не пробежало. Та белиберда, которую о Вас печатают берлинские и парижские газеты, есть обычный сор.

Ваши стихи, которые Вы мне прислали, мне очень нравятся. Они свежие, как дыхание родного ветра.

Как проводите Вы Ваши дни и что думаете делать?

Письма от Бориса Карповича я не получил.

Я кончаю свой роман, т. е. принялся за 3-ю, и последнюю, часть. Стихи от меня упорхнули уже довольно давно.

Я живу и не живу, живя за границей. Несмотря на все ужасы России, я очень жалею, что уехал из Москвы.

Обнимаю и люблю Вас по-прежнему. Елена, Миррочка и Анна Ник. шлют приветы.

Ваш К. Бальмонт.

P.S. Гофмана, пожалуйста, перешлите Ек. Ал. Бальмонт, Арбат, Б[ольшой] Николопеск[овский] п[ереулок], 15.

А не сможете ли Вы переправить башмаки (подержанные или, возможно, и новые?)? Я бы прислал.

*Публикация – Ж. Шерон*

Лариса Вульфина

## «Глобусные человечки»\*

*Переписка Алексея Ремизова и Натальи Кодрянской с  
Федором Рожанковским. 1946–1953*

Вышедший в 1950 году в Париже сборник сказок русской писательницы Н. В. Кодрянской давно уже стал библиографической редкостью. Идея его создания принадлежала А. М. Ремизову, почитавшему талант сказительницы, вступившей на литературный путь. «...Из современников два дорогие мне имени: Пришвин и Кодрянская. Пришвин будет мне сын, а Кодрянскую назову внучка. Как я радовался встрече с Пришвиным: леший! Как радуюсь всегда Кодрянской: лесавка... Душа Кодрянской овеена сказкой. Откуда в ее сказках такая неправдашная жизнь и неожиданное в нашем дневном понимании? Сказке – никакая книга не научит. Сказка идет не из головы, а прямо от сердца. Она и сама не знает – какой омут ее сердце. Сказки Кодрянской – поэзия и волшебство...», – напишет Ремизов в предисловии к этой книге<sup>1</sup>.

Желание издать произведения любимой «ученицы» высказывалось им еще в конце тридцатых годов, но война, оккупация Парижа, в 1943 году – кончина жены Серафимы Павловны Ремизовой-Довгелло, – все эти потрясения заставили писателя на несколько лет закрыться от мира. И только в конце 1945 года он снова вернется к задуманному и напомним «внучке», к тому времени переехавшей в Нью-Йорк, о несбывшейся затее: «Три года я не писал; после смерти Серафимы Павловны, живя в затворе, я снова начал – без этого я жить не могу, Вы знаете. А помните, мечтали о сборнике, где будет Ваша сказка и мое сказочное?»<sup>2</sup> Это письмо становится отправной точкой «сказочного» замысла – до его исполнения в 1950 году, когда сборник с чудесными рисунками Натальи Гончаровой, наконец, увидел читатель.

Но мало кто знает, что изначально оформителем книги Ремизов видел другого художника. Федор Степанович Рожанковский (1891–1970), иллюстратор литературы для детей, изумительный анималист, –

---

\* Автор выражает глубокую признательность Татьяне Федоровне Рожанковской-Коли за ценные уточнения и дополнения и благодарит за помощь Надежду Сливак, сотрудника архива Центра русской культуры Амхерст Колледжа.



только он, по убеждению Алексея Михайловича, был способен «очудесить» сказки его дорогой «птички-кукуни». «Верю в сказочный дар Кодрянской, верю в магию Ваших зверей» – писал Ремизов Рожанковскому еще за два года до выхода книги<sup>3</sup>.

Удивительный художник, покоривший детские и взрослые сердца читателей Европы и Америки, долгое время оставался известным в России лишь узкому кругу специалистов. И только в последнее десятилетие его имя, наконец, зазвучало на родине – стали появляться отдельные статьи (М. Сеславинского, О. Мяозтс, С. Бычкова, Л. Вульфиной), выходить книги с его иллюстрациями. Причем российской аудитории Рожанковский впервые был представлен издателями как мастер эротического рисунка – его блистательными чувственно-фривольными иллюстрациями была «озвучена» интимная лирика классика французской поэзии XIX века Беранже<sup>4</sup>. В период французской эмиграции Рожанковский действительно был известен не только как детский иллюстратор, но и как признанный мастер эротического рисунка.

Первая и пока единственная книга о художнике вышла в США в 2014 году. Американские библиофилы Ирвинг и Полли Аллен провели большую работу, составив полную библиографию изданий художника, проиллюстрировавшего за полвека жизни в эмиграции более ста тридцати детских книг<sup>5</sup>. К большому сожалению, в силу финансовых трудностей, бумажная книга вышла без иллюстраций (около пятидесяти репродукций и фотографий были представлены лишь в электронном ее варианте). Появившаяся возможность дальнейшего исследования наследия Ф. Рожанковского, внимательное изучение его объемного эпистолярного архива позволили восстановить множество интереснейших деталей, неизвестных ранее дат, событий, имен, высветить немало новых биографических фактов, не вошедших в американское издание. На базе семейного архива, предоставленного автору этой статьи дочерью художника Татьяной Федоровной Рожанковской-Коли, в настоящее время ведется работа над русскоязычной монографией о Ф. Рожанковском.

Все годы, проведенные в эмиграции, художник мечтал рисовать для русских детей. «Я без Родины не выживу ни в самом Париже», – открыто заявлял он друзьям, не все из которых разделяли его «совпатриотический настрой». В шестидесятые годы Рожанковский несколько раз приезжал в Советский Союз, но окончательного возвращения домой не произошло<sup>6</sup>. В настоящей статье рассматривается переписка А. Ремизова и Н. Кодрянской с Ф. Рожанковским в 1946–1953 годах, когда обсуждалось издание двух книг Кодрянской («Сказки» и «Глобусный человечек»). Для читателя, незнакомого с биографией художника, обозначим коротко «штрих-пунктирные» вехи.

Ф. Рожанковский родился в Митаве (ныне – Елгава, Латвия) в семье инспектора учебных заведений, окончил Александровскую гимназию в Ревеле (ныне – Таллинн, Эстония) и в 1911 году отправился в Москву получать художественное образование. Обучение студента Московского училища живописи, ваяния и зодчества было прервано войной. Осенью 1914 года его призвали в действующую армию. Три с половиной года он служил офицером в Дагестанском пехотном полку, был ранен, имел награды. Тогда же и появились в журналах «Солнце России» и «Лукоморье» его первые фронтовые зарисовки. В начале Гражданской войны Рожанковский оказался в Полтаве (в имении своей старшей сестры), в 1919-м был мобилизован в Добровольческую армию. Заболев тифом, в бессознательном состоянии он попал в львовский лагерь для военнопленных на бывшей тогда польской территории – с этого времени и началась эмигрантская полоса его жизни.

Наследие художника хранит выразительную серию карандашных набросков и акварельных рисунков 1919–1920 гг., по которым можно смело судить – правдивые и, одновременно, гротескные работы выполнены мастером большого дарования. С 1921 по 1925 гг. Федор Рожанковский жил в Польше, работал декоратором в оперном театре в Познани, затем главным художником в издательстве Р. Вегнера (Rudolf Wegner) «Wydawnictwo Polskie». В 1925 году, переехав в Париж, поначалу он много работал в области рекламы, проиллюстрировал три книги своего друга Саши Черного («Живая азбука», 1926, «Дневник фокса Микки», 1927, «Кошачья санатория», 1928). В начале тридцатых годов большую известность Рожанковскому принесла книга «Даниэль Бун» («Daniel Boone», 1931) – о приключениях легендарного охотника среди американских индейцев. Книга вышла в издательстве «Домино Пресс» (The Domino Press), которое в Париже основала американская писательница Эстер Аверилл<sup>7</sup>. Вскоре художник полностью ушел в детскую иллюстрацию, воплощая в рисунках и красках затейливые выдумки остроумного педагога Поля Фоше, основателя издательства «Фламарион» (Flammarion), скрывавшегося в детской книжной серии под псевдонимом Père Castor.

О талантливом художнике тогда уже писали и говорили. В 1935 году среди славной плеяды «русских парижан», трудившихся для возрождения детской книги во Франции в межвоенный период (И. Билибин, Н. Парэн, Н. Альтман, Е. Гертик, Ю. Черкесов, А. Экстер, А. Шем (А. П. Шеметов), Н. Гончарова), Александр Бенуа отдал пальму первенства Рожанковскому, назвав успех этого художника великим, а книги с его рисунками – бесценными<sup>8</sup>.

К середине тридцатых годов Рожан (Rojan – так он подписывал свои работы в период французской эмиграции 1925–1941 гг.) был уже хорошо знаком с Ремизовыми. Знакомство состоялось благодаря дружбе Рожанковского с его соседями по Плесси Робинсон<sup>9</sup> – Николаем Евреиновым, семьями Сосинских, Андреевых и Резниковых<sup>10</sup> – верными помощниками Алексея Михайловича и Серафимы Павловны. Рожан был даже посвящен в члены созданного Ремизовым еще в России знаменитого братства «Обезвельопал» («Обезьянья Великая и Вольная Палата»). В 1937 году Рожанковский стал кавалером ордена с собственноручной подписью обезьяньего царя Асыки, стоявшего во главе этого «тайного общества», от имени которого Ремизов выдавал своим друзьям «обезьяньи» грамоты. На грамоте с завитками и усиками Рожанковский собственноручно написал: «оправил и повесил – красива!»<sup>11</sup> Дальнейшая судьба этого памятного документа теряется. Известно лишь, что после отъезда Рожанковского в Америку в 1941 году, когда немцы уже подступали к Парижу, кавалерская грамота осталась в Плесси Робинсон в брошенном доме.

В 1938 году Рожанковский помог Ремизову договориться с женой главного редактора вечерней парижской газеты «Paris-Soir» Элен Гордон-Лазаревой<sup>12</sup>, отвечавшей в те годы в газете за детскую рубрику, опубликовать сказку о Мышке-морщинке, сопроводив ее своими иллюстрациями<sup>13</sup>.

Об истории дружеских отношений с четой Ремизовых, завязавшихся еще в тридцатых годах, свидетельствуют и письма, хранящиеся в архиве Русского культурного центра в Амхерст Колледже, США. В 1991 году они были переданы в дар американским дипломатом Томасом Витни, президентом корпорации НЖ, вместе с коллекцией русских книг и рукописей, которую он собирал более сорока лет и на базе которой был основан Центр. Витни приятиельствовал с семьей Рожанковских на протяжении долгих лет.

За пятнадцать лет жизни в Париже (в 1941 году художник отправился работать по контракту в Америку и остался там навсегда) Рожан стал любимым детским художником для нескольких поколений европейцев. Легкость, с которой он переходил от одного сюжета к другому, его умение несколькими меткими характерными штрихами передать очаровательную грацию зверьков, мгновенно перенести читателя из реального мира в сказочный, восхищает и изумляет. Трудность и разнообразие сюжетов его не пугали. Животные, птицы, предметы, деревья – всё жило в его остро схваченных и наполненных неподдельным юмором рисунках. Составляющими магической формулы универсальности этого художника была «четкая простота и безмятежность рисунка, обращение к ребенку как к равному, отсутствие

надуманной детскости, ‘искусство, а не искусственность’», – так писал о Рожанковском его друг художник-график Фриц Эйхенберг<sup>14</sup>.

Подписанный в 1941 году контракт с французским издателем Джорджем Дюпле (G. Duplaix), главой Гильдии художников и писателей (Artists and Writers Guild), позволил Рожанковскому покинуть Европу накануне войны. Получив право на въездную визу в США, он одновременно приобрел возможность безопасно и благополучно жить в военные годы, помогая родным и друзьям, оставшимся в Европе. В семейном архиве сохранились письма близкого друга Рожанковского графа Н. Д. Татищева, свидетельствующие о помощи художника. Продуктовые посылки, которые он регулярно отправлял во Францию, помогали Николаю Дмитриевичу и двум его маленьким сыновьям, оставшимся в самом начале Второй мировой войны без матери, не умереть от голода.

Оказавшись в Новом Свете, Федор Рожанковский начнет свою головокружительную для эмигранта карьеру, получая заказы от крупнейших американских издательств. К тому времени в Штатах жила и Наталья Кодрянская, сменившая свое имя на Natalie Codray. В 1943 году она даже побывала на выставке работ Рожанковского в нью-йоркской Публичной библиотеке и была очарована его работами. На выставке была представлена книжная серия французского издательства «Фламарион», книги «Домино Пресс» и ряд изданий, которые он иллюстрировал уже по приезду в Новый Свет. Чтобы лучше познакомиться американскую публику с творчеством недавно приехавшего русского художника, кроме детских книг была показана и живопись: посетители выставки увидели залитые солнцем акварельные пейзажи Центральной Франции, а также рисунки к сборнику сказок Киплинга, подготовленные Рожанковским уже в Америке. Этот сборник имел исключительный успех и был назван литературной комиссией, членом которой состояла Элеонора Рузвельт, лучшей книгой августа 1942 года.

Еще одна книга – «Сказки Матушки Гусыни» («The Tall Book of Mother Goose»), вышедшая с иллюстрациями Рожанковского в 1942 году, уже через год побила рекорд тиража в 100 000 экземпляров и была не раз переиздана, продолжая оставаться редкостью на книжном рынке. Художнику повезло – Америка приняла его не как эмигранта, а как желанного гостя. Забегая вперед, скажем, что настоящая слава ожидала Рожанковского в 1956 году, когда художник получил Золотую медаль Кальдекотта – престижную награду США, присуждаемую ежегодно за лучшую проиллюстрированную детскую книгу.

Но вернемся в сороковые годы. В 1946 году Кодрянские снова вернутся во Францию, будут подолгу жить в Париже и всячески поддерживать Ремизова. В том же году Алексей Михайлович впервые

обратится к Рожанковскому с предложением «дать запевы» к сказкам Кодрянской. Об этом свидетельствуют и письма из архива Рожанковского, которые приводятся в этом номере. Вероятно, какие-то звенья этой эпистолярной цепочки были утрачены (архив художника сильно пострадал в шестидесятые годы от наводнения), письма разорваны по времени (1946; 1948; 1949; 1953), но все они связаны одной темой и позволяют предположить, почему Рожанковский так и не стал иллюстратором сказок Натальи Кодрянской.

К середине 1940-х годов драконовские условия контракта между ним и издателем стали для художника невыносимыми. По правилам договора он не имел права участвовать ни в каких других книжных проектах, которые не имели отношения к Гильдии; к тому же, четверть всех доходов отчислялась его американскому агенту Иосифу Ривкину<sup>15</sup>. Расторгнуть контракт в 1946 году, на что так надеялся Рожанковский, по ряду пунктов, прописанных в этом кабальном для художника документе, не удалось. По условиям этого контракта не допускалось расторгать его в одностороннем порядке, как и не разрешалось заключать параллельные договоры. Удалось лишь немного облегчить отдельные пункты контракта и снизить процентную «мзду» Ривкину. Разрешение на участие Рожанковского в издании парижского сборника Кодрянской так и не было получено. От ненавистного контракта художник освободится навсегда лишь в 1951 году.

В 1949-м переписка по поводу сборника обрывается, а еще через год «Сказки» выйдут из печати с рисунками Натальи Гончаровой. К счастью, невозможность довести до конца начатый проект не повлияла на дружбу «трех сказочников». На книжной полке художника в его американском доме вскоре появится изданный в Париже сборник с теплым автографом Натальи Кодрянской: «Дорогому Федору Степановичу в знак искренней дружбы и восхищения. 5 декабря 1950. Париж». О том, что эта дружба была продолжена, свидетельствует последнее из публикуемых писем, датированное 1953-м годом. В нем А. Ремизов вновь обращается к Ф. Рожанковскому по поводу издания уже другой книги Н. Кодрянской – «Глобусный человек». И этот совместный проект состоялся.

Сказка о девочке Дикси и поселившемся в ее глобусе добром волшебнике, наделенным Рожанковским очевидным внешним сходством с Ремизовым, вышла в Париже в 1954 году. В архиве Федора Степановича сохранился коллажный портрет А. Ремизова, созданный художником во время работы над книгой. На полях портрета Рожанковский написал: «По желанию автора магический персонаж глобусного человечка должен был походить на Ал. Мих. (Алексея Михайловича Ремизова – Л. В.)». А в одной из тетрадей художника

среди рукописных заметок и воспоминаний удалось расшифровать карандашную запись из пляшущих и наезжающих друг на друга букв и слов (делалась она, вероятно, уже «вслепую», под конец жизни у художника были большие проблемы со зрением): «...К слову о моем дружеском шарже. Интерпретируя героя Глобусного человечка, я пытался изобразить его добрым существом и придать по возможности сходство с А.М., о чем он со мною письменно сам договаривался. Я его, милягу, всегда видел в затасканном вязаном пуловере, принимал он меня обыкновенно не особенно авантажно, одетый в этом смысле без хозяйского глаза Серафимы Павловны. И вот захотелось мне его представить в параде – во фраке с лентой орденой царя Асыки и основателя Обезвельволпала. Роднит меня с ним не только моя любовь к нему – писателю, но и мастеру, художнику-графику, колористу, каллиграфу и работяге. До самой смерти он работал»<sup>16</sup>.

Книга об удивительных путешествиях во времени по странам и континентам глобусного человечка, девочки Дикси и ее кота Блэка включала двадцать рисунков Ф. Рожанковского и пять литографий, выполненных по рисункам художника в знаменитой мастерской Фернана Мурло<sup>17</sup>. «Милая книга, к тому же изданная превосходно. Прелестны иллюстрации Рожанковского, светлые и нарядные», – писали в эмигрантской газете «Русские Новости»<sup>18</sup>.

Что объединяет героев публикуемой переписки? Отчаянные фантазеры, сказочники в несказочное время, они жили и творили в эмиграции, корнями своими оставаясь накрепко связанные с русской культурой. Чудесное не покидало никого из них даже в самые трудные будни. До конца жизни они наблюдали мир детскими глазами и главными их героями чаще всего были дети, звери и птицы. Все они – «глобусные человечки», ведущие как маленького, так и взрослого читателя и зрителя по чудесным мирам.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Кодрянская Н.* Сказки / Париж. 1950. – С. 15.
2. Письмо А. Ремизова к Н. Кодрянской от 29-30 ноября 1945 / *Н. Кодрянская.* Ремизов в своих письмах // Париж. 1977. – С. 30.
3. Письмо А. Ремизова к Ф. Рожанковскому от 7 апреля 1948 / Семейный архив Ф. Рожанковского (далее – САФР).
4. *Беранже, Пьер-Жан.* Галантные песни / «Вита-Нова», 2009. Следующей книгой, изданной в России, была сказка Н. Кодрянской «Глобусный человечек» (Русский мир, 2012). Книги «Три медведя» (2013). «Лягушонок женится» (2014), «Луговая считалочка» (2015) и «Мишка» (2018) вышли в издательстве «Карьера Пресс».
5. *Allen, Irving, Allen, Polly, with Rojankovsky-Koly, Tatiana.* Feodor

Rojankovsky. The Children's Books and Other Illustration Art / New York, 2014.

6. О том, какие жизненные обстоятельства удержали Рожанковского от судьбы репатрианта, рассказано на страницах «Нового Журнала» / Л. Вульфина. Ф. С. Рожанковский и В. Б. Сосинский. Переписка 1957–1967 // «Новый Журнал», № 294. 2019. – Сс. 149-178.

7. Esther Averill (1902–1992), американская писательница, иллюстратор, издатель.

8. Бенуа, А. Художественные письма / «Последние новости», 5 янв., 1935. – С. 2. Примечательно, что на газетной вырезке со статьей А. Бенуа из этого номера, сохранившейся в архиве Ф. Рожанковского, присутствует и автограф Н. Евреинова «Горжусь своей дружбой с Рожанковским и пою ему 'славу'!»

9. Предмесье Парижа, где Рожанковский жил с 1933 по 1941 год.

10. Владимир Сосинский, Вадим Андреев и Даниил Ремизов были мужьями трех сестер Черновых – дочерей политического деятеля В. М. Чернова.

11. Письмо Ф. Рожанковского к А. Ремизову от 25 октября 1937 / Архив А. Ремизова и С. Ремизовой-Довгелло // Amherst Center for Russian Culture. Box 2. Folder 7. – Р. 40. Н. Кодрянская также имела обезьянье звание. Полученная ею в 1940 году грамота Кавалера Обезьяньего знака I степени с полевой белой ромашкой воспроизведена в книге: Е. Р. Обатнина. Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. (Цветной вкладыш между страницами 330-331) / Санкт-Петербург: Изд-во И. Лимбаха, 2001.

12. Helen Gordon-Lazareff (1913–1988), французская журналистка русского происхождения, жена медиамагната Пьера Лазарева, которая в 1945 году основала журнал «Elle».

13. «Paris-Soir», Париж, 4 июня 1938. – С. 6.

14. Eichenberg, F. Feodor Rojankovsky / American Artist. 1957, January. – Pp. 28-35.

15. Иосиф Александрович Ривкин (Josef Riwkin, 1909, Одесса, – 1965, Париж), переводчик, журналист, редактор. В 1915 вместе с семьей переехал из Белоруссии в Швецию, в 1932–1935 гг. руководил издательством «Спектрум» и был редактором одноименного модернистского интеллектуального журнала в Стокгольме. В шведском переводе Ривкина вышли произведения И. Бабеля, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Осоргина, А. Платонова. С 1939 года Ривкин жил в США. По воспоминаниям современников характер Ривкина был крайне противоречивым, вести дела с ним было сложно.

16. Из дневника Ф. С. Рожанковского. САФР.

17. Fernand Mourlot (1895–1988), признанный мастер литографского дела, владелец популярной студии Atelier Mourlot. В ателье Мурло печатали свои графические работы М. Шагал, П. Пикассо, А. Матисс, А. Джакометти, С. Дали, Ж. Миро, Ж. Брак, М. Утрилло и др.

18. «Русские Новости», № 541, 14 октября 1955. – С. 4 / София Прегель. Разговор с памятью. В 2-х тт. / Сост. В. Хазан. – Москва, 2017. Т. II, кн. I. – С. 480.

# Из семейного архива Федора Рожанковского

1. А. РЕМИЗОВ – Ф. РОЖАНКОВСКОМУ

16.XII.1946

*A. Remizoff, 7 Rue Boileau*

*Paris XVI*

*(В правом нижнем углу – глаголический знак-монограмма А. Ремизова.)*

Дорогой Федор Степанович!

Сказки Н. Кодрянской радуют меня своей подлинной сказочностью. Явление редчайшее. Вы единственный, на мой глаз, только Вы можете дать им запевы – буквы и на буквах зверье и птичье. Я напишу к книге: буду рассказывать о сказке, высшей форме словесного творчества. Я верю, Вы отзоветесь на мое. Всегда Вас вспоминаю.

Алексей Ремизов.

2. Н. КОДРЯНСКАЯ – Ф. РОЖАНКОВСКОМУ

*Б/д (1946?)*

Дорогой Федор Степанович.

Узнала о Вашей женитьбе, от всего сердца поздравляю!<sup>1</sup> Тут у нас ходили слухи, что Вы совсем переезжаете в Россию. Об этом уже говорилось месяца 2-3 тому назад, думала, увижу Вас в Париже. Дело вот в чем, я хочу издать мою книжку сказок. Так примерно сказок 25 и для каждой сказки первую букву из текста хотела бы «зверюшку» или что Ваш гений Вам подскажет. Всё это мне нужно было бы месяца через два, текст сказок Вам пришлю. А также Вы посчитаете, сколько Вы за эту работу хотите, плачу в Нью-Йорке долларами, поручу это Софии Прегель<sup>2</sup>. Это всё, конечно, если Вы согласитесь и захотите сделать рисунки. Как бы я этому была рада, не могу сказать, ведь моя книга с Вашими картинками засияет. Предисловие напишет А. Ремизов, будет и хорошая бумага, и хорошее издание. Очень Вас



прошу мне тотчас же ответить, чтобы я знала, как мне быть. Привет сердечный Вам и Вашей супруге.

Пожалуйста, ответьте на адрес Ремизова.

Наталья Кодрянская

---

1. В 1946 году Федор Рожанковский женился на Нине Георгиевне Федотовой – дочери русского философа Георгия Петровича Федотова.

2. София Юльевна Прегель (1897–1972) – поэтесса, издатель, общественный деятель, редактор литературно-художественного журнала «Новоселье», издававшегося сначала в Нью-Йорке (1942–1949), потом в Париже (1949–1950), близкая подруга Н. Кодрянской. В августе 1946 года С. Прегель напишет Н.Кодрянской: «Радуюсь решению Вашему издать сказки. С Рожанковским, мне кажется, Вы сумеете сговориться, если попадете в Нью-Йорк». (*София Прегель. Разговор с памятью. В 2-х томах / Сост. В. Хазан. – Москва, 2017. Т. II, кн. I. – С. 486*)

### 3. А. РЕМИЗОВ – Ф. РОЖАНКОВСКОМУ

10.II.1948

*A. Remizoff, 7 Rue Boileau*

*Paris XVI*

Дорогой Федор Степанович.

Наталью Владимировну Кодрянскую Вы знаете. Какой исключительный сказочный дар! Мое предисловие к ее сказкам вдохновит Вас изобразить к сказкам обложку. На ней я вижу и мой «чайник» (нос), и Ваше лисавое рыльце. Хорошо бы на 40 сказок хоть 10 картинок в страницу (черное). Формат книги – берлинское издание моих сказок «Царя Асыки»<sup>1</sup>. Обложку вижу в красках. На обложке: Сказки Натальи Кодрянской или Наталья Кодрянская. СКАЗКИ.

Своих книг я больше не жду – русских – а переводы: что-нибудь перепадет только, а появление сказок Кодрянской – м. б., это единственное, чего я жду.

Алексей Ремизов

---

1. *Ремизов, А. Сказки обезьяньего царя Асыки / Берлин, 1922.*

4. А. РЕМИЗОВ – Ф. РОЖАНКОВСКОМУ

7.IV.1948

*A. Remizoff, 7 Rue Boileau, XVI*

*Благовещение / 25 III*

Дорогой Федор Степанович.

Наталья Владимировна мне написала Ваш ответ. А что если только звериную обложку: оживет книга. Чудесные сказки, волшебная обложка, мимо не пройти. Книга будет и на глаз, и на слух. Что сделала Ваша обложка к стихам Печенега, стихи не читают, а книга разошлась<sup>1</sup>.

Верю в сказочный дар Кодрянской, верю в магию Ваших зверей. Если Вам нельзя подписать Ваше имя, довольно будет какой-нибудь закорючки: контракта она не нарушит.

Я так свыкся, вижу эту книгу, и не могу представить это без Вас.

А как Вы обрадуете!

Алексей Ремизов

---

1. Вероятно, речь идет о сборнике стихов Виктора Мамченко «Звезды в аду». Обложка Ф. С. Рожанковского / Париж, 1936–1946.

5. А. РЕМИЗОВ – Ф. РОЖАНКОВСКОМУ

12.VII.1948

Дорогой Федор Степанович.

Не писали Вам, зная, как Вы заняты семейными делами<sup>1</sup>

I) Прилагаем размер обложки.

II) На обложке надпись:

Наталья Кодрянская

Сказки

III) Сами выбирайте, как репродуцировать обложку: все способы воспроизведения теперь в Париже возможны.

IV) Рисунок просим сделать в несколько красок.

Алексей Ремизов

(На второй половине этого же листа:)

Дорогой Федор Степанович.

Вижу книгу, как она горит и манит: верю в магию красно-глазой руки. Ваше волшебство будет талисманом в путь за тридевять земель, в тридевятое царство сказок. Люблю Кодрянскую – верю в ее

сказочный дар. Мне будет дорог на ее книге Ваш рисунок. Буду Вам очень благодарен.

И если скорее пришлете, тем чувствительнее: времени осталось мало. Книга отдается в набор.

(Напишите, как помянуть Вас на титульном листе, где будет город, год и мое имя (предисловие).)

Алексей Ремизов

Mme N. Codray

112 bis Rue Cardinet, Paris XVII

*(На обратной стороне этого же листа – Н. Кодрянская:)*

Дорогой Федор Степанович!

Ничего от Вас тут не слышали, от всего сердца желаю Вам и Вашему семейству – дочь? сын? – счастья! И, надеюсь, Вы теперь найдете часок сесть за Ваш волшебный стол и нарисуете обложку. Сколько буду должна, напишите, всё устрою, как Вам будет удобно.

Жму крепко руку, привет Вашей жене.

Ваша Наталья Кодрянская (Codray)

---

1. Письмо написано вскоре после рождения дочери Рожанковского Татьяны.

#### 6. А. РЕМИЗОВ – Ф. РОЖАНКОВСКОМУ

30.VIII.1948

Дорогой Федор Степанович!

Как я обрадовался Вашему рисунку<sup>1</sup>. Принесла Наталья Владимировна, в лапах держит – «вот и лиса, вот и медведь», и сквозь слова я узнаю то же самое чувство. Картинка напомнила мне: зима, глубокий снег, шмыг полозьев, вчера на Никольской апельсинное солнце, а сейчас как пошел и идет, Рождество на второй день и книга – Ваши цветы и кремовая бумага – сказки. Ждем разрешение от Вашего издателя. Время есть. Пока-то наберут книгу. И если всё будет ладно, на титульном листе:

Наталья Кодрянская

СКАЗКИ

Предисловие Алексея Ремизова

Обложка Ф. С. Рожанковского

Париж

1948

Алексей Ремизов

*(Ниже под письмом Ремизова на той же стороне листа письмо Кодрянской:)*

Дорогой Федор Степанович,

милый Вы человек и большой талант. Ведь Ваше небо оживило и создало настоящую подлинную жизнь рисунка, а звери и ведьма увели в сказку. Спасибо, дорогой, Вам большое. Ждем разрешения, время терпит, а там поговорим и об остальном, что я Вам обещала за рисунок и что и как. Привет сердечный жене Вашей, а Танюшу Вашу горячо целую.

---

1. В архиве Ф. Рожанковского сохранилась черно-белая фотография проекта обложки к сборнику сказок Н. Кодрянской, а также оригинальный цветной рисунок для этой обложки. Вероятно, они и были отправлены в Париж летом 1948 года. Из письма от 9 августа 1948 года Ремизова к Кодрянской: «...От Рожанковского письмо 4.VIII получил 7.VIII. Одновременно высылает рисунок. Но печатать нельзя до его извещения. В случае отказа его издателя, рисунком можно воспользоваться только в 1951 году. Письмо сохраняю и Вам покажу. И рисунок будет у меня – до Вашего возвращения и без Вашего первого глаза никому». (9 августа 1948. Из письма А. Ремизова к Н. Кодрянской / Н. Кодрянская. Письма Ремизова. – С. 105.) Рожанковский, очевидно, надеялся на досрочное расторжение контракта и просил в этой связи подождать. Ситуация с изданием сборника затягивалась. Пройдет еще год, и он пожалуется в письме к другу: «...Продолжается cold war с издателем: делает всё, стерва, чтобы я очутился в безвыходном положении, обратился к ним с просьбой об авансе и тогда бы он его дал, но с единственным условием: продолжить контракт с ними. Я же на это не иду – и вот извиваться буду дальше червяком, но не стану больше делать гнусно глупых их текстов». (Из письма Ф. Рожанковского к другу, художнику Владимиру Иванову. 1949 / Архив Ф. С. Рожанковского). Но обстоятельства оказались сильнее. Контракт будет действовать до 1951 года.

## 7. А. РЕМИЗОВ – Ф. РОЖАНКОВСКОМУ

17/4.III.1949

Герасима Грачевника<sup>1</sup>

Дорогой Федор Степанович,

Грачи прилетели. Весна! Возвращайтесь скорее в Париж, вот пришли бы сюда, под разноцветный волшебный клубок, сели тихонько, и я бы Вам рассказал. Писать за тысячу верст, все слова потуск-

неют. Вы знаете, как я люблю Наталью Владимировну, нашу первую и единственную сказочницу, и хочу для нее всё сделать, чтобы ее книга Сказок вышла совершенною. Красна Ваша обложка, а развернешь, типографский набор, какая бедность, еще беднее, потому что так богата обложка.

Что Вы скажете – будете ли Вы против – если из венка обложки, сфотографировав, взять зверков (*sic!* – Л. В.) и листики, и черным сделать в тексте заставки, а заключить книгу черным детьми (Вероятно, пропущена буква И – Л. В.)? Не думаю, чтобы фотография вызвала нарекание Вашего жестокого издателя. Вы почувствуете, как чудесные сказки Н. В. я хочу очудесить еще и Вашим воображением. О Вашей Библии мало кто в Париже знает, если бы посмотреть?<sup>2</sup> «Новоселье» в Париже, есть откуда ославить книгу<sup>3</sup>. Чудесным образом 1 апреля выходит моя маленькая книга «Пляшущий демон» – танец и слово», она у Вас будет к нашей Пасхе (24.IV (11.IV)). Я помню, Вы рассказывали однажды о Ваших пристрастиях к танцу, а я его вижу в русских веках, с XI (Киев) и до [неразборчиво] (1936).

С нетерпением жду Вашего ответа и верю.

Грачи прилетели. Весна!

Алексей Ремизов

---

1. Церковный праздник на Руси, который отмечался 4 марта по старому стилю (17 марта по новому) в день памяти двух преподобных Герасимов, совпадал с народным праздником – временем прилета грачей.

2. В 1946 году в издательстве «Simon and Schuster» вышла книга «Золотая Библия» («The Golden Bible») – 59 историй из Старого Завета для детей в изложении американской детской писательницы Джейн Вернер (Jane Werner Watson, 1915–2004). Крупноформатное издание, включающее в себя более ста дивных цветных и однотонных иллюстраций Ф. С. Рожанковского мгновенно (как и «Сказки Матушки Гусыни») оказалось в списке бестселлеров.

3. С журналом «Новоселье» А. М. Ремизов сотрудничал с конца 1943 года. Гонорары, отправляемые ему из Нью-Йорка главным редактором журнала Софией Юльевной Прегель, помогли выжить в военные годы. В 1949 году редакция журнала вместе с С. Прегель переехала в Париж. В марте того же года номер 39/41 (сводный) начинался с рассказа А. Ремизова «Москва».

8. А. РЕМИЗОВ – Ф. РОЖАНКОВСКОМУ

13.IV.1949

Дорогой Федор Степанович  
Обрадовали меня Вашим письмом  
на Благовещение получилось  
всякий год на Благовещение всегда мне что-нибудь хорошее с  
неба да свалится

А мне 72 года, сколько небесных даров получил я в жизни.

Всё Вам будет доставлено: Кодрянские поехали в Швейцарию,  
где живет мать Исаака Вениаминовича, вернутся через 3 недели<sup>1</sup>.

«Пляшущий демон» выйдет 5-10 мая. Всё это, конечно, не Ваша  
рука. Сделаны машинные буквы и книжные лепестки. Моя книга  
книжная: годы над книгами. А Н. Кодрянской – книга вдохновенная:  
надо ее в красу<sup>2</sup>, Ваша и будет этой красой. Как только вернутся в  
Париж, сейчас же начнется работа, и Вам отчет.

Закончил книгу, думал о ней не год, не два, а 20 лет. Русская до  
макушки. Так бы и назвать Русская повесть XVII века – бесы – звери –  
человек – Соломония – Стефанит и Ихнелат – Грудцын<sup>3</sup>.

В этой книге нет танца, стало быть, и нет надежды ее увидеть  
при жизни<sup>4</sup>.

Кланяюсь Вашей жене (имя и отчество?). А какая чудная и чуд-  
ная должна быть Ваша Таня – вот кому по глазам будет книга  
Кодрянской<sup>5</sup>.

Заходит по вечерам Печенег (медонский), от него и знаю о Вас.  
Пишу, окно открыто, солнце пришло и за гаражом птичка чири-  
кает.

*(Подпись Ремизова и знак-монограмма)*

1. Исаак Вениаминович Кодрянский (1894–1980), врач, меценат, бизнесмен,  
муж Н. В. Кодрянской.

2. Буква У подчеркнута Ремизовым и над ней поставлено ударение.

3. Речь идет о книге «Бесноватые Савва Грудцын и Соломония».

4. Книга будет издана в Париже в 1951 году в издательстве «Оплешиник», соз-  
данном друзьями Ремизова для публикации его книг. Тираж 200 экземпляров.

5. 30 июня 1948 года у Федора Рожанковского и Нины Федотовой родилась  
дочь Татьяна. Девочку называли в честь младшей сестры художника.

\* \* \*

На этом корреспонденция на тему «Сказок» обрывается.

Последнее письмо Ремизова в архиве Рожанковского датируется 1953 годом, разговор в нем идет уже о другой книге Кодрянской – «Глобусный человечек».

А. РЕМИЗОВ – Ф. РОЖАНКОВСКОМУ

2. I. 1953

Дорогой Федор Степанович.

Раздумывал о Глобусном человечке. Мои наблюдения над сказками: есть сказки игрушки, есть сказки, как многоэтажный дом, а есть Тысяча и одна ночь – целые страны.

«Г[лобусный] ч[еловечек]» – многоэтажный дом. В каждом этаже свое – свой court metrage<sup>1</sup>, и в каждом есть звери: кот, мышка, коровы (в заоблачном переходе сказка) и люди... А главные действующие лица: «Г. ч.» – в нем я вижу себя, мое сокровенное: ничего злого не держу на сердце, от злого мне больно, «Г. ч.» – друг человека. А Дикси – Наталья Владимировна. Посмотрите, у нее есть карточка «до каблуков». Книга должна вызывать любовь к действующим лицам. И улыбку.

Ваши французские книги как любят дети, а полюбились именно за Вашу любовь и улыбку.

*(Подпись Ремизова и знак-монограмма)*

---

1. court métrage – своя маленькая история (фр.)

*Публикация – Лариса Вульфина,  
Филадельфия*

# КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА. ИСТОРИЯ

Елена Кулен

## Иван Елагин. Материалы к биографии\*

Лежат в моих кладовых  
Несчитанные богатства –  
Сотни дорог кривых...

*Из поэмы И. Елагина «Завещание»*

### Часть 3. Шляйсхайм, лагерь для русских «перемещенных лиц»

АВГУСТ 1947 – 26 АПРЕЛЯ 1950

Шляйсхаймский период жизни Ивана Елагина насчитывает ровно три года, до момента получения разрешения на выезд в США. Иван Елагин и его семья, как и большинство русских ДиПи в лагере «СС казармы» в Мюнхене, были организованно переведены в лагерь Шляйсхайм в августе 1947 года; именно эта дата внесена в его регистрационную карточку ДиПи.

Лагерь Шляйсхайм находился примерно в 13 км от центра Мюнхена Мариенплац. Всех русских переводили туда партиями по мере освобождения мест. Эти перемещения из лагеря в лагерь были довольно утомительной процедурой – в дополнение к регулярным проверкам-скринингам. Иван Елагин так описывает Шляйсхайм:

...А мы уже в сотом доме –  
Маемся кое-как.  
Нет для нас дома, – кроме  
Тебя, дощатый барак!

Для многих перевод из каменных зданий лагеря «СС казармы» в деревянные бараки лагеря Шляйсхайм оказался трудным. «СС казармы» были современным зданием постройки 1930-х годов, где имела канализация, душевые; была хорошо организована общая кухня, имелись также помещения для школы, общий зал для театра со сценой.

---

\* Продолжение. См. начало: НЖ, №№ 300, 301, 2020. © Е. Kulhen



После войны сохранилась полностью вся инфраструктура «СС казарм». В лагере Шляйсхайм чувствовались повсюду следы войны и разрушений. Некоторые деревянные бараки были разрушены воздушными налетами, многие требовали ремонта. Всем прибывшим из «СС казарм» пришлось привыкать к новым, упрощенным условиям жизни, где душевые и туалеты были на улице, где немощенные дороги в дождь превращались в огромные лужи-океаны, где лагерная кухня едва справлялась с выдачей еды для многочисленных жителей. Это был огромный русский лагерь, к декабрю 1947 года численностью до пяти тысяч человек, большой человеческий муравейник.

Послевоенный русский лагерь Шляйсхайм был сформирован на территории бывшей Военно-летней школы Военно-воздушных сил Германии (Люфтваффе) вблизи военного аэродрома «Шляйсхайм» и городка-резиденции Шляйсхайм, отсюда и этимология названия лагеря. В течение всей войны территория Шляйсхайма из-за близости к аэродрому часто подвергалась англо-американским налетам; многие здания деревянных бараков летной школы были полуразрушены и во время войны не ремонтировались. Поэтому общее состояние бараков и всей территории лагеря было удручающим.

Вот что об этой «перемене мест» вспоминает Н. Н. Чухнов: «Вся русская группа из ‘СС казарм’ была переведена в барачный лагерь в двух километрах от него. Лагерь назывался Шлейсгеймом<sup>1</sup>. Расположен он был на краю огромного поля, примыкавшего к лесу. Здесь удобств было гораздо меньше, но зато каждая семья получила отдельную комнату, а новая администрация была доступнее и внимательнее. К тому времени управление ‘перемещенными лицами’ перешло от УНРРА к ИРО (International Refugee Organization)<sup>2</sup>, которая старалась улучшить положение. Кроме того, в барачном Шлейсгейме мы соединились с нашими соотечественниками, переброшенными сюда из лагерей Фюссена и, частично, Кемптена. Таким образом, русское народонаселение Шлейсгейма достигло четырех тысяч человек<sup>3</sup>. Там же помещались в отдельных бараках около тысячи человек, называвших себя украинцами и белорусами, которые вели себя довольно мирно, в силу того, что это были наши российские малороссы, а не галичане, или в силу своего численного меньшинства<sup>4</sup>.

В интервью 1980 года Иван Елагин сообщает о лагере Шляйсхайм так: «Я попал в лагерь для перемещенных лиц после войны, после того, как я попал под Мюнхен; там было очень много народа, причем не только русские, там были русские, украинцы, там были люди со всех концов Европы. Многие тысячи людей. В общем, конечно, это было спасительно, так как у людей была крыша над головой и еда, но это было во многом и мучительно. Люди были без

дела. Получалось своего рода разложение. Люди привыкают к праздности, начинают пьянствовать, хулиганить. Так что очень многое было тяжело и неприятно. Мы попали в лагерь сразу после войны, а эмигрировать смогли только через пять лет. Вы представляете – пять лет жизни в скученной обстановке, где много людей самого различного, так сказать, профиля – от интеллигентов до совершенно диких людей»<sup>5</sup>.

Праздность в лагерях ДиПи объяснялась прежде всего тем, что возможность заработка имела лишь в лагерных управлениях; обязательной трудовой повинности для взрослого населения лагерей не существовало. Люди искали себе занятие: для одних это был театр, для других – поэзия, для третьих – живопись, доклады, организация лагерной и церковной жизни, но были и такие, которые активно участвовали в процветании «черного» рынка.

Лагерь Шляйсхайм и его окрестности нашли отражение в «Беженской поэме» Ивана Елагина, где он описывает военный аэродром, воссоздавая топографию места:

За стеной казарменной,  
Где пустырь заброшенный, –  
Куст дрожит обшарпанный,  
Куст дрожит встревоженный.

Дальше, за канавою, –  
Кинутая, брэнная,  
Сломанная, ржавая  
Техника военная.

Крылья самолетные  
Утонули в клевере.  
Птица беззаботная  
Свищет на пропеллере.

Остов от «мерсédеса»  
С острыми останками,  
Где «мерседес» сверзился  
В ров противотанковый.

Сгнившее сидение  
С выдранной пружиною,  
Тонкие сплетения  
Свиты паутиною.

Колесо орудия  
Из травы возносится.  
А кругом безлюдие,  
Птиц многоголосица.

Именно в лагере Шляйсхайм Иван Елагин публикует в 1948 году свой второй авторский поэтический сборник с прекрасным названием-обращением к своей эпохе – «Ты, мое столетие!»

Вновь тот же скромный формат маленькой книжечки размером 14х10 см, удобной для ношения в кармане. Как и у первого сборника стихов «По дороге оттуда», обложка второго скромна: плотный светло-коричневый картон без графического оформления. И вновь указание места издания – Мюнхен, но уже без конкретизации лагеря. К моменту выпуска этого сборника Американской Военной Администрацией уже были отменены обязательные штампы «Одобен УНРРА №...». Если не знать, что Иван Елагин был тем самым Иваном Матвеевым из дипийского лагеря Шляйсхайм, то несведущему читателю эта книжечка покажется просто сборником стихов русского поэта, проживающего в послевоенном Мюнхене.

Книга «Ты, мое столетие!», как и первый сборник Елагина, выпущена типографским способом. Это говорит о предпринимательском даре поэта, который, по всей видимости, сумел вновь найти ходовую валюту тех лет (американские сигареты, кофе, шоколад), чтобы заплатить за выпуск своего второго сборника. Если учесть, что почти вся дипийская периодика выпускалась ротаторным способом вплоть до декабря 1948 года, то оба сборника стихов Ивана Елагина, выпущенные в типографии, являются доказательством его огромных усилий. В одном из интервью в 1980-х годах Иван Елагин на вопрос Джона Глэда: «А как вам удалось книгу издать в таких послевоенных сложных условиях?» – ответил: «Были даже театры в лагере Шляйсхайме. Были газеты в лагере. В лагере под Мюнхеном было сосредоточено сорок тысяч людей<sup>6</sup>. Кто-то знал, где типография, и маленькую книжечку удалось издать». Д. Г.: «Но на это нужны были деньги, не правда ли?» – И. Е.: «Ну, конечно, нужны были деньги. Но к тому времени, когда начали печататься мои вещи, некоторые из них уже попали в Америку. И одна очень милая дама из Америки начала мне помогать материально».<sup>7</sup>

В сборнике «Ты, мое столетие!», как и в первом сборнике, есть маленькие «подсказки» о точном времени его выпуска – цена сборника в 6 рейхсмарок. Это указание на то, что сборник выпущен до 25 июня 1948 года, т. е. до денежной реформы в американской зоне оккупации Германии. Начиная с 25 июня вся печатная продукция в

американской зоне оккупации исчислялась пфеннигами за газеты и марками за толстые журналы, учебники, художественную литературу и поэзию, «рейхсмарка» превратилась в стабильную «марку».

Стоит несколько слов уделить технической базе русских периодических изданий в период с мая 1945 по 31 августа 1946 года. Самой большой трудностью этого периода было получение бумаги; недостаток ее был ощутим во всей послевоенной Германии и для немецких изданий. Распределение контролировалось американцами и было строго лимитировано вплоть до денежной реформы 1948 года.

О плачевной ситуации с бумагой в американской зоне Германии после войны и о процветании «черного» рынка при полном обесценивании немецкой марки до денежной реформы, о добыче бумаги для издания газеты в такой сложной ситуации имеются интересные сведения у Александра Покровского, редактора «Русских еженедельных новостей» в лагере Шляйсхайм. Вот что он сообщает: «За покупку ротаторной бумаги 10 тысяч листов уплачено сигаретами – 4 пачки, что соответствует 50 маркам. Коробка матриц оплачена 2 пачками сигарет, что соответствует 20 маркам. Две банки краски для печати стоят 2 пачки сигарет – в соответствии 25 маркам, цена печати на ротаторе из расчета на 36 матриц для 400 экземпляров, что соответствует 14400 оттискам за 3 пфеннига за оттиск и составляют 432 марки. Общая сумма на издание 527 марок, или 8 пачек сигарет и 10 отдельных сигарет»<sup>8</sup>.

Второй большой трудностью для русскоязычных дипийских изданий было отсутствие в Баварии типографских матриц русской кириллицы. Даже найти печатную машинку с русским шрифтом было большой трудностью в первые полгода после войны. Техническая база первой печатной продукции ДиПи предусматривала прежде всего печатную машинку с русским алфавитом и ротатор как способ тиражирования издания.

Самыми распространенными видами ротаторов были автоматические ротаторы марок «Gestetner» и «Carlson». Типографские русские матрицы, да и типографская краска стали доступны лишь к концу 1946 года. До этого времени почти все дипийские издания были изготовлены ротаторным способом. Кроме технической базы, необходимы были финансовые средства. ДиПи пользовались товарообменом, характерным для периода «черного» рынка в послевоенной Германии.

Наличие сигарет, которые выдавались ДиПи бесплатно как жертвам нацистского режима, сделало их счастливыми владельцами особой ходовой «сигаретной» валюты. В продовольственный паек одного взрослого ДиПи входило от 3 до 5 сигарет в неделю, по сообщению

С. С. Вороницына<sup>9</sup> из Мюнхена. Сигареты обменивались на предметы первой необходимости и были в ходу вплоть до начала денежной реформы 1948 года в «Бизонии» (американской и британской зонах оккупации Германии) и даже после нее. Восхищаешься находчивостью русских людей, их способностью найти всё необходимое для издания своих первых газет и журналов! Это был период организации русских типографий и типографской печати книг, учебников и пособий, когда требовались, прежде всего, подвижничество и находчивость. Простота изготовления дипийской печатной продукции при ротаторном и «ксерокопийном» способах размножения, при относительно либеральном контроле со стороны УНРРы, вызвали появление множества так называемых «нелегальных» журналов. Новые меры контроля за дипийскими изданиями с обязательными лицензиями на издание стали первым шагом к урегулированию всей публицистической деятельности ДиПи.

#### «ТЫ, МОЕ СТОЛЕТИЕ!». 1948

На 46 страницах второго сборника Ивана Елагина напечатаны 22 стихотворения. Все они пронумерованы в оглавлении. Елагин сохраняет принцип нумерации стихов, как и в первой книге. В новом сборнике нет ни одного стихотворения киевского периода, все являются плодом творчества в Мюнхене.

Название сборника удивительно метко и глубоко – это обращение к эпохе, в которой сформировался поэт Иван Елагин, это осмысление судеб его поколения «невозвращенцев», эмигрантов второй волны. Если первый сборник «По дороге оттуда» был лирическим анализом пройденного пути с родины на Запад, то сборник «Ты, мое столетие!» – обращение ко времени, в котором родился Елагин, – разочарование веком, судьбой, но и реальный анализ пережитого с желанием вырваться из этой эпохи.

Сборник стихов интересен нам уже тем, что в оригинале 1948 года есть вступительная статья «Поэзия мужества», написанная Р. Менским<sup>10</sup>. Позволим себе привести это краткое вступление полностью – в нем много «подсказок» исследователям и, прежде всего, есть информация о реакции русских читателей-дипийцев на первый сборник поэта. «Первый сборник стихов Ивана Елагина ‘По дороге оттуда’ получил хорошие отзывы во всей местной зарубежной прессе. Лишь немногие, отдавая должное форме, находят содержание слишком мрачным и требуют от поэта ‘плясовую’. Нам кажется, что эти немногие или воспитаны на поэзии социального заказа, или желают использо-

вать искусство в своих узких политических интересах. Им хочется лжи, притворства, словесного тумана, скрывающего общий аморализм. Мужественная обличительная поэзия Ивана Елагина смущает их. Ее глубокая любовь к человеку и к христианской правде стыдит и обязывает идти на подвиг. Второй сборник стихов Ивана Елагина ‘Ты, мое столетие!’, как и первый, также обличителен и гневен. Высокое поэтическое слово в нем гремит набатом. Оно обращено к совести мира предметной реальностью и обнаженными фактами. Поэт с отчаянием кричит: ‘Остановись! Тупик! Посмотрите на мир! Мы должны завидовать жуткой смерти на эшафоте. Обреченные, но сохраненные в человеческом достоинстве, на эшафот поднимались по ступенькам, а мы?’ ‘Мы – те, кто умирать спускается в подвал’, как рабы, как скот. В наши дни обличительное слово не в моде. Оскудел мир совестью. Полвека тому назад, например, дело Бейлиса или Ленские расстрелы охватывали гневом весь мир. Пресса открывала кампании, общества выносили протесты, в парламентах делались запросы, на улицах возникали стихийные демонстрации, в храмах совершались молебны или панихиды, говорились проповеди, представителям жестокой или несправедливой власти объявлялись бойкоты. Увы, в наши дни о замученных миллионах говорят с меньшим волнением, чем о потерянных рублях. ‘Показательные процессы’ с поддельным обвинением нас не трогают. Нас не волнуют перчатки и сумочки из человеческой кожи. Мы спокойны и молчаливы, когда порабащаются целые государства, когда насилуют, грабят и угрожают уничтожить 90% населения земли. В дипломатических кругах жмут палачам руки, помогают им в охоте за черепами и даже пьют тосты, провозглашенные в ‘честь’ истребления полмиллиона побежденных. Таков нынче мир. Потому-то слово поэта Ивана Елагина, слово бичующее и отрезвляющее, необходимо и ценно.»<sup>11</sup>

Сборник начинается четверостишием:

Тупик. И выход ни один  
Из тупика еще не найден.  
И так от детства до седин,  
От первых до последних ссадин.

Второе, знаковое для сборника, стихотворение – обращение к столетию, расшифровка названия «Ты, мое столетие!». Это обращение к веку и к человеку в нем, обезумевшему от трагедий, революций и войн. Семь четверостиший сопровождаются – рефреном – обращениями к столетию. Позволим себе привести примеры этих обращений-рефренов как характеристику столетия (Выделено мной. – Е. К.):

Бомбы истошный крик –  
Аэродром в щебень!  
Подъемного крана клык –  
На привокзальном небе –

*Ты, мое столетие!*

Поле в рубцах дорог:  
Танки прошли по полю.  
Запертое в острог,  
Рвущееся на волю –

*Ты, мое столетие!*

Ищущее конец,  
Бьющееся в падучей,  
Мученический венец  
Проволоки колючей –

*Ты, мое столетие!*

Кручу за пядью пядь  
Брали. И вот со склона  
Ринувшееся вспять,  
Все растеряв знамена,

*Ты, мое столетие!*

Брошенное на штык,  
Дважды от крови ржавый,  
Загнанное в тупик  
Дьяволовой облавой –

*Ты, мое столетие!*

Царственные века  
Были твоим подножьем.  
Продано с молотка,  
Выжжено гневом Божиим –

*Ты, мое столетие!*

Кости с тобою сложим!

Плоть от плоти твои,  
Шиты твоим покроем.  
Бурей своей пой!  
Кровью своей напоим!

Верности клятву прими,  
*Ты, мое столетие!*

Невозможность выпрыгнуть из своего времени создает атмосферу полной безысходности, словно крик о помощи. Но несмотря на отчаяние и разочарование XX столетием, Иван Елагин заканчивает стихотворение клятвой приятия своего времени: «Верности клятву прими, Ты, мое столетие!»

Каждое стихотворение второго сборника – это маленькая «поэма» с глубинным смыслом. Так, например, второе стихотворение в сборнике посвящено Второй мировой войне, которая едва не стала концом для всей России в момент мощного наступления вермахта; здесь поэт выбрал стихотворный ритм народной песни-плача с элементами русского устного речитатива. Это размышление о судьбе России во время немецкой оккупации, о судьбе многих сотен тысяч беженцев из СССР, воспользовавшихся войной как избавлением от советского режима и оказавшихся в трагической ситуации между двух диктатур, советской и немецкой, а после войны – в шаткой правовой ситуации беженцев:

...Как у своих-то перчено,  
А у чужих-то солоно!  
Как из огня теперича  
Попали мы да в полымя!

Из-под кнута-то отчего,  
да под дубину отчима!  
Тот Соловками потчевал,  
А этот смертью потчует!

Это неопределенное сравнение было понятно всем советским дипийцам – «А этот смертью потчует!», которое относилось к американцам и англичанам, охотно выдававшим на верную смерть советских беженцев после войны. Использование неопределенных личных местоимений «тот» и «этот» без конкретизации «действующих лиц» говорит об эзоповом языке, которым пользовались все дипийцы из-за идеологической цензуры в американской и английской зонах...



В сборнике «Ты, мое столетие!» выражен не только страх перед неизвестностью судьбы, но и горькое разочарование в западных демократиях, прежде всего в американской.

Пока не заткнули кляпом  
Клопочущий рот, пока  
Не выгнали в ночь этапом  
Под окрики с броневика,

– Загнаны в загоны.  
А все-таки живем! –  
Пока, как в огонь, в вагоны  
Не побросали живьем...

Пока еще есть выход,  
Выход и тьма выгод:  
Стеклышком обыкновенным  
(Только острей выточь!)  
Раз полоснешь по венам –  
И никаких выдач!

Лучше массой аморфной!  
Назад отступать – куда ж?  
Пока еще есть морфий,  
Веревка, шестой этаж –

Пока еще не на слом,  
Дышим еще покамест –  
Гневу псалом!  
Ненависти акафист!

«Две гибели» – так обозначает поэт судьбу «невозвращенцев»: «Коль две скрестились гибели, / Какое сыщешь снадобье? / Одну мы гибель выбрали, / Коль выбирать уж надобно!»

Самоубийство как избавление для тех, кто не хотел возвращаться в СССР, – это состояние воспроизведено Иваном Елагиным с предельной тщательностью и потому действует метко. Он использует стихотворный ритм акафиста, жанра православной гимнографии, для прославления гнева как определяющей эмоции, главного «оружия» сопротивления русских ДиПи, выданных на убой советским репатриационным комиссиям.

Даты самых крупных эпизодов таких жестоких насильственных

выдач англичанами и американцами были позднее внесены в церковные календари РПЦЗ как поминальные дни:

28 мая – 2 июня 1945 – выдачи казаков в Лиенце, Австрия;

25 июня 1945 – выдача советских военнопленных из Форта Дикс, шт. Нью-Джерси, США;

12 августа 1945 – выдача советских гражданских беженцев в лагере в Кемптене, регион Альгой, Швабия;

19 ноября 1945 – выдача советских гражданских беженцев и военнопленных в лагере Дахау, Верхняя Бавария;

6 февраля 1946 – выдача генералов РОА Меандрова, Ассберга, Севастьянова и около 50 офицеров командного состава РОА из тюрьмы в Ландсхуте, Бавария;

24 февраля и 13 мая 1946 – выдачи воинов 2-й дивизии РОА в Платтлинге, Нижняя Бавария;

13 августа 1946 – попытка выдачи советских гражданских беженцев в лагере Фюссене, регион Альгой, Швабия;

21 августа 1946 – выдача советских военнопленных в Бад Айблинге, Верхняя Бавария;

8 мая 1947 – выдача донских, теркских, кубанских казаков из лагеря Римини, Италия.

Насильственные выдачи не прошли бесследно для дипийской среды, угроза репатриации висела дамокловым мечом над сотнями тысяч русских «невозвращенцев» вплоть до их выезда в другие страны. Высказать эту боль Иван Елагин мог лишь эзоповым языком. Это была боль осознанной трагедии, ибо все знали, какая участь ожидала насильственно выданных в СССР. Невозможность говорить о выдачах в американских лагерях стало болью поэта.

Во втором сборнике Иван Елагин впервые обращается и к осмыслению судьбы своего отца. Поэт посвящает ему стихотворение «Звезды»:

...Насмерть перепуганные сосны  
Заблудились в суতোлке звезд.

Вот они! Запомни их навеки!  
То Господь бросает якоря!  
Слушай, как рыдающие реки  
Падают в зеленые моря!  
Чтоб земные горести, как выпив<sup>12</sup>,  
Не кричали над твоей душой,  
Эту вечность льющуюся вышей  
Из ковша Медведицы Большой!

Как бы ты ни маялся, и где бы  
Ни был – ты у Бога на пиру...  
Ангелы завидовали с неба  
Нашему косматому костру.

Есть в сборнике и другие посвящения. Вновь, как в первой книге, Иван Елагин посвящает строки послевоенному Мюнхену:

Строили, да рухнуло,  
Разлетелось в пух!  
Бомбами из Мюнхена  
Вышибали дух.

Славился музеями,  
Впутался в бои!  
Пулями осмеяны  
Статуи твои...

И на небе вызаря  
Ржавчину крестов,  
Весь летишь ты к Изару  
Броситься с мостов.

«Броситься с мостов» в реку Изар – это настроение самого Ивана Елагина, в те годы непрерывно думающего о самоубийстве.

И еще посвящение – Вячеславу Завалишину. Мы можем предположить, что именно Завалишин как-то помог Елагину издать сборник «Ты, мое столетие!». Посвященное ему стихотворение было, вероятно, поэтической благодарностью не только Завалишину-издателю, но и человеку своего поколения (Завалишин родился в 1915 году, Елагин – в 1918).

Оставлю дом. Стучаться буду в сотни  
Чужих дверей, но дома не найду.  
И где-то в самой грязной подворотне  
Мне суждено споткнуться о звезду.

Возможно, для Ивана Елагина Вячеслав Завалишин и был именно такой «счастливой звездой», встретившейся ему на пути. О Вячеславе Клавдиевиче Завалишине вспоминает поэт и критик второй волны эмиграции, дипийка Валентина Синкевич: «Перед войной Завалишин успел окончить Историко-филологический факультет

Ленинградского университета. Во время войны он попал в плен, бежал из лагеря для военнопленных и скрывался под чужой фамилией в Новгороде и Пскове. Однако вскоре его по какому-то доносу арестовала немецкая жандармерия и отправила в тюрьму СД в Двинске. В этом страшном заведении арестованного подвергли избиениям и пыткам, затем отправили в штрафной лагерь Погулянка (Латвия). Говорили, что в результате пережитого он пристрастился к 'зелью', да так и не смог освободиться от этого недуга. После окончания войны Завалишин, избежав насильственной репатриации, остался на Западе. В Германии он занялся редакторской и издательской деятельностью: в Мюнхене в конце 1945 года под его редакцией и с его вступительной статьей выпущен 'Конек-Горбунок' Ершова, а в 1946 году он написал и издал небольшую работу об Андрее Рублеве. Эта двенадцатистраничная брошюра является сейчас большой библиографической редкостью, которой не оказалось даже у самого автора (я сделала для него ксерокопию своего экземпляра, чем несказанно его обрадовала). Тогда же появился и томик стихов Есенина с предисловием издателя – Вячеслава Завалишина. Филадельфийский литературный альманах 'Побережье' опубликовал текст предисловия ('Творчество Сергея Есенина'), который был взят из редчайшего издания, ныне украшающего книжные полки лишь самых страстных и неутомимых библиоманов и коллекционеров, где-то раскопавших книжечку, вышедшую крошечным тиражом в руинах послевоенной Германии. Там же Завалишин выпустил и четыре тонких томика Гумилева»<sup>13</sup>.

В сборнике «Ты, мое столетие!» в цикле «Луны» есть описания и лагеря Шляйсхайм:

Луна огибает барак.  
Какого-то сна отголосок  
Донесся из груды коряг,  
Из черного штабеля досок...  
.....  
Ты вынырнешь из-за угла  
И грязь этих улечек выдашь.  
Куда тебя ночь завела?  
Ты плачешь, небесный подкидыш?

Ты тянешь алмаз по стеклу,  
И близишься всё вороватей,  
И чертишь на голом полу  
Тоску двухэтажных кроватей...  
.....

Как хочешь меня озирай,  
Но только, ты слышишь, не сетуй!  
Мне домом не этот сарай,  
И ночью дышу я не этой.

Шляйсхаймовские бараки были особенно тяжелы своей скученностью; лагерь был перенаселен – настоящий человеческий муравейник. Атмосфера большого лагеря давила своей анонимностью, каждый держался своего маленького круга людей, которых хорошо знал.

Елагин хватается за свои детские воспоминания, как за спасительную соломинку в этом море послевоенных судеб. В стихотворении, посвященном отцу, выражена тоска Елагина по всему тому, что осталось в памяти от детства во Владивостоке и в Москве – прежде всего, воспоминания о его дедушке по отцовской линии Николае Петровиче Матвееве (1865–1941). Он родился в Японии в семье фельдшера Русской православной миссии; был известен как Николай Матвеев-Амурский, переводчик-японист, краевед, писатель и журналист.

Иван Елагин собирает свои воспоминания и облекает их в рифму, как драгоценный жемчуг, – мыслями возвращаясь туда, где он чувствовал свои истоки, откуда шло ощущение семейной традиции, из чего была «соткана» его настоящая судьба. Твердые отечественные корни давали ему в шляйсхаймовских «случайных» бараках ощущение принадлежности к этой судьбе. Стихотворение звучит контрастом лагерной барачной бытности:

Ах, почему так мил мне и так дорог  
Домишко, выстроенный наверху?  
В нем каждый камень выложен был дедом.  
Он с давних пор принадлежал отцу.

Стихи, включенные в два поэтических сборника – 1947 и 1948 годов, – Иван Елагин свел в одну книгу и переиздал в 1953 году в Нью-Йорке, три года спустя после переезда из Германии в США. Свой нью-йоркский сборник он назвал, как и первый, «По дороге оттуда».

Это действительно была его очередная дорога «оттуда», только теперь наречие «оттуда» означало дорогу не только из оккупированного Киева, но и из послевоенной Германии. В предисловии от Издательства им. Чехова сообщалось: «Первую книгу стихов ‘По дороге оттуда’ Елагин выпустил в свет в Мюнхене в 1947 году, вторая книжка ‘Ты, мое столетие!’ вышла там же в 1948 году. В настоящий

сборник, хотя и носит заглавие 'По дороге оттуда', вошли стихи из обеих книжек, много стихотворений, опубликованных в разных периодических изданиях, а также ряд стихов, написанных Елагиным после переезда в США»<sup>14</sup>.

Первый американский сборник посвящен «О.А.»; за этими инициалами скрывается Ольга Анстей. В 1953 году Иван Елагин и Ольга Анстей уже не были мужем и женой. Они официально развелись в 1951-м, и вскоре Ольга Анстей вышла замуж за Бориса Филиппова (Филистинского)<sup>15</sup>.

В нью-йоркском издании сборника Иван Елагин по-новому классифицировал все стихи, структурировав их по темам:

- 1 часть: «Город юности»;
- 2 часть: «Смертью подуло»;
- 3 часть: «Музей войны»;
- 4 часть: «Ты, мое столетие!».

Отдельной, «нenumерованной», частью является раздел «Луны», в который входят, в свою очередь, шесть частей. Части IV, V; VI посвящены Ольге Анстей и тяжелому периоду их расставания. Образ раздробленной на осколки луны представлен, как яркий символ разрыва между ними. Анстей (урожденная Штейнберг, семья с немецкими корнями), с ее раскосыми «татарскими» глазами, узнается в следующих строках:

Татарка моя! У тебя  
Вишня запуталась в челке.  
Мы уплываем, гребя,  
Веслами раздробя  
Эту луну на осколки.

На настроение общей безысходности лагерного периода для Ивана Елагина наслаивается горечь распада их семьи и потери любимой женщины.

Киевский период влюбленности, когда ему было всего двадцать лет – с Ольгой Анстей они поженились в 1938 году, – Елагин называет «детством», – возможно, интерпретируя детство, как чистоту душ, незапятнанных разлуками и изменами.

Что дорога разлук неминуема,  
Что она уже рядом легла.  
Я убил бы тебя поцелуями,  
Я бы сжег наше детство до тла.

Период жизни Ивана Елагина и Ольги Анстей в лагере Шляйсхайме озаглавлен для них сложным процессом расхождения: привыкшие «готовиться начерно и к разлукам, и к бедам», они понимают, что общая «жизнь уже порвана». Ольга Анстей влюбляется сначала в князя Николая Кудашева; после его отъезда в Нью-Йорк появляется новый любовный треугольник: Елагин – Анстей – Филиппов.

С той поры, как с тобой мы подхвачены  
Этим роем, по миру носимым, –  
Мы привыкли готовиться начерно  
И к разлукам, и к бедам, и к зимам.

Что с того, что мы делаем промахи?  
Вся-то жизнь, что ни день – то и промах.  
Где-то в мире раскиданы холмики  
И родных, и друзей, и знакомых.

За какими озерами синими,  
Под каким неисхоженным кряжем,  
Под какими крестами без имени  
На разлуку последнюю ляжем?

Слушай, Господи! Жизнь уже порвана.  
Одари хоть когда-нибудь щедро.  
Раздели между нами Ты поровну  
Эти два с половиною метра!

*Сборник «Ты, мое столетие!»*

Тем не менее, несмотря на трудности в семейной жизни, на тяжесть общей атмосферы лагерного существования, Иван Елагин находит в себе силы и становится заметным участником культурной жизни Шляйсхайма. А жизнь в этом русском лагере напоминала маленький национальный остров-город со всем необходимым: со своей начальной школой и гимназией, молодежными клубами ИМКА, скаутов – «соколов» и «фрусских разведчиков», со спортивным клубом «Русь», с двумя церквями, с театром и хором, с постоянной программой лекций по философии, истории, культуре и, конечно, со своими магазинами и даже рестораном, с собственными полицейским участком, медпунктом и даже маленькой пожарной частью. Лагерь представлял собой замкнутое русское языковое пространство, отделенное тринадцатью километрами от немецкой баварской столицы, дающее ощущение своего национального маленького социума и «государства».

С передачей ответственности за все лагеря ДиПи от УНРРА к ИРО 1 июля 1947 года начался новый, очень продуктивный период самостоятельного управления лагеря дипийцами, организации профессиональных сообществ, расцвета печати. Важное место в жизни лагеря занимал Литературный клуб Шляйсхайма, членом которого также был Иван Елагин.

Благодаря воспоминаниям Н. Н. Чухнова, мы имеем сегодня имена членов клуба: «Председателем и главным организатором Литературного клуба в лагере Шлейсгейм был Николай Захарьевич Рыбинский, скончавшийся в Нью-Йорке в 1955 году. В Литературный клуб входил целый ряд талантливых писателей, поэтов, журналистов и артистов, устраивавших интимные и открытые вечера и очень оживленные ‘Устные альманахи’, собиравшие огромную аудиторию. В Клубе, кроме самого Н. З. Рыбинского, б[ывшего] сотрудника суворинского ‘Нового Времени’, состояли громоподобный Иван Елагин, выпустивший в Шлейсгейме свой первый сборник стихов, сразу оцененный критикой, Ольга Анстей, А. И. Михайловский, талантливый публицист, но с сильно дрейфующими политическими взглядами, несомненно способный Н. И. Мельников из ‘подсоветских’ выдвиженцев, сотрудничавший одно время в ‘Новом русском слове’, милейший Евтихий Коваленко, вдохновенный Петр Парус, преждевременно скончавшийся на лесозаготовках в Канаде, Дмитрий Сигизмундович Франк, ныне редактор лос-анджелесского ‘Согласия’, и его супруга Эвелина Юлиановна, ‘патриотка’ Клуба, Б. А. Нарциссов, Н. А. Шубович». «В ‘Устных альманахах’ принимали участие полк. Б. Н. Сергеевский, златоуст К. Н. Николаев, Е. И. Комаревич, А. А. Ивановский, И. К. Кузнецов, Н. А. Цуриков и я.»<sup>16</sup>

Н. Н. Чухнов первым называет Ивана Елагина, охарактеризовав его прилагательным «громоподобный». В этом – его оценка таланта поэта. Ведь почти все члены Литературного клуба были намного старше Елагина (ему исполнилось всего 29 лет к моменту перевода в Шляйсхайм); кроме того, многие члены Литературного клуба были маститыми литераторами с давними заслугами, имели многолетний опыт публикаций и были признаны еще первой волной эмиграции; многие из них принадлежали к славной русской диаспоре из Сербии.

Н. Н. Чухнов, поставив Ивана Елагина первым в ряду, обозначил место поэта на местном литературном Олимпе, выразив признание молодого поэта «литературными зубрами» первой волны русских изгнанников. Это заслуженное признание молодой Иван Елагин получил двумя стихотворными сборниками – «По дороге оттуда» и «Ты, мое столетие!».

Говоря о маститости старших коллег по перу в Литературном



клубе, нам хотелось бы остановиться на личности Н. З. Рыбинского, представляющего серьезную журналистскую традицию русской диаспоры в Сербии. Николай Захарович Рыбинский (1887, Киев, – 1955, Нью-Йорк) был участником Белого движения. В эмиграции он известен как журналист, писатель и драматург. Журналистскую деятельность он начал в Белграде, сотрудничал в газетах «Россия и Славянство», «Возрождение», «Иллюстрированная Россия», «Часовой», «Казачий журнал»; с «Новым временем» сотрудничал до самого ее закрытия в 1930-м.

Позволим себе краткий исторический экскурс. Газета «Новое время», о которой упоминает Н. Н. Чухнов, была ежедневной газетой на четырех страницах, выходившей с 22 апреля 1921 в Белграде. Издание было начато почти сразу после перевода частей Русской Добровольческой армии из Галлиполи в Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС). Это был один из первых русскоязычных печатных органов в Сербии, извещающий о положении русских беженцев в КСХС и во всей Европе. Редактором стал Михаил Алексеевич Суворин (1860, Петербург, – 1936, Белград), сын крупного книгоиздателя-петербуржца Алексея Сергеевича Суворина<sup>17</sup>. В Белграде эта русская газета просуществовала почти девять лет, до 26 октября 1930 года, напечатав 2853 выпуска, что в трудных материальных условиях русских эмигрантов, при отсутствии государственных субсидий, было большим подвижничеством по восстановлению в изгнании отечественной печатной традиции. Месячный абонемент на подписку «Нового времени» в Сербии стоил 20 динаров в 1921 году, что не каждому было по карману. Многие русские эмигранты выписывали газету на несколько семей.

Литературный клуб Шляйсхайма был включен в общее профессиональное Объединение русских поэтов, писателей, журналистов в американской зоне, созданное 25 мая 1947 года. Первый съезд этого Объединения состоялся в помещении Русской гимназии в «Доме милосердного самарянина» на Мауэркирхенштрассе 5 в Мюнхене. По воспоминаниям Н. Н. Чухнова, на этот съезд съехалось 84 литератора со всей американской зоны. Целью собрания стала легализация Объединения и утверждение устава, а также выборы исполнительных органов. «Выбранными в правление оказались: председатель А.И. Михайловский, товарищами председателя К. Н. Николаев и А.Ф. Парфенов, секретарем Н. Н. Чухнов, казначеем Н. И. Мельников, членами А. И. Ширинкина, М. Н. Залевский и Неймирок, запасными членами Г. Апанасенко, П. В. Скаржинский. В ревизионную комиссию – Гальской, Новак, Редлих, запасными членами Домогацкий и Рар.

В суд чести – Харламов, Цуриков, Ветлугин, зап. чл. – Б. А. Филиппов и И. Аносов. Присутствие на съезде множества солидаристов, среди которых такие знаменитости, как Рар, Неймирок, Рождественский, Домогацкий, Филиппов, делало наши кандидатуры для них вовсе неприемлемыми. Тем не менее, Михайловский от 73 голосовавших получил 52 голоса, а я – 44. С образованием Объединения писателей и журналистов удельный вес русской эмиграции в глазах американцев и немцев сильно поднялся, а Зарубежная Русь стала ‘находить себя’»<sup>18</sup>. В списке голосующих мы находим имя поэта Гальского, соавтора Елагина по сборнику «Стихи» 1947 года.

Нам неизвестно, был ли Иван Елагин на этом съезде и получил ли он членский билет Объединения, но сам факт существования такого русского Объединения в Мюнхене говорил о признании творческого профессионального сообщества Американской Военной Администрацией в Мюнхене.

А вот что вспоминает о Елагине поэтесса Ираида Легкая<sup>19</sup>: «С Ваней Елагиным мы познакомились в Нью-Йорке в начале 1950-х годов. Это произошло на одном из вечеров в Свято-Серафимовском Фонде. Это был новый центр русской диаспоры в Нью-Йорке, основанный в 1950 году о. Александром Киселевым, протопресвитером Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Свято-Серафимовский Фонд занимался не только собиранием и хранением русского эмигрантского культурного наследия, но и постоянно устраивал вечера поэзии и литературы, философские встречи и лекции. Наша семья прибыла из послевоенной Германии в Нью-Йорк в июле 1949 года, почти в то же время, что и о. Александр Киселев. Мой папа знал его еще по Прибалтике; мы часто посещали вечера в Свято-Серафимовском центре. Однажды я увидела там Ивана Елагина. Оказалось, что он в 1950 году прибыл в Нью-Йорк, ходил на богослужения в ту же русскую православную церковь, где бывала и наша семья, стал регулярно посещать вечера в Серафимовском центре. Когда мы уже лучше познакомились друг с другом и по-настоящему подружались, он рассказал мне однажды, что действительно помнит меня, пятнадцатилетнюю девочку-подростка, в лагере Шляйсхайм; тогда он сказал мне: ‘Я помню, по лагерю ходила девочка с голыми глазами’. Эту метафору я хорошо запомнила. В силу своей молодости, как ученица старших классов лагерной гимназии, я не могла посещать вечерние лекции в лагерьном клубе. Не могла посещать и заседания лагерного клуба Шляйсхайма, никого из его членов не знала. Тогда круг моих друзей и подруг был важнее для меня, жизнь взрослых была вне нашего внимания; мы были как бы ‘всепоглощены’ нашей молодостью и гимназическим ритмом. Но имя

Елагина было у многих на устах уже и потому, что он печатался время от времени в лагерных журналах и газетах»<sup>20</sup>.

### ПУБЛИКАЦИИ ИВАНА ЕЛАГИНА В ЛАГЕРНЫХ ГАЗЕТАХ И ЖУРНАЛАХ

Найти все стихи, опубликованные Елагиным в лагерной прессе с 1946 по 1950 годы означало бы, прежде всего, разыскать все выпущенные тогда издания. Это, увы, невозможно. Газеты и журналы, издававшиеся в лагере Шляйсхайм, сохранились лишь в единичных экземплярах. Причина не только их малотиражность, но и краткосрочность существования. К тому же, зачастую дипийцы, получая разрешение на выезд в другие страны, оставляли газеты и журналы в бараках.

Примером дипийской публикации могут служить две статьи в журнале «На переломе» – Ольги Анстей и Ивана Елагина. Журнал издавался с мая 1945 по август 1947 года в лагере «СС казармы» в Мюнхене-Фрайманн и продолжил свое существование в лагере Шляйсхайм после перевода туда всех русских ДиПи. Журнал насчитывал 30 страниц и представлял прежде всего лагерную хронику, имел разделы новостей, а также литературы, критики и воспоминаний.

Традиция журнала восходит к периоду немецкой оккупации в Смоленске 1942 года; тогда ряд представителей Русской Освободительной Армии генерала А. А. Власова издавал журнал с таким же названием. Редакторам журнала удалось избежать насильственной выдачи после войны, издание журнала возобновилось.

Шесть первых номеров «На переломе» вышли в лагере «СС казармы», а № 7 за август 1946 года был издан ротаторным способом уже в лагере Шляйсхайм. Номер открывался заглавной статьей «Чем жить?» с эпиграфом «Кто там хнычет, что Родины нет? Есть! И ее не забыть!». Журнал ратовал за боевой антикоммунистический дух русской эмиграции, несмотря на подавленное настроение в ее рядах.

В разделе «Литература» начала печатать свои сочинения Ольга Анстей. Ее очерк об Александре Грине «Человек из Зурбагана» является доброй памятью о тонком русском писателе, умершем в 1932 году, недооцененном современниками. Название статьи очень удачное: Зурбаган – это выдуманный приморский городок, фигурирующий в нескольких произведениях А. Грина, чей образ навеян Крымом, – своего рода город-мечта. Статья посвящена удивительному дару Александра Грина носить в сердце красоту мира вопреки самым тяжелым жизненным обстоятельствам. Текст очень символичен: Ольга Анстей писала его в тесной комнатке лагерного барака,

отгороженной солдатскими одеялами, в шуме и гаме дипийского муравейника, – с верой в духовную красоту человека. Вот что пишет она о Грине: «С мальчишеских лет Грин окунулся в самую зловонную клоаку жизни, вдоволь хлебнул жизненной грязи, пошлости, подлости. Жизнь сделала всё, чтобы утопить художника-романтика в своей трясине, сделать из него опустившееся, отупевшее существо, бывшее когда-то человеком, либо хамоватое ‘наглоглазое’ создание, научившееся где нужно – уступить и смыться, а где можно – оттереть других локтями. Но ей не удалось ни то, ни другое. Чудесный огромный талант вышел из этого испытания не искаженным и не изломанным. Ему даже не пришлось отряхиваться от грязи, она просто не пристала к нему. Таким хрустально чистым и негнувшимся он остался до конца в самое тяжелое и позорное для русской литературы время, не забрызгав своего творчества ни каплей подличанья и угодливости, – испытание, из которого вышли с честью очень немногие из русских писателей»<sup>21</sup>. О. Анстей писала словно о себе, тяжело переживая тесноту человеческого общежития в лагере и вечные раздоры в беженской среде, наполненной людской склочностью из-за житейских трудностей и общей неизвестности дипийских судеб. Для Анстей пример Грина был подтверждением того, что глубокая вера в красоту может спасти от человеческого хамства и воинствующей посредственности.

Рядом со статьей О. Анстей о Грине напечатаны стихи Ивана Елагина, также посвященные А. Грину.

В том же № 7, но уже за 1948 год, была опубликована другая статья О. Анстей – «Памяти А. Блока», вошедшая в серию литературных портретов, опубликованных журналом. В этой серии начал печатать свои воспоминания также Федор Степун (№ 1, 1948); его первая статья «Литературные встречи» посвящена Алексею Ремизову.

К публикациям Ивана Елагина шляйсхаймовского периода относятся не только два поэтических самостоятельных сборника и отдельные стихи в лагерной периодике, но и поэма «Портрет мадмуазель Таржи», написанная в 1949 году. Как и первые два поэтических сборника, поэма издана типографским способом, Мюнхен указан как место издания (без издательства и тиража). Титульный лист выполнил не Сергей Бонгарт, как в общем сборнике «Стихи» 1947 года, а художник Митроверов, чья подпись приведена в правом углу титульного листа с рисунком. Увы, нам не удалось выяснить подробности об этом художнике.

Иван Елагин обозначил жанр поэмы «Портрет мадмуазель Таржи» как «комедию-шутку в трех картинах». Это комедия положе-

ний водевильного беспечного характера и путаницы создавшихся ситуаций. В комедии пять персонажей: Клод Фрапье, молодой художник; Жак, его друг-журналист; Фантин, девочка 16 лет из парижской бедноты; Франсуа Таржи, квартирный хозяин Клода и Жака; Клерета, его дочь. Атмосфера поэмы-шутки 1949 года разительно отличается от настроя стихов елагинских сборников 1947 и 1948 годов, наполненных болью пережитой войны и неустроенностью послевоенных дипийских судеб. Поэма уводит читателя в иной, беспечный, далекий мир Парижа, без указания точного времени происходящего.

Сюжет прост. Два богемных молодых человека – художник-транжир и журналист, журущий друга за денежные растраты, не имея средств, наняли маленькую мансарду, где кругом на крышах громко орут коты. Из окна мансарды оба друга тайком наблюдают за купанием молодой женщины-соседки. Художник тайно рисует ее, не имея денег на натурщицу, но мечтая получить деньги за продажу картины. Внезапно появляется владелец дома, страстный любитель котов и кошек, и предлагает сделать на заказ портрет своей дочери. Художник соглашается; во время сеансов он влюбляется в дочь владельца. Однажды владелец дома застает художника и дочь за страстным поцелуем – владелец грозит выгнать художника из мансарды. Друг художника, тем временем, написал хвалебную статью о портрете дочери Таржи в крупную парижскую газету, тираж которой насчитывает двести тысяч экземпляров. Журналист приводит в мансарду девочку-подростка из парижской бедноты, которую находит на улице, и устраивает ее служанкой в мансарде. Он постепенно влюбляется в нее. Смешные сцены «комедии положений» приводят к счастливому концу – созданию двух влюбленных пар.

Интересно отметить возможное влияние на опус Ивана Елагина комедии английского драматурга Брэндона Томаса «Тетка Чарлея», но в елагинской поэме нет переодеваний и путаницы персонажей. Влияние на Елагина могла оказать и американская экранизация 1941 года бродвейской постановки «Тетки Чарлея». В списках фильмов, которые были показаны в американских лагерях ДиПи, в том числе и в лагере Шляйсхайм, имеется этот фильм.

Легкость «парижской» поэмы Елагина нова по стилю, в ней чувствуется желание поэта отвлечься от военных тем и удрученных настроений. В поэме, как нигде, чувствуется возраст Елагина – к этому времени ему исполнился 31 год. Он был в полном расцвете сил, хотя этот период и омрачен расставанием с Ольгой Анстей. Возможно, именно по беспечности, столь свойственной героям этой поэмы, скучал Иван Елагин в тяжелой атмосфере беженского лагеря. Поэма была написана с целью ее возможной сценической реализации

в лагерном театре, но состоялась ли постановка, нам неизвестно. Просматривая лагерные газеты и хронику событий, имеющиеся в нашем распоряжении, мы не нашли информации об этом.

Последним елагинским текстом, относящимся к Мюнхену, были его «Политические фельетоны в стихах» (1952–1959). С Мюнхеном эти фельетоны связаны лишь местом издания. В связи с тем, что Иван Елагин с семьей выехал в мае 1950 года из Германии в США, можно с уверенностью сказать, что стихи были написаны им уже в Америке и просто отданы в издательство, знакомое Елагину еще по Шляйсхайму. В биографическом словаре Александрова «Русские в Северной Америке»<sup>22</sup> указано, что сборник политических фельетонов в стихах выпущен в 1949 году. Это явная ошибка. Во вступлении сборника-оригинала 1959 года Иван Елагин указывает следующее: «Политические фельетоны, помещенные в этом сборнике, написаны между 1952 и 1959 годами. Злободневность событий, вызвавших эти стихотворные фельетоны, стала уже историей, – однако история эта продолжается, почему и фельетоны еще сохраняют для читателя интерес».

Мы избежим оценки этих текстов. Главное в них – политическая злободневность. В сборник входит 53 стихотворных фельетона – это шаржи на советских политиков и их детей. В качестве примера назовем «Сталинское интервью»:

Он один про мир хлопочет,  
Оклеветанный врагом...  
Все враги, кто жить не хочет,  
У него под сапогом!

Другой пример – шарж на сына Сталина, Василия:

В этом больше нет сомнений,  
Знают все наверняка,  
Что родил папаша-гений  
Гениального сынка.

Обладая сверхталантом,  
Соску выкинув едва,  
В двадцать лет он – лейтенантом,  
Он – полковник в двадцать два!

На сынка мундир напялен,  
На мундире – орденюк.  
Раз папаша гениален –  
Гениален и сыночек!

И смотрите – очень скоро,  
Даже слишком поспеша,  
Вплоть до генерал-майора  
Повышают малыша!..

Или – шарж на советскую прессу:

Что в Москве, что в Ярославле –  
Одинакова печать.  
Предназначена для травли,  
Чтоб врагов разоблачать.

Все кого-нибудь да травят,  
К травле поводы найдя,  
И всему примером ставят  
Сверхпремудрого вождя...

«Политические фельетоны» были выпущены в издательстве Центрального Объединения Политических Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ), которое было основано в 1952 году в Мюнхене при активном участии и финансовой поддержке США и возглавлялось известным советским перебежчиком Григорием Климовым<sup>23</sup>.

Для характеристики ЦОПЭ обратимся к его к «Манифесту», опубликованному в брошюре «Неугасимая воля к свободе. За что мы боремся?»: «Непосредственным результатом народившейся революционной ситуации в Советском Союзе является факт ухода на свободный Запад советских солдат и офицеров, равно как и советских служащих из оккупированных коммунистами стран Центральной и Восточной Европы. Продолжая традиции русских революционеров, приходят они на Запад, чтобы создать здесь базу для борьбы с коммунизмом. То, что невозможно в условиях диктатуры, возможно здесь, при широкой поддержке свободных народов, глубоко симпатизирующих освободительной борьбе народов России. Так возникло Центральное Объединение Послевоенных Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ) – своего рода заграничный штаб освободительного движения народов России на современном этапе антикоммунистической борьбы. Цели народного движения, которые не могут быть опубликованы у нас на родине, сформулированы в Манифесте ЦОПЭ»<sup>24</sup>.

В десяти пунктах выражена программа этой организации. Ввиду того, что ликвидация коммунизма была заявлена как цель в первом пункте программы ЦОПЭ, неудивительно, что советское правительство приложило немало усилий для дискриминации этой организа-

ции как главного политического оппонента и врага в Западной Германии. В эту организацию входили люди различных политических взглядов, прежде всего – из рядов бывшей Русской Освободительной Армии генерала А. А. Власова.

В первом издании «Политических фельетонов» 1959 года указан следующий адрес редакции: München 19, Renatastr. 77, Deutschland<sup>25</sup>. В этом же издательстве вышли в Мюнхене сборник «Дело Пастернака» во время травли Бориса Пастернака в СССР (1958), секретные протоколы XX съезда КПСС и многие другие материалы, запрещенные в СССР. В качестве редактора и издателя назван др. П. Белей<sup>26</sup>.

Сам Елагин в поздние годы не любил вспоминать об этих фельетонах. В одном из своих интервью он объяснял, что не политика, а гражданственность важна для него в стихах: «В искусстве, как в большом доме, много всяких помещений, от чердака до подвала. Меня тянет в те комнаты, что выходят окнами на улицу, к людям. Отсюда моя гражданственность, а порой и публицистичность, многие путают это с политической позицией»<sup>27</sup>.

## ВЫЕЗД В США

В биографическом словаре Е. А. Александрова «Русские в Северной Америке» имеется следующая фраза: «В 1950 г. Елагин эмигрировал в США и поселился в Нью-Йорке»<sup>28</sup>. Краткость словарного формата не предусматривает разъяснения фактов, а лишь их констатацию. И всё же стоит упомянуть, что здесь не отражен факт абсолютной зависимости всех «перемещенных лиц» в послевоенной Германии от решения государственных чиновников. От самих дипийцев, их собственного желания, ничего не зависело: ни дата выезда, ни выбор страны. Можно было подавать заявки по рабочим квотам в ту или иную страну и ждать, долго ждать и надеяться, примут ли.

На всех этапах ДиПи воспринимались западными союзниками и германским правительством как большая неразрешимая проблема, для циничного решения которой сокращения численности ДиПи путем массовой репатриации и насильственных выдач было приоритетным. Дипийские судьбы зависели от общих решений ООН и ее исполнительных органов на местах во всех трех западных зонах оккупации Германии и Австрии: сначала УНРРА до 30 июня 1947 года, с 1 июля 1947 по 1 июля 1950 – ИРО. Все распоряжения согласовывались с Высшей Военной Администрацией в каждой отдельной зоне<sup>29</sup>. Высшим органом военного управления в американской зоне был OMGUS (Office of Military Government United States for Germany), начавший свою работу с 1 октября 1945 года после пере-



дачи управления от Седьмой и Третьей Американских армий, а в Баварии это был OMGBY (Office of Military Government for Bavaria). После создания бизональной администрации согласование вопросов ДиПи также осуществлялось высшим органом Совета Бизонии<sup>30</sup>.

Когда с июля 1947 года ООН приняла решение о расселении ДиПи из лагерей в Германии и Австрии, весь процесс оформления документов на выезд был строго регламентирован. Если перемещенное лицо проживало в лагере, процесс проходил организованно: подавались списки в лагерное управление о желании выехать в ту или иную страну, заявки рассматривались в соответствии с имеющимися рабочими квотами, которые устанавливала каждая отдельная страна, согласившаяся принять ДиПи. Лагерное управление организовывало медицинские предварительные осмотры уже в лагере, давая направление на общие медицинские комиссии, – таким образом «отсеивая» кандидатов по возрасту и состоянию здоровья. Преимущество отдавалось молодым и здоровым.

Далее ДиПи отправлялись в «Центр по переселению» (Resettlement Center) в Мюнхене, который был размещен с декабря 1948 года в «Функ-казарме», примерно в 10 км от лагеря Шляйсхайм. Там проводились медицинские комиссии и собеседования по набору рабочей силы и по переезду в разные страны. «Функ-казарма» стала местом своего рода паломничества для тех, кто стремился всеми силами покинуть послевоенную Баварию. Для тех, кто жил вне лагерей, на частных квартирах, ситуация была сложнее. Эта категория лиц хоть и имела право на выезд, но запись на комиссии и их прохождение люди должны были организовывать самостоятельно, что было непросто при полной языковой изолированности и незнании иностранных языков. Самым тяжелым выездом для ДиПи, проживающих вне лагерей, было условие самостоятельной оплаты медицинских и транспортных услуг. Для безденежных беженцев это стало равносильно полному запрету на выезд. На помощь приходили частные спонсоры из-за океана и благотворительные организации, такие как Толстовский Фонд, War Relief Service в Нью-Йорке, Экуменический Совет церквей в Женеве (World Council of Churches), Church World Service в Нью-Йорке, YMCA в Женеве.

В Центре проводилось первое собеседование и выявление страны, куда проходил набор ДиПи, владеющих определенными профессиями. Первым и важным условием для выезда было прохождение медицинской комиссии, где необходимо было предоставить рентгеновский снимок как доказательство отсутствия туберкулеза, а также нужно было сдать кровь и пройти общее медицинское обследование. Это был так называемый медицинский «проходной балл» в новую страну, откуда

запрашивались лишь молодые и здоровые рабочие силы; люди старше 50-ти лет почти не имели шансов на выезд. Часто выезжали группами, без сохранения единства семьи. Разрывались семьи, пожилые и старики оставались в Германии.

Программа ИРО по расселению ДиПи была напрямую связана с Международной биржей труда при ООН. Правительства стран Северной и Южной Америки, Канады, Австралии, Бельгии, Марокко подавали заявки о необходимости рабочей силы в сельском хозяйстве, секторе бытовых услуг, промышленности и самостоятельно устанавливали численность по въезду для мигрантов-беженцев из послевоенной Германии, условия въезда, жизни и получения прав на работу, учебу, медицинскую страховку и принятия гражданства. Миграционная политика каждой отдельной страны была различна.

С 1 июля 1947 года один из корпусов «Функ-казармы» был преобразован в «ИРО-Центр по переселению ДиПи в другие страны» (Resettlement Center IRO), он «просуществовал до 30.09.1953 года»<sup>31</sup>. Расположение этой казармы было удобным, так как она размещалась рядом с железнодорожными путями. От «Функ-казармы» уходили поезда на север Германии, увозя людей в Бремерхафен, Бремен, Гамбург – города в западных зонах оккупации, откуда отплывали пароходы в США. Центральное месторасположение «Функ-казармы» позволяло также быстро добираться из разных частей Мюнхена и с его окраин. Из лагерей ДиПи людей привозили группами на грузовиках, а живущие вне лагерей приезжали сами на трамвае. В «Функ-казарме» перемещенные лица размещались на 2-3 дня – до отправления поезда на север Германии. Один из блоков казармы служил сборным пунктом для отъезжающих на поезде.

К 24 апреля 1953 года городские власти Мюнхена приняли решение о переводе Центра по расселению ДиПи из «Функ-казармы» в бывший лагерь Карлсфельд, который находился в 10 км от центра Мюнхена. Согласно утверждению властей, в лагере Карлсфельд можно было разместить большее количество людей в ожидании результатов проверок комиссий ИРО. Однако это решение вызвало большие протесты прежде всего со стороны международных благотворительных организаций, которые помогали реализовывать программу переселения ДиПи из Баварии по заказу ООН и чьи офисы находились в «Функ-казарме». Для этих организаций важным было условие доступности Центра для «перемещенных лиц». Ведь кроме медицинских комиссий ИРО предусматривала обязательное прохождение комиссий по проверке идентификации личности каждого «перемещенного лица».

С ДиПи проводились также собеседования на идеологическую

благонадежность и политическую лояльность. Так, например, представители американских комиссий довольно строго проверяли данные русских ДиПи на предмет членства в профсоюзах или в коммунистической партии. Как это могли проверить американские служащие при отсутствии информационной базы и невозможности запроса данных в СССР, неизвестно. В таких проверках ДиПи на политическую благонадежность, особенно из рядов бывших советских граждан, отразилось общее настроение в американском обществе с началом политического движения сенатора Джозефа Рейменда Маккарти (1950–1957), сопровождавшееся обострением антикоммунистических настроений. Страх принять в страну коммунистических агентов из рядов ДиПи диктовался отчасти законом о внутренней безопасности США.

Такие собеседования проводились сотрудниками ИРО, владеющими иностранными языками, – в основном, американцами русского происхождения. Но были и сотрудники из рядов ДиПи, владеющие английским языком. Вот что вспоминает Людмила Сергеевна Оболенская-Флам: «Часто от таких переводчиков зависела твоя судьба, дадут разрешение на выезд или нет. В этих комиссиях попадались хорошие люди, которые при собеседованиях с пониманием относились к ДиПи, если чувствовали, что перед ними человек с фальшивой биографией. Все знали, что это была стратегия выживания в трудный период насильственных выдач. Такие переводчики часто помогали правильно отвечать на поставленные вопросы»<sup>32</sup>.

Русские ДиПи были выделены ООН в особую группу. Политика прямых массовых репатриаций в СССР советских военнопленных и остовцев и политика насильственных выдач антикоммунистических беженцев сменилась с осени 1946 года проверкой на многочисленных комиссиях-скринингах для установления легитимности статуса ДиПи с целью дальнейшего сокращения численности русских «перемещенных лиц». С осени 1948 года, когда ИРО стартовала Программа по расселению ДиПи в другие страны, начались новые изнурительные комиссии; теперь это были комиссии по проверке права и возможности выехать. Интересными нам кажутся в этой связи воспоминания Н. Н. Чухнова «В смятенные годы», описывающие утомительный процесс психологического нажима УНРРА и ИРО на людей: «Начался опрос эмигрантского подушья различными комиссиями, задача которых была не совсем понятна не только опрашиваемым, но и им самим. Постольку-поскольку проверочные комиссии должны были творить свое грязное дело, они сначала внушали ДиПи страх, потом заставили насторожиться и придумывать разные истории своего происхождения и срочно менять биографии, а

затем на эти комиссии никто внимания не обращал, а многие даже на них и не являлись. Так или иначе между оккупационными властями и перемещенными лицами началась позиционная война, продолжавшаяся почти четыре года. В разных местах и в разное время всё шло по-разному. Многое зависело от состава комиссий: если в ней участвовал какой-нибудь коммунист, то процедура осложнялась, создавалась ненужная переписка, многим задерживался выезд из Германии, многих доводили до отчаяния и даже самоубийства, многие семьи разделили, послав детей в США, а родителей в Австралию. Сумбур был полный. Сама же система порождала ложь, увертки, фальсификацию и прочее... Не попавшие под статус 'ДиПи' лишались права проживания в лагерях, бесплатного довольствия и выезда за границу в общем порядке, но лишь по индивидуальным визам и за собственный счет... Почти 90% новых эмигрантов доказали, что они проживают в Европе со дней крымской эвакуации, лишённые харчей в лагерях перешли на германскую экономику, устроились на работу, арендовали частные квартиры и чувствовали себя великолепно, а потом всё же с опозданием на несколько месяцев перебрались в США или другие страны»<sup>33</sup>.

Для Ивана Елагина процесс оформления документов на выезд оказался длительным. В его регистрационной карте ДиПи, которую мы обнаружили в архиве Бад Арользен, есть указания, что документы для семьи Матвеевых (Ивана, Ольги, Елены) были поданы весной 1949 года, а разрешение на выезд было получено ими 26 апреля 1950 года. Это значит, что прошел ровно год в многочисленных медицинских комиссиях и проверках идентичности личности. Очевидно, это было связано с тем, что для многих ДиПи, выезжающих в США, ставилось условие раскрытия истинной биографии и подлинного имени, так как смена фамилии и изменение биографии было для большинства новых русских эмигрантов единственным спасением от расправы советских репатриационных комиссий и насильственного возврата на родину.

В официальной дипийской документации Иван Елагин «проходит» как Иван Матвеев без указания псевдонима «Елагин». Ввиду того, что он не менял свою фамилию, ему на комиссиях было нечего опасаться. И всё же страх сопровождал повсюду – и Матвеевы прибегнули к спасительным поддельным Нансенским документам, согласно которым они проживали до 1938 года в Праге.

В регистрационной карточке Ивана Матвеева указано, что разрешение на выезд получено им и его семьей 26 апреля 1950 года; эта дата является также датой перевода семьи Матвеевых в «Функ-казарму». Произошли ли эти события в один день, нам неизвестно.

Интересно отметить также, что на момент оформления документов на выезд в США брак Ивана Елагина и Ольги Анстей переживал сложную фазу расхождений, но для упрощения формальностей, во имя дочери и скорейшего выезда, все документы были поданы вместе, на семью. Документы по выезду в США оформлены на три имени: Ивана, Ольги и Елены Матвеевых.

Тостом звучит одно из стихотворений Ивана Елагина:

За то, что руку досужую  
Не протянул к оружию,  
За то, что до проволок Платтлинга  
Не шел я дорогой ратника,  
За то, что под флагом Андреевским  
Не разнесло меня вдребезги, –  
За это в глаза мне свалены  
Всех городов развалины,  
За это в глаза мне брошены  
Все, кто войною скошены,  
И вместо честной гибели  
По капле кровь мою выпили  
Тени тех самых виселиц,  
Что над Москвою выселись.

Позволим себе кратко прокомментировать отдельные строки в этом стихотворении.

«За то, что руку досужую не протянул к оружию, / За то, что до проволок Платтлинга / Не шел я дорогой ратника...» Несмотря на большие симпатии к идеям Русского Освободительного движения генерала А. А. Власова, Елагин не вступил в военные подразделения его армии, сотрудничающие с вермахтом. Платтлинг – это местечко в Верхней Баварии, где был размещен лагерь для остатков Власовской армии численностью около 4000 человек. «Это – большое поле, которое вытянулось между городком Платтлинг и Дунаем. Лагерь обнесен несколькими рядами колючей проволоки и охраняется стражей на вышках. Настроение в этом лагере было угнетающее. Пребывание в нем его сидельцев было сплошной мукой, так как надежды, что власовские солдаты смогут избежать выдачи в Советский Союз, становилось всё меньше. А выдача, понятно, означала для них худшее, чем смерть. Многие из них запаслись бритвенными лезвиями, которыми они собирались вскрыть себе вены у запястья. Другие обзавелись ядом... Начались допросы власовцев советскими репатриационными комиссиями в американском лагере Платтлинг. Всем задавался один

и тот же вопрос: 'Почему вы сражались против своей родины?' И всегда звучал ответ: 'Я сражался не против, а за свою родину и против тех, кто бесправно захватили над ней власть'»<sup>34</sup>. Насильственная выдача в лагере состоялась 24 февраля 1946 года. Эта дата стала поминальным днем памяти жертв Платтлинга и ежегодно отмечалась после войны в Мюнхене и других центрах русской эмиграции.

Вот как описывает этот день 1946 года Сергей Борисович Фрёлих: «В 6 часов утра лагерь был окружен американскими отрядами особого назначения с танками, броневиками, автомобилями, лафетами, машинами на гусеничном ходу и джипами с пулеметами. Американские солдаты, вооруженные белыми дубинками, которые скоро окрасились в красный цвет, атаковали ярко освещенные прожекторами бараки и поднимали спящих пленных. Им не дали даже времени одеться. В подштанниках, трусах и рубашках – так, как они пошли спать, стояли они тут, их обыскивали и вызывали по списку. Учитывая опыт с баррикадированием, попытками поджога барачных и покушений на самоубийство со стороны пленных, всё выполнялось стремительно. Вызванные должны были влезать на грузовики, ложиться там плашмя и под строжайшей охраной препровождаться к ожидающим на станции Платтлинг поездам. И беда, если они шевелились: тогда их начинали избивать. На вокзальной площади выстроился американский оркестр, который с предельной силой трубил военные марши, чтобы заглушить крики. Живущим на соседних улицах было запрещено подходить к окнам»<sup>35</sup>.

В елагинской строке «За то, что под флагом Андреевским / Не разнесло меня вдребезги...» имеется ввиду Андреевский флаг Русской Освободительной Армии генерала А. А. Власова. В январе 1948 года в лагере Шляйсхайм была создана также политическая группировка «Союз Андреевского флага» (САФ), действовавшая при поддержке бывших немецких военных кругов. К этой организации Иван Елагин не имел никакого отношения.

Вот как описывает состав САФ С. П. Мельгунов на страницах парижского журнала «Российский демократ»: «САФ соединился с РОНДД-ом, т. е. 'великодержавниками', в его ряды вошла часть активных 'власовцев' (СБОНР), а также всеказаچه антикоммунистическое объединение (ВАЗО), образовавшееся в июне 1947 года. САФ ставит своей задачей возглавление освободительной борьбы с большевизмом. Печатный орган 'Наше время'»<sup>36</sup>. САФ находился под контролем американской и немецкой разведывательных служб в период с 1948 по 1951 годы. Инициатором создания этой организации был генерал-лейтенант Петр Владимирович фон Глазенап (2.3.1882 – 27.05.1951)<sup>37</sup>, он же был избран председателем САФ, а после его

смерти с 9 июня 1951 года руководство САФ было передано генерал-майору Александру Голубинцеву (28.02.1882 – 19.04.1963)<sup>38</sup>.

Главным лозунгом САФ был призыв: «За веру и верность России и флагу Святого Андрея!» Первым печатным периодическим органом стал журнал «Наше время», позднее этот журнал объединился с журналом «На переломе», называя себя «органом русской независимой мысли». Имелся также орган «Ведомости Союза Андреевского флага», выпускаемый к определенным датам. Символом организации был избран кормовой флаг кораблей бывшего Военно-морского флота Российской империи, который был также символом РОА во время Второй мировой войны; эта символика стала использоваться с момента создания Комитета Освобождения Народов России (КОНР) в 1944–1946 годах. САФ получал финансовую поддержку от немецкой разведывательной службы Райнхарта Гелена до смерти П. В. фон Глазенапа.

Вернемся к фактам, связанным с выездом Ивана Елагина.

Большой помощью в определении точных данных о выезде Ивана Елагина стали для нас списки выезжающих от 26 апреля 1950 года и списки перевода Матвеевых в «Функ-казарму». В них на каждое «перемещенное лицо» внесены следующие данные (приводим их в последовательности, которая отражена в официальных списках):

Контрольный номер выезжающего лица, год и страна рождения, профессия:

№ 306 Matveiev Ivan (Иван Матвеев), 01.12.18, Россия, садовник,

№ 307 Matveiev Olga (Ольга Матвеева), его жена, 1.03.12, Россия, без профессии,

№ 308 Matveiev Ellen (Елена Матвеева), его дочь, 08.01.45, Германия, без профессии.

Вся семья получила единый номер на выезд: № 922218. Вся семья получила также единый номер на переезд на поезде из Мюнхена в Бремен, а далее – номер для размещения в Грон, лагере выезжающих ДиПи, затем – новый номер для выезда из Бремерхафена на военном корабле в Нью-Йорк: № 82757.

В качестве спонсора для семьи Матвеевых указана благотворительная организация Church World Service (CWS)<sup>39</sup>. В графе национальность у Ивана и Ольги Матвеевых отмечено: «русские», у их дочери Елены – «Нансенский беженец». В графе «конфессия» указано для всех троих Матвеевых «греко-православные».

В список внесена также информация о территориальной принадлежности лагеря, из которого они поступили в Центр по расселению ДиПи, – это Ароя № 7, а также внесен адрес лагеря: Фельдмохинг. Это



почтовый адрес лагеря Шляйсхайм, территория лагеря «Большой Шляйсхайм», находящегося ближе к селению Фельдмохинг, чем к военному аэродрому Шляйсхайм. В списках американских лагерей она указана под № 631. В общем списке отъезжающих было обязательное указание адреса пункта конечного прибывания в США для каждого ДиПи. Для семьи Матвеевых был указан Порт Честер (Port Chester), NY, Comly Ave., без номера дома.

События развивались быстро. Как уже говорилось выше, семья была направлена из лагеря Шляйсхайм в сборный пункт «Функ-казарма» 26 апреля 1950 года. За две недели до посадки на военный пароход из Бремерхафена произошло так много! – счастливое разрешение на выезд, размещение в «Функ-казарме», выезд из Мюнхена в Бремен на поезде в составе многочисленной группы ДиПи разных национальностей из различных лагерей Баварии.

По прибытии в Бремен все ДиПи размещались в сборном пункте в лагере Грон (Grohn) вблизи Бремена, это примерно 55 км от порта Бремерхафен (Bremerhaven), откуда отходили военные корабли в США. Если сегодня самолет из Бремерхафена или Гамбурга доставит вас за 10 часов в Нью-Йорк, то после войны на военном корабле это путешествие длилось около 9-10 дней в зависимости от погоды. Нами обнаружен также список ДиПи от 4 мая 1950 года в архиве Бад Арользен, куда внесена семья Матвеевых в числе отплывающих из Бремерхафена в Нью-Йорк. Этот архивный документ «дарит» исследователю много точной информации, несмотря на его лаконичность, об организации переезда ДиПи и об общей структуре всех формальностей при выезде.

В документе указано, что «4 мая 1950 года в 16 часов на военном корабле ‘Генерал С.С. Балу’ (General C.C. Ballou) будет отправлено 1.272 ДиПи»<sup>40</sup>. Там же указано, что отплытие перенесено на 10 мая 1950 года из-за штормовой погоды.

Таких американских военных кораблей, как «Генерал Балу» было несколько; они курсировали между США и Германией и были задействованы в Европе сначала во время войны, а по ее окончании корабли по заданию ООН перевозили из США продукты, медикаменты и подержанную одежду для ДиПи в Германии, а возвращались в США, нагруженные беженцами.

Стоит несколько слов уделить военному кораблю «Генерал Балу», на котором отплывали в Северную Америку Иван Елагин и его семья. Этот военный корабль носил имя американского генерала Чарльза Кларендона Балу (Charles Clarendon Ballou). Корабль «начал перевозки ДиПи с 5 апреля 1949 года (859 человек) сначала по марш-



руту Германия – Австралия (Бремерхафен – Мельбурн), а с 1 марта 1950 по декабрь 1952 перевозки ДиПи осуществлялись также по маршруту Германия – США. С 1952 года этот американский корабль принял участие в Корейской войне<sup>41</sup>.

Нам неизвестны подробности десятидневного плавания Ивана Елагина и его семьи до Нью-Йорка. Эти дни не нашли отражения ни в его стихах, ни в мемуарах. Но мы можем лишь предположить, с какой радостью Иван Елагин, как и все русские ДиПи, измученные неизвестностью, оставлял послевоенную Германию и надоевшую жизнь в лагерях. Период дипийского бытия был для него окончен в тот момент, когда он ступил на палубу «Генерала Балуб».

В списке пассажиров военного корабля указаны три имени Матвеевых: Ивана, Ольги, Елены. Сообщение подписано господином Р. Г. Хайд (R.G. Hyde), директором Офиса отправления при Главной квартире ИРО (Director International Movements Office, IRO). Интересно отметить, что копии всех списков выезжающих высылались для согласования в следующие организации (число копий указывалось также):

- Главная Квартира ИРО, Отдел расселения и страховки для ДиПи в Женеве, Швейцария (IRO HQ Div. of Resettlement Insurance, Geneva), 5 копий;

- Главная Квартира ИРО в Вашингтоне, США (IRO HQ Washington), 1 копия;

- Директор Главной Квартиры ИРО в лагере Грон, Германия (IRO HQ Director Area 8, camp Grohn), 1 копия;

- Главная Квартира ИРО, Отдел расселения в городе Лемго, Германия (IRO HQ Department of Resettlement, Lemgo<sup>42</sup>), 2 копии;

- Главная Квартира ИРО, Поисковая служба в городе Арользен, Германия (IRO HQ Tracing Service), 1 копия;

- Главная Квартира ИРО, Отдел перемещений ДиПи в городе Лемго, Германия (IRO HQ Department of Movements, Lemgo), 1 копия.

Количество Отделов Главной Квартиры ИРО, размещенных в разных странах, куда отсылались копии списков выезжающих ДиПи, доказывает, с какой скрупулезностью работали сотрудники организации; учет «перемещенных лиц» был строгим. Согласно этим документам, мы можем с точностью установить сроки прибытия Ивана Елагина в лагерь «Грон» и время его отплытия в Нью-Йорк: списки были составлены 4 мая, далее указано 8 мая – пересылка копий в вышеупомянутые организации, 16 мая 1950 – все подтвердили получение информации. Имеется и штамп точного отплытия – 10 мая 1950 года.

В нашем распоряжении два списка выезжающих ДиПи: первый – список лиц, получивших разрешение на выезд поездом из Мюнхена в Бремен, второй – список выезжающих из лагеря Грон на военном американском корабле из порта Бремерхафен в Нью-Йорк.

Интересно отметить, что в списке выезжающих из лагеря Грон имя дочери Ивана Елагина было написано не Ellen – как в списке выезжающих лиц из лагеря «Функ-казарма», а Helene. В графу «национальность» была внесена информация, что все трое – Иван, Ольга и Елена – являются гражданами СССР, хотя Елена родилась в Германии. Звучит это странно, если вспомнить, что Елена, рожденная в Берлине, была уже признана Нансенским беженцем, что указано в первом списке. Ясно одно: изменения в списки вносились на основе повторных проверок и собеседований, которые и далее тщательно проводились в лагере Грон вплоть до момента выезда и вносились в учетную карточку выезжающего дипийца. Можно представить себе нервное напряжение людей, измученных не только переездами, но и повторяющимися проверками.

Во втором списке указывался точный возраст на момент выезда. Так, в списке имеется следующая информация: Ольге Матвеевой – 38 лет, а Ивану Матвееву – 31 год, Елене – 5 лет. Во втором списке у выезжающих Матвеевых новые номера: № 678 (Ольга), № 679 (Иван), № 680 (Елена). Вся остальная информация идентична информации из списка «Функ-казармы».

По приезде в США Матвеевы получили статус военного беженца с перспективой получения американского гражданства. На этом дипийский период жизни Ивана Елагина формально был завершен.

По прибытии в Нью-Йорк карты судьбы были смешаны новыми событиями: брак Ивана Елагина и Ольги Анстей был расторгнут, он держался лишь общим процессом выезда из послевоенной Германии. Ольга вышла замуж за Бориса Филиппова, но этот брак был недолгим.

Мы избежим анализа отношений Ольги Анстей и Бориса Филиппова, позволим себе лишь упомянуть отдельные факты, повлиявшие на их знакомство в лагере Шляйсхайм. Борис Филиппов-Филистинский был переведен из лагеря Мёнхехоф<sup>43</sup> (Mönchehof), вблизи Касселя, в Шляйсхайм в 1949 году. Мёнхехоф был создан американцами в июле 1945 года<sup>44</sup>, к осени 1949 лагерь был расформирован; часть русских ДиПи из Мёнхехофа (в их числе и Константин Болдырев, видный деятель НТС), выехала в Марокко, другая была в организованном порядке переведена в лагерь Шляйсхайм под Мюнхен<sup>45</sup>. Первое знакомство Ольги Анстей с Борисом Филипповым относится к осени 1949 года в Литературном клубе лагеря Шляйсхайм.

Иван Елагин женился во второй раз лишь спустя 8 лет, в 1958 году, на Елене Даннхайзер, в этом браке родился сын Сергей (1967).

Остановимся на кратком описании пункта прибытия Ивана Елагина в США. Ввиду того, что их выезд был организован через благотворительную организацию Church World Service, штаб-квартира которой размещалась в Нью-Йорке, то неудивительно, что вся семья Матвеевых была направлена именно в штат Нью-Йорк, в маленький городок Порт Честер, на границе штатов Нью-Йорк и Коннектикут. Тогда в этом местечке проживало не более 15 тысяч жителей, сегодня – чуть более 29 тысяч человек. Для регистрации и для получения дальнейшего места жительства и работы семья Матвеевых должна была обратиться в протестантскую церковь Святого Павла по адресу Comly Avenue.

Согласно соглашению с ИРО, каждый ДиПи должен был по прибытии в США «отработать» сумму, затраченную на его переезд. Увы, нам неизвестно о роде работ, к которым был привлечен Иван Елагин в Порт Честере. С этого момента начинался новый, американский этап жизни молодого, 31-летнего, Ивана Елагина. Война и дипийские лагеря остались позади, но чувство своей «вневременности» Иван Елагин пронес через всю жизнь, через свою поэзию.

Да что я – бревно какое,  
подхваченное рекою  
смывающих всё времен.  
А где-то рядом Державин  
барахтается, забавен  
и с участью примирен.  
И все мы несемся скопом,  
застигнутые потоком  
мгновений, минут, веков.  
И одинаков жребий  
праведников и отребий,  
гениев и пошляков.

Я времени не попутчик!  
В потоках его шипучих  
плыву вперекор ему,  
Как бился я в рукопашной  
с волною его вчерашней,  
так с завтрашней бой приму.  
И, подымаясь руслом,

я слышу, как время с хрустом  
ломается изнутри.  
Я время пробую – и двинусь  
туда, где идут впереди нас  
народы, царства, цари.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Н. Н. Чухнов использует это название лагеря в соответствии с русской транскрипцией немецкого названия. Но интерпретаций названия было множество. Самым точным, близким к фонетике немецкого названия, является «Шляйсхайм».
2. УНРРА закончила свою работу 30 июня 1947 года. ИРО начала свою деятельность официально 1 июля 1947 года.
3. Согласно статистике лагерей в американской зоне, в лагере Шляйсхайм насчитывалось 4870 человек на 25.04.1947 года.
4. Чухнов, Н. Н. В смятенные годы. Очерки нашей борьбы в годы 1941–1945 / Всеславянское изд-во, Нью-Йорк, 1967. – С. 93.
5. Глэд, Джон. Беседы в изгнании // Русское литературное зарубежье, Колледж Парк, 1980.
6. Указание на то, что в лагере проживало около 40 тысяч человек – это простительная ошибка Ивана Елагина. Легенды о численности лагеря Шляйсхайм не выдерживают критики при просмотре статистических недельных отчетов от правления лагерей; в них указывается, что даже в самый «многонаселенный» период существования в лагере Шляйсхайм размещалось не более 5 тысяч человек. Интересно отметить, что сами жители лагеря точно не знали численности населения в Шляйсхайме; восстановить статистику помогают недельные протоколы из лагерей в Американской Военной Администрации. (Архив Бад Арользен)
7. Глэд, Джон. Указ. соч.
8. Журнал «Русские еженедельные новости», № 12, от 30.08.1946, лагерь Шляйсхайм-Фельдмохинг. – С. 2.
9. Беседа автора с С. С. Вороницыным в Мюнхене от 13.05.2017.
10. Псевдоним журналиста Гавриила Гавриловича Раменского (1899–1958). Политический и общественный деятель, член руководства СБОНР; автор парижских журналов «Рубеж», «Вызов» и «Народная Правда» (ред. Р. Б. Гуль); «Эхо», «Литературный современник», НРС, «Новый Журнал» и др. (Редакция НЖ благодарит за предоставленную информацию П. Н. Базанова и Ж. Шарона).
11. Елагин, Иван. Ты, мое столетие // Мюнхен, 1948. – Сс. 3-5.
12. Выпь – общее название ряда птиц из семейства цаплевых, их громкий голос напоминает рев быка. В словарях русского языка до 1917 года «выпь» обозначена как синоним для «выть» и «вопить».

13. *Синкевич, Валентина*. Летописец Нью-Йорка Вячеслав Завалишин / «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 248, 2007.

14. *Елагин, Иван*. По дороге оттуда / Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1953. – Сс. 5-6.

15. Борис Филиппов (наст. Борис Андреевич Филистинский, 24 июля/6 авг. 1905, Севастополь, – 3 мая 1991, Вашингтон), писатель, поэт, издатель, преподаватель. Родился в семье офицера, отец погиб в Первую мировую войну, мать – зубной врач; племянник академика-монголооведа С. А. Козина. Окончил Ленинградский университет, факультет Восточной истории. Во время учебы арестован в 1927 году за участие в религиозно-философском кружке С. А. Аскольдова «Братство Св. Серафима Саровского». В 1933 закончил Ленинградский институт промышленного строительства. Повторно арестован в 1936 году, осужден на 5 лет, в лагерях Коми до 1941 года. После освобождения поселился в Новгороде. С отступлением частей вермахта в 1944 году ушел на Запад.

16. *Чухнов, Н Н*. Указ. соч. – Сс. 93-94.

17. Эмигрантское «Новое время» вело свою традицию с 1868 года от петербургского «Нового времени», выходившего пять раз в неделю; постепенно газета смогла перейти на ежедневные выпуски, а с 1881 года, как популярное либеральное издание, газета имела даже утренний и вечерний ежедневные выпуски, с иллюстрированными приложениями. Тираж ее достиг двухсот тысяч экземпляров. Своей популярностью газета обязана А. С. Суворину. «Суворинское Товарищество» было настоящей петербургской книжной империей, с собственным книжным магазином и издательством, знаменитым на всю дореволюционную Россию серией русских и зарубежных классиков «Дешевая библиотека» и справочным изданием «Вся Россия». В Петербурге был известен и городской адресный справочник «Весь Петербург», с указанием точных адресов владельцев и съемщиков квартир, адресов фирм и предприятий, до 1914 года постоянно обновлявшийся. Дух газеты изменился с момента прихода в нее В. П. Буренина: из европейско-либерального издание превратилось в реакционное с явно выраженной антисемитской тенденцией, что особенно проявилось в освещении дела Дрейфуса. После прихода к власти большевиков газета была закрыта.

18. *Чухнов, Н Н*. Указ. соч. – С. 133.

19. Русско-американская поэтесса Ираида Иоанновна Легкая (в замужестве Ванделос, Пушкарева. 1930–2020), родилась в Тартак, Латвия, в семье о.Иоанна Легкого, православного священника, впоследствии епископа РПЦЗ; выросла в Риге. Вместе с семьей в конце войны попала в Германию, после окончания войны Легкие очутились в Судетии, сумели выехать до прихода советских войск в американскую зону оккупации Германии – сначала вблизи Гамбурга, а с октября 1946 г. семья переехала в Мюнхен и была зарегистрирована в лагере Шляйсхайм, получив статус ДиПи. В шляйсхаймов-

ский период Ираида Легкая лично еще не была знакома с Иваном Елагиным, их знакомство и крепкая дружба случились уже в США.

20. Телефонная беседа автора с Ирандой Легкой от 12.03.2020.

21. *Анстей, О.* Человек из Зурбагана. Статья / «На переломе», № 7, 1946, лагерь Мюнхен-Фрайманн. – Сс. 21-23.

22. *Александров, Е. А.* Русские в Северной Америке. Биографический словарь// Хэмден – Сан-Франциско, СПб., 2005.

23. Климов, Григорий Петрович (настоящее имя Игорь Борисович Калмыков; в Германии был известен как Ральф Вернер. 26.09.1918, Новочеркасск, – 10.12.2007, Нью-Йорк), русско-американский писатель-перебежчик, журналист, редактор. В 1945 был направлен для прохождения службы переводчиком немецкого языка в звании младшего лейтенанта в Берлин, в Советскую Военную Администрацию. В 1947, получив приказ вернуться в Москву, бежал в Западную Германию. По другой версии, решение было принято после приказа об увольнении. После побега Климов приобрел фальшивые документы на имя Ральфа Вернера. В 1949–1950 годах работал в т. н. «Гарвардском проекте», проводя психологические опросы русскоязычных беженцев. В 1951–1955 годах был председателем ЦОПЭ и главным редактором журналов «Свобода» и «Антикоммунист» (последний – на немецком). Его книга «Машина террора» была сериализована в журнале Reader's Digest в 1953 году.

24. Манифест ЦОПЭ, 15 января 1952, Мюнхен.

25. Адреса издательств ЦОПЭ в Западном Берлине и в Мюнхене на момент 1955 года: ZOPE, Berlin W 30r Bayerischer Platz 6; ZOPE München 2, Gaiglstr. 25.

26. Druck: Dr. P. Belej, München 13r Schleissheimer Str. 71.

27. *Глэд, Джон.* Указ. соч.

28. *Александров, Е. А.* Указ. соч. – С. 189.

29. *Clay, L.* Decision in Germany / New York, 1950.

30. *Troeger, H.* Interregnum. Tagebuch des Generalsekretärs des Underrates der Bizone 1947–1948. Hrsg. v. Benz W., Goshler C. / München, 1985.

31. DP-camp Inventory, Bad Arolsen.

32. Телефонный разговор автора с Л. С. Оболенской-Флам от 26.3.19.

33. *Чухнов, Н. Н.* Указ. соч. – Сс. 175-177.

34. *Фрëлих, Сергей.* Генерал Власов: русские и немцы между Гитлером и Сталиным / Markus Verlag, 1990.

35. *Фрëлих, Сергей.* Указ. соч.

36. *Мельгунов, С. П.* В ж. «Российский демократ» // Париж, № 1, 1948. – С.40.

37. Петр Владимирович фон Глазенап (2.03.1882, Гжатск, – 27.5.1951, Мюнхен), генерал-лейтенант, служил в Русской Императорской армии, Добровольческой и Северо-Западной армиях во время Гражданской войны, первопоходник. В феврале 1920 года вместе с Главнокомандующим Северо-Западным фронтом ген. П. Юденичем выехал в Ригу, затем в Лондон. Командовал 3-й Русской армией в Польше в совместных операциях с бело-

поляками в 1921 году. С 1922 года в Польше. Во время Второй мировой войны переехал в Германию. После войны в американской зоне оккупации создал организацию «Союз Андреевского флага».

38. Голубинцев Александр Васильевич (28 февр. 1882, стан. Новочеркасская Обл. Войска Донского, – 19 апр. 1963, Нью-Йорк. По др. дан.: 17 апр. 1963, Кливленд, шт. Огайо), участник Белого движения на Юге России, генерал-майор. Из казаков Войска Донского. Служил в частях Войска Донского. Участник Первой мировой войны на Сев.-Зап. и Зап. фронтах. После Октябрьского переворота – на Дону. В эмиграции в Болгарии (1920–1944), затем в Германии. В 1943–44 гг. поддержал формирование казачьих частей в вермахте. В 1944–45 гг. на службе в ВС КОНР. В марте 1945 года в Хойберге (Вюртемберг) совместно с казачьим генерал-майором В. Г. Науменко и др. участвовал в разработке «Положения о Совете Казачьих Войск» (СКВ) при ВС КОНР. Член редколлегии журнала Общеказачьего стана в лагере Шляйсхайм «На пикете» (1947–48). В 1947 участвовал в деятельности Высшего Монархического Совета, зам. председателя Окружного Совета Монархии. В апреле-июле 1948 – член Антикоммунистического Центра Освободительного Движения Народов России (АЦОДНР). Автор сочинений по истории Гражданской войны на Юге России.

39. Church World Service (CWS) была основана в 1946 в Нью-Йорке как совместное Объединение 37 христианских союзов и объединений для решения проблем послевоенных беженцев по принципу «помощь для самостоятельности». Эта организация имела договор сотрудничества с ООН для реализации Программы переселения ДиПи в США. Работа велась в тесном контакте с Толстовским Фондом в Нью-Йорке.

40. Архивный документ № 3.1.3.2./81668204, Archivs Bad Arolsen.

41. *Cudahy, Brian J.* Box Boats: How Container Ships Changed the World, 2006.

42. Городок Лемго входит в состав Федеральной Земли Нордрайн-Вестфален (Nordrhein-Westfalen), Detmold.

43. В мемуарах русских ДиПи, например Р. В. Полчанинова, лагерь назван «Мёнхехоф». Мы придерживаемся транскрипции, близкой к немецкому произношению «Мёнхехоф».

44. История создания русского лагеря Мёнхехоф прекрасно освещена в статье Р. В. Полчанинова «Основание ДиПи лагеря в Мёнхехофе» / «За свободную Россию», № 70, февраль 2006.

45. Нами были обнаружены также регистрационные карточки ДиПи на имя Бориса Филиппова, из которых следует, что он с матерью Лидией Козиной был первично зарегистрирован 22 августа 1945 года во вновь сформированном русском лагере Мёнхехоф (УНРРА, лагерь № 520), а в сентябре 1949 года они были переведены в лагерь Шляйсхайм под Мюнхен. К 24 июля 1950 года Борис Филиппов и Лидия Козина были внесены в список от 20 июля 1950 года для ДиПи, прошедших проверки и комиссии в ИРО-Центре по расселе-

нию ДиПи в Мюнхене (Resettlement Center Munich) и получивших право на выезд в США. Спонсором для выезда Бориса Филиппова, как и у семьи Матвеевых, была Church World Service. Их имена были внесены в списки отъезжающих из порта Бремерхафен в Германии в Бостон. Отплытие было назначено на 30 июля 1950 года. В списках указано, что Борис Филиппов-Филистинский является учителем по экономике, мать – домработницей. На этот момент ему исполнилось 44 года, а матери – 68 лет. Они плыли на военном американском корабле «Генерал Муир» (General Muir). По приезде в США контакты между Иваном Елагиным, Ольгой Анстей и Борисом Филипповым в Нью-Йорке продолжились. По прибытии в Бостон Борис Филиппов и его мать получили разные адреса проживания: Филиппову предписывалась ферма «Reed Farm» в городке Valley Cottage, шт. Нью-Йорк, – адрес Толстовского Фонда, а для его матери – частный адрес в Манхэттене: 294 Riverside Dr., New York, NY. Это говорит о том, что хотя официальным спонсором переезда для Филистинских была CWS, но активную долю во всей организационной работе осуществлял Толстовский Фонд. Фонд с осени 1947 года имел свой филиал в Мюнхене и всячески помогал русским беженцам и ДиПи после войны.

*Мюнхен*

От редакции: В предыдущей публикации фамилия матери Ивана Елагина Симы Лесохиной указана как «Лехотина». Указывая фамилию «Лехотина», автор статьи ссылаясь на архивный документ регистрации Матвеевых в лагере. Не исключено, что Иван Матвеев сознательно изменил фамилию, не желая подвергать опасности родственников матери, которые еще жили в Ленинграде.



Ренэ Герра

## К столетию Великого исхода

Октябрьский переворот и Гражданская война привели к исходу из России значительной части творческой интеллигенции. Русская культура оказалась расколотой на две части: одна осталась на территории нового советского государства, другая – за его пределами. Русское «рассеяние» по праву может называться Зарубежной Россией, которая сберегла достояние дореволюционной эпохи и даже его преумножила. Перед русскими эмигрантами стояла важная цель – сохранить богатство русской культуры, по возможности развить ее и обогатить культурным влиянием тех стран, где изгнанникам выпала судьба жить.

В мировой истории нет явления, по масштабу и культурному значению сравнимого с первой, послеоктябрьской, волной русской эмиграции. Великая страна в переломный период своего развития породила и великую эмиграцию. Все творческие личности, «выплеснутые» из России (по меткому выражению З. Н. Гиппиус), оставались в эмиграции со своим отечеством и мыслями, и душой. Будучи искренними и горячими патриотами своей родины, они думали и писали не только о причинах революции, но и о желательном и возможном будущем страны, о путях его достижения, о проблемах, трудностях и перспективах. В изгнании они сохранили веру в Россию, в ее историческое предназначение.

В XX веке были три волны русской политической эмиграции. Первая – послеоктябрьская, вторая – по окончании Второй мировой войны, а третья – с начала 1970-х годов. Самой массовой была первая волна, вызванная революцией и Гражданской войной в России. Количество бывших подданных Российской империи, оказавшихся на чужбине, с трудом можно определить даже примерными подсчетами; данные колеблются от двух с половиной до десяти миллионов человек, но, безусловно, самое главное – качественный состав первой волны русской эмиграции. За границей оказалась практически вся аристократия, вся элита (интеллектуальная, политическая, военная), весь цвет русской творческой интеллигенции (философы, писатели, художники, композиторы, ученые и другие).

В период долгих десятилетий господства большевизма в России за ее рубежами образовался, благодаря многогранной деятельности

эмиграции, целый пласт русской культуры, сформировалось особое культурное явление. К тому же эмигранты внесли значительный вклад в культуру принявших их стран – и, прежде всего, Франции. Они достойно представляли русскую культуру во всех ее проявлениях – в литературе, философии, изобразительном искусстве, драматическом театре, музыке, балете, опере, науке и общественной мысли, тем самым продолжая преданно служить отторгнувшему их отечеству. На чужбине обострился интерес к родной культуре, проявилось стремление сохранить ее достижения и передать следующим поколениям. Для творческих людей, оказавшихся в «рассеянии», возникла значимая проблема сохранения своей идентичности.

Следствием культурного самоопределения стала постановка вопроса о цивилизационной идентичности самой России – вопроса, не утратившего своей важности и поныне. Исход так называемой «белой» эмиграции был следствием подвига нравственного противостояния русских людей неприемлемой для них новой большевистской реальности. Их уникальный опыт сохранения себя в иноязычной среде и чужой культуре до сих пор весьма актуален, а их способность выживания в очень трудных психологических и материальных условиях достойна изучения и подражания. Сколько уроков преподносит послеоктябрьская эмиграция сегодняшним россиянам!

Проблемы, вокруг которых в свое время велись споры среди русских эмигрантов, – о будущем России, о государственности и власти, об отношении к религии, о социальной справедливости, о взаимоотношениях интеллигенции и народа, – всегда игравшие первостепенную роль в духовной жизни русского общества, не утратили своего значения и сегодня. Обращение к гуманистическим, нравственным ценностям национальной культуры, сохраненным в наследии лучших представителей русской эмиграции, может способствовать духовному оздоровлению современного российского общества.

Русские эмигранты, создавшие, по выражению историка П. Е. Ковалевского, «Россию вне границ», оставили огромное философское, литературное, художественное, историческое, социологическое наследие. Прошедшие тяжелейшие испытания и сохранившие чувство собственного достоинства, веру в лучшее будущее России, они являют собой пример мужества, высокой нравственности и духовной стойкости. Уместно вспомнить всё, что писали в изгнании мыслители, богословы и философы С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Л. П. Карсавин, Л. А. Зандер, И. А. Ильин, Н. С. Трубецкой, С. Л. Франк, Л. И. Шестов, А. В. Карташев, Г. В. Флоровский, Б. П. Вышеславцев, П. А. Сорокин, Г. П. Федотов, В. В. Зеньковский, Н. О. Лосский, В. Н. Ильин, Н. С. Арсеньев.

Писатели и поэты старшего поколения смогли создать свои лучшие произведения: И. А. Бунин – «Окаянные дни», «Товарищ дозорный», «Красный генерал», «Митина любовь», «Солнечный удар», «Освобождение Толстого», «Жизнь Арсеньева», «Темные аллеи», «Воспоминания»; Д. С. Мережковский – «Тайна Запада», «Мессия», «Наполеон», «Данте», «Иисус Неизвестный»; З. Н. Гиппиус – «Сияния», «Живые лица»; Б. К. Зайцев – «Золотой узор», «Преподобный Сергей Радонежский», «Странное путешествие», «Путешествие Глеба», «Афон», «Валаам», «Анна», «Дом в Пасси», «Москва», «Далекое»; Н. А. Тэффи – «Городок», «Авантюрный роман», «Воспоминания», «Ведьма», «О нежности», «Всё о любви»; А. И. Куприн – «Юнкера», «Жанета»; И. С. Шмелев – «Солнце мертвых», «Про одну старуху», «Няня из Москвы», «Богомолье», «Лето Господне», «Пути Небесные»; И. Д. Сургучев – «Эмигрантские рассказы», повесть «Ротонда», «Детство императора Николая II»; А. М. Ремизов – «Взвихренная Русь», «Звезда надзвездная», «По карнизам», «Посолонь», «Пляшущий демон», «Подстриженными глазами», «В розовом блеске»; М. А. Алданов – «Святая Елена, маленький остров», «Чертов мост», «Ключ», «Бегство», «Десятая симфония», «Истоки»; М. И. Цветаева – «После России»; В. И. Иванов – «Римские сонеты», «Человек»; В. Ф. Ходасевич – «Собрание стихов», «Державин», «О Пушкине», «Некрополь»; Г. В. Адамович – «На Западе», «Одиночество и свобода»; С. К. Маковский – «Вечер», «Somnium Breve», «Год в усадьбе», «Круг и тень», «На пути земном», «Еще страница», «Реквием», «Портреты современников», «На Парнасе Серебряного века»; Саша Черный – «Дневник фокса Микки», «Несерьезные рассказы», «Солдатские сказки»; К. Д. Бальмонт – «Мое – ей», «В раздвинутой дали», «Северное сияние»; Г. В. Иванов – «Розы», «Отплытие на остров Цитеру», «Распад атома», «Портрет без сходства», «Петербургские зимы».

Писатели и поэты младшего поколения также внесли свой вклад: В. Набоков, Б. Темирязев (Ю. Анненков), М. Осоргин, И. Одоевцева, Н. Берберова, Б. Поплавский, Н. Оцуп, Б. Божнев, Д. Кнут, Ю. Мандельштам, В. Злобин, Ю. Терапиано, Г. Газданов, С. Шаршун, Л. Зуров, Я. Горбов, Р. Гуль, А. Седых, Г. Кузнецова, В. Вейдле, В. Варшавский, В. Яновский, И. Лукаш, Дон Аминадо, Ю. Фельзен, А. Штейгер, И. Кнорринг, Н. Туроверов, Н. Евсеев, В. Мамченко, В. Смоленский, Ю. Одарченко, Е. Бакунина, А. Головина, А. Присманова, С. Прегель, Н. Кодрянская, Е. Рубисова, А. Гингер, Г. Раевский, В. Дряхлов, Л. Червинская, А. Головина, О. Можайская, Т. Величковская, Е. Емельянов, Ю. Иваск, И. Чиннов, А. Величковский, Б. Закович, З. Шаховская, Е. Таубер, Л. Андерсен и другие.

Представители эмигрантской интеллектуальной элиты блестяще опровергли общепринятый тезис советского литературоведения, согласно которому русский писатель или художник, оказавшись за рубежом, непременно становился жертвой творческого бесплодия. Главным в эмигрантской деятельности было то, что они смогли «унести с собой» на чужбину, – духовность. «И вот мы здесь, за рубежом – для того, чтобы стать голосом всех молчащих там, чтобы восстановить полифоническую целостность русского духа», – писал философ Г. П. Федотов в своей статье «Зачем мы здесь» («Современные записки». – Париж, 1935. № 58).

В Париже оказались почти все художники знаменитого «Мира искусства» первого поколения: Л. Бакст, А. Бенуа, О. Браз, М. Добужинский, К. Сомов, К. Коровин, И. Билибин, Д. Стеллецкий, С. Судейкин, А. Шервашидзе, Н. Миллиоти, Г. Лукомский, Н. Тархов, Н. Калмаков, С. Чехонин, Н. Гончарова, А. Яковлев. К ним присоединилась и более молодая, вторая волна их единомышленников и последователей – Б. Григорьев, В. Шухаев, З. Серебрякова, С. Сорин, Ю. Анненков, Д. Бушен, А. Арнштам... Благодаря славе довоенных дягилевских «Русских сезонов», а также своим профессиональным качествам – мастерству, опыту, тонкости вкуса, изобретательности, пониманию стиля эпохи и таким уникальным навыкам в сфере театрального искусства, как создание эскизов оригинальнейших декораций и костюмов, – русские художники быстро заняли достойное место в театральном и музыкальном Париже. Наряду с мирискусниками для сцены начали активно работать П. Челищев, М. Васильева, А. Экстер, Р. Эрте (Тыртов), Л. Зак, Е. Берман, Ф. Гозиасон, Г. Лапшин, Б. Билинский, А. Бродович, С. Иванов, Н. Исаев, А. Алексеев, А. Зиновьев, С. Лисим, М. Андреев, Г. Пожедаев, А. Серебряков, Р. Добужинский, В. Жедринский, Г. Вахевич и др. Большинство из них были не только театральными художниками, но и замечательными оформителями книги: книжной графикой успешно занимались в Париже больше 160 русских художников. Ими были проиллюстрированы более тысячи книг – как французских, так и русских. Сейчас готовится к печати мой многолетний труд, трехтомник «Художники Зарубежной России в искусстве книги: 1920–1970». Горжусь тем, что я – единственный французский славист, который не просто был знаком, но и дружил с очень многими писателями и художниками-эмигрантами.

Благодаря Великому исходу, Серебряный век, начавшийся в России в конце XIX столетия, не кончился в 1921 году со смертью А. Блока и расстрелом Н. Гумилева, а продолжился и завершился в конце 1950-х годов в Париже, ставшем с 1924 года политической и культурной столицей Зарубежной России.

Провидчески выражен смысл Великого исхода в строках: «Мы – не в изгнании, мы – в послании». Грядущая Россия и ее культура – единственный адрес этого послания, духовно-нравственное оправдание исхода из России после «окаянных дней». И. А. Бунин на собрании русских эмигрантов 16 февраля 1924 года в Париже утверждал: «Наша цель – твердо сказать: подымите голову! Миссия, именно миссия, тяжкая, но и высокая, возложена судьбой на нас».

Русские интеллигенты-эмигранты считали себя носителями и хранителями национальной культуры, у них была, несомненно, исключительная, историческая миссия. Во-первых, они считали своей главной задачей сохранение в изгнании накопленных духовных ценностей, исторической памяти, национального опыта – с тем, чтобы не прервалась связь времен и поколений, чтобы сохранялась основа для будущего возрождения России. Во-вторых, они видели свой долг в том, чтобы познакомить Запад с достижениями русской мысли и культуры. Несмотря на все сложности и всевозможные препоны, послеоктябрьская эмиграция выступала активным посредником в диалоге между Россией и Западом. Можно смело утверждать, что она, безусловно, выполнила свою нелегкую миссию. Сама великая культура и русский язык способствовали сохранению в непростой эмигрантской жизни национального чувства, препятствовали ассимиляции. Жилось очень трудно, но свобода мысли и творчества искупала многое. «Не будем проклинать изгнанье», – писал В. Набоков.

Русские изгнанники стремились доказать всему миру, что Россия, несмотря на тяжелые испытания и унижения, выпавшие на ее долю, не только не погибла, но по-прежнему обладает огромным потенциалом нерастраченных творческих сил, и в этом – залог будущего возрождения. Рассматривая себя неотъемлемой частью России, они продолжали созидать во имя ее будущего. Униженные, изгнанные из большевистской России, объявленные врагами, лучшие сыны и дочери сохранили любовь к родине, веру в ее возрождение. Осмысление культуры, представленное в наследии русских эмигрантов, демонстрирует понимание культуры как целостной системы. Для изгнанников русская культура отождествляется, прежде всего, с православной, и поэтому они верят, что только на пути возрождения и поддержки духовных основ возможно преодоление кризисных явлений культуры. В свою очередь, духовная и творческая деятельность человека невозможна без гарантии личной свободы.

Значительная часть великого наследия погибла – точнее, подверглась систематическому уничтожению после Октябрьского переворота. В условиях грозящего разрушения культурное наследие может и должно стать основой духовного единства народа. Культурное насле-

дие как фактор коллективной идентификации рассматривали русские ученые Д. С. Лихачев и С. С. Аверинцев. Для современной России осмысление проблемы культурно-исторического наследия должно сыграть роль того духовного основания, на котором может быть укреплено единство многонационального русскоговорящего народа. Всё это невозможно без опыта Зарубежной России.

Культурологическое наследие русской эмиграции имеет историческое значение, и без признания этого факта нельзя представить русскую культуру XX века во всей ее полноте. Духовное богатство Великого русского исхода по праву принадлежит к первым опытам руссификации, то есть осмыслению государственно-политического и социально-экономического развития России. Это особенно важно в современных условиях обретения сегодняшней Россией цивилизационной идентичности, когда страна стоит перед необходимостью дать адекватный ответ на вызовы глобализации.

## К 150-летию со дня рождения И. А. Бунина (1870–1953)

Иван Бунин, несомненно, был первым писателем Зарубежной России. Его собратья по перу, включая Дмитрия Мережковского, единодушно и без оговорок восприняли этот его высокий литературный статус.

И первым он стал не только потому, что получил в ноябре 1933 года Нобелевскую премию, но еще и благодаря своему активному неприятию установленной в России коммунистической диктатуры. Немаловажен к тому же и тот неоспоримый факт, что Иван Алексеевич свои литературные шедевры создал в эмиграции. Важно знать и помнить, что долгое время в Советском Союзе всячески замалчивалось самоочевидное из литературной жизни Русского Зарубежья – а именно то, что Иван Бунин, Дмитрий Мережковский, Борис Зайцев, Алексей Ремизов, Иван Шмелев, Константин Бальмонт, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич написали свои лучшие книги в изгнании. Это противоречит распространенному в советском литературоведении и критике мнению, что будто бы нельзя создавать шедевры вдали от своей страны, будучи оторванным от родной почвы.

Долгие годы в СССР писали черт знает что по этому поводу. Теперь, наконец, в постсоветской России все соглашаются, что к самому лучшему, что создано И. А. Буниным, относятся его

«Окаянные дни», «Митина любовь», «Солнечный удар», «Жизнь Арсеньева», «Лица», «Освобождение Толстого», «Темные аллеи», «Воспоминания». Все эти произведения написаны во Франции. Иван Бунин и другие писатели-изгнанники своим творчеством доказали, насколько они были сильны, и не только духом, но и всем своим существом. Так писать по-русски, как писали эти люди, в отрыве от родины, живя в другом мире, в другой языковой стихии, писать всё лучше и лучше, несмотря на возраст, на трудные материальные, психологические и моральные условия, – разве это не чудо? К тому же возникал вопрос: писать по-русски для кого? Не только для эмигрантов, но и для будущей России. Я считаю сейчас и считал всегда, что это поистине настоящий подвиг. И каждый из писателей-эмигрантов по-своему, в меру своих сил и возможностей, его совершил.

И. А. Бунин – один из тех редких писателей XX века, который дважды победоносно возвращался своими книгами на родину. Первое возвращение было во время хрущевской «оттепели». Я уже в 1968 году обратил внимание, что его книги в московских букинистических магазинах почти не попадались. Безусловно, тогда существовал к нему огромный, неподдельный интерес. Потом, с разными приключениями, наконец издали в 1973 году бунинский двухтомник в серии «Литературное наследство»<sup>1</sup>, не включив в него статьи Б. К. Зайцева и Г. В. Адамовича. И это при том, что к ним официально обращался сам С. А. Макашин, член редколлегии «Литературного наследства», с просьбой написать воспоминания об Иване Алексеевиче. Они написали, но их не напечатали – естественно, по идеологическим причинам. Это было бестактно и бесчестно, так как Адамович и Зайцев согласились писать бесплатно; я знаю, как они трудились, учитывая академический характер издания. К счастью, Г. В. Адамович успел при жизни напечатать свой текст в «Новом Журнале»<sup>2</sup>.

Второе триумфальное возвращение И. А. Бунина произошло в конце восьмидесятых годов. «Окаянные дни»<sup>3</sup> вышли в 1990 году не одним, а пятью изданиями, общим тиражом почти миллион экземпляров. Были напечатаны ранее запрещенные рассказы И. А. Бунина – «Под серпом и молотом», «Товарищ дозорный», «Красный генерал» и его «Воспоминания». Вокруг его книг возник не просто интерес, а скорее – ажиотаж. Книги писателя выходили миллионными тиражами. И это, как мне кажется, редкий случай в мировой литературе. Это свидетельство того, насколько писатель был нужен России, какое воздействие на общественное сознание россиян оказывал его авторитет, я бы еще добавил – его взыскующая совесть. Книги И. А. Бунина актуальны и по сей день, особенно, к сожалению, «Окаянные дни».

26 января 1920 года Иван Бунин с женой Верой Николаевной



Муромцевой на французском пароходе «Спарта» отплыли из Одессы в Константинополь, навсегда покинув Россию. Бунин мучительно переживал трагедию расставания и разрыва с родиной. Как человек умный и прозорливый, он понимал, что наступившее лихолетье надолго, потому что знал лучше, чем многие другие писатели, русский народ. В марте 1920 года Бунины прибыли в Париж. И это было неслучайно. Бунин был не только русским европейцем, но и человеком мира. Ведь с 1900 года он много путешествовал по Европе и Востоку, посещал Германию (Берлин, Нюрнберг), Францию (Париж, Ницца, Больё, Монте-Карло), Швейцарию, Италию (Рим, Генуя, Венеция, Неаполь, Флоренция, Капри), Грецию (Афины), Турцию (Константинополь), Финляндию, Египет, Сирию, Палестину...

С лета 1923 года Бунины жили, главным образом, на юге Франции, в Приморских Альпах. В Грассе они снимали сначала квартиру на вилле «Мон-Флёри», потом виллу «Бельведер», а во время войны – виллу «Жаннет», где были написаны «Темные аллеи», которые Бунин считал *самым совершенным своим созданием*. Зинаида Шаховская показала мне его надпись на титульном листе этой книги: «‘Декамерон’ написан был во время чумы, ‘Темные аллеи’ в годы Гитлера и Сталина – когда они старались пожрать один другого»<sup>4</sup>.

Грасс в некоторой степени внес в его жизнь свою определенную ноту. У Буниных бывали Шмелев, Зайцев, Алданов, Фондаминский, Мережковский, Гиппиус, Адамович, Ходасевич, Берберова, Степун, Рахманинов и многие другие. Мне кажется, Бунин был своеобразным магнитом. Многие с ним хотели встречаться, общаться.

Лазурный берег притягивал к себе представителей русской культуры с давних пор. Эта традиция пошла от Гоголя, Тютчева, Чехова. Антон Чехов – один из кумиров и Бунина, и Зайцева, которые в конце жизни написали о нем книги<sup>5</sup>. С 1947 года Бунины гостили в «Русском доме» на вилле «Ле Фурнель» в Жуан-ле-Пен.

Как ни странно, даже Нобелевская премия, присужденная Бунину, не изменила его положение. Награда не очень ему помогла, несмотря на то, что он был первым из русских писателей, удостоенным Нобелевской премии по литературе. Правда, благодаря ей Бунина стали переводить во Франции. Но это длилось совсем недолго. Как ни странно, у него книг на французском языке было не так уж много, гораздо меньше, чем, например, у другого писателя-эмигранта – Алексея Ремизова. В те годы самое престижное французское издательство «Галлимар» выпустило несколько переводов его книг. Но какие это были книги? Назову их: «Деревня»<sup>6</sup>, «Господин из Сан-Франциско»<sup>7</sup>. Выбор именно этих книг был очевиден: дореволюционная эпоха, критика царской России. Ни на «Солнечный удар», ни



на рассказы из сборника «Темные аллеи» издательство не обратило никакого внимания. Словно их вообще не существовало.

И это была общая участь писателей первой волны послеоктябрьской эмиграции – их произведения почти не переводили. Например, у Бориса Зайцева за пятьдесят лет жизни в эмиграции вышли на французском языке всего лишь две книги: «Анна» и «Золотой узор»<sup>8</sup>.

Можно также задать вопрос: почему «Окаянные дни» появились во французском переводе<sup>9</sup> только в конце восьмидесятых годов, после их публикации в Москве<sup>10</sup>? Потому что эта книга была на Западе, как ни странно, неактуальна, даже неприятна и как бы «несоответственна эпохе». Ведь почти все французские издательства были с определенным левым уклоном. Так что не нашлось ни издательства, ни переводчиков. Тут надо учитывать тот факт, что почти все французские переводчики, работавшие, например, на «Галлимар», были коммунистами или людьми, кто симпатизировал им. Так разве они могли позволить себе переводить такие книги, как «Окаянные дни»? И только благодаря перестройке в СССР «Окаянные дни» наконец-то вышли и во Франции.

Ради справедливости отмечу, что за последние годы появились новые книги Бунина на французском языке. Однако они вышли в свет только потому, что в постсоветской России его стали печатать большими тиражами. То же самое относится и к книгам Бориса Зайцева, Алексей Ремизова и Гайто Газданова. Первый однотомник Ивана Шмелева<sup>11</sup>, которого среди французских славистов считали реакционером, чуть ли не фашистом, вышел в Москве тиражом в миллион экземпляров.

Благодаря профессору-антикоммунисту Франсуа де Лабриоллю, автору докторской диссертации об И. А. Крылове, в 1975 году я, молодой доцент, первым начал читать в Парижском университете цикл лекций, посвященных бунинским «Окаянным дням», его рассказам «Товарищ дозорный», «Красный генерал», «Под серпом и молотом», книгам «Митина любовь», «Солнечный удар», «Жизнь Арсеньева», «Темные аллеи». Это приводило в ярость моих коллег-коммунистов Л. Робеля, К. Фрийу, И. Сокологорскую, Ж.-П. Бенуа и других, которые стали писать на меня доносы в Министерство высшего образования, чтобы добиться моего исключения из университета за книги и статьи о русских писателях – белых эмигрантах.

Интересно, что уже в наше время французские слависты-коммунисты без всякого зазрения совести стали писать предисловия и послесловия к произведениям Ивана Бунина и других писателей-эмигрантов. Когда эти люди взялись за написание статей о тех, кого они еще вчера упорно замалчивали, им было уже под семьдесят лет.

Я задаю вопрос этим новоявленным энтузиастам по исследованию творчества русских писателей, о которых еще вчера они не хотели слышать, — не ради полемики, а исключительно для того, чтобы самому понять логику их действий и обозначить степень их цинизма; мне интересно знать, до какого предела доходит беспринципность и аморальность некоторых людей. Почему эти горе-ученые раньше, до распада Советского Союза, не писали об Иване Бунине и других писателях-эмигрантах? За пять лет дружбы и сотрудничества с Зайцевым я ни одного французского слависта у него не встречал. Где они были? Они занимались своей карьерой и понимали, что общение с теми или другими из последних представителей литературы старой Зарубежной России может им навредить. И те, кто часто ездил в командировку в СССР, выступал на научных конференциях, ни строчки не написали о том, что во Франции в изгнании жили Бунин, Мережковский, Гиппиус, Шмелев, Зайцев, Ремизов, Бальмонт, Г. Иванов, Одоевцева, Адамович, Ходасевич, Берберова, Тэффи, Анненков, Шаршун и др. И вдруг они избавились от своей немоты, страхнули с себя неприязнь к этим писателям и заговорили о них — взхлеб, хором и по отдельности.

Из близкого круга друзей Бунина я, волею судеб, знал и даже дружил со многими, среди них Б. К. Зайцев, Г. В. Адамович, В. В. Вейдле, Г. Н. Кузнецова, М. А. Степун, Л. Ф. Зуров, Я. М. Седых, А. В. Бахрах, С. М. Лифарь, В. А. Могилевский, Ю. К. Терапиано, И. В. Одоевцева, Л. Д. Червинская, Н. Н. Берберова, З. А. Шаховская, Е. Л. Таубер, С.Ю. Прегель, Т. Д. Муравьева-Логина, Н. В. Кодрянская, С. И. Шаршун, Н. Н. Оболенский, А. Е. Величковский, В. М. Зернов... Сколько интересного и любопытного они мне рассказывали о И. А. Бунине! Конечно, они все хранили благодарную память о нем, прекрасно понимая, что им выпали редкая удача и великое счастье входить в окружение последнего русского классика. Но, говоря об этих взаимоотношениях, нельзя забывать, что воспоминания современников имели место пятнадцать или двадцать лет после его кончины, когда время сделало свое дело, и страсти, конфликты уже улеглись.

Прежде всего, хочется вспомнить рассказы Б. К. Зайцева, который в конце жизни часто вспоминал Ивана Алексеевича; переживал их разрыв, случившийся в январе 1948 года из-за исключения из эмигрантского Союза писателей тех, кто взял советский паспорт, поверив указу Президиума Верховного Совета СССР от 19.06.1946 года о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи. Однако Зайцев не чувствовал за собой вины, полагая, что он и Бунин оба были виноваты и что поневоле были вовлечены в эту распрю из-за сталинского указа. Ему было тяжело

о том вспоминать. Борис Константинович говорил, что за месяц до смерти Ивана Алексеевича он послал ему письмо, чтобы помириться. Бунин так и не ответил, потому что уже ответить не мог. Но Зайцев очень переживал, он с большим уважением относился к Бунину. Он понимал первенствующее положение Бунина в русской зарубежной литературе, и с этим никто не спорил, даже представители младшего поколения. Это было ясно, я думаю, даже для Набокова, Газданова – не говоря о Ходасевиче, Берберовой, Адамовиче, Вейдле, Гуле, Горбове, Варшавском, Иваске, Величковском, Шаршуне, Терапиано, Одоевцевой, Червинской, Шаховской, Таубер... Кроме того, Борис Константинович любил вспоминать близость Бунина к народу, несмотря на его барственность. За последние десять лет жизни Зайцев немало написал о Бунине, о своих встречах и взаимоотношениях. Гордился тем, что был с ним «на ты». Именно на литературном вечере в его квартире в Москве (в доме на углу Гранатного переулка и улицы Спиридоновка) 4 ноября 1906 года, после чтений, Иван Алексеевич познакомился с Верой Николаевной Муромцевой, верной и преданной спутницей всей его жизни<sup>12</sup>. Вот что Зайцев писал в своей чуть ли не последней статье: «Все же, в начале эмиграции в особенности, интерес к восточным пришельцам был у культурной и не крайне левой части французской литературы и интеллигенции. Наиболее ярко выступило это в присуждении в 1933 году Нобелевской премии русскому Бунину. Был и советский кандидат, Горький, с именем всемирным, чего у Бунина не было. Но Шведская Академия предпочла бесподданного эмигранта. В эмиграции русской это присуждение встречено было восторженно. Как бы ‘последние да будут первыми’»<sup>13</sup>.

В 1934 году, через год после получения Нобелевской премии, отвечая на анкету, разосланную Российским Общественным комитетом в Польше, Бунин четко выразил свое кредо: «Дорогие соотечественники! Только что получил Вашу открытку, спешу ответить на Вашу анкету – только на первый вопрос: ‘Почему мы непримиримы с большевизмом?’ – После того, как большевизм так чудовищно ответил сам на этот вопрос своей деятельностью своего пятнадцатилетнего существования? Я лично совершенно убежден, что низменной, лживее, злей и деспотичней этой деятельности еще не было в человеческой истории даже в самые подлые и кровавые времена. Ив. Бунин 26.X.1934 Grasse, Alpes Maritimes»<sup>14</sup>.

Советская Россия стала для него «кладбищем всего, чем жил когда-то». Эти слова занесены Буниным в дневник 2 апреля 1944 года. За шесть месяцев до смерти в письме от 20 апреля 1953 года своему другу Марку Алданову Бунин пишет: «Позовет ли меня опять в Москву Телешов, не знаю, но хоть бы сто раз туда меня позвали и

была бы в Москве во всех отношениях полнейшая свобода, а я мог бы двигаться, всё равно никогда не поехал бы я в город, где на Красной площади лежат в студне два гнусных трупа»<sup>15</sup>.

В заключение, хочу привести выдержки из исторической речи Бунина «Миссия русской эмиграции», произнесенной 16 февраля 1924 года в Париже: «...Миссия, именно миссия, тяжкая, но и высокая возложена судьбой на нас... Если бы даже наш исход из России был только инстинктивным протестом против душегубства и разрушительства, воцарившегося там, то и тогда нужно было сказать: 'Взгляни, мир, на этот великий исход и осмысли его значение. Вот перед тобой миллион из числа лучших русских душ, свидетельствующих, что далеко не вся Россия приемлет власть, низость и злодеяния ее захватчиков'... Что произошло? Произошло великое падение России, а вместе с тем и вообще падение человека... Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России и своей борьбой, своими ледяными походами, что она не только за страх, но и за совесть не приемлет Ленинских градов, Ленинских заповедей, миссия эта заключается ныне в продолжении этого неприятия... Россия! Кто смеет учить меня любви к ней?..»

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Литературное наследство. Том 84-й, в двух книгах / *Иван Бунин*. Книга первая // Издательство «Наука», М., 1973, – 696 с. // Книга вторая. – 551 с.
2. *Адамович, Г.* Бунин. Воспоминания / «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 105, декабрь 1971. – Сс.115-137.
3. *Бунин, И. А.* Окаянные дни / Изд. «Советский писатель», М., 1990, – 175 с., тираж 400000 экз.; *И. Бунин*. Окаянные дни. Под серпом и молотом // Сост. Р. Тименчик // Изд. ЦК КП Латвии, Рига, 1990, – 237 с., тираж 100000 экз.; *Иван Бунин*. Окаянные дни / Вступ. ст. А. К. Бабореко // Изд. «Советский писатель», М., 1990, – 414 с., тираж 100000 экз.; *И. Бунин*. Лишь слову жизнь дана... / Сост., вступ. ст., примеч. и имен. указ О. Н. Михайлова // Изд. «Советская Россия», М., 1990, – 368 с., тираж 50000 экз.; *Иван Бунин*. Окаянные дни / Сост., предисл. О. Михайлова // Изд. «Молодая гвардия», М., 1991, – 335 с., тираж 200000 экз.; *И. А. Бунин*. Окаянные дни / Предисл. О. Михайлова, примеч. С. Крыжицкого // Приокское книжное издательство, Тула, 1992, – 319 с., тираж 75000 экз.
4. *Шаховская, З.* Отражения / Париж, Ymca-Press, 1974. – С. 158.
5. *Борис Зайцев*. Чехов. Литературная биография / Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, – 260 с.; *И. А. Бунин*. О Чехове. Незаконченная рукопись / Предисловие М. А. Алданова // Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1955, – 412 с.
6. *Ivan Bounine, Prix Nobel 1933. Le Village* / 10-e édition nrf. Gallimard, Paris, 1934. – 292 с.

7. *Ivan Bounine, Prix Nobel 1933. Le monsieur de San Francisco* / 10-e édition nrf. Gallimard, Paris, 1934. – 342 с.
8. *Boris Zaitzev. Anna* / Ed. Saint-Michel, Paris, 1931, – 279 с. (Les Maîtres étrangers); *Boris Zaitsev. La guirlande dorée* / Hachette, Paris, 1933, – 286 с. (Collection Les meilleurs romans étrangers).
9. *Ivan Bounine. Jours maudits. L'Age d'Homme* / Lausanne, 1988. – 179 с.
10. Фрагменты из «Окаянных дней» вошли в Собрание сочинений Бунина в 6 томах. Т. 6 / Изд. «Художественная литература». – М., 1988.
11. *Шмелев, И. С. Избранное* / Изд. Правда. – М., 1989.
12. *Муромцева-Бунина, В. Н. Жизнь Бунина. 1870–1906* / Париж, 1958. – С.170.
13. *Зайцев, Борис. Изгнание. Русская литература в эмиграции* / Сборник статей под ред. Н. П. Полторацкого // Питтсбург, 1972. – 409 с. – С.4.
14. «Под русским стягом» / «Новое Русское Слово», № 22 (932). – Нью-Йорк. 27 марта, 1973 // Публикация Сергея Войцеховского.
15. «Новый Журнал». – Нью-Йорк, №156, сентябрь 1984. – С.155.

## Скитания русской души

*К 140-летию со дня рождения Бориса Зайцева  
(1881–1972)*

Странна и парадоксально жестока судьба Бориса Константиновича Зайцева, последнего великого представителя русской эмигрантской литературы Серебряного века, с коим мне посчастливилось быть знакомым. Вдали от России, которую он любил всей душой, одинокий патриарх русской литературы смог в год появления в печати своей последней книги «Река времен» позволить себе победный возглас, произнесенный когда-то французским писателем С.-Ж. Персом: «О, старость, вот и я!»

Творчество Бориса Зайцева охватывает несколько эпох. Он начал писать в молодые годы в отечестве и продолжил в изгнании, которое длилось почти пятьдесят лет. Но даже на чужбине, во Франции, писатель остался верен самому себе, то есть России.

Борис Зайцев – замечательный прозаик, автор четырех книг («Рассказы», 1906, 1909, 1911, 1914, СПб. – М.), романа «Дальний край» (М., 1915), Собрания сочинений в пяти томах (М., 1916–1919), а семитомное Собрание было издано Зиновием Гржебиным в Берлине (1922–1923). В эмиграции он, как и Бунин, Шмелев, Ремизов, Бальмонт, Ходасевич и Иванов, написал свои лучшие книги: романы и повести «Золотой узор» (Прага, 1926), «Странное путешествие» (Париж, 1927), «Анна» (Париж, 1929), «Избранные рассказы» (Белград, 1929), «Дом в Пасси» (Берлин, 1935), «Путешествие Глеба»

(в 4-х томах, 1937–1953), «В пути» (Париж, 1951), «Тихие зори» (Мюнхен, 1961). Он сделал переложения житий «Алексей, Божий человек» (1925), «Преподобный Сергей Радонежский» (Париж, 1925), написал романизированные биографии «Жизнь Тургенева» (Париж, 1932), «Жуковский» (Париж, 1951), «Чехов» (Нью-Йорк, 1954). Кроме того, Зайцев в изгнании выпустил книги очерков «Италия» (Берлин, 1923), «Афон» (Париж, 1928), «Валаам» (Таллинн, 1936), воспоминания «Москва» (Париж, 1939), мемуары «Далекое» (Вашингтон, 1965), избранное «Река времен» (Нью-Йорк, 1968).

Борис Зайцев был русским европейцем, владел итальянским и французским языками и до революции много путешествовал по Европе. Впервые поехал в Италию осенью 1904 года, посетил Флоренцию, Венецию, Рим, Неаполь, Капри. В апреле 1907 года писатель едет в Париж, а в мае – во Флоренцию, где встречается с Л. Андреевым и А. Луначарским. Совершает новое путешествие в Италию в 1908 году – Верона, Сиенна, Рим, где завязывается его дружба с П. Муратовым и М. Осоргиным. Четвертая поездка в Италию состоялась в октябре 1910 года; зимой живет в Риме, где встречает Новый год с П. Муратовым, который посвятил ему свою знаменитую книгу «Образы Италии». По совету П. Муратова, в 1913 году Б. Зайцев начинает работу над переводом «Ада» из «Божественной комедии» Данте, которую он закончит уже в эмиграции. Еще в России, в 1907 году, Горький публикует «Искушение Святого Антония» Флобера в переводе Зайцева.

После окончания Сорбонны в 1967 году я выбрал для своей магистерской диссертации творчество Бориса Зайцева. Было ли это решение моим наитием, интуицией или предназначением? Тогда я не мог себе представить, какой отчаянный и даже дерзкий шаг я собираюсь сделать. И уж никак не мог предвидеть последствия своего смелого поступка: высылку из Советского Союза в марте 1969 года, «волчий билет» не только в СССР, но и на своей родине, во Франции, где меня отвергли раболепствовавшие перед Кремлем здешние славы, быстро навесившие на меня ярлык «друга белогвардейцев».

Кафедрой тогда заведовал профессор Анри Гранжар – уважаемый славист и, что редкость для Франции, не коммунист, автор замечательной книги о Тургеневе и его эпохе. Я был любимым студентом этого профессора, который, увы, уже заканчивал свою карьеру, и все студенты, как водится, от него отвернулись. Я же, будучи человеком верным, выбрал Анри Гранжара своим научным руководителем.

Не могу не отдать должное итальянскому профессору Этторе Лю Гатто. Из его уникальной книги под названием «История русской литературы», вышедшей на французском языке в 1965 году, я узнал о

том, что Борис Константинович Зайцев еще жив. Книга была объемом в девятьсот страниц, из которых более ста, причем впервые в европейском литературоведении, были посвящены русской эмигрантской литературе. Борису Зайцеву, с которым Ло Гатто дружил с 1923 года, была отведена целая глава.

Профессор Гранжар предложил мне писать диссертацию о Глебе Успенском. «Писателя этого я, конечно, читал, но мне хотелось бы написать о Борисе Зайцеве», – решительно сказал я Гранжару. Он посмотрел на меня с удивлением: «Зачем? Нашли кого выбрать». Меня это покорило. Я про себя подумал, что профессоров много, а писателей уровня Бориса Зайцева – раз-два и обчелся. Однако у меня был веский для Гранжара аргумент: «Борис Зайцев, – напомнил я, – автор замечательной книги ‘Жизнь Тургенева’, и – редкий случай в эмиграции – она была переиздана в 1949 году». «Да, – согласился Гранжар, – я даже с ним один раз встретился. Ну, раз вы хотите... только я вам не советую.» Он дал мне понять, что лучше не заниматься писателем-эмигрантом, что это будет плохо для карьеры начинающего слависта. Но карьеристом я не был, таким и остался по сей день. Дальнейшее показало, насколько трудно было идти против течения. Я сделал свой выбор, не понимая до конца, какими будут последствия.

В Париже, куда я приехал с юга, из Ниццы, в 1963 году, общение с «белыми» эмигрантами не поощрялось. Но я, естественно, нарушил табу. Не только общался, но еще и дружил. Получив разрешение от своего научного руководителя, я поехал на каникулы, и уже с юга, в начале сентября 1967 года, написал письмо Борису Константиновичу Зайцеву. Он, как человек учтивый и интеллигентный, мне тотчас ответил: «Многоуважаемый Ренэ (вот Вы не сообщаете своего отчества, и получается по-детски, точно Вы ребенок. Впрочем, по возрасту Вы несколько моложе меня – в четыре с лишним раза). Итак, приходите ко мне, когда вернетесь в Париж. ‘Здравствуй, племя молодое, незнакомое...’ – откуда это, знаете? Только позвоните заранее по телефону Jas. 38-33, сговоримся о дне и часе. Будьте здоровы и процветайте. Ваш Бор. Зайцев. P.S. В письме Вашем ни одной ошибки и написано будто русским человеком». Я, естественно, с трепетом принял его приглашение. Конечно, знал, что Борис Константинович Зайцев 1881 года рождения, следовательно, в то время ему было уже 86 лет. Я волновался...

В назначенный день и час я отправился на метро до авеню Моцарт. Судя по дарственной надписи на его книге «В пути», я впервые встретился с Зайцевым 28 сентября 1967 года. Помню, как сейчас, свой первый визит к нему на авеню де Шале, дом 5. Этот «проспект» на самом деле представлял собой тихую аллею с утопавшими в зелени особнячками и воротами по обе стороны – оазис в фешенебельном XVI



округе. Совсем рядом была и улица Оффенбаха, где столько лет жил (и здесь же умер) Иван Алексеевич Бунин, его друг еще по России, с которым он, единственный из эмигрантских писателей, был на «ты». Сюда, из рабочего предместья Булонь-Биянкур (110, ул. Тьер), где Борис Зайцев прожил больше тридцати лет, писатель с тяжело больной женой Верой Алексеевной переехал в 1964-м к дочери Наташе.

Я пришел точно в назначенный час. Борис Константинович меня ждал, любезно принял. Мы уютно посидели в его кабинете на втором этаже. Меня, молодого француза, он поразил своим благородным обликом, аристократизмом, интеллигентностью, учтивостью, сердечным расположением, теплым общением. Профиль Данте... Он повел себя так, как будто мы уже давно знакомы. Это редкий дар. Несмотря на большую разницу в возрасте – шестьдесят пять лет, – живой, дружеский контакт установился сразу, и он не скрывал своей радости: впервые за сорок пять лет его жизни в изгнании молодой французский славист наконец-то решился написать о его творчестве. И мы выпили бутылку бордо, чтобы укрепить наш союз.

Сегодня такой выбор никого бы не удивил, но тогда, полвека тому назад, сама эта идея казалась провокационной, даже безумной. Посвятить диссертацию совершенно забытому писателю?! Да не просто забытому, а какому-то «второстепенному», чуть ли и не «третьестепенному»?! Писателю, которого почти полвека не печатали на родине, фактически исключенному из русской литературы XX века?! Бориса Зайцева вычеркнули из русской литературы, а меня – из французской славистики. Я стал изгоем. Я и не подозревал тогда, сколь презрительно и брезгливо относятся французские слависты, сами почти сплошь или коммунисты, или левые «попутчики», к белой эмиграции и к ненавистным писателям-эмигрантам, которых они считали отщепенцами и предателями. Еще бы! Ведь эти бежавшие «не поняли и не приняли Великую Октябрьскую»!

Мы с Борисом Константиновичем были «содружниками» (не смею назвать его своим другом) пять лет, до самой его кончины, но за все эти годы я ни разу не видел у него ни одного французского слависта, даже русского происхождения, таких, как, скажем, Н. А. Струве, Д. М. Шаховской, В. К. Лосская, И. И. Сокологорская и др. Как же они проглядели русского классика, живущего буквально рядом с ними?.. В свое время все делали ставку на СССР и игнорировали, часто презирали, а иногда открыто ненавидели белых эмигрантов, которых клеймили «жалкими отщепенцами», «обломками империи» ненавистной им царской России. Французские профессора-слависты так ни разу и не пригласили выступить перед студентами Сорбонны или Института восточных языков и цивилизаций ни И. В. Одоевцеву,



ни Ю. К. Терапиано, ни даже Б. К. Зайцева, Г. В. Адамовича, Ю. П. Анненкова, В. В. Вейдле, С. И. Шаршуна.

Я уже тогда понимал, каким бесценным было для меня общение с живым талантливым русским писателем, с которым я мог встречаться и советоваться. К тому же дом Бориса Зайцева был центром русского литературного Парижа. Именно здесь собирались писатели, поэты, художники на праздники, на Новый год, Рождество, Пасху и в день рождения писателя. В его доме я познакомился с Ириной Одоевцевой, Георгием Адамовичем, Владимиром Вейдле, Леонидом Зуровым, Дмитрием Бушеном, Сергеем Эрнстом. В те годы Борис Зайцев был последним из могикиан, патриархом не только русской эмигрантской литературы, но и всей русской словесности.

А я добросовестно писал свою работу. Естественно, старался, не хотел ударить лицом в грязь. Это была все-таки ответственная задача! Повторяю, имея уникальную возможность свободно общаться с писателем, я становился как бы его представителем. Писал я всё сам, но, конечно, расспрашивал, внимательно слушал все советы и объяснения. Такое живое общение стало для меня огромной удачей. Сказать, что я был его собеседником, – это было бы преувеличением. Я больше слушал его увлекательные рассказы о дореволюционной России, о русской деревне, о встречах с товарищами по перу в Москве и Петербурге, о блистательном русском довоенном Париже...

Но это притча. Всё было очень мило, душевно, трогательно и поучительно. О наших теплых, сердечных отношениях свидетельствуют те письма, которые Борис Зайцев писал советским корреспондентам. Они сейчас напечатаны – правда, не все, – в последнем, одиннадцатом, томе его Собрания сочинений, где содержится немало ссылок на мое имя. Не скрою, мне было приятно узнать в 2001 году о его лестных отзывах обо мне. Трудно удержаться и не процитировать отрывок из письма Бориса Константиновича от 29 декабря 1968 года Л. Н. Назаровой, сотруднице Пушкинского дома: «Сейчас в Москве один стажер, наш приятель-француз, студент, написал обо мне работу для Сорбонны и защитил ее, теперь роется еще в Московских архивах, пишет о начале века литературном. По-русски говорит, как мы с Вами, даже без акцента. Раз меня поправил, я сболтнул мелкую ошибку в языке...» В другом письме к ней же, от 28 марта 1968 года, он пишет: «На днях Союз писателей и журналистов устраивал в Русской Консерватории вечер Солженицына... Был мой бородач Ренэ (отправивший Вам книгу мою. Только что вернулся из Москвы). Тот французский стажер, который несколько месяцев прожил в Москве (готовит докторскую диссертацию обо мне) <...> Милейший малый, говорящий по-русски и вообще больше русский, чем француз (был

случай, что я сделал маленькую ошибку в русском языке – он поправил меня)». А в письме известному писателю В. И. Лихоносову от 20 февраля 1968 года Зайцев писал: «Сейчас ко мне ходит французский студент, пишущий работу обо мне (будет защищаться в Сорбонне, здешнем университете), – так он по-русски говорит, как мы с Вами. И без всякого акцента. Точно в Калуге родился...»

Защитился я на «отлично» осенью 1968 года и сразу после этого отправился в Москву стажером-аспирантом МГУ. Я не был сумасшедшим и поэтому не объявил своему научному руководителю, декану филфака МГУ А. Г. Соколову, что я намерен заниматься дореволюционным творчеством Бориса Зайцева. Это было исключено. Официально предметом моих исследований было декадентство. Я не сразу пошел на встречу с деканом, а сначала решил разведать и послушать его лекцию, после которой я сразу понял, что этот человек не был ученым.

Кое-кого я в Москве сумел и успел повидать до своей высылки в начале марта 1969 года. По просьбе Зайцева встретился, например, с бывшим критиком журналов «Красная Новь», «Новый Мир», «Печать и Революция» Н. П. Смирновым. Виделся с буниноведами А. К. Бабореко и О. Н. Михайловым. В один прекрасный день я поехал в Переделкино к Корнею Ивановичу Чуковскому, чтобы передать книгу Зайцева «Река времен» с дарственной надписью автора.

С рекомендацией от великого писателя Корней Иванович меня тепло принял. Для меня он был, прежде всего, замечательным критиком Серебряного века, который неоднократно писал о Борисе Зайцеве. Кроме того, он лично был знаком с Анненковым, Пастернаком, Солженицыным и другими. Но меня интересовал определенный период, дореволюционный, то есть Зайцев и его эпоха глазами Корнея Ивановича. Мы договорились, что в следующий раз я запишу нашу беседу.

Итак, через некоторое время я снова поехал в Переделкино. Достал магнитофон размером с целый чемодан, с большими катушками. Добрые люди одолжили. Конечно, это было безумием с моей стороны и чревато последствиями. Но беседу я записал, по времени – часа на два. Я, конечно, подготовился к этой встрече. Вопросы – ответы. В начале записи Корней Иванович приветствовал своего старшего собрата по перу. Я наивно заранее радовался, что смогу привезти Борису Константиновичу его живой голос. В письме Зайцева ко мне в Москву от 20 декабря 1968 года можно прочесть: «Очень любопытно послушать голос Чуковского и что он говорит на пластинку Вашу (или не на пластинку, а прямо в аппарат? Я по этой части невежда)».

Ситуация была прелюбопытная. Я, будучи секретарем Зайцева, стал для Чуковского представителем одновременно дореволюцион-

ной и Зарубежной России, но в то же время он разговаривал со мной как с современником. Действительно, какой-то сюрреализм.

Эту магнитофонную запись изъяли «таможенники» у моей невесты в аэропорту Шереметьево, когда она в начале января 1969 года улетала с моим братом и его женой во Францию. Я их провожал. В аэропорту после их отлета меня повели в отделение милиции. Они хотели, чтобы я признался в каких-то нарушениях и расписался. Не хочу утверждать, что я такой уж храбрый и смелый, но в тот момент я вспомнил все нецензурные слова и заявил, что ничего не подпишу.

К сожалению, Борис Константинович так и не смог услышать голос своего младшего собрата. Зато моя беседа с Чуковским была много лет спустя извлечена из архивов КГБ и частично опубликована, без моего ведома и разрешения, в журнале «Вопросы литературы» (№ 6, 1993), о чем я случайно узнал в Париже.

Каким-то образом я продолжал свою работу в московских библиотеках и архивах, но настроение уже было другим. В один прекрасный день в феврале шестьдесят девятого меня вызвали во французское посольство и сказали, что МИД СССР требует, чтобы я отсюда уехал, — на что я ответил отказом, тем самым еще больше усугубив ситуацию. Неделью спустя меня вызвали в посольство вторично, и тогда я уже услышал ультиматум: «Вам дают двое суток, чтобы отсюда убраться».

Итак, я вернулся в Париж в начале марта 1969 года и, естественно, первым делом встретился с Борисом Константиновичем, рассказал всё, что видел и пережил в СССР. Конечно, ему это было неприятно.

Борис Зайцев был человеком твердых убеждений, доброжелательным, правильным, я бы даже сказал — праведным и верным избранному пути до конца. Он ухаживал за больной парализованной женой, но с Верой Алексеевной я не был знаком, она скончалась еще в шестьдесят пятом. Зайцев не был ханжой — с юмором, без прикрас и умолчаний, рассказывал о своих славных современниках, в первую очередь об Иване Алексеевиче Бунине, которого он всегда высоко ставил в литературе. Конечно, до конца жизни очень переживал разрыв с ним в сорок седьмом году. И опять же — из-за проклятой советской власти: Бунин, под воздействием своего окружения, вышел из Союза писателей, когда из него исключили тех, кто взял советский паспорт.

Никогда не было никакой злобы и по отношению к России, даже советской. Никогда. Поведение Бориса Константиновича, в отличие от некоторых, даже во время оккупации было безупречным. И, тем не менее, как многие эмигранты, всё надеялся, что придет день и наступит конец советской власти.

Что еще сказать? Борис Константинович до конца жизни писал воспоминания, статьи – не литературоведческие, а на злобу дня. Его последняя статья «Судьбы» появилась 6 января 1972 года в «Русской мысли», где со второго номера (26 апреля 1947 г.) он был постоянным сотрудником. Уместно напомнить здесь, что когда Борис Константинович скончался 28 января 1972 года, я написал некролог, но ни одна французская газета не захотела его напечатать, что весьма показательно для того времени. Из этого некролога в газете «Фигаро» взяли лишь пять строчек под платным траурным объявлением. Думаю, что комментарии излишни. Вот вам и конец патриарха русской словесности, замечательного писателя, достойнейшего человека. Как грустно!

В 1981 году, к столетию со дня рождения Бориса Константиновича, я защитил в Сорбонне докторскую диссертацию о его творчестве. Год спустя моя биобиблиография жизни и творчества писателя была издана парижским Институтом славяноведения. В 2000 году я перевел на французский язык его повесть «Голубая звезда», которая вышла с моей вступительной статьей в престижном парижском издательстве «Сирт».

Встреча с Зайцевым оказалась для меня огромным счастьем и большой удачей, но одновременно стала и моей личной драмой. Думаю, что в этом есть закономерность и знак судьбы. Я тридцать лет был на стороне побежденных, но когда Зайцев, как и Бунин, Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Ремизов, Шмелев, Газданов, Г.Иванов, Одоевцева, Берберова, Ходасевич, Адамович и другие триумфально вернулись в Россию – увы, посмертно, – я, наконец, оказался на стороне победителей. Все они своим творческим наследием, своей жизнью, доказали, что после Октябрьской революции ими был сделан трудный, но правильный выбор.

Мой друг, писатель Роман Борисович Гуль, главный редактор «Нового Журнала», в котором Борис Зайцев печатался с 1949 по 1970 год, правильно озаглавил свою трехтомную апологию эмиграции: «Я унес Россию». Ведь они все – великие известные и великие неизвестные – оставались до конца подлинными российскими интеллигентами, доброжелательными, чистыми, наивными идеалистами – тургеневскими «лишними людьми». И эти «лишние» – соль земли.

*Ницца, 2021*

# Ф. М. Достоевский (1821–1881)

К 200-летию со дня рождения и  
140-летию со дня смерти писателя

Георгий Велев

## По страницам романа «Братья Карамазовы»

*В предисловии «От автора» к роману «Братья Карамазовы» (1880) Ф. М. Достоевский настойчиво предупреждает «прозорливого читателя» и «всех русских критиков», что к его работе не стоит относиться простодушно, что в ней есть неясности и неопределенности: «На это отвечаю уже в точности: тратил я бесплодные слова и драгоценное время, во-первых, из вежливости, а во-вторых, из хитрости: все-таки, дескать, заране в чем-то предупредил». И несмотря на то, что уже больше 140 лет роман является объектом интереса для целой армии русских и зарубежных критиков, роман так и не понят в самом главном. В своей книге «Достоевский. Шекспир. Приключения за сценой»\* я попытался раскрыть некоторые тайны романа.*

### ПРИКЛЮЧЕНИЕ С ГУСЕМ

В «Братьях Карамазовых» столько «несуразностей» и фактологических «ошибок», что у читателя может сложиться впечатление, будто Достоевский был крайне неаккуратен по отношению к деталям; что, увлеченный важными для него идеями, он не обращал внимания на незначительные подробности. К примеру, пакет с тремя тысячами рублей, поставленный в центре обвинения в грабеже и убийстве, перевязан то розовой, то красной тесемочкой; он то под тремя, то под пятью печатями, да и надпись на нем дана в разных вариантах. То же относится и к медному пестику, которым Дмитрий Карамазов ударил Григория и потом отбросил в сторону: «Пестик упал в *двух шагах* от Григория...» (XIV, 356. Курсив мой. – Г. В.)\*\*, тогда как на суде защит-

---

\* Велев, Г. Достоевски. Шекспир. Приключения зад сцената. – София, 2016, на болг. Предлагаем читателю НЖ главы из книги. Перевод – Надя Попова. © Георгий Велев.

\*\* Здесь и далее цитаты даны по: Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 тт. // Издательство «Наука», Ленинград, 1972–1988 / «Братья Карамазовы» – тома XIV–XV.

ник использует установленный при осмотре факт: «...мы именно отбросили наше оружие, потому что нашли его *шагах в пятнадцати* от того места, где был повержен Григорий». (XV, 155. Курсив мой. – Г. В.) Или же напомним о пресловутой открытой двери, ведущей в дом Федора Павловича в ночь убийства, которой уделено слишком большое внимание. По сути, за незначительной мелочью, за каким-то, казалось бы, бессмысленным анекдотом, перо Достоевского скрывает сокровенные идеи.

Заведя речь об авантюре с гусем, Коля Красоткин характеризует случившееся следующим образом: «Самая безмозглая штука, самая ничтожная, из которой целого слона, по обыкновению, у нас сочинили». (XIV, 495) Но если и у читателя сложится то же впечатление, от него ускользнет нечто очень серьезное – как именно Алеше удастся угадать возможность участия Ивана в убийстве Федора Павловича? Разумеется, само открытие – результат длительных размышлений над кошмарным убийством их отца, но понимание приходит внезапно – как вспышка молнии, высветившая зловещую правду. И только эта категоричность и недвусмысленность открывшегося дает Алеше право произнести перед братом свое знаменитое «не ты, не ты», уличающее его нечистую совесть.

Полное осознание Алешей потенциальной вины Ивана происходит в доме штабс-капитана Снегирева, в гостях у умирающего Илюши. Чтобы скрасить тягостную атмосферу, один из пришедших мальчиков, Коля Красоткин, начинает рассказывать о своих проказах. Алеша невесел, но все-таки он рад тому, что в конце концов удалось помирить Илюшу с Колей. Приходит черед истории с гусем и, удрученный тем, что Алеша может принять его за легкомысленного болтуна, Коля непосредственно перед тем, как приступить к рассказу, спрашивает:

«– Вы, кажется, изволите смеяться, Карамазов?

– Нет, Боже сохрани, я вас очень слушаю, – с *самым простодушнейшим* видом отозвался Алеша, и мнительный Коля мигом ободрился». (XIV, 495. Курсив мой. – Г. В.)

И далее:

«– Да, ведь я про гуся. Вот обращаюсь я к этому дураку и отвечаю ему: ‘А вот думаю, о чем гусь думает’. Глядит он на меня совершенно глупо: ‘А об чем, говорит, гусь думает?’ – ‘А вот видишь, говорю, телега с овсом стоит. Из мешка овес сыплется, а гусь шею протянул под самое колесо и зерно клюет – видишь?’ – ‘Это я оченно вижу, говорит.’ – ‘Ну так вот, говорю, если эту самую телегу чуточку теперь тронуть вперед – перережет гуся шею колесом или нет?’ – ‘Беспрременно, говорит, перережет.’ – а сам уж ухмыляется во весь

рот, так весь и растаял. ‘Ну так пойдем, говорю, парень, давай.’ – ‘Давай’, говорит. И недолго нам пришлось мастерить: он этак неприятно около узды стал, а я сбоку, чтобы гуся направить. А мужик на ту пору зазевался, говорил с кем-то, так что совсем мне и не пришлось направлять: прямо гусь сам собой так и вытянул шею за овсом, под телегу, под самое колесо. Я мигнул парню, он дернул и – к-крак, так и переехало гуся шею пополам!» (XIV, 495)

Этот рассказ – не просто анекдот, а история идеально реализованного преступления, в которой главного виновника невозможно наказать. И в самом деле, мировой судья, рассматривающий дело с гусем, приговаривает наивного парня к оплате штрафа размером в один рубль, а Коле делает только замечание. Но фактический исполнитель, пусть и недалекий умом, ощущает всю несправедливость приговора: «‘Это не я, говорит, это он меня наустил.’ – да на меня и показывает. Я отвечаю с полным хладнокровием, что я отнюдь не учил, что я только выразил основную мысль и говорил лишь в проекте.» (XIV, 495-496)

Аналогия в отношениях Коли Красоткина и глупого парня, с одной стороны, и, с другой, – Ивана и Смердякова, прямо-таки удивительна. В первую очередь, она заключается в том, что в обоих случаях исполнителям предлагается готовый проект действия. Смердяков приходит к формуле «всё дозволено» (XIV, 84) с помощью Ивана, но это – только философская основа проекта. Конкретную возможность устранения их отца Иван излагает невольно во время скандала, когда Митя бьет каблуком по лицу Федора Павловича и орет: «А не убил, так еще приду убить. Не устережете!» (XIV, 128)

Тогда злобным шепотом Иван произносит:

«– Один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога!

Алеша вздрогнул.

– Я, разумеется, не дам совершиться убийству, как не дал и сейчас». (XIV, 129-130)

В эту минуту Смердяков выносит осколки разбитой вазы, но слышит слова и воспринимает их как план действия, поскольку на следующий же день начинает уговаривать Ивана ехать в Чермашню. Отъезд он принимает за молчаливое одобрение брошенных накануне слов, и с этих самых пор, в отличие от Колиного глупца, оставшегося до конца всего лишь простым исполнителем, Павел Смердяков берет инициативу в свои руки – руководствуясь постоянно Ивановой формулой «всё дозволено». Ну, а во время их третьей, последней встречи, лакей напрямик заявляет: «Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил». (XV, 59)

Алеша, твердо убежденный, что не Митя убил их отца, вдруг осознает механизм семейной драмы и невыносимые, близкие к умопомрачению, страдания своего брата Ивана. Достоевский оставил лишь пару деликатных, но категоричных указаний на то, что Алеша только что узнал страшную тайну. В противовес своему простодушному поведению в начале рассказа про гуся, теперь он глубоко вдумчив: «...а между тем Алеша молчал всё время рассказа и был серьезен, и вот самолюбивому мальчику мало-помалу начало уже скрести по сердцу» (XIV, 496); его невнимание к дальнейшему разговору необычно, Алеша пропускает мимо ушей шутки по поводу брака Колбасникова и спор об основателях Трои. Его молчание до того затягивается, что начинает вызывать беспокойство: «Но Алеша всё молчал и был всё по-прежнему серьезен. Если бы сказал что-нибудь сейчас Алеша, на том бы оно и покончилось, но Алеша смолчал, а ‘молчание его могло быть прерзительным’, и Коля раздражился уже совсем». (XIV, 496)

Таким образом, благодаря инсценировке преступления, из которой явствует, что настоящий виновник может оказаться в стороне от события, Алеша осознает возможность того, что Иван вполне мог бы являться «философским» убийцей их отца. Использование такого метода раскрытия тайны преступления напоминает устроенное Гамлетом театральное представление. Однако здесь очевидно и существенное различие: Гамлет организует настоящее представление, с актерами-профессионалами, – в то время как Достоевский использует в качестве актеров самих героев своего произведения. И различие это – не внешнее, а идеологическое. Шекспир воспринимает жизнь, как театр Режиссера:

Что этот мир – подмостки, где картины  
Сменяются под *волхвованье* звезд,  
Что нас, как всходы нежные растений,  
Растят и губят те же *небеса*...

*Сонет XV (Перевод С. Маршака)*  
*(Курсив мой. – Г. В.)*

Достоевский решительно «сдерживает» сцену в гущу «живой жизни» и без каких бы то ни было декораций уподобляет ее грандиозному театральному действию, режиссируемому самим человеком.

Еще до эпизода с гусем на опасения своего молодого друга Коли, что смешно играть с детьми, Алеша отвечает:

«А вы рассуждайте так, – улыбнулся Алеша, – в театр, например, ездят же взрослые, а в театре тоже представляют приключения всяких героев, иногда тоже с разбойниками и с войной – так разве это не то же



самое, в своем, разумеется, роде? А игра в войну у молодых людей, в рекреационное, или там в разбойники – это ведь тоже зарождающееся искусство, зарождающаяся потребность искусства в юной душе, и эти игры иногда даже сочиняются складнее, чем представления на театре, только в том разница, что в театр ездят смотреть актеров, а тут молодежь – сами актеры. Но это только естественно». (XIV, 484)

### РАССКАЗЧИК В РОМАНЕ

В предисловии «От автора» сообщен факт, имеющий особое значение: в соответствии с замыслом неоконченной дилогии, действие в первом романе разворачивается за тринадцать лет до «нынешнего текущего момента». Следовательно, тот, от чьего лица ведется повествование, знает сюжетную развязку всех событий. Однако по мере погружения в текст романа оказывается, что это далеко не так, что повествующий довольно часто удивляется тому, что происходит, что будущие поступки героев для него неясны. Так в «Братьях Карамазовых» проступает острая двойственность повествования и обособливаются две самостоятельные точки зрения: с одной стороны, рассказ ведется как бы в перспективе времени, а с другой, он строго и педантично подчиняется настоящему моменту.

Наша задача – разделить двух пишущих – значительно облегчена тем, что нарратор называет себя то Повествователем, то Хроникером, – и мы подчеркнем это различие через прописную букву. Так на сцену романа выходят старательно законспирированные Достоевским рассказчики: Повествователь, который пишет в перспективе времени, и Хроникер, задача которого передать всё, что случилось в настоящий момент рядом с ним. Повествователь пишет не с «чистого листа»; он использует первоначальные записи всего, что случилось в родном городе, – сохраняя их аутентичность, но относится к ним крайне осторожно. В противном случае уже и Хроникер утерял бы свою индивидуальность, четкость своей точки зрения на события, которая резко отличается от взгляда Повествователя.

Чтобы категорически указать на различия между ними, Достоевский доверит полностью Книгу первую, «История одной семьи», – Повествователю, а Книгу вторую, «Неуместное собрание», – Хроникеру. Погружаясь в Книгу вторую, мы как бы погружаемся в новый роман: события следуют одно за другим, и взгляд Хроникера, в отличие от Книги первой, центростремительный, он не направлен ни вперед, ни назад. Но самым недвусмысленным доказательством, что Хроникер и Повествователь ведут два самостоятельных рассказа, является то, что в Книге второй демонстративно избегаются любые

комментарии и ссылки на обстоятельства, которыми изобилует Книга первая. Без разграничения точек зрения Повествователя и Хроникера было бы невозможно заметить ряд существенных различий и несоответствий в изложении фактов (и не только), оставляющих впечатление, что роман «Братья Карамазовы» написан самым нерадивым и рассеянным автором в мире... — или же как раз наоборот.

Возьмем, к примеру, хаос фактологических обстоятельств, связанных с убийством старика Карамазова. О времени его совершения Хроникер и Повествователь ведут свой собственный отсчет. Хроникер прослеживает его через призму действий Мити. Вот Митя идет к Хохлаковой: «Было часов семь с половиною, когда он позвонил в колокольчик». (XIV, 346) Там он задерживается на некоторое время и после этого, как безумный, кидается к Груше, где застаёт ее служанку Феню, хватает медный пестик и бежит со всех ног к дому отца. Он перелезает через забор: «Минут с пять добирался он до освещенного окна». (XIV, 353) Затем Хроникер описывает его колебания насчет того, Грушенька у его отца или нет, и то, как ему вслед бросается слуга Григорий Васильевич, которого он ударяет по голове медным пестиком после крика «Отцеубивец»... Потом снова возвращается к Фене и (несмотря на свои окровавленные руки) заводит с ней простодушнейший, будничный разговор — «С тех пор как вбежал он, прошло уже минут двадцать.» (XIV, 358) Выйдя от Фени, «Ровно десять минут спустя Дмитрий Федорович вошел к тому молодому чиновнику, Петру Ильичу Перхотину, которому давеча заложил пистолеты. Было уже половина девятого...» (XIV, 358) А далее Митя уже беспрерывно среди свидетелей, вплоть до своего отъезда в Мокрое.

Итак, со слов Хроникера, получается какой-то абсурд: не считая двадцати минут, ушедших на второе посещение Фени, и десяти минут, пока он поднимался к Перхотину, между половиной восьмого и восемью Митя был у Хохлаковой, у Фени и у своего отца. И, имея в виду, что Повествователь досконально ознакомился с записками Хроникера, не моргнув глазом, он подтвердит, сделав упор на слове «конечно», показания Кондратьевны: «Дорогою Марья Кондратьевна успела припомнить, что давеча, в девятом часу, слышала страшный и пронзительный вопль на всю окрестность из их сада — и это именно был, конечно, тот самый крик Григория, когда он, вцепившись руками в ногу сидевшего уже на заборе Дмитрия Федоровича, прокричал 'Отцеубивец'». (XIV, 409) Несоответствие между указанным временем, когда Митя ударил Григория, — до восьми, по мнению Хроникера, и «в девятом часу» — согласно Повествователю, — недопустимо, — за исключением обстоятельства, что у Повествователя имеется своя собственная единая концепция о времени в тот вечер

убийства, отличающаяся от концепции Хроникера. Следует также отметить, что на предварительном следствии, которое ведется чрезвычайно подробно, вообще не возникает вопроса о времени убийства. А на суде знаменитый адвокат Фетюкович делает неожиданное заявление: «По расчету времени (и уже строжайшему) дознано и доказано предварительным следствием». (XV, 158) Следовательно, речь идет о тщательно продуманном замысле Достоевского.

Однако без детального разграничения слов Повествователя и Хроникера невозможно проникнуть в глубину «Братьев Карамазовых». Следует учесть и присутствие в доверенном Повествователю и Хроникеру рассказе самого Достоевского, чье вмешательство чрезвычайно деликатно – во избежание манипуляций с позициями и взглядами. Только один раз он позволяет себе раскрыть свое прямое участие, и это происходит в переломный момент романа, который не под силу ни Повествователю, ни Хроникеру, – когда в душе его любимого героя Алеши наступает великий перелом после смерти его духовного отца – старца Зосимы. Вмешательство Достоевского засвидетельствовано довольно оригинальным образом: при описании церемонии похорон Зосимы вдруг на странице появляется лишняя сноска касательно канонических правил обряда: «При выносе тела (из келий в церковь и после отпевания из церкви на кладбище) монаха и схимонаха поются стихиры ‘Кая житейская сладость...’ Если же почивший был иеросхимонахом, то поют канон ‘Помощник и покровитель...’ (примеч. автора)». (XIV, 304) Сноска совершенно излишняя, потому как является, по сути, почти дословным повторением слов отца Ферапонта, завидующего Зосиме, что его проводят в последний путь стихами из «Помощника и покровителя...», в то время как на похоронах его, Ферапонта, споют «Кая житейская сладость...» – «стихирчик малый». (XIV, 303-304) Даже если бы и существовала какая-то необходимость в таком уточнении, его спокойно можно было бы сделать в начале главы, где даны подробные описания канонических требований – в том числе, у кого есть право отпевать усопшего иеросхимонаха.

Весьма важно и выявление личности двух соавторов Достоевского – Повествователя и Хроникера. В предисловии к повести «Кроткая» Достоевский объясняет, как, благодаря фантастическому Хроникеру, он стремится добиться реалистического рассказа: «Я оглавил его ‘фантастическим’, тогда как считаю его сам в высшей степени реальным»\*. В «Братьях Карамазовых» Достоевскому удастся

---

\* «Вот это предположение о записавшем всё стенографе (после которого я обделал бы записанное) и есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим.» (Ф. М. Достоевский, «Кроткая»)

преодолеть это последнее препятствие на пути к полной реалистичности повествования. Вот как передано мнение Миусова об Иване: «Он горд, – говорил он *нам* тогда про него». (XIV, 16. Курсив мой. – Г. В.) А на суде над Митей Хроникер уже расконспирировал себя полнотью: «Я видел сам, как в конце залы, за эстрадой...» (XV, 90. Курсив мой. – Г. В.) В таком случае, раз Хроникер – реальное, а не призрачное лицо; он непременно должен являться одним из героев романа, потому что будь по-другому, оставаясь в стороне, не будучи замешанным в событиях, ему невозможно располагать столь полной информацией. Мы вынуждены искать Хроникера среди героев романа. А среди них один лишь Алеша – прямой свидетель основных сцен, как то: посещение скита, следовавших за ним разговоров и избияния в доме отца; встречи двух соперниц – Катерины Ивановны и Грушеньки; исступлений в доме Хохлаковой и в трущобе Снегиревых; любовных лакейских объяснений Смердякова и так далее. При этом в большинстве случаев Алеша – и единственный сторонний наблюдатель, а если он и не присутствовал при какой-либо сцене (между прочим, таких очень мало), он получает о ней информацию из первых рук. Например, о допросе Мити на предварительном следствии, который передан до мелочей, Алеша располагает протоколом, о старательном ведении которого упомянуто несколько раз. Вспомним: если в рассказе Виктора Гюго, упоминаемом в предисловии к «Кроткой», Достоевский находит неправдоподобным то, что приговоренный к смертной казни ведет записки до последних минут исполнения приговора, то для молодого Алеши как свидетеля многих, притом драматических, семейных событий это даже в порядке вещей.

В «Братьях Карамазовых» есть и прямые указания на то, что Алеша ведет подробные записки (которые затем перерабатывает) обо всем, происходящем вокруг него. Одним из них является почти всё содержание Книги шестой «Русский инок». В начале изложения заглавными буквами особо указано: «ИЗ ЖИТИЯ В БОЖЕ ПРЕСТАВИВШЕГОСЯ ИЕРОСХИМОНАХА СТАРЦА ЗОСИМЫ, СОСТАВЛЕНО С СОБСТВЕННЫХ СЛОВ ЕГО АЛЕКСЕЕМ ФЕДОРОВИЧЕМ КАРАМАЗОВЫМ». (XIV, 260) Достаточно вникнуть в открыто обозначенный авторский текст Алеши, чтобы убедиться, что он виртуозно владеет пером, которое, как впрочем и во всем романе, может объединить в единое гармоническое целое две противоположные тенденции, как специально указано: «Записал Алексей Федорович Карамазов некоторое время спустя по смерти старца на память. Но была ли это вполне тогдашняя беседа, или он присовокупил к ней в записке своей и из прежних бесед с учителем своим, этого уже я не могу решить, к тому же вся речь старца в записке этой ведется как бы

беспрерывно, словно как бы он излагал жизнь свою в виде повести, обращаясь к друзьям своим, тогда как, без сомнения, по последовавшим рассказам, на деле происходило несколько иначе». (XIV, 260)

За день до своей смерти Зосима переживает не только физический, но и острый идейно-мировоззренческий кризис при встрече со своим брутально-агрессивным антиподом Федором Карамазовым. С одной стороны, Зосима свято верит в братское любовное единение всех людей, с другой, не может не видеть, что между ними царит и страшная злоба, которую невозможно искоренить. И в последние его часы рушится с трудом поддерживаемое им равновесие между тем, во что он верит, и тем, чего боится. Именно борьба между двумя этими тенденциями – тема записок. Перед началом и в конце рукописи Алеши особо подчеркивается, что в житии сосуществуют два элемента: «Из поучений же его и мнений сведено вместе, как бы в *единое целое*, сказанное, очевидно, в разные сроки и вследствие побуждений различных. Всё же то, что изречено было старцем собственно в сии последние часы жизни его, не определено в точности, а дано лишь понятие о духе и характере и сей беседы, если сопоставить с тем, что приведено в рукописи Алексея Федоровича из прежних поучений». (XIV, 293-294. Курсив мой. – Г. В.)

Благодаря непрямым знакам, каждый пассаж жития помечен однозначно во времени и, таким образом, указывает, из последней ли он беседы, когда старец переживает кризис, или же относится к более счастливым дням Зосимы, когда он находил силы поддерживать в себе духовное равновесие. В своей предсмертной исповеди (несмотря на трагические нотки) старец резок и нападателен, как и положено «совершенному рыцарю» (XIV, 33), и воинственно поднимает знамя своих идеалов («Веруйте и знамя держите. Высоко возносите его...») (XIV, 149), что противоречит благочестивому тону предыдущих бесед. Поэтически и трогательно звучит, например, воспоминание о том, как странствуя с отцом Анфимом, Зосима встречает у большой реки юношу-бурлака, которого усыпляет, растолковывая ему совершенство Христа: «Вижу, что понял. И заснул он подле меня сном легким, безгрешным». (XIV, 268) То, что это воспоминание относится к прежним мирным монастырским дням, явствует из замечания: «В юности моей, давно уже, *чуть не сорок лет тому*, ходили мы с отцом Анфимом по всей Руси, собирая на монастырь подаяние, и заночевали раз на большой реке судоходной». (XIV, 267. Курсив мой. – Г. В.) Временным же ориентиром всего жития служит сделанное, с присущей автору виртуозностью деталей, ненавязчивое, но чрезвычайно важное замечание в ночь предсмертной беседы: «Было это уже очень давно, *лет пред тем уже сорок*, когда старец

Зосима впервые начал иноческий подвиг свой в одном бедном, малоизвестном костромском монастыре и когда вскоре после того пошел сопутствовать отцу Анфиму в странствиях его для сбора пожертвований на их бедный костромской монастырек». (XIV, 257. Курсив мой. – Г. В.) Из сопоставления *чуть не сорок лет – лет пред тем уже сорок* видно, что Зосима и прежде рассказывал о своей встрече с бурлаком. Таким же образом можно определить во времени и дуэль молодого Зосимы и связанное с ним философско-житейское приключение с таинственным посетителем: «И верите ли, милые, *сорок лет* тому минуло времени, а припоминаю и теперь о том со стыдом и мукой». (XIV, 270. Курсив мой. – Г. В.). Но Зосима поступает в монастырь шесть месяцев после дуэли и, следовательно, его духовные братья укрепляли в себе веру и наслаждались струящейся из этой истории мудростью еще до этого. А самый важный вывод, проистекающий из этой истории, – триумф единственного способа духовного перерождения как свободный выбор человека на пользу добра и Христовых ценностей. Выстраивая житие Зосимы в диалоге двух противоположных тенденций, Алеша блестяще иллюстрирует принцип, по которому написан весь роман.

Однако вернемся к Повествователю, к тому же Алеше-Хроникеру, но уже спустя тринадцать лет. Повествователь в «Братях Карамазовых» использует подробные свои давние записки. В знаменитой финальной речи после похорон Илюши опять-таки Алеша заявляет: «Может быть, мы станем даже злыми потом, даже пред дурным поступком устоять будем не в силах, над слезами человеческими». (XV, 195) Прошло 13 лет и, увы, предсказание Повествователя сбывается. Так мы можем себе объяснить желчный, саркастичный, беспощадно пронизательный его тон. В последних словах Алеши перед мальчиками звучит: «...самый жестокий из нас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаемся, все-таки не посмеет внутри себя посмеяться над тем, как он был добр и хорош в эту теперешнюю минуту! Мало того, может быть, именно это воспоминание одно его от великого зла удержит, и он одумается и скажет: ‘Да, я был тогда добр, смел и честен.’». (XV, 195)

И вот пришла пора Повествователю вернуться к воспоминаниям и запискам своей молодости, чтобы спасти самого себя от себя же, но, вместе с тем, и чтобы придать той, прошлой хронике новое направление и смысл. В тени великого Достоевского его главный герой и собрат по перу Алеша Карамазов, благодаря двум своим перевоплощениям – Хроникер и Повествователь, – совершает настоящее чудо, охватывая жизнь в ее предельной глубине и таинственности.

София

Юрий Иваск

## Иосиф Бродский: первые зарубежные книги

### ИОСИФ БРОДСКИЙ. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ

Ровно четверть века назад ушел Иосиф Бродский. Поверить в это трудно, особенно в Нью-Йорке: вот его дом, вот любимое кафе – пять минут от редакции НЖ... *Genius Loci*... Старый журнал многое помнит, о многом может рассказать. Первая публикация Бродского в НЖ появилась еще из Советского Союза – в № 95 за 1969 год, – «На Прачечном мосту». В те годы главный редактор журнала, Роман Борисович Гуль, активно публиковал самиздат: слепо веря, что русская литература – едина по духу, он давал площадку неподцензурной советской литературе – тот самый «плоток свободы», чтобы не задохнулась совсем. Читателям и «службам» со страниц журнала сообщалось: «редакция извиняется перед автором» за то, мол, что без его «ведома и согласия» опубликовала сей текст. Эта маленькая хитрость давала эфемерную защиту опальным. Не печатать их было нельзя – тем самым журнал защищал и вводил в контекст мировой литературы их имена, которые сегодня составляют ее гордость. В том числе – и гордость современной русской литературы России – теперь свободно и широко, миллионными тиражами, издающей и поминающей умерших.

Кто принес те первые стихи Бродского в редакцию? В архиве журнала это не зафиксировано, но скорее всего – незабвенный проф. Джордж Клайн, первый серьезный переводчик Бродского на английский, фанатично преданный поэзии Бродского и самому поэту, продвигавший нового эмигранта по неведомой тому американской – да и мировой – территории, вплоть до Нобелевской премии. Кстати, в этом году Джорджу Клайну (1921–2014) исполнилось бы сто лет – и ведь это тоже юбилей, достойный памяти носителей русской культуры! Эмигранты-литераторы ласково называли его «Львович» – столько сделал этот человек для литературы и философского наследия Зарубежной России. «На Бродского мы за рубежом обратили особое внимание в 1964 году, читая прессу, подробно освещавшую возмутительный, по выражению Клайна, ‘кафкианский’ суд над ‘поэтом-туеядцем’», – вспоминала на страницах НЖ поэт второй эмиграции Валентина Синкевич (№ 255, 2009). Клайн познакомился с Бродским около 1968 года.

4 июня 1972 года, лишенный советского гражданства, Бродский выле-

тел из Ленинграда по «израильской визе», по предписанному маршруту – в Вену. «Эмиграция была лишь репетицией смерти, теперь он переходит иную границу», – написал Д. Бобышев «Вослед уходящему», в эссе на смерть Бродского (НЖ, № 197, 1996), – Бродский уходил к славе и бессмертию.

И здесь возникает еще одно имя – которое, собственно, всё время оставалось с нами, – хотя вот уже 55 лет как ее нет на этой земле: Анна Андреевна Ахматова (1889–1966). К своим «мальчикам» «Ахматова... к каждому относилась всерьез и подарила всем по стихотворению-‘розе’. Бродскому она посвятила ‘Последнюю’. Этого одного бы хватило, чтобы остаться посмертно на полях примечаний к собраниям ее сочинений». Но этого было мало Поэту. Последняя роза – это цветок не прощания, но завешта, напутствия. Нобелевская премия 1987 года была лишь внешней сатисфакцией, фиксированием той вершины, которой он сумел достичь.

Как разительно отличаются нобелевские речи Бунина и Бродского! – За спиной первого русского лауреата стояли два миллиона беженцев, вся русская эмиграция, утяжеленная миссией сохранить в изгнании свободное Слово и дух, и сам он был утяжелен своим избранничеством. Бродский же говорил об одиночестве творца, о личной ответственности за это Слово и за свой свободный дух. Да, он один представлял эпоху, «ничей ученик», как заметят Б. Филиппов и Ю. Иваск. В этой эпохе были и есть не только союзники и друзья...

Стоит сказать несколько теплых слов и об авторе этих двух рецензий на книги Бродского – Юрии Павловиче Иваске (1907/10 – 1986). Трудно переоценить вклад этого человека в русскую культуру, в культуру русской эмиграции, в XX веке. Поэт, литературный критик, историк русской литературы... В этом году мы отмечаем 35-летие со дня его смерти.

Юрий Иваск родился в Москве – то ли в 1907 году, то ли в 1910-м, – и в этих двоящихся датах нет ничего странного: в подобных скрытых датах точно определена судьба эмигранта, беженца от коммунистической диктатуры. Фактически всю первую половину жизни, когда сформировались его личность, его взгляды на жизнь и литературу, он провел в Эстонии, куда вместе с родителями переехал из большевистской России в 1920 году. Уже юношеский его талант был признан Г. Адамовичем и Г. Ивановым; он дружил с М. Цветаевой, переписывался с З. Гиппиус и Д. Мережковским; публиковался в знаменитых «Числах» и «Современных записках». Его первая книга была издана в 1938 году. В 1944 году, под натиском Красной Армии, в результате утвердившей в Прибалтике сталинскую диктатуру, Иваск бежит в Германию, а оттуда вместе с полумиллионом таких же войной «перемещенных лиц» – в Америку. С 1949 года он живет в США; в Гарварде он, знаток классической русской литературы, защищает диссертацию по Вяземскому и начинает преподавать в американских университетах. В 1955-58 гг. он издает журнал «Опыты», в 1953 году – антологию поэтов



первой и второй эмиграции «На Западе», работает с наследием философов Г. Федотова и В. Розанова, пишет монографию о К. Леонтьеве... Юрий Павлович представлял собою забытый тип русского интеллигента-энциклопедиста. «Какие из поглощаемых забвеньем имен необходимо перенести с собой в будущее? Ответ очевиден. Разумеется, имена тех, кто был свободен, чей ум и литературный дар развивался вольно в век идеологических деспотий и принуждений. Таким умом и талантом был одарен Юрий Павлович Иваск», – писал его друг поэт Д. Бобышев (НЖ, № 248, 2007).

В НЖ Юрий Иваск был напечатан, еще находясь в дипийской Европе. Первая поэтическая публикация появляется в № 19 за 1948 год – номере, наполненном новыми для журнала и русской независимой литературы именами писателей второй волны.

Что же еще добавить о двух поэтах, воплотивших великий страдальческий век русской культуры? Что сказать «во след уходящим»?.. Может быть, вспомнить о Городе, столь любимом ими?.. О магии числа и места, воплощенной в их творчестве?.. «...барочный рай для Иваска – это город Бартоломео Растрелли и блаженной во Христе юродивой Ксении Петербургской, которая подносила кирпичики его строителям. В Петербург... было последнее путешествие Ю. П. Иваска». «Ни страны, ни погоста / не хочу выбирать./ На Васильевский остров/ я приду умирать»...

Среди первых зарубежных книг Иосифа Бродского были и те, на которые обратил внимание Юрий Иваск: «Стихотворения и поэмы», вышедшие в издательстве Inter-Language Literary Associates в Вашингтоне в 1965 году (Г. Струве, Б. Филиппов) и «Остановка в пустыне. Стихотворения и поэмы» (Изд. имени Чехова в Нью-Йорке, 1970). Дж. Клайн вспоминал об издании первой книги: «...вернувшийся из ссылки Бродский впервые увидел ‘Стихотворения и поэмы’ в ноябре 1965 года, он испытал смешанные чувства: с одной стороны, двадцатипятилетнему поэту, не сумевшему ничего опубликовать на родине, приятно было увидеть изданный в эмиграции том своих стихов. Но с 1957 до 1965 года его развитие было стремительным, и он испытал разочарование, увидев, как много в книге *juvenilia* 1957–1961 годов. У него также вызвали раздражение довольно многочисленные опечатки и некоторые ошибки, хотя, я думаю, он, несомненно, понимал, что невозможно было бы выпустить безупречную в этом отношении книгу, работая с самиздатскими материалами, без какого бы то ни было контакта с автором» (*Джордж Клайн. История двух книг // Иосиф Бродский. Труды и дни / Сост. Лев Лосев, Петр Вайль. – М.: Независимая газета, 1998*).

Сегодня мы предлагаем читателю НЖ эти рецензии. В коротких текстах Иваска скрыта и целая история взаимоотношений трех эмиграций, и неиссякаемый интерес эмигрантов к тому, что происходило в отечестве, и вся культурная энергетика Русского Зарубежья.

*Марина Адамович*

ИОСИФ БРОДСКИЙ. *Стихотворения и поэмы. Предисловие Георгия Стукова. Inter-Language Literary Associates, Нью-Йорк, 1965, стр. 239.*\*

Поэзия Иосифа Бродского чрезвычайно оригинальна, хотя при желании в ней и можно найти известные уже литературные тенденции и мотивы. Кое-кто отметит его сюрреализм – фантастику, вырастающую на фоне знакомого быта, бытовых деталей. Отдельные стихи напоминают Заболоцкого. Меньше всего в его стихах акмеизма, хотя он и другие молодые поэты-ленинградцы очень ценят Мандельштама и Ахматову. Впрочем, акмеизм, как и все другие «измы» – понятие весьма растяжимое. Поздний Мандельштам разрывает гармонию «Камня» и «Тристии», он совершенству предпочитает выразительность и не заботится об отделке деталей. У Бродского тоже выразительности больше, чем совершенства. Изменилась и Ахматова, и поэма Бродского «Шествие» как-то перекликается с ее «Поэмой без героя». Всё же Г. Стуков прав – Бродский «ничей ученик».

Можно говорить о каком-то возрождении символизма в поэзии многих молодых ленинградцев. Их поэзия – метафизическая, трансцендентная. У некоторых из них, в том числе и у Бродского, главная тема – сокровенные тайны мира, Бог. Но символика их не блоковская, не беловская, а своя собственная, очень неожиданная и поэтому «странная». У Бродского «жизнь словно дочь и отец», память – девочка, но, например, символ холма (высота жизни) – традиционный, хотя и по-новому разработанный.

Многие стихи Бродского – петербургские, и он иногда называет знакомые всем улицы. Но его Петербург – новый, еще никем не описанный Петербург, и это также не Ленинград, не советский город. Везде поэт смотрит «в корень вещей», везде – и в городе, и в деревне – он стремится расширить или преодолеть эмпирическое познание мира.

Россия граничит с Богом, сказал Рильке на рубеже двух столетий... В поэзии Бродского Россия или какая-то другая, им открытая страна, тоже граничит с божественными тайнами... Бог не всегда называется, а иногда даже высмеивается (Он под старость глупеет...). Но, тем не менее, в мире Бродского всё метафизично, везде приоткрывается непознаваемое («несказанное» – на жаргоне старых символистов).

Может быть, лучшее стихотворение в сборнике – «Пилигримы». Очень значительна и его «Большая элегия», посвященная английскому метафизическому поэту Джону Донну (1573–1631). Его

---

\* Георгий Стуков – это псевдоним Бориса Филиппова.

даже англичане плохо знали и почти забыли, а в нашем веке его прославил неометафизик Т. С. Элиот. Донн, несомненно, поэт гениальный. Есть грубость в этой мистике, какая-то «мужиковатость», но и маньеризм.

О солнце он сказал – «старый дурак», а храм любви для него – блоха, напитавшаяся кровью любовников. Вообще, барочные поэты в выражениях не стеснялись. Так, испанец Гонгора сравнивал свою душу с содержимым ночного горшка. То же самое можно сказать и о Бродском, и у него есть барочная грубость, но есть и другое – высокие прозрения. Однако он, конечно, не достиг зрелости и мастерства неистового Донна, трепетного Краше, нежного Херберта или великолепного Гонгоры.

Бродский, по-видимому, читал «Экстаз» Донна – там духовное единение душ описывается на языке любовника, одержимого страстью, и эротика «разогревает» мистику. Бродский наверное знает и то, что для своего последнего портрета Донн позировал в саване – он говорит о его белом покрывале. Всё же в «Большой элегии» вымысла больше, чем литературных реминисценций. В первой части этого стихотворения господствуют глаголы «спать», «уснуть»:

Джон Донн уснул, уснуло всё вокруг,  
Уснули стены, пол, постель, картины...

Далее следует длинный каталог уснувших вещей, и здесь, описывая Англию 17-го века, Бродский, неожиданно, более конкретен, чем в своих русских стихах. Душа Донна в сонном видении обзрела ад и рай. В экстазе он «Бога облетел», но его тянет обратно земной груз. Везде подчеркивается знакомая нам реальность нашего мира – его вещьность, его тяжесть. На этой тяжести противоплагается легкая – духовная – реальность иного мира. Во второй части доминируют глаголы «плакать, рыдать». Так, тема возвращения в наш мир, щемящая разлука с другим миром и другие мучительные мотивы одушевляют этот внутренний монолог Иосифа Бродского с Джоном Донном.

Бродский – новый «Рыцарь Бедный», имевший «непостижное виденье», и в любом материале, будь то быт, книги или же сюрреалистический ландшафт, он стремится увидеть знаки, вехи метафизического бытия. В стихах Бродского нет той выверенной литературности, которая так характерна для больших зарубежных поэтов, например, для Георгия Иванова, – у него каждый слог, каждый звук насыщен поэтическим смыслом, всё предельно функционально, нет ничего лишнего. То же самое можно сказать о

таких разных поэтах, как Адамович, Одоевцева или Чиннов. Но не по стилю, а по климату своей поэзии Бродский сродни нашим поэтам-«еретикам» – Поплавскому, Присмановой, Гингеру, Одарченко, Божневу. Наконец, его поэмы чем-то напоминают поэму без названия Маркова («Опыты», IV). Он также «созвучен» английским неометафизикам Т. С. Элиоту, В. Х. Одэну, Д. Томасу.

Стихи Бродского – очень неровные, иногда водянистые, многие слова случайные, сомнительные (напр., неожиданность, испуганность, во крови). Поэмы «Холмы» и «Исаак и Авраам» – бескостные, рыхловатые. А в его поэме «Шествие» исполнение не всегда на уровне замысла. Там вереницей проходят символические фигуры Дон Кихота, Гамлета, Арлекина, Коломбины, князя Мышкина, Торговца, Вора, Лжеца, Скрипача, Поэта и неожиданного в этом ряду «просторечивого» Честняги. Это «Шествие» выиграло бы при сокращении, почти везде недостает правки черновиков. Но есть и удачи, например, фрагмент «Плач». Первые четыре строфы «Романса Поэта» не имеют силы последних трех строф, которые легко заучиваются наизусть (но выписываю только одну):

Всё мальчиком по жизни, всё юнцом  
с разбитым жизнерадостным лицом  
ты кружишься сквозь лучшие года,  
в руке платочек, надпись «никуда»\*.

Зачин (всё мальчиком...) неожиданно напоминает эти стихи из «Горе от ума»: «А тетушка? Всё девушкой, Минервой? / Всё фрейлиной Екатерины Первой?..» А также и Пастернака: «Мне в сумерках ты всё пансионеркою, / Всё школьницей...» Но функция этих прелестных разговорных зачинов – разная: у Грибоедова – ирония, у Пастернака – нежность, у Бродского – легкая жалость, горечь...

Вообще же – Бродский знает, что ему в поэзии делать. Верный своему «непостижному виденью», он прежде всего стремится понять свои высокие замыслы, иногда наспех записывает, чему он «свидетель был» и поэтому не очень заботится об отделке деталей. У него огромная тема: это неисследованные джунгли и пампасы открытого им материала, это – пустыня одиночества, полного высоких предчувствий, это – мистические прозрения Джона Донна, это – растущая и разрастающаяся реалья Неведомого – присутствующего или отсутствующего Бога. И эта новая тема, с переменным успехом,

---

\* Так в оригинале.

развертывается им в угловатых стихах, напоминающих мне скалы Монтаны, Аризоны или могучие глыбы, торчащие вокруг Афона, в Эгейском море... И всё вместе так неожиданно, так чудесно и кое-откуда (в его стихах) далеко видно во все концы земли и неба. А географическое «место развития» его метафизической поэзии – Петербург–Петроград–Ленинград 60-х гг. двадцатого столетия. Есть чему подивиться !

*Юрий Иваск, № 79, 1965*

*ИОСИФ БРОДСКИЙ. Остановка в пустыне. Стихотворения и поэмы. Издательство имени Чехова, Нью-Йорк, 1970, 231 стр.*

Иосиф Бродский, как и некоторые другие ленинградские поэты, иногда труден для понимания, что, однако, не помешало его популярности в России, где его стихи расходятся в многочисленных списках. Большинство эмигрантских читателей и критиков приняли Бродского холодно. У нас охотнее читают Евтушенко, Вознесенского, Матвееву, Винокурова – более понятных поэтов. Между тем, Бродский столь же «малопонятен», как, например, ранний Пастернак, как Кузмин 20-х гг. или Мандельштам 30-х гг. Его очень ценила Ахматова. К нему благожелательно отнесся В. Х. Одэн, которого иногда называют первым современным поэтом англо-саксонского мира. В предисловии к его стихам, переведенным на английский язык, В. Х. Одэн пишет: «Бродский – поэт трудный, но всё же скорее традиционный. Он находит в предметах материального мира сакраментальные знаки незримого» (эта книга переводов будет опубликована в изд-ве «Пингвин», в серии «Современные европейские поэты»).

Что прежде всего поражает в поэзии Бродского? Не то ли, что многие его стихи не имеют никакого отношения к советской действительности. Он почти всегда по ту сторону современного и живет в своем особом, им созданном мире. Мы узнаем в его стихах Ленинград, Неву, русский пейзаж, но весь этот фон чаще всего описывается вне исторического времени. Кое-кто, и не только в СССР, иронически скажет: это бегство из современного мира, от которого убежать не следует! Но надо знать – куда, в какой свой мир «убегает» поэт.

Для него реальнее «последние вещи человека»: любовь, добро, смерть, Бог.

Бродского давно уже привлекают вечные образы мировой литературы: Дон-Кихот, Фауст или библейские Авраам, Исаак. Очень увлекли его английские метафизические поэты 17 века. Он написал «Большую элегию» о Джоне Донне. А один цикл посвятил памяти

Т. С. Элиота, который лет 40-50 тому назад способствовал прославлению английских метафизиков.

Бродский, как и многие современные западные поэты, и не только английские (а хотя бы и мексиканские!), не доверяет навязанной нам шаблонно-логической связи в мышлении и речи. В этом выразилась творческая реакция Запада против рационализма и рационализации жизни, против комьютеров в технике и бюрократии. Поэты хотят найти какую-то другую логику – более адекватную сущности вещей и их истинному смыслу, искажаемому псевдообъективными данными статистики и счетных машин. Они стремятся раскрыть неуловимые живые связи между явлениями, казалось бы, между собою ничем не связанными. Это уже понимал один из «отцов» современной поэзии Бодлер (в стихотворении «Соответствия»), а из русских поэтов – еще Фет, позднее – Анненский, Пастернак, Кузмин, Мандельштам, некоторые футуристы. Алогичность иногда приводит к безответственности и поэтому неубедительна. Не всегда убедителен и Бродский: некоторые зигзаги его мысли, вероятно, понятны ему одному или небольшому кружку его ближайших друзей. Всё же есть ключ к его поэзии. Ключ – Бог. «В каждом из нас Бог», – утверждает Бродский, и даже неправедным своим судьям, советским шемякам, он осмелился сказать: «поэзия и призвание поэта от Бога». Бог для него – самое главное, которое всегда притягивает, но часто ускользает, теряется в неясных догадках и потом опять откуда-то появляется, «выскакивает из-за угла». Бродский пишет: «...я, как сказал перед смертью Рабле, / отправляюсь в Великое Может быть». У верующего Т. С. Элиота тоже было немало таких «может быть» в религии. Всё же Бродский утверждает: «Неверье – слепота. А чаще – свинство».

Бродский часто философствует – и не всегда удачно. Он пишет:

Бог органичен. Да, а человек?

А человек, должно быть, ограничен.

Ограниченность человека несомненна. Но если Бог органичен, то это Бог примитивных анимистов или же пантеистический Бог, тождественный миру.

Самое значительное произведение Иосифа Бродского – поэма «Горбунов и Горчаков». Здесь, скорее в виде исключения, описана советская действительность. Оба героя сидят в желтом доме, хотя они совсем не сумасшедшие, а мыслящие чудачки, одаренные богатым воображением. Но это не политическая сатира. Если вынужденных насельников этой лечебницы для душевнобольных выпустить на свободу, они нигде правды не найдут: в любом царстве-государстве

Горбунов останется душевно «горбатым», а Горчаков – огорченным человеком и – огорчающим, потому что он доносит на своего друга Горбунова. Выправить их мог бы только Бог.

Поражает классическая четкость этой поэмы. В каждой строфе 10 строк (децима) и почти везде – две рифмы, чаще – точные (и в наше время уже «старинные»). Децимами у нас писали Державин (оды «Фелица», «Бог»), а в Англии – Джон Донн, которого Бродский так хорошо знает. Размер – пятистопный ямб (прославленный Пушкиным в поэме «Домик в Коломне»). Но нет никакой подражательности: «Горбунов и Горчаков» – одно из самых оригинальных и «чреватых» смыслами произведений мужающего Бродского. Кое-что в этой поэме тоже покажется непонятным или же очень растянутым. Бродский часто повинен в многоглаголании. Но эта «разговорчивость» оправдывается канонами его жанров – эпической или же философической («трактатной») поэзии, включающей и чистую лирику. В ранней, тоже значительной, поэме «Исаак и Авраам» Бродский драматизировал события и верования. В «Большой элегии», посвященной Джону Донну, драматичны мысли, видения английского поэта-метафизика, а в «Горбунове и Горчакове» – страдания и идеи этих униженных и оскорбленных чудаков-мыслителей и одареннейших фантазеров.

Во многих монологах этой поэмы мы слышим уже не лепет подающего надежды талантливого отрока-поэта, а речь умудренного мужа, спокойного и власть имущего поэта-мастера, свободно, без видимого усилия, вращающего послушные ему медленные пятистопные ямбы, вмещенные в тесные формы монументальной децимы. Существеннее же, что в этой поэме Бродского выражено то, что всегда всем было понятно, что на самом деле важно: одиночество, боль, отчаяние, сомнения, догадки, вымыслы, молитвы. Давно уже ни у кого из поэтов, живущих в СССР, не было такого размаха, такой жажды вечности. Горбунова может напоить и насытить только Бог, живая жизнь в Боге – настоящая вера, которую он смутно предчувствует, но еще не находит, как и другие лирические герои Бродского.

Может быть, замученный в желтом доме Горбунов выражает настроения и других алчущих и жаждущих правды в Советском Союзе. Пусть у многих этих правдоискателей «каша в голове», наскооро сваренная из Достоевского, Ницше, Бердяева, Тейяра и других случайно добытых продуктов духовного питания, но искания их напряженные, живые.

Очень значительны и многие другие стихи Бродского, хотя бы его «Почти элегия» с реминисценцией из Державина («Чего в мой дремлющий тогда не входит ум»). Из поэм выделяю «Остановку в

пустыне» с размышлениями о нашей эпохе: «Не ждет ли нас теперь другая эра? / И если так, то в чем наш общий долг? / И что должны мы принести ей в жертву?» (1966).

Бродский относится с недоверием ко всякой чрезмерной эмоциональности, а всё же лирические эмоции в его поэзии прорываются:

Где-то льется вода, только плакать и петь вдоль осенних оград,  
всё рыдать и рыдать, и смотреть всё вверх, быть ребенком ночью,  
и смотреть всё вверх, только плакать и петь, и не знать утрат...

Может быть, ленинградскому метафизику многое неясно, и он еще не знает, куда плыть и зачем. Но, несомненно, его поэзия уже не утлая лодка, а хорошо оснащенное судно, которому предстоит большое плавание.

*Юрий Иваск, № 102, 1971*



А. Г. Ранская

## «Конек-Горбунок»

*Издание лагеря ДиПи Келлерберг\**

Сказка в стихах «Конек-Горбунок», написанная Петром Ершовым в 1830-х годах, давно стала классикой русской литературы. Более 180 лет сказка издается в России и за рубежом. Среди зарубежных изданий особое место занимают русскоязычные эмигрантские издания, хотя они и составляют очень небольшой процент от общего числа. Появление их за рубежом связано с массовой эмиграцией из России после революции 1917 года и по окончании Второй мировой войны.

Стремление к сохранению родного языка и культуры среди эмигрантов из России способствовало появлению многочисленных эмигрантских издательств. Среди эмигрантских изданий классической русской литературы особой популярностью пользовалась сказка П. П. Ершова. Первые эмигрантские издания «Конька-Горбунка» на русском языке появились в начале 20-х гг. XX века. Все они являются библиографической редкостью. Так, в 1921 году сказка была издана в Стокгольме в издательстве «Новая Русь», в том же году в Китае появляются сразу три издания сказки: два – в Харбине, одно – в Тяньцзине. В 1922 году в Германии (в Берлине) вышло два издания сказки: в шикарном переплете – в издательстве Отто Кирхнера, и в значительно более скромном – в издательстве А. Терне. Условия для выживания русских издательств в эмиграции были сложными. Издательство Отто Кирхнера просуществовало только два года, а А. Терне – и того меньше: один год.

После Второй мировой войны в Европу хлынула новая волна русских эмигрантов. К тому времени старых эмигрантских издательств не оказалось и стали создаваться новые. В одном из таких издательств «нового» эмигранта Вячеслава Клавдиевича Завалишина в конце 1945 года появляется на свет очередной «Конек-Горбунок». Именно эта книга официально считается первым дипийским изданием<sup>1</sup>. И долгое время она считалась единственным послевоенным европейским рус-

---

\* Автор выражает признательность за помощь в подготовке материала М. Меняйленко и М. Толстому.

ским изданием «Конька». Однако совсем недавно было обнаружено еще одно издание сказки, осуществленное в дипийских лагерях.

Место хранения этого, на сегодняшний день – единственного, экземпляра – Музей-архив русской культуры в Сан-Франциско (МРК). Впервые о существовании этой книги было кратко упомянуто на XXV конференции «Ершовские чтения»<sup>2</sup>. Упомянутый экземпляр был найден при комплектации материалов фонда ДиПи МРК главным архивистом Музея-архива Маргаритой Меньяйленко.

На обложке пожелтевшей от времени книги надпись: «Дар кн. Ливена», эта же надпись встречается и на других материалах, поступивших из лагерей ДиПи. Работая с коллекцией ДиПи, М. Меньяйленко установила, что передавший собранные им материалы в Музей русской культуры светлейший князь Александр Андреевич Ливен проживал в послевоенные годы в Австрии и состоял членом различных организаций помощи русским «перемещенным лицам». Он искал надежное место вне Европы для хранения собранных им материалов о жизни русских в лагерях ДиПи. 30 ноября 1948 г. в газете «Русская жизнь» была опубликована статья кн. А. А. Ливена (под псевдонимом «А. Андреев») «Поможем Музею-архиву». «Особенно ценно и важно, – писал он, – для нас, русских, проживающих в Европе, что инициативу создания подобного необходимого центра взяли на себя наши братья в счастливой Америке, куда, будем надеяться, не докатятся разрушительные волны войн и революций... / Беженцы в Австрии с трудом сводят концы с концами, влача жалкое и, зачастую, полуголодное существование. Но мы смогли создать в наших деревенных лагерях свои очаги русской культуры, которые настолько своеобразны и интересны, что отметить факт их существования для потомства необходимо... Мы не провели три года даром, мы упорно работали над созданием наших храмов, школ, гимназий, театров, выставок прикладного искусства художников и скульпторов, нами выпущено много учебников и книг, издаются печатные и ротаторные газеты, проходят лекции и доклады, на которых зачастую выступают люди с очень солидными познаниями в своей области. Всё это мы должны отразить в материалах Музея-архива.»<sup>3</sup>

Книга «Конек-Горбунук», хранящаяся в коллекции ДиПи МРК<sup>4</sup>, издана в австрийском лагере для «перемещенных лиц» Келлерберг в 1946 году. «Краткий обзор жизни и деятельности русской группы в лагере Келлерберг с 01.11.1945 г. по 01.01.1947 г.», хранящийся в той же коллекции<sup>5</sup>, помогает воссоздать жизнь русских «перемещенных лиц» в этот период.

Лагерь Келлерберг считался лагерем бывших чинов Русского Охранного Корпуса. Датой его создания официально считается 1 нояб-

ря 1945 года. К этому дню из лагеря Kl. Sankt Veit (Кляйн Санкт Файт), расположенного в Каринтии (южная провинция Австрии, граничащая с Италией) и являвшегося вторичной стоянкой Русского Корпуса в 1945 г., в лагерь Келлерберг было переведено: мужчин – 815, женщин – 313, детей – 191. В течение следующих 14 месяцев прибыло еще 1210 человек, включая значительное количество детей. В лагере Келлерберг был выделен отдельный барак под гимназию, которая была создана еще прежде, 25 июля 1945 года, в деревне Тиггин. Для обучения детей требовались учебники, и они начали издаваться самыми примитивными способами. Наряду с этим активно развивалась и издательская деятельность лагеря; издательства находились в отдельных бараках. Появляется ежемесячный журнал литературы и искусства «Кстати», скаутский журнал «Мир молодежи».

Еще находясь в лагере Кляйн Санкт Файт, небольшая группа молодых людей во главе с Петром Кирилловичем Голофаевым<sup>6</sup> основала журнал «На перепутье». Дата рождения журнала – 12 сентября 1945 года. В «Кратком обзоре» сказано: «Причиной, послужившей толчком к изданию журнала, явилась острая нужда в печатном слове среди русских, как проживающих в лагере, так и разбросанных по разным городам в горах Каринтии... Инициатива в издании журнала принадлежала небольшой группе молодежи с П. К. Голофаевым во главе, не имевшей опыта в журналистике, но с большой любовью и энергией взявшей за это дело, при благосклонном внимании и содействии начальника лагеря. Ввиду отсутствия самых необходимых приспособлений журнал вначале издавался при помощи К. П. Стрижака<sup>7</sup> и издательства информационного бюллетеня 'Наши Вести'. Первый номер вышел тиражом 40 экземпляров. Спрос на издание во много раз превышал тираж, но технические возможности, недостаток бумаги, краски и т. п. еще долго не позволяли удовлетворить всех потребителей... Русская общественность не замедлила откликнуться на призыв редакции: г-н Стрижак, г-жа Леонтьева, г-н Седой, о. Борис Молчанов<sup>8</sup> и многие другие своими литературными произведениями, критическими статьями, личным советом оказали поддержку редакции, сумевшей благодаря этому наладить регулярный выпуск журнала».

С переездом в лагерь Келлерберг редакция продолжала выпускать журнал уже под новым названием – «Келлербергский Вестник». Основатель журнала – П. К. Голофаев – обер-лейтенант, командир конного взвода Русского Охранного Корпуса – стал ответственным редактором, офицер того же корпуса Борис Львович Гоголев<sup>9</sup> отвечал за художественное оформление. Первый номер «Вестника», вышедший 1 января 1946, открывался обращением о. Бориса Молчанова к обитателям лагеря: «Не забудем, что мы – сыны Великой России,

которая породила нас телом и духом и которая питает нас, невидимо от нас, всем прошлым... Не изменим ей на чужбине! Детей своих будем воспитывать русскими».

«Параллельно с изданием журнала издавались приложения к нему для детей: 'Мишкины рассказы', 'Макс и Морис', 'Жако' и др. Вышел 'переводной труд' 'Восточный фронт', красиво иллюстрированная сказка 'Конек-Горбунук', и т. д... / Не лишне добавить, что 'печатный станок' издательства журнала состоит из деревянной рамки собственного производства, куска материи из старой рубашки одного из сотрудников и старого, издавшего виды, военного френча. Тем не менее эта машина вполне сходит за 'последнее слово техники' и отлично выполняет свое назначение.» (Из «Краткого обзора»<sup>10</sup>)

Именно это издание «Конька-Горбунка», отпечатанное на «последнем слове техники» издательством «Келлербергский Вестник», пополнило архив Музея русской культуры в Сан-Франциско благодаря светлейшему князю А. А. Ливену.

На решение издать сказку в типографии «Вестника», вероятно, повлиял успех мюнхенского издания «Конька» 1945 года. В этом отношении Келлерберг принял эстафету от Мюнхена, так как в обоих случаях использована вводная статья В. Завалишина<sup>11</sup>, детищем которого и было мюнхенское издание. В отличие от Келлерберга, в Мюнхене «Конек-Горбунук» издан типографским способом.

Надо отметить, что формат келлербергского издания в два раза превышал мюнхенский. Отличались издания не только форматом книги. Обложка мюнхенского издания была выполнена художником Константином Константиновичем Кузнецовым<sup>12</sup>, а иллюстрации в книге на мелованной бумаге – известным художником Николаем Владимировичем Пузыревским<sup>13</sup>; иллюстрации к келлербергскому изданию и вензели, присутствующие практически на каждой странице, сделал художник-иллюстратор «Келлербергского Вестника» Борис Львович Гоголев.

Имя Б. Л. Гоголева в справочнике русских художников Зарубежья<sup>14</sup> отсутствует. Неизвестно, когда и где Гоголев получил художественное образование, но в лагерном «Кратком обзоре» он упоминается как художник-иллюстратор «Вестника» и ряда приложений<sup>15</sup>.

Кроме этого, Гоголев как художник упоминается еще раз в «Кратком обзоре» – в разделе «Выставочный комитет»: «20.08 в лагерном театре, красиво декорированном художником Давыдовым зеленью и драпировками, была устроена выставка, устроенная по отделам разных лагерей (русского, словенского и фолькдейч). На открытии играли русские духовой и струнный оркестры... Выставка была богато представлена разнообразными изделиями обитателей,

особенно выделялись художественностью и изяществом экспонатов русский отдел и игрушечная мастерская Д. П. Домрачеве. В выставке приняли участие художники А. И. Давыдов, М. А. Половинкин, Б. Гоголев, А. Кестер, А. Сорокина и В. Скрябин...»

Имя Б. Л. Гоголева встречается также в сборнике «Русские эмигранты из Болгарии в Русском Охранном Корпусе в Югославии»<sup>16</sup> (по документам болгарских архивов) среди имен русских эмигрантов, записавшихся в РОК в Болгарии и переброшенных в Югославию. Информация о получении Б. Л. Гоголевым художественного образования в России или Болгарии пока не обнаружена. Эта область деятельности Гоголева требует дополнительных исследований.

Участники Русского Охранного Корпуса становятся объектами репрессий с февраля 1945 года, с 1 ноября 1945 года Корпус формально перестает существовать.

Если дальнейшую биографию главного редактора «Келлербергского Вестника» П. К. Голофаева можно проследить – свою издательскую деятельность он продолжил в Аргентине, где и похоронен, то дальнейшая судьба художника Б. Л. Гоголева, как и его жизнь и деятельность в Болгарии, пока остается загадкой.

Келлербергский «Конек-Горбунок» появился во второй половине 1946 года, что следует из рекламы издания, помещенной в лагерном журнале «Наши Вести» от 9 июня 1946: «Готовится выйти в свет сказка о 'Коньке-Горбунке'»<sup>17</sup>. В январских номерах лагерного журнала «Кстати»<sup>18</sup> в разделе «Критика и Библиография» также упоминается издание «Конька-Горбунка».

Келлербергское издание сказки, хранящееся в Музее-архиве русской культуры, дополнит имеющуюся на сегодняшний день современную библиографию дипийских изданий<sup>19</sup>.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Полчанинов, Р.* Книжный бум в годы 1945–1948 гг. URL: [www.novorossia.org](http://www.novorossia.org) / 30 ноября 2013.
2. *Ранская, А. Г.* Зарубежные издания «Конька-Горбунка». Новые материалы // XXV Ершовские чтения. Международный сборник научных статей / Ишим, 2015. – С. 15.
3. *Меняйленко, М. К.* Деятельность русской эмиграции по сохранению историко-культурного наследия. URL: [www.mrcsf.org](http://www.mrcsf.org)
4. МРК. Коллекция ДиПи. Коробка 1. Папка № 1969.
5. «Краткий обзор жизни и деятельности русской группы в лагере Келлерберг с 01.11.1945 по 01.01.1947 г.» / Там же. Папка № 1626.
6. П. К. Голофаев (1921, Донбасс, – 1995, Буэнос-Айрес), сын репрессированного купца, потомок генерала Голофаева, в подчинении которого находил-

ся М. Ю. Лермонтов. В годы Второй мировой войны – обер-лейтенант, командир Конного взвода Русского Охранного Корпуса. После войны переехал в Аргентину. Сменил фамилию на Леонтьев. С 1984 г. – диакон кафедрального собора Воскресения Христова в Буэнос-Айресе.

7. К. П. Стрижак, офицер Русского Охранного Корпуса. В дипийском лагере был первым редактором газеты «Наши Вести» (за ним последовательно – А. А. Навроцкий и И. И. Мухин). Газета выпускалась ежедневно с 5 ноября 1945 в течение шести с половиной лет (технический персонал: Д. Т. Коваль, Е. А. Навроцкая, баронесса Л.П. Ранненкамф, А. А. Сорокина, А.О. Сукало (казначей), Т. Л. и Н. В. Тяжельниковы). По некоторым данным, позднее К.П. Стрижак издавал журнал «Мир молодежи» в лагере Шляйсхайм.

8. Борис Николаевич Молчанов (24.07./6.08.1896, Царскосельский у., СПб., – 22.08.1963, Нью-Йорк), участник Первой мировой, Гражданской войн (Сев.-Зап. фронт). После Гражданской войны проживал в Эстонии, участник богословского кружка «Логос» (1922/1924 – 1926, Тарту). В 1926 уехал в Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже. В 1927 рукоположен в сан диакона и назначен на русский приход в Медоне. Перешел в клир РПЦЗ. Настоятель православного прихода в Медоне (1927–1933), затем настоятель церквей в Лондоне (1933–1938), Бейруте (1938), в Белой Церкви (1938–1941). Активист Национальной организации русских разведчиков (НОРР). Полковой священник Русского Охранного Корпуса (1941–1945). После войны – настоятель различных приходов в Германии и в Австрии в лагерях ДиПи (1945–1950). В 1952 служил в кладбищенской церкви в Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа. В 1956 переехал в США. Служил настоятелем приходов в городах Миннеаполис и Джексон Хайтс (шт. Нью-Йорк). С 1959 второй священник кафедрального собора Знамения Божьей Матери в Нью-Йорке, сотрудник канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ в Нью-Йорке. Митрофорный протоиерей (1962). Погребен на Русском кладбище (Ново-Дивеево, шт. Нью-Йорк).

9. Борис Львович Гоголев окончил кадетский корпус в г. Орел. Вместе с отцом ушел в Добровольческую армию. Воевал в Вооруженных силах Юга России в Лейб-гвардии Егерском полку. С 1925 – в Болгарии // *Петрованова-Левитская, Наталья Олеговна*. Орловские кадеты в белой борьбе. URL: [орелпорусски.рф/orlovskie-kadety-v-beloj-bor-be](http://орелпорусски.рф/orlovskie-kadety-v-beloj-bor-be)

10. «Краткий обзор жизни и деятельности русской группы в лагере Келлерберг...» / Папка № 1626. – С. 14.

11. Завалишин Вячеслав Клавдиевич (13 октября 1915 г., Петроград, – 31 мая 1995 г., Нью-Йорк), журналист, литературный и художественный критик, поэт. Во время войны попал в плен, бежал из лагеря, скрывался под чужой фамилией в Новгороде и Пскове. По доносу был арестован гестапо, попал в концлагерь в Двинске, где за Завалишина вступился митрополит Сергей (Воскресенский) и добился его освобождения. После окончания войны

Завалишин находился в лагерях ДиПи, где он занимался издательской деятельностью, изучал старинную русскую иконопись. В Германии издал на русском и немецком языках свою работу «Андрей Рублев» (1948), стихотворения С. Есенина (в одной книге) и Н. Гумилева (в 4 томах). Эмигрировал в США в 1951. Работал в «Новом русском слове» (Нью-Йорк), писал о русских театральных постановках, концертах, выставках и лекциях. Начиная с 1952 сотрудничал в «Новом Журнале». При Колумбийском университете работал над книгой о ранней советской литературе «Early Soviet Writers» (1958, 1970). В течение почти 20 лет писал тексты для радиопередач на русском языке о литературе и искусстве для американской радиостанции «Свобода». Автор книги «Плеск волны» (1980). В стихотворной форме перевел на русский язык «Центурии» (1974), которые были дважды изданы на Западе.

12. Константин Константинович Кузнецов (1895, СПб., – 9 марта 1980, Лос-Анджелес), художник, сценарист, оставивший глубокий след в истории сербского и французского комикса. Участник Первой мировой войны, Белого движения. Эвакуировался с Армией Врангеля в Константинополь, далее – в Королевство СХС. В г. Панчево учился в художественной школе, по окончании работал в известном универмаге «Митич» в Белграде. Темы для своих комиксов брал из русской литературы и истории: «Конек-Горбунок», «Сказка о царе Салтане». Осенью 1944 бежал из Югославии; попал в лагерь для «перемещенных лиц» в Австрии. Около 1950 года выехал в США, где продолжал работать как иллюстратор, писал станковые картины, иконы, также акварели для рождественских открыток и календарей Издательства Мартьянова. В 1960 в Канаде было выпущено издание «Крещение Руси» с его иллюстрациями (переиздание – М., 1988). Творчество представлено в Историческом архиве Белграда и в Музее-архиве русской культуры в Сан-Франциско.

13. Николай Владимирович Пузыревский (15 апреля 1895 г., Батум – ?). Воевал в Первую мировую войну, был взят в плен. После войны проживал в Риге. Скончался, вероятно, в Германии.

14. Например: «Келлербергский Вестник», ответственный редактор П. Голофаев, художественное оформление – Б. Гоголев. Адрес редакции: Блок 4, Барак 6.; Приложение «КВ» для детей: «Мишкины рассказы», «Родное слово».

15. *Лейкинд, О. Л., Махров, К. В., Северюхин, Д. Я.* Художники Русского Зарубежья. 1917–1939. Биографический словарь // СПб., «Нотабене», 1999.

16. *Кьюсева, Цветана.* Российская эмиграция в Болгарии. XX век. // «Новый Журнал», № 247, 2007.

17. МРК, Коллекция ДиПи. Папка № 1677. Первое иллюстрированное приложение к № 200 журнала «Наши вести» от 9 июня 1946. – С. 12.

18. Там же. Папка № 1722. «Кстати», № 15 (7 января 1947). – С. 202.

19. *Базанов, П. Н.* Библиографический указатель дипийских книг и брошюр // «Дiasпора» VIII: Нов. материалы / Париж; СПб., 2007. – С. 704.

*Сан-Франциско*

Елена Колмовская

## Военные мемуары белой эмиграции как часть историко-культурного наследия

*К столетию исхода Русской Армии генерала Врангеля*

Литература о Гражданской войне с «белой» стороны появилась в России относительно недавно. Военная мемуаристика по этой тематике у «белоземigrants» насчитывает сотни трудов, и они представляют огромный интерес для всех, кому небезразлична отечественная история и культура.

Необходимо отметить, что хотя численность собственно военной эмиграции сравнительно невелика (прежде всего, вследствие массовой гибели офицерства в двух войнах – Первой мировой и Гражданской), ее роль и моральный вес были значительны – вспомним известные слова нобелевского лауреата Бунина: «...куда бы мы глаза девали, если бы не оказалось 'ледяных походов'!»\* «Ими, их жертвенностью и подвигом были тогда спасены душа и честь России», – отзывался об офицерах последний протопресвитер Русской Армии Г. В. Шавельский\*\*.

Массив военной мемуаристики «белых» включает в себя историко-биографические работы высшего командования (Деникина, Врангеля, Краснова), мемуары генералов (Петрова, Филатьева, барона фон Будберга, Сахарова, Штейфона и др.), воспоминания и дневники офицерства (их великое множество) и, наконец, беллетризованные мемуары участников боевых действий, ставших впоследствии профессиональными литераторами (Романа Гуля, Ивана Лукаша и др.).

И если Антон Деникин с его фундаментальными «Очерками Русской смуты» и Петр Врангель с «Записками» в представлении не нуждаются, а в последние годы приобрели определенную известность в России также «Дневник белогвардейца» барона фон Будберга, «Походы и кони» С. Мамонтова, «Ледяной поход» Р. Гуля, то труды подавляющего большинства авторов остались за горизонтом российского читательского внимания, вместе с тем ценность



*отраженного в них уникального личного опыта несомненна. Познакомить читателя хотя бы с некоторыми – задача этого очерка.*

*Елена Колмовская*

---

\* Бунин, И. А. Окаянные дни / Бунин, И. А., Собрание сочинений. Т. 10 / Берлин, «Петрополис», 1935 // Репринтное издание / М., «Советский писатель», 1990. – С. 119. «Ледяной поход» – первый поход Добровольческой армии на Кубань (февраль – май 1918) под командованием Л. Корнилова, М. Алексеева, затем – А. Деникина.

\*\* Шавельский, Г. И. Воспоминания последнего протопресвитера Русской Армии и Флота / Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1954. Цитируется по первоисточнику с сайта «Военная литература». URL: [http://militera.lib.ru/memo/russian/shavelsky\\_gi/index.html](http://militera.lib.ru/memo/russian/shavelsky_gi/index.html)

## Д. В. ФИЛАТЬЕВ. КАТАСТРОФА БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ В СИБИРИ

Дмитрий Владимирович Филатьев (1866–1932) – классический представитель того типа военных, которых принято относить к так называемому «старому генералитету»: произведен в генерал-майоры еще в 1912 году и в генерал-лейтенанты – в 1916-м; к началу революционных событий ему пятьдесят один год. Его путь характерен для кадрового офицерства: кадетский корпус, военное училище, служба в Туркестане, затем Николаевская Военная академия Генерального штаба, участие в Русско-японской войне (три ордена за храбрость), участие в Первой мировой (еще ордена – их становится уже девять), в 1917-м – помощник военного министра. Далее – вступление в Добровольческую армию, с 1919-го – служба при ставке Колчака.

Филатьев не только опытный командующий и штабист – он человек высокообразованный, отлично владеет словом. Его труд «Катастрофа Белого движения в Сибири», при всей сложности анализируемых событий и глубине затрагиваемых проблем, написан образно, живо; большое место в нем занимает критический анализ личности и деятельности адмирала Колчака.

«Преклоняюсь перед рыцарским образом адмирала Колчака, я отнюдь не собираюсь его канонизировать и находить бесспорным всё, что он делал как Верховный Правитель. Мне придется в порядке изложения указать на многие его промахи и особенно на одну его колоссальной важности ошибку, из-за которой, быть может, погибло Сибирское дело и Россия не обрела своего спасения через Сибирь. Но и при этом я никогда не упущу из виду, что не вина Колчака, если он – выдающийся моряк – оказался совсем несведущим в военном сухопутном деле и вынужден был слушать советы других, которые оказались не на высоте задачи. Не его также вина, что на его плечи свалилось огромное дело, требовавшее большого и всесторонне-

го опыта по гражданскому управлению, какового опыта у него быть не могло и не оказалось у его помощников... Трагедия Колчака, а вместе с тем и трагедия России, явилась результатом чрезвычайно сложной и запутанной обстановки и совокупности самых разнородных сил, тянувших общее дело в разные стороны. Вполне вероятно, что такой всеобъемлющий гений, как Наполеон, сумел бы выйти с честью и из таких обстоятельств, но ведь Наполеоны не появляются и раз в тысячелетие; Колчак им не был, а обстановка, в которой ему пришлось действовать, оказалась во сто крат сложнее, чем та, с которой столкнулся Наполеон в начале его головокружительной карьеры.

Историческое исследование Филатьева читается как захватывающая драма, ибо раскрывает суть взаимоотношений – столкновений, противоречий, конфликтов – между различными деятелями Белого движения, а также между командованием Колчака и иностранными «союзниками».

«Чешские части разлагались всё больше и больше... Ко времени прихода адмирала Колчака к власти ни одного чешского солдата уже не было на фронте. В дальнейшем чехи были поставлены на охрану железной дороги, но несли ее своеобразно – стоя по большим станциям и не желая вылезать из вагонов-теплушек; но они не отказывались принимать участие в карательных экспедициях, проявляя большую жестокость в расправах с населением, не желая выступать против вооруженных большевистских партизан.

...Раз нельзя было привлечь чехов на фронте, то следовало принять другое решение, которое предлагал барон Будберг: отправить всех чехов во Владивосток и самим охранять сибирскую железную дорогу, чтобы чехи не висели на нашей шее. Колчак медлил принять и это решение и своею медлительностью сам себе подготовил гибель».

Филатьев подробно описывает личные качества командования чешского корпуса, а также француза генерала Жанена<sup>1</sup>, которого называет косвенным убийцей Колчака. Он приводит поразительное объяснение Жанена: «Мы психологически не можем принять на себя ответственность за безопасность следования адмирала. После того, как я предлагал ему передать золото на мою личную ответственность и он отказал мне в доверии, я ничего уже не могу сделать». «Вот чудовищная психология, – продолжает Филатьев. – ... Если ты в свое время не доверил мне 657 миллионов золота, то я ‘психологически’ не могу гарантировать твою жизнь.»

Подводя итоги, в послесловии Филатьев напишет, что Колчак как государственный человек взвалил «на свои плечи огромное дело, которое оказалось ему не по силам и которое он бессознательно погу-

бил. <...> Но России не легче от того, что он не сознавал своего бессилия... Что толку от одних благородных порывов».

Генерал Филатьев – пожалуй, один из наиболее важных военных мемуаристов эмиграции: лишенный как излишней критичности фон Будберга, так и непомерного и неуместного пафоса генерала Сахарова, он предстает как трезвый, адекватный аналитик-реалист, при этом не чуждый психологизма.

---

Впервые опубликовано: Катастрофа белого движения в Сибири 1918–1922: Впечатления очевидца / Париж, YMCA-Press, 1985. Цитируется по источнику с сайта «Восточный фронт Адмирала Колчака». URL: <http://east-front.narod.ru/memo/filatiev.htm>)

1. Чехословацкий корпус – военное соединение в составе Русской Армии в годы Первой мировой и Гражданской войн. С января 1918 года был в подчинении французского командования. Весной-летом 1918 года принял участие в военных действиях на стороне Белого движения в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке. Сибирскими частями командовал капитан Р. Гайда, Пензенскими – поручик С. Чечек, Челябинскими – полковник С. Н. Войцеховский. Генерал Пьер Жанен (*Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice Janin*, 1962–1946), в 1918 году – Главнокомандующий Антанты в России. В задачи Жанена входила эвакуация Чехословацкого корпуса. С ноября 1918-го – начальник французской Военной миссии при правительстве А. В. Колчака.

## П. П. ПЕТРОВ. РОКОВЫЕ ГОДЫ

Генерал Павел Петрович Петров (1882–1967) родился в Псковской губернии, в деревне, и происходил из крестьян, как многие командующие Белого движения (например, Деникин и Корнилов). Свое обширное исследование «Роковые годы. 1914–1920» (сам автор называет его военно-историческим обзором) Петров предваряет краткой биографической справкой: «Я поступил на военную службу вольноопределяющимся в пехотный полк в 1903 году, прожил в казарме среди солдат девять месяцев. Видел обучение новобранцев перед началом Русско-японской войны, видел подготовку к службе офицера, будучи юнкером пехотного военного училища два года, служил строевым офицером в стр. полку четыре года и, наконец, пробыл в Императорской Николаевской военной Академии три года, окончив курс ее в 1913 году, за год до начала Мировой войны, который провел в пограничном с Восточной Пруссией Виленском военном округе». Вот так, за 10 лет – от деревенского парня до выпускника Академии Генштаба.

«Роковые годы» не назовешь легким чтением – в работе дан под-

робный разбор военных операций, она изобилует цифрами и представляет интерес в основном для специалистов, но кое-что широкому читателю тоже узнать не помешает. Вот, к примеру, Петров оппонирует Тухачевскому по поводу боев осенью 1919 года на Восточном фронте: «Тухачевский сильно преувеличивал численность наших сил. Совершенно ясно, что в этих боях численное превосходство было на стороне красных. Мы не имели пополнений во время стоянки на Тоболе. Тухачевский только умалчивает, что они имели еще одно преимущество – они имели ‘особые части’, которых мы не могли иметь. Это ‘особые части’ из чекистов с пулеметами для вразумления дезертиров и нежелающих двигаться вперед». Таким образом, читатель узнает, что практика заградотрядов применялась в РККА уже с 1919 года.

Подробно, но по-военному сухо, описан страшный по неисчислимым потерям (от мороза, голода, тифа, постоянных стычек с красными) «Великий Сибирский Ледяной поход» – исход белых от р. Тобол и Омска в Забайкалье суровой зимой 1919–1920 гг.

И все-таки под конец мемуаров генерал, видимо сознавая эмоциональную скупость своего труда, не удержался – включил стихотворение «Двадцатый год» капитана и поэта Леонида Ещина (1897, Н. Новгород, – 1930, Харбин):

«Двадцатый год со счета сброшен,  
Ушел изломанный в века,  
С трудом был нами он изношен,  
Ведь ноша крови не легка.  
Угрюмый год в тайге был зачат.  
Его январь промерзший Кан.  
И на Байкальском льду истрачен  
Февраль под знаком партизан.  
А дальше март под злобный рокот,  
Шипевший сталью, что ни бой,  
Кто сосчитает в сопках тропы,  
Где трупы павших под Читой?  
Тут март теряется в апреле,  
Как Шилка прячется в Амур.  
Лучи весны нас не согрели,  
Апрель для нас был черств и хмур...  
Мешая отдыхи с походом,  
Мы бремя лета волокли,  
Без хлеба шли по хлебным всходам,  
Вбивая в пажить каблуки.  
Потом безоблачная осень

Безумных пьянств прошила нить...  
О, почему никто не спросит,  
Что мы хотели спиртом смыть?  
Ведь мы залить тоску пытались,  
Тоску по дому, по родным,  
И тягу в солнечные дали,  
Которых скрыл огонь и дым.  
В боях прошел октябрь-предатель,  
Ноябрь был кровью обгажен.  
И путь в степи по трупам братьев –  
Был перерезан декабрем.  
За этот год пропала вера,  
Что будет красочной заря.  
Стоим мы мертвенны и бледны  
У новой грани января.»

Если бы создатели российского фильма «Адмиралъ» прочли военно-исторические труды генералов Петрова и Филатьева (а в год производства фильма эти труды были уже в открытом доступе), тогда бы киношные «колонны Каппеля» не маршировали по Сибири браво, как на плацу, да под команду «шире шаг» – нет, они бы тряслись в санях, розвальнях и обозах по узким таежным тропам, где ни объехать, ни разехаться, а пешие солдаты и офицеры проваливались бы в снег по пояс, падали, и от усталости и голода не имели сил подняться, и некоторые оставались бы там навсегда, превращаясь под бесконечным снегопадом в маленькие белые холмики...

---

Впервые опубликовано / Роковые годы. 1914–1920 / Калифорния, 1965. Все цитаты, включая стихотворение, – по источнику с сайта «Восточный фронт Адмирала Колчака». URL: <http://east-front.narod.ru/memo/petrov.htm> Книга стихов Л. Е. Ещина вышла в 2005 году. См.: *Ещин, Леонид*. Собрание стихотворений / Сост. и послесл. Е. Витковского // М.: Водолей Publishers, 2005. – 80 с.

### Б. А. ШТЕЙФОН. КРИЗИС ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Генерал Борис Александрович Штейфон (1881–1945) – фигура весьма примечательная. Родом из Харькова, сын крещеного еврея, купца, и русской женщины, дочери дьячка, Борис Штейфон с детства мечтал стать военным; он с отличием окончил юнкерское училище и отправился добровольцем на Русско-японскую войну. Непосредственное, с риском для жизни, участие в ночных рейдах, организация раз-

ведывательных действий, многочисленные проявления воинской доблести, мужества и смекалки; контузия, боевые ордена. После этой, первой своей войны (а впереди – еще три), молодой офицер поступает в Императорскую Николаевскую военную академию. Ну а дальше – как у многих: продвижение в чинах, участие в Первой мировой (причем опять – разведка), вступление в Добровольческую армию, эвакуация из Крыма, эмиграция.

Поразительное произошло позже, во время Второй мировой, когда генерал Штейфон возглавил Русский Охранный Корпус<sup>1</sup> в Югославии. Немцы, разумеется, знали о его происхождении, но закрыли глаза. Весной 1945-го корпус Штейфона отступает в Словению, где 29 апреля шестидесятитрехлетний генерал внезапно умирает от сердечного приступа – в то время и в той ситуации последний подарок фортуны своему любимцу.

«Кризис добровольчества» принадлежит перу наблюдательного, умного, литературно одаренного человека. «Растянутый на тысячу верст тонкой линией, не имея за собой необходимых резервов и организованного тыла, фронт, истекая кровью, с исключительным самопожертвованием выполнял свой долг. Есть, однако, предел и беззаветному мужеству. / Несмотря на яркое горение добровольческой души, добровольчество являлось всё же историческим эпизодом, а трагедия нашего командования и заключалась в том, что исторический эпизод оно восприняло как эпоху».

Помимо обобщений такого рода, в книге множество живописных картин, военных и бытовых зарисовок, ярких образов. Подробно, сочно, безжалостно показан генерал Май-Маевский<sup>2</sup> и драма его падения: ошибки командования, утрата авторитета и связи с реальностью – всё это вследствие прогрессирующего алкоголизма.

«Шкуро<sup>3</sup> и Май встретились, по-видимому, впервые. Шкуро не сиделось. Он вставал, жестикулировал... Май сидел грузно, чуть-чуть посапывал и добросовестно изучал по карте пути намеченного рейда. / Его солидность, годы, генеральская внешность – всё это известным образом импонировало Шкуро, и он величал Мая не иначе, как ‘Ваше Превосходительство’. / Очень скоро в дверях нашего купе появилась на мгновенье фигура адъютанта генерала Шкуро. Он сделал своему начальнику какой-то непонятный нам ‘морговой’ знак и исчез. / Шкуро, недолго думая, хлопнул Мая по плечу: – Ну, отец, пойдем водку пить! / Лицо Май-Маевского расплылось в улыбке, и обсуждение рейда было прервано.»

Для современного российского читателя станет большой неожиданностью следующий эпизод из книги Штейфона: «В 1927 году в Совдепии вышла книга ‘Адъютант генерала Май-Маевского’. В этой

книге автор ее – сам Макаров<sup>4</sup> – в ярких саморекламных тонах повествует, как, будучи адъютантом генерала Май-Маевского, он, якобы, в то же время служил и большевикам. От предателей и шпионов не застрахована ни одна армия, и нам, служившим под начальством генерала Май-Маевского, было бы, пожалуй, более утешительно мириться с этим фактом, чем признавать внутренние, органические ошибки того периода. Ошибки и заблуждения, приведшие в дальнейшем к крушению белой вооруженной борьбы на юге России. Малоинтеллигентный, полуграмотный, без признаков даже внешнего воспитания, Макаров являл собою тип беспринципного человека, каких в то смутное время было немало в лагерях и белых, и красных. Люди подобного аморального облика всегда служили там, где было им выгодно в данный момент, и только глубоко материальными соображениями определялась их верность и ‘идейность’. Трудно объяснить, каким образом Макаров мог подойти так близко к генералу Май-Маевскому. <...> Возможно, наиболее правильным объяснением столь странного сближения является тот перелом, какой назревал в характере Май-Маевского еще со времен Донецкого бассейна. Когда пагубная страсть стала явно завладевать генералом, ему потребовалось иметь около себя доверенного человека, который не только помогал бы удовлетворению этой страсти, но и принимал ее без внутреннего осуждения. Сознывая свои слабости, Май-Маевский вовсе не желал их афишировать. Он предпочитал, чтобы многое выходило как бы случайно. Столкнувшись с Макаровым, генерал понял, что это как раз тот человек, какой ему необходим. <...> Он без напоминаний посмотрит, чтобы перед генеральским прибором всегда стояли любимые сорта водки и вина, он своевременно подольет в пустой стакан, он устроит дамское знакомство и организует очередной банкет...»

---

Впервые опубликовано: Белград, 1928. Цитируется по источнику с сайта «Военная литература». URL: [http://militera.lib.ru/memo/russian/shteifon\\_ba/index.html](http://militera.lib.ru/memo/russian/shteifon_ba/index.html)

1. Русский Охранный Корпус – военное формирование белых эмигрантов, состоявшее на службе вермахта в годы Второй мировой войны. РОК создан в 1941 году по инициативе ген.-майора М. Ф. Скородумова после волны террора сербских коммунистов-партизан против белых эмигрантов. Скородумов отстранен командованием вермахта за прорусскую политику; командующий – ген.-лейтенант Штейфон, после его смерти – полковник А. И. Рогожин. РОК использовался для борьбы с коммунистическими партизанскими отрядами Иосипа Броз Тито, будущего диктатора Югославии. В мае 1945 года – в британской зоне оккупации Австрии, вместе с Казачьим Станом. РОК не подлежал насильственной выдаче Красной Армии, т. к. состоял из старых эмиг-

рантов; советские военнопленные – участники РОК – были выданы одновременно с казаками. 1 ноября 1945 года Рогожин официально объявил о роспуске Корпуса. Была создана гражданская организация Союз чинов Русского Корпуса.

2. Май-Маевский Владимир Зинович (1867–1920), генерал-лейтенант, участник Белого движения; командующий Дроздовской дивизией Добровольческой Армии, Донецкой группой войск (с 1919 – Добровольческая Армия).

3. Шкуро Андрей Григорьевич (1887–1947), генерал-лейтенант, участник Белого движения. Во Второй мировой войне – в 15-м Казачьем корпусе ген. фон Панныца. После насильственной выдачи казаков в 1945 году был приговорен в СССР к смертной казни; казнен в Москве 16 января 1947 года.

4. Макаров Павел Васильевич (1897–1970). В Гражданскую войну примкнул к Красной Армии, попал в плен; по вымышленной биографии, как офицер, был зачислен в Добровольческую Армию. Был личным адъютантом ген.-лейтенанта Май-Маевского. После разоблачения смог бежать, попал в партизанский красный отряд. После Гражданской войны работал в ЧК, затем – в ГУЛаге (при Наркомате юстиции Крыма). Во время Великой Отечественной войны был одним из организаторов партизанского движения в Крыму. Автор книги воспоминаний «Адъютант генерала Май-Маевского».

## И. С. ЛУКАШ. ГОЛОЕ ПОЛЕ

Иван Лукаш ныне забыт и, кажется, надежно. А ведь в эмиграции этот безусловно талантливый писатель был очень популярен, и его рассказы, повестям, романам посвящали статьи именитые литераторы. «Все творчество Лукаша наполнено Россией, с ее славой, ее величием, ее движением в мире, ее страданием, неколебимой верой в грядущее воскресение ее», – писал о нем Иван Шмелев. «И. С. Лукаш несет в облике и писании своем широкое, теплое и доброе дыхание России. Сын настоящей российской литературы, вольной и бедной, вышедшей из самых высоких источников русского духа, – в изгнании независимо и непримиримо держит он свой путь», – отзывался Борис Зайцев. Множество статей посвятил творчеству Лукаша и В. Ходасевич. Ну и, наконец, в 20-х гг. в Берлине Лукаш был самым близким другом Владимира Набокова (Сирина), ценившего, кстати, его стиль.

Иван Созонтович Лукаш (1892–1940) родился в Петербурге, его отец – отставной ефрейтор, мать из крестьян. Лукаш окончил юридический факультет Петербургского университета. Литературную карьеру начал как поэт-эгофутурист. Война с Германией положила конец «футуристическим играм»; в 1915 году молодой человек добровольцем отправляется на фронт, а в 1918-м поступает офицером в Добровольческую Армию генерала Деникина. С 1920 года начинают-



ся его скитания, география которых так характерна для русских военных: Константинополь, Галлиполи, Болгария, Чехия, Берлин, Рига, Париж. Как прозаик он становится известен уже в эмиграции. Гражданской войне посвящены его повесть «Смерть» и книга документальных очерков «Голое поле» (1922 год издания) о «галлиполийском сидении», то есть о пребывании в военном лагере эвакуированных из Крыма частей Русской Армии генерала Врангеля.

«Всё Галлиполи, – пишет Лукаш, – как пыльный, выжженный солнцем проезжий тракт истории. Здесь Ксеркс порол ржавыми цепями Геллеспонт. Под Галлиполи стояли шатры крестоносцев. На другом берегу залива тянется желтая ленточка домиков греческого городка, где родился, по преданию, Аристофан. Галлиполи – Город Красоты – стал теперь пустынным Голым Полем, как прозвали его русские солдаты. Пропылили столетия, и раскидалось теперь пыльное кладбище. Всюду – по узким улицам, над белыми площадями, у моря – поднимаются теперь к солнцу сеченные из мрамора белые тюрбаны на покривленных столбах турецких могил.»

«Голое поле» – удивительная книга, горькая, пронзительная, звенящая до предела натянутым нервом и, одновременно, светлая, полная надежды, несмотря на тяжелейший лагерный быт ее героев, их полуголодное существование, болезни.

«В лагери от штаба дорога прямая, по выжженным золотым полям, у ветряков, вдоль каменистого берега, где сквозят дали Дарданелл, ниже и ниже в бурую, узкую долину, над которой сдвинулись синей, волнистой каймой задумчивые горы. / Серой тропинкой вьется по долине выпитая зноем речка. Это долина смерти и роз, это галлиполийские лагери. / Длинные белые ряды палаток. Точно белые птицы легли рядами друг подле друга, свернув белые крылья. / В холщовых стенках палаток маленькие окошки с холщовой рамой крест-накрест. У палаток тщательно утопанные, узкие тропинки, песчаные квадраты площадок, пыльные, выгорелые цветники на каменных газонах и серые полковые вензеля и двуглавые орлы, сложенные из морских галек. Далеко меж белых шатров темно зеленеют круглые луковицы-маковки полковой Церкви гвардейской артиллерии. Зеленая церквушка, из вереска и платанов, уже тронута желтизной, уже вянет и осыпается, но еще так зелено и так радостно сквозят в синеве над белыми шатрами русские маковки.»

«Странно и чудесно здесь, – говорит мне мой собеседник, сухонький веснушчатый полковник с рыжими шевелящимися бровями. – ...В Галлиполи произошла какая-то мобилизация человеческого духа. Здесь одна идея: Россия жива, Россия не опочила, Россия будет, и мы, русские солдаты, должны служить ей, где бы ни стояли наши

полки – в Галлиполи, в Болгарии, в Африке. Хватит духа – служи, значит, ты русский солдат. И служат. Я смотрю на них, и мне чудесно и странно. Ну, мы, офицеры, еще понятно, а есть солдаты, есть вчерашняя красноармейская темнота. Я не узнаю их. Таких не было ни при царе, ни в революцию, ни в гражданской войне. Ну как бы вам пояснить... Вы посмотрите, какой белоснежной чистоты они рубахи носят. Они чистоты ищут. У них душа обнажилась, чистая душа...»

На страницах «Голого поля» читатель встретит других «белых» мемуаристов: профессора-солдата Владимира Христиановича Даватца<sup>1</sup>, молодого генерала Антона Туркула<sup>2</sup> – их портреты мастерски рисует Лукаш. «Я смотрю на Туркула. Стеклообразная зыбкая стена между мною и им. Невидимая стена между нами... Провал крови, трупного чада, окоряченных мертвецких рук, разбрызганного желтоватым студнем мозга. Этот черноволосый, с узкой талией юноша – исчадие войны, какова она есть, какой она будет всегда. Войны без розовых слов и без белых перчаток. <...> Исчадие лязгающей смерти, рева пожаров, вопля расстрелов и ярости бряцающего шага атак этот черноволосый мальчик. Это человек другого радиуса, другого измерения жизни. Говорит он спокойно, не торопясь, и чуть ощерен его рот, и тяготит меня почему-то его тускло поблескивающая в сером полумраке золотая плomba.» В этом портрете – и восхищение, и ужас перед страшным человеком, непримиримым человеком. Позже Лукаш литературно обрабатывает мемуары Антона Туркула «Дроздовцы в огне»<sup>3</sup>.

В Россию, вопреки всем надеждам, не вернется никто: ни автор, ни его герои. Иван Лукаш в 1940 году умрет во Франции в туберкулезном санатории.

---

Впервые опубликовано: София, «Балканъ», 1922. Цитируется по источнику с сайта Информационное Агентство «Белые воины». URL: <https://rusk.ru/vst.php?idar=424231>

1. Даватц Владимир Христианович (1883–1944), участник Белого движения, галлиполиец; журналист, математик, общественный деятель русской эмиграции. В 1919 году воевал в Вооруженных силах Юга России, был в команде тяжелого бронепоезда. Описал этот период в дневниковых записях «На Москву» (первое издание – Париж, 1921). Автор книг «Русские в Галлиполи. 1920–1921» (Берлин, 1923); «Галлиполи. Летопись Белого движения» (1924); «Очерки пятилетней борьбы» (Белград, 1926) и др., а также ряда научно-математических работ. В Югославии был секретарем Общества галлиполийцев, работал в газете «Новое Время» (Белград). Во время войны служил в Русском Корпусе. Погиб во время бомбежки.

2. Туркул Антон Васильевич (1892–1957), генерал-майор, участник Первой мировой войны, Белого движения, галлиполиец. Командующий Дроздовской

дивизией во время Гражданской войны. В эмиграции в Болгарии. Участвовал в подавлении коммунистического восстания 1923 года. С 1931 года во Франции. Издатель и редактор журнала «Добровольец», газеты «Сигнал». Организатор и глава Русского национального союза участников войны (1935). Выслан из страны под давлением советских властей. Жил в Берлине, затем – в Риме. Во время Второй мировой войны – начальник Управления формирования частей РОА. В марте-мае 1945 года возглавлял Зальцбургскую группу Вооруженных сил Комитета освобождения народов России. После войны – в Германии, председатель Комитета русских невозвращенцев, был председателем Комитета объединенных власовцев (КОВ).

3. *Туркул, А. В.* Дроздовцы в огне. Картины Гражданской войны, 1918–1920. – Мюнхен, 1947.

### В. Х. ДАВАТЦ. НА МОСКВУ

Владимир Христианович Даватц (1883–1944) происходит из швейцарских баронов. К началу революционных событий он – уже профессор математики Харьковского университета, летом 1919 года в возрасте 36 лет поступает добровольцем в армию генерала Деникина, служит рядовым на бронепоезде «На Москву» (этому периоду его жизни и посвящена одноименная книга, изданная по горячим следам в 1921 году в Париже).

«На Москву» – увлекательное чтение; эпизоды боев чередуются с пространными отступлениями, отвлеченными дискуссиями. Вот профессор рассказывает о своем боевом крещении: «Странное было чувство какого-то необычайного напряжения. Гаубичные орудия, скрытые где-то справа и слева от нас, подняли ожесточенную стрельбу; и вскоре, как эхо от нашего орудия, раздалась почти непрерывная канонада. Иногда с особым характерным свистом проносился неприятельский снаряд; но не было даже времени обращать на него внимание. Вся мысль была направлена на одно: чтобы вовремя подать снаряд и зарядить орудие, и весь я обратился в часть нашей пушки, которая равномерно, спокойно выпускала снаряд за снарядом».

А вот бой окончен, к орудию подходит «поручик Р.», еще один странный интеллигент на войне, и заводит с повествователем беседу. «Видно было, что это был пробный первый разговор. И действительно, в тот же день мы встретились с ним возле вагона и сразу как-то затронули то, что интересовало нас обоих. Я очутился у него в купе. Поручик Р. – уже пожилой человек, лет под пятьдесят; у него интересный ум, с большой склонностью к математике и философии. Математическую литературу знает он достаточно хорошо, но, к сожалению, поверхностно. Он слушал когда-то лекции в Heidelberg'e, и

это, конечно, оставило некоторый отпечаток. Но вместе с тем у него какое-то предубеждение против немецкой науки, и много ценного в ней считает он ненужным хламом. Вообще ведет он даже список сочинений – в своем роде *index librorum prohibitorum*, которые считает бесполезными; не признает математической физики и теории Sophus'a<sup>1</sup>. Против всего этого можно горячо спорить, что я и делаю в часы досуга.»

После эвакуации армии из Крыма в галлиполийском военном лагере Даватц получает чин подпоручика (что немало веселит соратников-офицеров: ведь это чин выпуска юношей из военных училищ; за глаза профессора называют «Корнет»). Там, в Галлиполи, судьба сводит его с двумя в будущем известными литераторами – Иваном Лукашем и Гайто Газдановым; на обоих этот интеллигентный, застенчивый, юношески-восторженный, обладающий, по-видимому, необыкновенным личным обаянием человек произвел по-своему сильное впечатление, глубоко тронул и запомнился. И оба о нем написали: Лукаш посвящает ему несколько страниц в своем «Голом поле», Газданов – коротенький рассказ (впервые увидевший свет лишь в 2009 году, при издании полного собрания сочинений Газданова, под условным названием «Профессор математики»<sup>2</sup>).

Лукаш говорит о Даватце с восхищенной улыбкой и даже, пожалуй, с нежностью: «Простые офицеры над ним добродушно подсмеиваются: 'Дернул раз шнур у боевой пушки – и погиб, помешался от любви к армии'. Даватц –тихий фанатик. Это – жрец армии, и его армейская служба – не служба, а какая-то тихая литургия»; Газданов – в характерном для него стиле; писатель не указывает фамилии героя, при этом имя-отчество не изменяет, а вот книгу «На Москву» переименовывает в «Победный марш».

«Я увидел его впервые в Греции, в том русском военном лагере, который представлял из себя остатки армии генерала Врангеля. В строю стоял седой человек в пенсне, в мешковатой зеленой рубашке и синих штанах галифе из той материи, которая называется 'царской диагональю'. Генерал, который обходил строй, седоусый мужчина с мутными и пьяными глазами, подошел к нему, пожал ему руку и поздоровался с ним. / Я никогда не видел до того, чтобы генерал пожимал руку солдату в строю. Потом я заметил, что к этому человеку все офицеры относились с непонятной почтительностью. <...> Мне было тогда шестнадцать лет, моим товарищам немногим больше, – и нас поражала, в этом жестоком лагерном быту, беспомощность профессора и его необычная для нас манера говорить, простодушная и подчеркнуто интеллигентская. <...> Он дал мне однажды свою книгу и посоветовал ее прочесть, сказав, что

вряд ли я ее пойму, как нужно, — потому что я очень молод и невежественен, но все-таки она может мне принести некоторую пользу. Я бы дорого дал теперь, чтобы найти ее где-нибудь. Она была очень плохо написана с неизменным и удивительно дурным вкусом. После очередного отхода Добровольческой армии он приводил свое собственное стихотворение ‘Алуштинские стихи’ — о какой-то арфе, на которой было три струны. И вот две струны порвались, но осталась третья, которую он, насколько я помню, ‘рвал бестрепетной рукой’ —

И было сказано: на лютне у тебя  
Всего лишь три струны под нежною рукою,  
Их берегись порвать — с последнею струною  
Порвется голос твой и жизнь сгорит твоя...  
И в бурном омуте прошло немало лет.  
Звучал огонь любви и холод расставанья.  
Звучали радости, победы и страдания:  
Две струны порваны, двух струн на лютне нет.  
Но есть одна струна, не порвана донине.  
Я с ней слагаю гимн единственный святыне,  
Что властвует всецело над душой.  
Для родины моей, несчастной и усталой,  
Струну последнюю я рву на лютне старой.  
И блещет молодость, и крепнет голос мой.  
Но есть одна струна, не порвана донине.»

Думается, многим из окружения Даватца его стихи и проза вовсе не казались бездарными, но Газданов подходит к ним с высоты собственного таланта. И все-таки судьба профессора-подпоручика как-то особенно тронула Газданова, ибо в конце своего рассказа он с болью говорит о Даватце: «С тех пор, как перестал существовать этот лагерь на берегах Дарданелл, я больше никогда не видел профессора. Он жил в балканской глуши и писал, кажется, статьи в какой-то тамашней русской газете — мне не пришлось читать ни одной из них. Когда началась война, ему было, вероятно, под шестьдесят. Но он сейчас же поступил в простые солдаты в русский антибольшевистский корпус, организованный национал-социалистическим командованием после того, как гитлеровские войска вошли в Югославию. И мне кто-то рассказал о его героической и страшной смерти: он стоял с винтовкой на посту, артиллерийский снаряд разорвался под его ногами — и от него буквально ничего не осталось. / И я подумал тогда, что трагический героизм этой смерти придавал всей жизни этого человека тот смысл,

которого мы, знавшие его так давно, не сумели увидеть раньше. То, что он любил плохие стихи и писал плохие книги, было неважно. То, что в кратковременном и иллюзорном торжестве преступного и плембейского национал-социализма он увидел начало освобождения России, – было тоже неважно. Есть люди, которые очень хорошо знают, что такое культура и свобода, и у которых не хватает мужества отстаивать их против насилия. Их убеждения кончаются там, где возникает угроза их личной безопасности. Автор книги ‘Победный марш’, смешной и беспомощный человек, плохо понимал смысл событий, современником которых он был. Но жил он все-таки как герой – и погиб, защищая ту самую культуру, о которой у него было такое превратное и простодушное представление».

---

Впервые опубликовано: Париж, тип. Рирарховского, 1921. Цитируется по источнику с сайта «Военная литература». URL: [http://militera.lib.ru/db/davatz\\_vh01/index.html](http://militera.lib.ru/db/davatz_vh01/index.html)

1. Софус Ли, Мариус (*Marius Sophus Lie*, 1842–1899), норвежский ученый, создатель части теории непрерывной симметрии для геометрии и дифференциальных уравнений.

2. Рукопись без названия, начинается со слов «Я был как-то осенью в баварском лесу...» Предположительно – 1950-е годы. Впервые: *Газданов, Гайто*. Собр. соч. в 5 тт. Т. 4. – Москва, 2009.

### А. В. ТУРКУЛ. ДРОЗДОВЦЫ В ОГНЕ

Мемуары Антона Васильевича Туркула (1892–1957) в литературной обработке Ивана Лукаша были хорошо известны и достаточно популярны в эмиграции, о чем свидетельствует одно из поздних стихотворений Георгия Иванова:

Все чаще эти объявления:  
Однополчане и семья  
Вновь выражают сожаленья...  
«Сегодня ты, а завтра я!»

Мы вымираем по порядку –  
Кто поутру, кто вечером,  
И на кладбищенскую грядку  
Ложимся, ровненько, рядком.

Невероятно до смешного:  
Был целый мир – и нет его.

Вдруг – ни похода ледяного,  
Ни капитана Иванова,  
Ну, абсолютно ничего!

Эмигранты первой волны без всяких объяснений понимали: в последних строках Георгий Иванов упоминает совершенно конкретного персонажа, которому посвящена большая глава мемуаров генерала А. В. Туркула «Дроздовцы в огне»; она так и называется – «Капитан Иванов», а ее герой предстает олицетворением самой сути добровольчества: «Особенного в нем не было ровно ничего, если не считать его свежей молодости, сияющей улыбки, сухих и смуглых рук и того, что он картавил совершенно классически, по ‘Войне и миру’, выговаривая вместо ‘р’ – ‘г’<...> / Но именно этот армейский капитан, простой и скромный, с его совершенной правдой во всем, что он делал и думал, и есть настоящий ‘герой нашего времени’. Его, можно сказать, предчувствовали даже писатели, и, например, капитан Тушин Толстого, босой, с трубочкой-носогрейкой у шатра на Аустерлицком поле, – несомненный предтеча капитана Иванова, так же как Максим Максимович, шагающий за скрипучей кавказской арбой, или поручик Гринев из ‘Капитанской дочки’. <...> Иванов был бедняком-офицером из тех русских пехотинцев, никому неведомых провинциальных штабс-капитанов, которые не только не имели поместий и фабрик, но часто не знали, как скрыть следы времени и непогоды на поношенной офицерской шинелишке да на что купить новые сапоги. / Капитан Иванов был до крайности далек и от петербургского общества, и от большого света, не говоря уже, разумеется, о придворных кругах, тоже, впрочем, не имевших ровно никакого отношения ни к провинциальной армейщине Иванову, ни ко всей Белой армии».

«Дроздовцы в огне» носят печать хорошо узнаваемого стиля Лукаша и, пожалуй, даже чересчур литературны для военных офицерских мемуаров: «Синие растрепанные облака раннего утра перед боем, когда просыпаешься, озябший, в мокрой траве, – кто из нас не чувствовал тогда в каждой очерченной ветке, в росе, играющей на траве, в легких звуках утра, хотя бы в том, как отряхивается полковой песик, жизненного единства всего мира. / Я помню, мне кажется, каждый конский след, залитый водой, и запах зеленых хлебов после дождя, и как волокутся у дальнего леса легкие туманы, и как поют далеко за мной в строю. Поют лихо, а мне почему-то грустно, и я чувствую снова, что всё едино на этом свете, но не умею сказать, в чем единство. Вероятно, в любви и страдании».

Чьи это мысли, чьи впечатления? Туркула или Лукаша? «Отряд содрогнулся от залпа, выблеснув огнем, закинулся дымом. От беглой

артиллерийской стрельбы как будто обваливается кругом воздух. Залп за залпом. В пыли, в дыму, тени коней бьют ногами, корчатся тени людей. Всадники носятся туда и сюда. Задние лавы давят передние. Кони сшибаются, падают грудями. Залп за залпом. Под ураганным огнем лавы отхлынули назад табунами. Степь курится быстрой пылью».

---

Впервые опубликовано: Дроздовцы в огне: Картины Гражданской войны, 1918–1920 / Лит. обраб. И. Лукаша // Белград, 1937. Цитируется по изданию: Мюнхен, 1947, с сайта «Военная литература». URL: [http://militera.lib.ru/memo/russian/turkul\\_av/index.html](http://militera.lib.ru/memo/russian/turkul_av/index.html))

### Ф. Ф. МЕЙБОМ. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ

Федор Федорович Мейбом (1894–1978), сын офицера, окончил военное училище, воевал на полях Первой мировой, участвовал в Брусиловском прорыве; в 1917-м, в возрасте двадцати трех лет, произведен в капитаны; после Октябрьского переворота вступил в подпольную офицерскую организацию в Казани, затем – участник Белого движения на Восточном фронте.

Воспоминания Мейбома интересны, прежде всего, обилием деталей военного быта, но, к сожалению, автор подчас путается в последовательности тех или иных эпизодов боевых действий, нарушает хронологию – всё дело в том, что текст писал уже очень пожилой человек, через сорок-пятьдесят лет после изображаемых событий.

«Это было так давно, – начинает Федор Мейбом, – что все мои воспоминания о моей юности кажутся теперь, с одной стороны, какой-то необычайной и незабываемой дивной сказкой, а с другой – всё мрачное: с кровавыми сценами, с тяжелыми переживаниями и моральным испытанием в верности нашему Государю Императору.» Далее мемуарист рассказывает о своей семье: «Отец был шведского происхождения, его предки осели на Русской земле еще при Императоре Петре 1-м. Отец был участником войны с Турцией, был ранен и очень этим гордился... / Отец, судя по письмам, полученным мною на фронте, тяжело переживал первые дни революции и напоминал в них о моем долге перед Государем и Родиной. Умер он в номере гостиницы в Петрограде от разрыва сердца, и в его сжатом кулаке была газета с отречением Государя... / Все четыре брата полностью выполнили свой долг перед Россией и перед глубоко любимым нашим Государем Императором.»

Уже из самых первых строк видны и стиль автора, и его убежде-



ния. Мемуары Федора Мейбома просты, наивны, чувствительны, кроме того, полны разнообразных «приключений» – кажется, что, пытаясь «оживить» текст, автор подражает плодовитому беллетристу Петру Краснову; но всё это снижает уровень доверия читателя к излагаемым фактам.

И, как уже говорилось выше, – некоторая путаница событий и лиц. К примеру, во время Великого Сибирского Ледяного похода (исхода белых на Восточном фронте) Мейбому случайно встречается женщина, в которую он был ранее влюблен, – и имя этой женщины, и последующее развитие их отношений курьезным образом меняются в двух разных мемуарных работах.

Версия первая. «Гибель 13-й Сибирской стрелковой дивизии в боях под г. Челябинском в 1919 г.» (фрагмент воспоминаний Мейбома был напечатан в лос-анджелесском журнале «Первопроходник» за февраль и апрель 1974 г.): «Проходя, вернее, проезжая на розвальнях – в то время мы уже не ходили, – с 49-м Сибирским стрелковым полком, я случайно обратил внимание на одинокую повозку, которая стояла в стороне от дороги, без лошади, и я ясно слышал женский голос, который истерически умолял о помощи. Я спрыгнул с саней и подошел к ее саням и... о Боже! – это была бедная *Ольга Степановна* (Вид. мной. – *Е. К.*). Кто-то из солдат забрал ее лошадь и даже снял с нее шубу и оставил ее на верную смерть. О, как она обрадовалась, как она была рада видеть меня... Я сразу же пересадил ее в мои сани и старался успокоить ее, уверяя, что ничего подобного с ней теперь не случится. Она плакала и от холода вся дрожала. Я уговорил ее выпить разведенный спирт и укутал моим тулупом. Я имел бочонок спирту, который я украл (фактически не украл, так как спирт был наш, русский) у польского эшелона, и когда они пробовали остановить нас, то я предупредил их, что открою огонь по эшелону. / Выпив спирту, она закашлялась от него и с улыбкой заснула. Она ехала с нашим полком до г. Читы, где она случайно столкнулась со своим мужем, и мы расстались навсегда».

Версия вторая. «Тернистый путь» (печатались в журнале «Первопроходник» в 1975–1977 гг.): «В один из таких печальных дней наша армия шла по довольно обширной поляне. На противоположной стороне поляны я заметил сани, и кто-то звал на помощь. С парой стрелков я поехал узнать, в чем дело. К моему изумлению, в санях сидела *Надежда Васильевна* (Вид. мной. – *Е. К.*). Быстро выскочив из своих саней, я бросился к ней. Она обняла меня, заплакала и смогла только произнести мое имя. Я распорядился, чтобы ее переложили в мои сани. Она вся горела – у нее начинался тиф. Она от волнения потеряла сознание. К моему счастью, в моем полку была сорокаведерная бочка спирту, которую я с помощью стрелков украл

из польского эшелона. Во время всего пути я поддерживал этим спиртом всех своих стрелков. Этот 'чудесный напиток', от которого слезала кожа с губ, поддерживал силы голодных и холодных воинов. Взяв кружку, я насильно влил немного этого живительного напитка в рот Надежде Васильевне. Она сильно закашлялась и пришла в себя. Обняла меня, поцеловала и моментально уснула».

И далее, уже по окончании Ледяного похода: «Подходя к роте, я увидел закутанную женскую фигурку, стоящую недалеко от входа в роту, а недалеко извозчика. Я ломал себе голову, кого это ожидает женщина, когда, перейдя улицу, я попал в объятия Надюши. Она просила меня провести этот вечер и ночь с нею, так как на следующий день приезжал муж, и они сразу же должны были выехать в Японию <...> Когда я проснулся, то Нади уже не было, но на столике у кровати она оставила мне письмо. Она писала: '... прощай, мой дорогой и милый мальчик. Наверное, нам не будет суждено когда-либо встретиться! Обнимаю и целую тебя крепко. Да хранит тебя Господь! Твоя навеки, Надя.'». Так Ольга Степановна превратилась в Надежду Васильевну и даже Надюшу, героиню страстного романа. Что тут правда, а что романтический вымысел?..

---

Впервые опубликовано: «Первопроходник». – Лос-Анджелес, № 23-35, 1975–1977. Цитируется по изданию на сайте. URL: <http://pervopohodnik.ru/publ>

## М. Н. ЛЕВИТОВ. ИСТОРИЯ КОРНИЛОВСКОГО УДАРНОГО ПОЛКА

Михаил Николаевич Левитов (1893–1982), сын священника, окончил четыре класса духовной семинарии, но в 1914-м оставил ее и поступил в военное училище. С 1915 года воевал на фронтах Первой мировой (причем в пехоте, где тяжесть службы и потери были особенно велики), с 1918-го – в Добровольческой армии. Был «первопроходником», то есть участником 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Всего за время двух войн – Первой мировой и Гражданской – получил шесть ранений (по другим данным – восемь) и три ордена. В 1920-м произведен в полковники. Разделил судьбу армии в изгнании – в галлиполийском лагере, затем в Болгарии. С 1929 года и до своей смерти в 1982 году жил в Париже. Многие годы собирал материалы для главного труда всей долгой, почти девяностолетней, жизни – летописи Корниловского ударного полка.

«История Корниловского ударного полка» – скрупулезная, точная работа военного, богатая подробностями боевых операций, ску-

пая на эмоции; она вряд ли привлечет внимание широкого читателя, однако в ней есть небезынтересные данные – к примеру, о происхождении и составе офицеров, воевавших против большевиков: «В самом Харькове, когда полк прибыл на фронт, к нам влилось столько офицеров, что взводы 1-й офицерской роты разбухли до 80 человек. Много офицеров было из народных учителей, землемеров <...>, артистов Театра Корша, студентов, техников, служащих земских управ, учителей городских училищ, семинаристов – словом, всё то молодое, живое, что училось, служило, строило Россию в мирное время. Всё то, что в Первую мировую войну приняло на свои плечи офицерские места после первого кровавого года войны, когда кадр действующей армии мирного времени был уничтожен. Вся эта молодая Россия – сыны ее, – призванная в армию начиная с 1914 года, окончив школу прапорщиков и военные училища, довела войну, вызванную немцами, до самого 1917 года и в революцию образовала то, что называлось Белой армией».

Некоторые эпизоды, касающиеся тех или иных исторических лиц, также представляют несомненный – и не только узкоспециальный – интерес. Вот запись от 19 октября 1919 года: «Приезд командующего Добровольческой армией генерала Май-Маевского. Части полка были построены около полотна железной дороги. Его хвостовство, что мы возьмем ‘ворону’, то есть красных, за ‘хвост’, горечью отозвалось в сердцах всех корниловцев. Не сделав своего дела, не ответив на маневр красных контрударом в момент нашей полной мощи, теперь уже поздно было говорить об этом, находясь в половинном составе, притом измученном до предела и полуодетом. Присутствовавший на параде командир 3-го артиллерийского дивизиона полковник Роппонет, видя в поведении генерала Май-Маевского невиданный нами до сего момента отрыв от действительности, расплакался».

Стиль полковника Левитова, мягко говоря, небезупречен, но его «История...» – не литература в собственном смысле этого слова, а документальный памятник родному полку.

---

Впервые опубликовано: Материалы для истории Корниловского ударного полка. – Париж, 1974. Цитируется по изданию: серия «Белое движение в России», том 18. «Поход на Москву» / Москва, Центрполиграф, 2004 / М. Левитов. Корниловцы в боях летом-осенью 1919 года. – Сс. 20-119.

\* \* \*

В представленных в данном обзоре мемуарах немало критики в адрес командования и вождей Белого движения – иногда диплома-

тичной, иногда яростной, но всегда мучительной для самого критикующего. Вот, к примеру, горькая усмешка генерала Филатьева: «Мы, как дятел, неустанно твердили о своем желании продолжать войну с немцами, между тем как солдат только потому и к революции примкнул, что не желал больше воевать и рвался с фронта... Мы не только не давали мужику синицу в руки, но и журавля в небе посулить опасались, а думали растрогать его призывами к ‘единой-неделимой’ и звали идти на свержение ‘захватчиков власти’ – большевиков. Между тем в глазах крестьянина эти захватчики были не хуже, а лучше предыдущих тоже захватчиков – Временного правительства».

По интенсивности эмоциональной наполненности воспоминания «белых» весьма различны; впрочем, можно обнаружить некоторые особенности, характерные для этих текстов: чем старше мемуарист в момент описываемых событий, тем, как правило, скептичнее он в своем тексте, чем моложе – тем «чувствительнее»; чем дальше рассказчик от боевых действий – тем критичнее, чем ближе к ним – тем искренней его вера в значимость выполняемого долга. Но всех мемуаристов объединяет общее, живое дыхание!

Если тексты «красных» мемуаров выдержаны в единой тональности, полны штампов и «новояза», то мемуары «белых» своеобразны, просты, иногда даже наивны, а порой и тенденциозны, но всегда – естественны и человечны. Человечны живым сердцем рассказчика. Никто не осуществлял над ним «мудрого» идеологического руководства, а потому так много в «белых» мемуарах и самобичевания, и саморазоблачений, самообвинений. Живые люди – о пережитом.

В представленном очерке показана лишь верхушка айсберга под названием «Военные мемуары русских эмигрантов первой волны». Возможно, по прочтении у кого-то возникнет желание погрузиться на глубину, чтобы оценить подлинные размеры этого феномена.

# ОЧЕРКИ. ЗАМЕТКИ

Н. А. Ёхина, Т. А. Сидорова

## Семья В. Н. Ипатьева: неизвестные страницы биографий

Уже ставший частью истории 2017 год, прошедший под знаком столетия революционных событий года 1917-го и его трагических последствий, был ознаменован также 150-летием со дня рождения одного из крупнейших ученых-химиков – Владимира Николаевича Ипатьева (1867–1952), ставшего «невозвращенцем» в 1930-е годы.

В. Н. Ипатьев, действительный член Императорской Академии наук, встретил 1917 год в самом расцвете своей научной и военной карьеры – в чине генерал-лейтенанта, на посту председателя Химического комитета при Главном артиллерийском управлении (ГАУ). Будучи далек от политики, Владимир Николаевич, которому, по меткому замечанию одного из бывших служащих Химического комитета, «сюртук академика» подходил больше, чем «мундир генерала», предвидел последствия и Февраля, и Октября 1917 года: «Я с самого начала революции, – писал ученый, – несмотря на уверение моих молодых помощников, что всё образуется и что порядок в армии и в стране скоро водворится, ни на одну минуту не сомневался, что России придется пережить ужасное лихолетье и что будут принесены громадные жертвы – гораздо бóльшие, чем это имело место на войне»<sup>1</sup>.

После большевистского переворота В. Н. Ипатьев часто задавался вопросом: «Ленин и его ближайшие сотрудники, верили ли они в то время искренно, что выполнение их политической программы действительно принесет всему трудящемуся народу то счастье свободы, то материальное удовлетворение, о которых они яростно кричали во всех уголках нашей обширной, но во всех отношениях отсталой страны? Ведь каждому здравомыслящему человеку было ясно, что программа большевиков не только не даст счастливой жизни, но приведет к результатам как раз обратным»<sup>2</sup>. Предчувствия и слова Владимира Николаевича окажутся пророческими, однако он не поки-

---

Авторы благодарят Юлию Гаухман (Чикаго) за помощь в поиске материалов, относящихся к истории семьи Ипатьевых.

дает Россию. Его выдающиеся заслуги будут оценены даже большевиками (ученый станет лауреатом Ленинской премии); Ипатьев всецело посвятит себя науке и работе.

Расставание с родиной для Владимира Николаевича и его супруги Варвары Дмитриевны случится позже, когда в условиях политических репрессий и над их головами станут сгущаться тучи. В последующем в воспоминаниях Ипатьев напишет о мотивах, побудивших его принять решение покинуть «советский рай»: «Условия жизни, террор беззащитных людей, незащищенность – сегодня никто не знает, не будет ли арестован завтра, или какие ограничения могут наложить на его научную работу – отравили для меня ‘Советский рай’. Почему человек должен жить в таких условиях? Какую пользу принесу я своему народу? А если никакой, то зачем я должен терпеть унижения от тупиц с партийным билетом, которые могут говорить мне, что делать? Кроме того, я был уверен, что вскоре отберут даже мою свободу думать: врагу народа не дадут времени побеспокоиться об условиях жизни, когда арестуют и приговорят к смерти от тяжело-го труда или расстрела»<sup>3</sup>.

В июне 1930 года Ипатьев выезжает в Германию в качестве делегата Второй мировой энергетической конференции в Берлине. То, что нуждавшейся в лечении за границей Варваре Дмитриевне разрешили сопровождать его, Владимир Николаевич назовет не иначе как «чудом»: «Возможно, то, что я смог получить паспорт жены за три дня, до сих пор остается самым удивительным достижением в истории ГПУ... Я никогда не узнаю, что заставило ГПУ смягчить их строгое правило, запрещавшее женам сопровождать мужей, которые выезжали из страны. Но это сделали, и для меня этого было достаточно»<sup>4</sup>. В Советскую Россию выдающийся ученый и его супруга более никогда не вернутся. Их дальнейший жизненный путь будет связан с Соединенными Штатами Америки, где академика Ипатьева и по сей день почитают как величайшего ученого, равного которому в истории химии не существует.

Трагедия расставания со своей страной усугубилась для четы Ипатьевых и личной трагедией: в силу разных причин им суждено было потерять всех своих четверых детей. Как сложилась их судьба? К сожалению, в этом вопросе и на сегодняшний день остается еще много белых пятен. В рамках предлагаемой статьи будут обобщены уже имеющиеся факты и, с учетом вводимых в научный оборот новых материалов, отложившихся в государственных и частных (семейных) архивах, представлены ранее неизвестные факты биографий детей Владимира Николаевича Ипатьева.

Судьба В. Н. Ипатьева, как и судьба его родного брата – инжене-

ра, предпринимателя, общественного деятеля Николая Николаевича Ипатьева (1869–1938), имя которого история навсегда соединила с трагической гибелью царской семьи, самым тесным образом оказалась переплетена с судьбами представителей известной в начале XX века артистической семьи Гельцеров. Владимира Николаевича связывала многолетняя дружба с театральным художником Анатолием Федоровичем Гельцером (1852 – после 1918), племянница которого, Варвара Дмитриевна Ермакова<sup>5</sup>, стала супругой Ипатьева и верной спутницей на всю жизнь. Николай Николаевич, в свою очередь, женился на дочери Федора Федоровича Гельцера и племяннице А.Ф. Гельцера – Марии Федоровне Гельцер.

Владимир Николаевич так писал о своей жене: «Несмотря на всякого рода переживания и невзгоды, без которых не может обойтись ни одна человеческая жизнь, я должен, однако, признать, что моя жизнь сложилась очень благоприятно как для научной деятельности, так и для частной жизни... Что же касается моей семейной жизни, то она сложилась для моей научной деятельности весьма счастливо. Тотчас же по оставлении меня репетитором при Артиллерийской Академии я женился на В. Д. Ермаковой, которую знал перед этим в течение 10 лет и которая по своим воззрениям и скромному характеру наиболее всего могла дать уютную и спокойную жизнь для меня и способствовать моей научной работе. Я не ошибся в своем выборе и в своей жене нашел замечательную мать и такого друга жизни, какого редко можно встретить в современных условиях. Несмотря на то, что мы имели четырех детей, вся забота об них в их детстве целиком легла на жену, и мне очень мало пришлось отвлекаться от своих научных занятий для семейных дел. Я не могу не выразить моей глубокой и искренней благодарности моей жене за ее заботу и за ее помощь в моей научной жизни. Если и удалось мне много сделать, то в значительной степени я обязан ей»<sup>6</sup>.

У Владимира Николаевича и Варвары Дмитриевны родилось три сына – Дмитрий (1893–1915), Николай (1895–1935), Владимир (1897–1955) и дочь Анна (1894–1958). В своих воспоминаниях Ипатьев посвятил им следующие строки: «...наши дети с самого детства доставляли нам только одно утешение, как своим поведением, так и успехами в ученье. Огорчения пришли, когда они приступили к самостоятельной работе. Два наших сына, Дмитрий и Николай, геройски погибли при исполнении своего долга: первый на войне 1914 года, а второй – в Африке (Бельгийское Конго) при изучении открытого им средства для лечения желтой лихорадки. Огорчение сопровождает и ныне нашу жизнь, так как, когда я пишу эти строки, наши любимые дочь Анна и сын Владимир, с внуками и внучками,

находятся далеко от нас, и неизвестно, приведет ли Бог когда-либо увидеть их, так как наш возраст не дает нам возможность загадывать о будущем»<sup>7</sup>.

Однако всё это случится позже, а в 1905 году еще полная и счастливая семья Ипатьевых по приглашению А. Ф. Гельцера приехала в Калужскую губернию, в село Товарково на реке Угре. Место это находилось недалеко от Герасимовой общины, где жили две дочери Анатолия Федоровича – Надежда и Любовь, принявшие монашество. Под впечатлением от необычайной красоты местной природы Владимир Николаевич приобрел у местных крестьян около 50 десятин земли возле церкви Рождества Христова. И всего лишь за один год (к весне 1906-го), под присмотром А. Ф. Гельцера, возвел жилой дом и надворные постройки. Организаторский гений Ипатьева и здесь воплотился в полной мере: дача, задуманная изначально лишь для летнего отдыха и проживания на склоне лет, очень скоро превратилась в образцовый хутор с прогрессивной системой земледелия, великолепным, обильно плодоносящим яблоневым садом; хутор стал местом разведения породистых лошадей.

С необыкновенной любовью описывал Владимир Николаевич некоторые важные моменты, связанные с обустройством столь дорогого для них места: «Моему старшему сыну Дмитрию было 13 лет, но он любил природу и с увлечением стал заниматься сельскими работами, мало-помалу приводя этот маленький хутор в культурное состояние. Жена и другие дети также были рады провести лето в условиях деревенской жизни, где действительно можно было отдохнуть от городской суеты... В первый же год мои мальчишки и я выкопали 200 ям и посадили яблони (трехлетки, которые впоследствии давали нам до тысячи пудов превосходных яблок)»<sup>8</sup>.

Очень скоро созданный трудами Ипатьевых хутор стал примером ведения хозяйства и для крестьян, и для соседей-землевладельцев. После Октябрьских событий 1917 года и в тяжелые, голодные годы Гражданской войны именно хутор станет местом спасения для В. Н. Ипатьева и его близких.

Обратимся же подробнее к судьбе каждого из детей Владимира Николаевича и Варвары Дмитриевны Ипатьевых.

### ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИПАТЬЕВ (1893–1915)

Старший сын Дмитрий, «как тогда говорили все, кто знал его лично, ‘был красив, как Бог, и талантлив, как отец’»<sup>9</sup>. В. Н. Ипатьев рассказывал о нем с особой нежностью: «Он был особым ребенком с самого раннего детства и был любим всеми, кто имел случай с ним



познакомиться. Он ни разу не был наказуем ни в доме, ни в школе, отличался удивительной добротой к своим товарищам...»<sup>10</sup>

После окончания гимназии с золотой медалью Дмитрий поступает в Петербургский университет на естественный факультет, его выбор – биология. Курс обучения одаренный юноша проходит за два года и получает предложение остаться на кафедре для подготовки к профессорскому званию. Это обстоятельство автоматически освобождало его от призыва в армию. Однако с началом Первой мировой войны прапорщик запаса Гвардейской артиллерии Дмитрий Ипатьев принимает решение, ставшее в последующем трагически судьбоносным – в конце августа 1914 года он уходит на фронт.

Весной 1915-го, когда офицерский состав пехоты понес большие потери, Д. В. Ипатьев по своей инициативе переходит на службу в 1-й Его Величества Стрелковый полк и вскоре становится командиром 6-й роты. В течение полугода он принимает участие в боях, награжден всеми боевыми орденами «включительно до Св. Владимира 4-й степени»<sup>11</sup>.

3 сентября 1915 года Дмитрий Владимирович Ипатьев погибает в бою под Вильно. Отец получает полные скорби письма сослуживцев сына (офицеров и рядовых), содержание которых показывает, насколько уважаем и любим он был. Одно из таких писем было опубликовано в журнале «Вестник Особой армии» (1916, № 44): «...Именно таким предметом, достойным подражания, и был прапорщик Ипатьев среди своих подчиненных и солдат, которые видели в нем олицетворение доброты и любви в тяжелые минуты боевой жизни, где нужно быть объединенным одним духом, мыслью и желанием. Правда, он не был фронтовик, вымуштрованный военными манерами, который бы отличался только одной внешней формой, но он имел внутреннюю связь души с душой солдата, с которой сливался воедино...»<sup>12</sup>

Тело Дмитрия было привезено в Москву его вестовым. Похоронен Дмитрий Владимирович Ипатьев на Ваганьковском кладбище рядом со своей любимой бабушкой Софьей Федоровной Гельцер (много позже в той же могиле будет похоронена его сестра Анна).

### НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИПАТЬЕВ (1895–1935)

Сын Николай родился в 1895 году в Харькове. Владимир Николаевич так характеризовал его: «...по своему характеру и убеждениям совершенно отличался от прочих членов семьи... Его всегдашней мечтой было после окончания высшего образования поступить на

военную службу, в один из гвардейских кавалерийских полков, где он надеялся найти товарищей, близких к его аристократическим замашкам. В этом он резко отличался от своих братьев, в особенности от старшего Дмитрия, который был как раз настоящим демократом и всегда дружил с товарищами по гимназии, родители которых являлись бедными тружениками»<sup>13</sup>.

Исполнить настоятельное пожелание родителей и получить университетский диплом, прежде чем посвятить себя военной карьере, Николаю Ипатьеву помешала Первая мировая война. В итоге юноша вместо университета поступает в Николаевское кавалерийское училище и по окончании ускоренного курса в 1915 году зачисляется в 1-й гусарский Сумский генерала Сеславина полк в чине поручика. После короткого пребывания в запасном батальоне в Тамбове Николай командирован на фронт в состав кавалерийской «Дикой дивизии». Высочайшим приказом от 23 декабря 1916 года поручик Николай Владимирович Ипатьев назначен адъютантом командующего 5-й армией Северного фронта генерала А. М. Драгомирова. В этой должности молодой офицер пребывает до октября 1917 года<sup>14</sup>.

После Октябрьских событий 1917 года Н. В. Ипатьев уходит со службы и вместе с матерью Варварой Дмитриевной отправляется на хутор в Товарково. Волостной совет не замедлил привлечь его к обучению деревенской молодежи военному делу. Однако новую власть молодой Ипатьев не принимает, и уже в декабре 1918 года он снова на фронте – теперь уже Гражданской войны. До начала 1920 г. Николай Владимирович воевал в составе Северо-Западной армии под командованием генерала Юденича. Находился в распоряжении командира 1-го армейского корпуса А. П. фон дер Палена в чине штабс-ротмистра Конно-егерского полка. После объявления о роспуске Северо-Западной армии Н. В. Ипатьев состоял при Ликвидационной комиссии<sup>15</sup>.

С этого момента семья потеряла его из виду. И лишь спустя три с лишним года В. Н. Ипатьев узнал о том, что сын покинул Россию и живет в Бельгии. Впоследствии состоялось несколько семейных встреч; при первом общении Николай, отрицавший любые варианты взаимодействия с захватившими власть большевиками, был крайне холоден и называл отца на «Вы», но в последующем позиция его смягчилась. «Он сообщил мне, – писал В. Н. Ипатьев, – что, обдумывая всё мое положение в СССР, он пришел к убеждению, что перед такими людьми, как я, надо преклоняться, так как вся моя деятельность направлена на благо моей страны, что, собственно, и должен делать каждый гражданин, любящий свою страну»<sup>16</sup>.

В Бельгии Н. В. Ипатьев с отличием оканчивает Государственный

Агрономический институт в Жамблу (1919–1922) и получает диплом инженера-агронома. С 1923 работает на химических предприятиях, а в 1926 отправляется в Бельгийское Конго, пройдя перед этим пяти-месячную стажировку в лаборатории Музея Бельгийского Конго в Тервюрене (ныне Королевский музей Центральной Африки). В 1929 году он досрочно возвращается в Европу, однако уже в январе 1930-го правительство вновь подписывает с Ипатьевым контракт, предусматривающий, в числе прочего, повышение по должности до инспектора 2-го класса Службы промышленности и торговли. Помимо основной работы Н. В. Ипатьев занимается биохимическими исследованиями – изучает алкалоиды, применяемые в традиционной африканской медицине. Позднее в Леопольдвиле он займет должность помощника директора химической лаборатории<sup>17</sup>.

Основным направлением научной деятельности Николая Ипатьева станет исследование «противомалярийных свойств алкалоидов лианы Эфери»<sup>18</sup>. Владимир Николаевич Ипатьев отмечал, что в письмах сына того периода отражены большие надежды на то, «что его открытие принесет ему две вещи: богатство и независимость... Он хотел быть свободным. Он думал, – продолжал В. Н. Ипатьев, – что может сразу же продать свое открытие и после этого всегда жить счастливо на эти деньги, и хотел, чтобы я посоветовал ему, как ему заняться его продажей»<sup>19</sup>.

Отец советовал Николаю «быть скромнее и не обманываться надеждами стать независимым на всю оставшуюся жизнь». Более того, выражая свое мнение о лечебных свойствах эфирина с позиции ученого, В. Н. Ипатьев констатировал: «Из того, что я знал о тропической лихорадке, мне не очень верилось в его лекарство, потому что это вещество не содержало азота и, по моему мнению, могло оказывать только небольшое влияние на бациллы... Однако мой сын безоговорочно верил в свое вещество, потому что во многих случаях оно помогало жертвам малярии». Владимир Николаевич оказался прав: заболевший желтой лихорадкой Николай Ипатьев отказался от использования хинина и, в качестве научного эксперимента, применял для своего лечения только эфирин<sup>20</sup>.

20 января 1935 года Николай Владимирович Ипатьев скончался в больнице г. Стэнливиля. В его личном деле был констатирован диагноз – гемоглобинурия<sup>21</sup>.

В отчете администратора территории (датирован 22 января 1935) о последних днях Н. В. Ипатьева в Стэнливилльской больнице фигурирует следующая запись: «Господин Ипатьев, хотя и принадлежал к Православной церкви, подолгу беседовал с преподобным отцом Лапуантом и, как представляется, извлек из этих разговоров большое

моральное утешение»<sup>22</sup>. Некрологи о смерти ученого были опубликованы на страницах эмигрантских газет и журналов<sup>23</sup>.

В одном из них читаем строки, как нельзя лучше отражающие значимость проделанной Н. В. Ипатьевым научно-исследовательской работы: «Из лианы эфери он стал извлекать особое вещество ‘эферин’, обладающее антималярийными свойствами. Ипатьев надеялся, что ‘эферин’ сможет заменить в колониальной медицине сравнительно дорогой хини[н]. Наука окончательно еще не высказалась о значении этого открытия, над которым покойный Ипатьев работал последние годы не покладая рук. Вся бельгийская колониальная печать посвятила Н. В. Ипатьеву прочувствованные некрологи. ‘Л-Эссор дю Конго’ писало, что если открытие Ипатьева оправдается, – его можно будет считать благодетелем черной расы»<sup>24</sup>.

Таким образом, через 20 лет после гибели Дмитрия Ипатьева Владимир Николаевич и Варвара Дмитриевна потеряли второго сына. Николай и Дмитрий разительно отличались друг от друга по характеру, но оба они, как и их отец, посвятили свою жизнь служению людям – каждый на своем поприще и с полной отдачей. На момент смерти Николая выдающийся ученый и его супруга уже жили в США, однако вряд ли тогда они могли представить, что потеряли навсегда не только детей, с которыми их разлучила смерть, но и тех, кто был жив, – Владимир и Анна остались в Советской России, и родителям не суждено будет более увидеть их.

### ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ИПАТЬЕВ (1897–1955)

Владимир Владимирович Ипатьев родился 12 ноября 1897 года в Санкт-Петербурге. В 1916-м, по окончании Второй гимназии, поступает на юридический факультет Петроградского университета. В период с 1918 по 1922 гг. вместе с родителями, сестрой Анной и ее детьми живет в Калужской губернии на хуторе Ипатьевых, возделывая землю. С 1919 по 1921 гг. служит сельскохозяйственным рабочим в совхозе. Юридическое образование прервано: Владимир Владимирович идет по пути отца и переводится на естественное отделение Московского университета, в 1925 году становится дипломированным химиком.

В 1924–1925 гг. молодой ученый работает над темой «Количественное определение следов железа в химически чистых реактивах» в Институте чистых реактивов; разработанная им методика ложится в основу стандартизации реактивов. С 1925 года Владимир Владимирович был принят на службу в Академию наук СССР, где за 10 лет (до 1935) прошел путь до старшего научного сотрудника. С 1926 по 1927 годы он в качестве лаборанта по совме-

стителству служил в лаборатории отравляющих веществ; с 1927-го, будучи сотрудником Государственного института прикладной химии (ГИПХ), В. В. Ипатьев привлекается отцом к созданию лаборатории высоких давлений, которая в последующем станет основой Государственного института высоких давлений (ГИВД).

В начала 1930-х годов Ипатьевым «организована лаборатория по изучению коррозионных процессов под давлением, в частности, в котлах высокого давления. В означенной лаборатории было проработано до 15 различных коррозионных тем, главным образом договорных». В этот же период ученый работает «над вопросом каталитического гидрирования бинарных смесей водородом»<sup>25</sup>. В 1935 году В. В. Ипатьеву присуждена степень доктора химических наук за работы по исследованию химических равновесий в области высоких давлений и низких температур; он утвержден в звании действительного члена Государственного института высоких давлений по специальности «Физическая химия». В том же году Ипатьев приступает к чтению курса неорганической химии на биологическом факультете ЛГУ, где состоит в должности профессора<sup>26</sup>.

До 1936 года Владимир Владимирович поддерживал постоянную связь с отцом и на личном, и на профессиональном уровне. В. Н. Ипатьев, видевший в сыне преемника, неоднократно отмечал: «...мой сын Владимир – хороший химик и честный человек, готов пойти по моим стопам и продолжить мою работу в СССР, если вдруг со мной что-то случится»<sup>27</sup>.

С 1932 года Владимир Николаевич Ипатьев начинает собирать материалы для своей книги «Каталитические реакции при высоких температурах и давлениях», которая должна была включить все его работы по катализу и высоким давлениям в органической химии. Предполагалось, что книга будет написана совместно с сыном Владимиром и издана на русском и английском языках. По мере написания своего труда В. Н. Ипатьев должен был пересылать главы рукописи в Академию Наук СССР (первые 259 страниц были направлены в ноябре 1934), которая возложила ответственность за процесс редактирования на Владимира Ипатьева. В. Н. Ипатьев констатировал, что сын отлично справился с поставленной задачей<sup>28</sup>.

Все попытки советского правительства, осуществляемые через дипломатических представителей, в частности, через посла А. А. Трояновского<sup>29</sup>, склонить В. Н. Ипатьева к возвращению в СССР не увенчались успехом<sup>30</sup> – ученый мотивировал свой отказ различными причинами, но в своем решении не возвращаться в «советский рай» был непреклонен: «Я не боялся смерти, – писал в воспоминаниях Владимир Николаевич, – но не выносил издевательства над челове-

ком. Я 13 лет работал на большевиков и честно исполнял свои обязанности. То, что я остался за границей, не означало, что я предал свою родину, а значило лишь то, что там я не мог спокойно продолжать свою научную работу. Оставаясь здесь, я всегда был готов помочь своей стране и рад дать совет молодым инженерам и ученым, которые приезжали сюда»<sup>31</sup>.

В середине октября 1936 года В. Н. Ипатьев получил письмо от АН СССР (датир. 17 сентября 1936), в котором констатировалось, что в случае отказа ученого вернуться «Академия наук и, вероятно, вся страна должны будут сделать соответствующий вывод» о его отношении к СССР<sup>32</sup>. 24 декабря, – писал Ипатьев, – «я получил каблограмму от сына и дочери, убеждающую меня немедленно телеграфировать о моем согласии вернуться в СССР, иначе они не отвечают за последствия». После этого Владимир Николаевич долго спорил с женой и в итоге оставил окончательное решение за ней: «Именно на ней будет вся тяжесть последствий, так как если я не вернусь, понятно, что мы навсегда будем оторваны от детей и внуков, и она как мать будет ощущать это гораздо глубже, чем я. Однако она без колебаний решила не возвращаться, потому что была абсолютно убеждена, что в России меня ждет только смертная казнь. И тогда нашим детям будет намного хуже, потому что они, по всей вероятности, будут высланы как близкие родственники осужденного за государственную измену. После этого короткого спора я телеграфировал детям, что в настоящее время мы с матерью не можем вернуться в Россию»<sup>33</sup>.

29 декабря 1936 года выдающийся ученый Владимир Николаевич Ипатьев был исключен из Академии наук СССР, 5 января 1937 года – лишен гражданства СССР. А уже 11 марта того же года он становится гражданином США, супруга получит американское гражданство 7 апреля 1937 года<sup>34</sup>.

Небольшая вырезка из газеты «Правда» от 30 декабря 1936 г. (№ 359/6955), на страницах которой была опубликована стенограмма заключительного общего собрания Академии наук СССР, в процессе которого академики В. Н. Ипатьев и А. Е. Чичибабин были лишены званий действительных членов АН СССР, хранится в Личном деле Владимира Владимировича Ипатьева, отложившемся в фондах ГАРФ. Представляется важным привести этот текст полностью, ибо он являет собой один из символов того страшного времени, когда многие значимые для страны люди, под давлением и угрозой быть уничтоженными большевистской карательной машиной, были вынуждены отказываться от своих родных и близких. Владимир и Анна Ипатьевы не стали исключением:

«Академик Ферсман оглашает проект постановления о лишении

Ипатьева и Чичибабина звания действительного члена Академии наук СССР.

Слово предоставляется профессору Ленинградского института высоких давлений В. В. Ипатьеву. На трибуну выходит, сдерживая волнение, молодой ученый. Это сын академика В. Н. Ипатьева, продолжатель дела отца в институте, который организован по мысли и инициативе дизертировавшего ученого.

– Владимир Николаевич Ипатьев, – говорит молодой профессор, – является, с одной стороны, мне отцом, с другой стороны, в течение всей моей деятельности в области химии – моим руководителем. Отсутствие академика Ипатьева первое время сильно сказывалось на деятельности Института высоких давлений. Но сложился в институте настолько энергичный коллектив научных работников, что развитие института не пострадало, и своими достижениями институт может теперь гордиться перед любой иностранной лабораторией.

В качестве сына и заместителя своего отца проф. В. В. Ипатьев не раз писал академику Ипатьеву и просил его вернуться к советской науке. В последний раз он написал резко, напоминая отцу об его долге перед родиной.

Свой отказ отец мотивировал двумя причинами: невозможностью разорвать контракт с иностранной капиталистической фирмой и созданными ему в Америке исключительно благоприятными условиями для научной работы.

‘Эти две причины, – говорит Ипатьев-сын, – мне, как гражданину Советского Союза, показались особенно оскорбительными. Они не выдерживают никакой критики. Именно в нашем Союзе созданы исключительно благоприятные условия для научной работы. Я могу сказать о себе: в моем распоряжении находится прекрасно оборудованная лаборатория, в которой я могу работать так, как подсказывает мне мое научное творчество.

А для академика Ипатьева были созданы исключительные условия. В 1928 г. он пожелал организовать Институт высоких давлений, и правительство немедленно отпустило огромные средства, в том числе и громадные валютные суммы, чтобы прекрасно оборудовать институт. С каким вниманием был отпразднован здесь его 35-летний юбилей!

Станным представляется его довод, будто не может он разорвать контракт с капиталистической фирмой. Захоти он, и я не сомневаюсь, что советское правительство немедленно помогло бы ему выбраться из капиталистических рук.

В такое важное время, какое переживает наша страна, каждый гражданин Советского Союза должен оказывать свою посильную

помощь, и это в особенности относится к таким большим ученым, как академики Ипатьев и Чичибабин. Я заявляю от своего имени и от имени моей сестры, что поведение В. Н. Ипатьева недостойно члена Академии наук СССР, недостойно советского гражданина.

Раньше я гордился тем, что ношу имя моего отца. Мне приятно было осознавать, что отец у меня такой большой человек. Теперь мне приходится низко опускать голову и стараться не называть своей фамилии там, где я могу ее не называть. Мы протестуем со всей резкостью против поведения нашего отца, мы обвиняем его в поведении, недостойном нашей родины'.

Зал аплодисментами выражает сочувствие этому исполненно-му горечи заявлению. Никто из академиков не берет слова в защиту опозорившихся ученых, променявших родину на буржуазные серебреники.

– Вопрос прост и ясен, – говорит президент В. Л. Комаров. – Остается голосованием решить вопрос об исключении академиков Ипатьева и Чичибабина из состава Академии наук.

За исключение – 63 голоса. Против исключения – ни одного. Воздержалось 6 человек.

Закрывая сессию, президент В. Л. Комаров подводит краткие итоги ее научной работы. Он отмечает особую плодотворность заседаний, посвященных органической химии. Они составили ядро сессии и создали уверенность в том, что Советский Союз выходит на линию, может быть самого крупного, самого сильного в отношении химической промышленности государства. Сессия показала и сплоченность советских научных сил, и неразрывное единство их с правительством Советского Союза и руководящей партией большевиков (Аплодисменты)»<sup>35</sup>.

Владимир Николаевич Ипатьев прекрасно понимал весь трагизм ситуации, в которой оказались его дети в «советском раю», и никоим образом не осуждал их: «Что касается меня, – писал Ипатьев, – я не винил своих детей; я слишком хорошо знал, почему они сделали то, что сделали: именно так поступил апостол Петр, трижды отрекшийся от Иисуса Христа в Гефсиманском саду»<sup>36</sup>.

Позиции В. В. Ипатьева в отношении отца не спасла его, вскоре над ученым стали сгущаться тучи – маховик сталинских репрессий подмывал семью Ипатьевых. В конце 1930-х годов Владимир Владимирович был арестован, осужден и сослан в лагерь, где находился до 1946 года. После освобождения работал в должности профессора на кафедре химии Ленинградского государственного университета, а также заведовал кафедрой Ленинградской лесотехнической академии. Ушел из жизни 17 ноября 1955 года в возрасте 58 лет<sup>37</sup>.



У Владимира Владимировича остались две дочери – Нина и Варвара.

Нина Владимировна Ипатьева (1928–1972) – дочь от первого брака, с актрисой Ниной Николаевной Дурасовой, выпускница биологического факультета ЛГУ, работала научным сотрудником во Всесоюзном научно-исследовательском институте защиты растений в Ленинграде.

Варвара Владимировна (1939–1996) – дочь от второго брака, с Лидией Орестовной Филипповой, пошла по стопам своего великого деда и отца. После окончания химического факультета ЛГУ работала в Институте полупроводников, где защитила кандидатскую диссертацию по химии. В дальнейшем преподавала химию в 1-м Ленинградском медицинском институте им. академика И. П. Павлова и в Лесотехнической академии. Варвара Владимировна вышла замуж за Андрея Николаевича Черкасова (сына знаменитого актера Николая Черкасова). В этом браке в 1971 году родился сын Николай, который, не изменив семейным традициям, окончил биологический факультет Санкт-Петербургского университета. У правнука Владимира Николаевича Ипатьева подрастают дети – Максим (2006 г.р.) и Полина (2012 г.р.), которые в свое время тоже могут стать продолжателями семейных традиций великого химика.

#### АННА ВЛАДИМИРОВНА ИПАТЬЕВА (1894–1958)

На сегодняшний день практически неизвестно (исследование активно продолжается), как складывалась судьба дочери Ипатьева Анны и ее детей, – несмотря на то, что она жила в Москве (Брюсов переулок, д. 6, кв. 10) и похоронена на Ваганьковском кладбище в могиле бабушки и брата Дмитрия. Материалы, выявленные в архивах в 2020 году, позволили дополнить ее биографию и информацию о ее семье следующими фактами.

Анна Владимировна Ипатьева (в замуж. Лучковская) 9 апреля 1917 года вышла замуж за Всеволода Алексеевича Лучковского (1885–1937); венчание состоялось в Петрограде, в церкви Александра Невского при Михайловской артиллерийской академии. Интересно, что «поручителем по невесте» был юнкер Михайловского артиллерийского училища Владимир Владимирович Ипатьев<sup>38</sup> (об этом факте своей биографии В. В. Ипатьев в жизнеописании, по понятным причинам, умолчал).

В. А. Лучковский родился в 1885 году в Варшаве в семье Алексея Антоновича (1853–1913) и Натальи Францевны (ур. Юзвиевич<sup>39</sup>) Лучковских. Выпускник Петровского полтавского кадетского корпу-

са (1904) и Михайловского артиллерийского училища. На 1 января 1909 года – подпоручик 2-й артиллерийской бригады (г. Бела), на 1 января 1910 года – подпоручик Лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригады (г. Варшава). В последующем – поручик 1-го Гвардейского корпуса<sup>40</sup>.

После демобилизации в 1917 году служил в Красной армии на должности командира учебного подразделения Высшей артиллерийской школы командного состава, далее (1918–1920) занимал административную должность при Штабе тяжелой артиллерии особого назначения. В 1918 году окончил полный курс бухгалтерии. С начала 1920-х работал в Наркомате путей сообщения (Наркомпуть). На момент ареста, в 1937 году, занимал должность старшего бухгалтера в Московском отделении конторы Союзсовхозснабжения<sup>41</sup>.

У Всеволода и Анны Лучковских родилось двое сыновей: Дмитрий (1918 г.р.) и Владимир (1920 г.р.).

Всеволод Алексеевич Лучковский был арестован 28 сентября 1937 года по обвинению в «активном участии в контрреволюционной боевой террористической офицерской организации и контрреволюционной фашистской агитации». Осужден 1 декабря 1937 года, расстрелян 10 декабря 1937 года. Реабилитирован в 1956 году<sup>42</sup>. О судьбе сыновей на сегодняшний день нам практически ничего не известно, за исключением скудной информации, которая фигурирует в материалах допросов В. А. Лучковского, датированных октябрем 1937 года: в 1931 Всеволод Алексеевич и Анна Владимировна развелись, в конце 1930-х Анна Ипатьева (после развода вернула девичью фамилию) работала техническим секретарем в Тресте «Мосводопровод»; старший сын Дмитрий, по словам В. А. Лучковского, в 1936 году был осужден на 5 лет; младший сын Николай на момент ареста отца жил с матерью<sup>43</sup>.

На долгие годы связь между родителями и детьми Ипатьевыми прервалась. Переписка с Анной Владимировной была возобновлена только после окончания Второй мировой войны. В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН сохранились письма Владимира Николаевича Ипатьева к дочери – родители практически до последних дней жизни вели с ней переписку и помогали материально.

Приведем несколько выдержек из них. Из письма В. Н. Ипатьева, датированного 2 декабря 1945 года: «Дорогая моя дочка Анничка (Так. – Н. Ё.)! / Спасибо тебе за поздравления, я был тронут до глубины души твоим ласковым письмом. Вполне понимаем, я и мать, сколько трудных переживаний тебе пришлось испытать за эти годы. Горжусь тобой, что ты стойко перенесла все невзгоды и неустанно работала на пользу нашей дорогой родины. Хотя мы и не испытывали здесь голода и холода во время войны, но должен тебе сказать, что

мучительно переживал все военные неудачи нашей Красной Армии, но, однако верил, что потенциальная энергия Русского народа возьмет свое, и он выйдет победителем, несмотря на все лишения. С какой радостью узнавали мы о победах Русской Армии после беспримерной защиты Сталинграда. Как приятно было слышать от Американцев похвалу нашей армии и всему Русскому народу, которые, несомненно, обеспечили победу Союзников... Работая научно здесь, я, однако, никогда не забывал, что всякое новое достижение приносит также пользу и моей родине»<sup>44</sup>.

Строки именно этого послания отца А. В. Ипатьева приведет в письме Ворошилову, когда в октябре 1957 года будет просить о – пусть и посмертном, – но восстановлении В. Н. Ипатьева в советском гражданстве<sup>45</sup>. Как известно, тогда ее ходатайство не было удовлетворено – В. Н. Ипатьев будет восстановлен в гражданстве и членстве в Академии наук лишь в 1990 году.

До последних дней жизни Владимира Николаевича и Варвары Дмитриевны Ипатьевых рядом с ними была Нина Иосифовна Гензель (1884–1954)<sup>46</sup> – жена друга В. Н. Ипатьева, профессора экономики Павла Петровича Гензеля (Paul Haensel; 1878–1949). Он покинул Советскую Россию в 1928 году, с 1930 года жил в США, вместе с В.Н. Ипатьевым преподавал в Северо-Западном университете в Чикаго. Сын Нины Иосифовны и Павла Петровича Владимир (в последующем – выдающийся ученый-химик, академик Владимир Павлович Гензель; 1914–2002) был любимым учеником и аспирантом В. Н. Ипатьева. А Нина Иосифовна до конца своих дней переписывалась с Анной Владимировной, поддерживала ее после смерти родителей.

Сегодня имя выдающегося химика Владимира Николаевича Ипатьева более чем почитаемо на родине: проводятся круглые столы и конференции, посвященные жизни и деятельности великого ученого, издаются научные статьи, открываются выставки. Начало 2018 года было ознаменовано еще одним событием: 25 января в историко-краеведческом музее средней школы № 1 села Товарково, в рамках просветительного семинара «Возвращение из небытия имени Ипатьева В. Н. – великого русского химика», состоялось открытие экспозиции, посвященной жизни и деятельности великого химика. По сути, это первый и, к сожалению, по сей день единственный музей В. Н. Ипатьева в России. В том же 2018 году режиссером Алексеем Васильевым был создан документальный фильм «Владимир Ипатьев. Химия жизни».

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Академик В. Н. Ипатьев. В 2-х кн. Кн. 2 / Сост. В. Д. Кальнер / М., 2011. – С. 17.
2. Там же. – Сс. 24-25.
3. Академик В. Н. Ипатьев. Кн. 3 / Под ред. В. Д. Кальнера / М., 2018. – С. 16.
4. Там же. – С. 13.
5. Мать Варвары Дмитриевны, Софья Федоровна Гельцер (1842–1910), была родной сестрой Анатолия Федоровича Гельцера, Василия Федоровича Гельцера (артист балета, педагог; 1840–1909) и Федора Федоровича Гельцера (артист балета, педагог; 1839–?). По некоторым неподтвержденным документально данным Софья Федоровна Гельцер была гражданской женой Дмитрия Флоровича Ермакова, сына известного в царской России мецената Флора Яковлевича Ермакова (1815–1895).
6. Академик В. Н. Ипатьев. Кн. 1. – Сс. 34-35.
7. Там же. – С. 35.
8. Там же. – С. 264.
9. *Корин, А.* Бобровая шуба академика. Неизвестная премия // «Иные Берега». 2011. № 3 (23). – Сс. 38-39.
10. Академик В. Н. Ипатьев. Кн. 1. – С. 384.
11. Там же. – С. 384.
12. Цит. по: Академик В. Н. Ипатьев. Кн. 1. – С. 384.
13. Академик В. Н. Ипатьев. Кн. 2. – С. 171.
14. Там же. – С. 171.
15. Государственный архив Эстонии. ERA.1.1.8506.7269т.
16. Академик В. Н. Ипатьев. Кн. 2. 2011. – С. 174.
17. *Ронин, В. К.* Русское Конго: 1870–1970. Книга-мемориал. В 2 т. Т. 1 / М., 2009. – Сс. 207, 257, 314.
18. Указ. соч. Т. 2. – Сс. 15-16. В других источниках, в т. ч. и в воспоминаниях В. Н. Ипатьева, используется название «Эфири» – «эфирин».
19. Академик В. Н. Ипатьев. Кн. 3. – С. 95.
20. Там же. – Сс. 95-96.
21. *Ронин, В. К.* Указ. соч. Т. 2. – С. 125.
22. Там же. – С. 125.
23. Незабываемые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917–1999. В 6 тт. Т. 3. И–К // Сост. В. Н. Чуваков; под ред. Е. В. Макаревич / Рос. гос. б-ка, М., 2001. – С. 98.
24. По белу свету. Н. В. Ипатьев // «Русский врач в Чехословакии», 1935. №7-8.
25. ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 1216. Л. 9.
26. ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 1216. Л. 7-9 (из Личного дела В. В. Ипатьева, сост. 1937 г.).

27. Академик В. Н. Ипатьев. Кн. 3. – С. 21.
28. Там же. – Сс. 74, 93.
29. Трояновский Александр Антонович (1882–1955), советский дипломат, первый посол СССР в США (1933–1938).
30. Подробнее см.: Академик В. Н. Ипатьев. Кн. 3.
31. Академик В. Н. Ипатьев. Кн. 3. – С. 99.
32. Там же. – С. 116.
33. Там же. – Сс. 118–119.
34. Там же. – С. 119.
35. ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 1216. Л. 11–12.
36. Академик В. Н. Ипатьев. Кн. 3. – С. 120.
37. Сведения из архива семьи Черкасовых.
38. См.: ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 3539. Л. 29–31.
39. Юзвикевиц Наталья Францевна (22.07.1867–1909; в замуж. Лучковская) родилась в семье генерал-майора Франца Ивановича Юзвикевица (1.04.1835–1902) и Олимпиады Николаевны Юзвикевиц (ур. Басова; 1846–1912). Помимо Натальи, у Юзвикевиц было еще двое детей: Николай (1864–1892) и Зинаида (1869–?; в последующем – жена генерала от артиллерии В. П. Мамонтова). Ф. И. Юзвикевиц – генерал-майор, с 1893 – начальник Курского окружного артиллерийского склада, Киевского артиллерийского округа. «Кавалер орденов Св. Владимира 3-й и 4 степени, Св. Станислава 2-й степени с короной, Св. Анны 2-й и 3-й, Св. Станислава 3-й степеней... бронзовые медали в память войны 1853–1856 гг. и в память усмирения Польского мятежа 1863–1864 годов» [см.: РГВИА. Ф. 409. п/с 376–841 (1893). Л. 24–28 об.].
40. См.: *Ромашкевич А. Д.* Список кадетам Петровского Полтавского кадетского корпуса, окончившим с 1891 по 1908 гг. Приложение к Материалам к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1-го октября 1907 г. по 1-е октября 1908 г. Год пятый / Полтава. 1908. – С. 41; Общий список офицерским чинам РИА. Составлен по 1 января 1909 г. / СПб, 1909. – С. 634; Общий список офицерским чинам РИА. Составлен по 1 января 1910 г. / СПб, 1910. – С. 160; РГВИА. Ф. 2177. Оп. 7. Д. 1395.
41. РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 24. Д. 1473 (из личного дела В. А. Лучковского).
42. См.: «Открытый список». Лучковский Всеволод Алексеевич. URL: <https://tinyurl.com/y56kr36y>
43. ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 28840. Л. 197–204.
44. СПбФ АРАН. Ф. 941. Оп. 1. Д. 49. Л. 1, 1 об. В письме сохранено авторское написание слов.
45. СПбФ АРАН. Ф. 941. Оп. 1. Д. 42. Л. 2–6.
46. Некролог Н. И. Гензель / *Chicago Tribune*, Wed, Sep. 22, 1954.

# ПАМЯТИ УШЕДШИХ

## Памяти Г. С. Туник-Роснянской (1931–2021)

12 января этого года в районе большого Вашингтона на девяностом году жизни скончалась Галина Сергеевна Туник-Роснянская, член-основатель комитета «Книги для России», лингвист, профессиональный дипломатический переводчик, активный деятель вашингтонского отделения Русской Академической Группы в США.

Г. С. Туник-Роснянская родилась 5 октября 1931 года в столице независимой Латвии, Риге. Была она дочерью русского юриста и участника Белого движения Сергея Александровича Туника и его жены Анны Федоровны. В Риге Галина училась в русской школе, в Германии окончила немецкую среднюю школу. В США семья приехала в 1950 году. В 1954 году она окончила Джорджтаунский университет в Вашингтоне с дипломом бакалавра; там же получила степень магистра по русской литературе и истории, а в 1969 году защитила докторскую диссертацию по лингвистике. Галина Сергеевна была полиглотом: помимо владения в совершенстве русским, английским и немецким она знала латышский и французский языки; изучала она также латынь (непременный предмет в немецких классических гимназиях) и была знакома с санскритом и японским.<sup>1</sup>

Галина Сергеевна имела богатый педагогический опыт: она преподавала русский и немецкий языки в Мэрилендском университете, затем русский язык в университете Колорадо (1969–1972) и в Калифорнийском университете до 1974 года, когда поступила в Государственный департамент на должность дипломатического переводчика. На этой ответственной работе она работала синхронным переводчиком на международных конференциях по всевозможным, подчас чисто техническим, вопросам, вплоть до переговоров по разоружению между США и СССР, требовавших быстрого освоения специальной терминологии. Работала она и при встречах на высшем уровне; ей довелось переводить для четырех президентов США.

Несмотря на нагрузку по переводческой работе, Туник-Роснянская долго не покидала академической деятельности, продолжая преподавать русский язык в Американском Университете в Вашингтоне. В ее послужном списке имеется также девять печатных работ, включая статьи о русском эпосе, теории лингвистики и исследование о русском глаголе «быть»<sup>2</sup>. Приняла она также участие в сборнике статей, посвященном 400-летию Дома Романовых, который вышел на английском языке в 2019 году под редакцией П. Н. Колтыпина<sup>3</sup>. Основная тема сборника – помощь, которую

Российская Империя оказывала на разных этапах своей истории различным странам мира, в том числе и Америке.

Галина Сергеевна была замужем за инженером Георгием Сергеевичем Роснянским, скончавшимся в 2005 году. Супруги были исключительно отзывчивыми, щедрыми на помощь – советом, делом, деньгами, вещами, здесь и в России. В СССР, потом в России, Галина Сергеевна бывала раз семьдесят, как по долгу службы, так и в частном порядке, сочетая это всякий раз с оказанием помощи нуждающимся. Ее стараниями была организована в России помощь многодетным семьям, а в Южной Америке – русским старикам<sup>4</sup>.

Выйдя на пенсию, Галина Сергеевна подготовила к печати воспоминания своего отца, опубликованные под названием «Белогвардеец; воспоминания о моем прошлом»<sup>5</sup>. Воспоминания заканчиваются переселением Туника в Латвию после Гражданской войны и первыми годами там, вплоть до женитьбы и рождения дочери. В своем послесловии Г. С. Туник-Роснянская проливает свет на дальнейшую судьбу семьи. Она пишет: «Вот и перевернута последняя страница воспоминаний моего отца. Он писал их для меня и потому запечатлел лишь те события, которые были в ‘прежней жизни’. Все дальнейшие события в Германии, а потом в США, происходили уже при мне. Хочу кратко рассказать об этом»<sup>6</sup>.

Начинает она с занятия Латвии в 1940 году Советским Союзом, когда туда вошла Красная Армия: «Родители жили тогда в собственном доме, который папа построил с большой любовью. Через год немецкие войска потеснили красных, но было ясно, что это ненадолго. Все пришлось бросить в 1944 году, и на корабле Красного Креста, под бомбами едва удалось уйти от большевиков».

Семья Туник была не единственная, перед кем встал вопрос выбора из двух зол: сталинский террор, который они испытали за страшный год советской оккупации, с июня 1940-го по июнь 1941-го, или гитлеровская Германия. В первом случае репрессии были неизбежны; во втором – была надежда попасть в стан приближавшихся западных союзников. Об этом Туник-Роснянская вспоминает: «Наша семья остановилась в немецком городе Эрфурте, но в 1945 году вновь пришлось бежать. Не только мы, но и многие тысячи людей, опять бросив всё, длинными колоннами уходили пешком по автострате на запад». Девочка Галина лежала, привязанная к чемоданам на тележке, которую в течение двух недель тащил ее отец.

Потом началось длительное пребывание в лагере для «перемещенных лиц» в американской зоне оккупации. Будучи латвийскими гражданами, семья попала в лагерь для балтийских беженцев в Висбадене. А дальше что? «Перемещенным лицам было предложено остаться на постоянное жительство в Германии или переехать в США, Канаду, в Южную Америку или Австралию.» Предпочтение оказывалось США, куда можно было попасть по вызову работодателя, что тоже было непросто: «Такую слабую рабочую силу, как наша

семья, вряд ли кому-нибудь хотелось выписывать: папе было близко к шести-десяти, маме — почти пятьдесят, а я еще не могла работать. Мы долго ждали, и наконец папа получил вызов от одного фермера в штате Миссисипи.

Фермер и его жена были богатые землевладельцы и скотоводы. Богатые, но скупые. «Нашим жилищем, — вспоминает Галина Сергеевна, — оказалась кое-как построенная избушка на столбах, как на курьих ножках. Там были две комнаты и кухня. Не было ни воды, ни канализации, ни холодильника. Мы спали на полу.» А труд оказался рабским: «Папе было предложено вспахать опушку леса лошадью с плугом. Упряжь была из рваных веревок. Через каждые три-четыре метра плуг натыкался на кочку, приходилось выкорчевывать. В дождь пахать было нельзя. В последний день месяца фермер торжественно выплатил папе жалованье, но не 45 долларов, а 42.50, сказав с улыбкой: 'Вы два дня отдыхали.'».

Многие прибывшие в США после Второй мировой войны трудно начинали в Америке свою жизнь, не гнушаясь никакой работы, в том числе и черной, но мало кому пришлось так плохо: «Мы буквально голодали. Это рабское существование прекратилось, когда папа написал в Лондон и получил свои пенсионные деньги от фирмы 'Шелл', в которой он в Риге занимал хорошее место». Положив деньги в банк, родители объявили фермеру, что по истечении контракта семья немедленно переедет в Мемфис в штате Теннесси. Там отец и мать получили скромную, но надежную работу и сняли удобную маленькую квартиру.

О следующем этапе на американской земле Галина Сергеевна пишет: «Через несколько лет, благодаря участию в нашей судьбе в Мемфисе русского художника [Сергея] Бонгарта, я получила стипендию в Джорджтаунском университете и переехала в Вашингтон, куда вскоре перебрались и родители. У отца наконец появилась возможность достойно реализовать свои способности — его пригласили преподавать русский язык в Джорджтаунском университете. Он вступил в Общество русских юристов за рубежом и с гордостью носил свой значок юридического факультета».

В 1957 году, сообщает дочь, Сергей Александрович Туник устроился работать сторожем на стройке, «чтобы иметь время писать свои воспоминания, о чем я его давно просила». Последние годы жизни родители ее провели в тихом провинциальном городке Ричмонд, расположенном в живописной местности штата Мэйн, где они приобрели собственный просторный двухэтажный дом. Отчасти из-за дешевой недвижимости, отчасти из-за природы, напоминавшей родные края, в Ричмонде образовалась во второй половине 1990-х годов целая колония русских пенсионеров, насчитывавшая одно время до пятисот человек. Там было два русских прихода и один украинский, работали русская гостиница и русский ресторан; в продовольственных магазинах торговали икрой и гречкой<sup>7</sup>. Галина Сергеевна сообщает такие подробности: «На улицах города слышалась русская речь. В кварта-



ле, где жили родители, пять домов были приобретены русскими эмигрантами. Ближайшие соседи с левой стороны были Великая княжна Вера Константиновна Романова и дочь генерала, участника Русско-японской войны, которая в свое время была при Дворе, Лидия Павловна Ренненкамф. Через два дома жил полковник Рогожин, а далее находился особняк Русского Корпуса и устроенная при нем церковь».

Постепенно «русский Ричмонд» стал вымирать. Сегодня от него почти ничего не осталось, кроме действующего Александро-Невского храма. Туда, под его синий купол, съезжаются на богослужения православные со всей округи<sup>8</sup>. А на Ричмондском кладбище над могилами бывших жителей городка стоят православные кресты. Здесь покоятся и родители Г. С. Туник-Роснянской. Сама Галина Сергеевна похоронена рядом со своим мужем на Ново-Дивеевом кладбище в штате Нью-Йорк.

*Людмила Оболенская-Флам*

---

Автор выражает благодарность Н. Б. Монтвиловой за предоставленные сведения.

1. *Александров, Е. А.* Биографический Словарь «Русские в Северной Америке» / Хэмден-Конектикут, Сан-Франциско – Санкт-Петербург, 2005. – С. 511.

2. Там же.

3. Imperial Russia – Aid to the United States and the World. A Collection of Historical Articles Commemorating the House of Romanov 400th Anniversary, 1613–2013 / Stratford, CT: Birch Tree Publishing, 2019.

4. Там же.

5. *Туник, С. А.* Белогвардеец. Воспоминания о моем прошлом / Москва: «Русский путь», 2010. Презентация книги прошла в Доме Русского Зарубежья имени А. И. Солженицына. Директор Дома В. А. Москвин заметил, что книга состоялась, во многом благодаря замечательной памяти автора, сохранившей до мелочей воспоминания о событиях былого, а также благодаря его мастерской манере изложения. Старший научный сотрудник отдела истории Российского Зарубежья ДРЗ А. В. Марыняк отметил, что в книге представлен крайне редкий для мемуаров этого периода взгляд на события предреволюционной России, Первой мировой и Гражданской войн и на Великий Русский Исход – взгляд «чиновника запасного полка, стоящего в глубинке России», замечательное свидетельство «изнутри». В свою очередь, Галина Сергеевна поделилась своими воспоминаниями об отце, который начал рассказывать ей первые «правдочки» – короткие рассказы о своем детстве в России, когда она была еще совсем маленькой: «Мне было так же интересно слушать их в 18 лет, как и тогда, когда мне было четыре года», – сказала она. URL: [https://www.domrz.ru/press/news/pravdochki\\_sergeya\\_tunika/?sphrase\\_id=8307](https://www.domrz.ru/press/news/pravdochki_sergeya_tunika/?sphrase_id=8307)

6. *Туник-Роснянская, Г. С.* Послесловие / *Туник С. А.* Белогвардеец. Воспоминания о моем прошлом. – Сс. 295-299.

7. URL: <https://downeast travel-outdoors/Richmond, Maine>

8. Там же.

# Сергей Львович Голлербах

1923–2021

19 февраля в Нью-Йорке скончался художник Сергей Львович Голлербах (1923–2021). Он родился в России. Прожил 97 лет, из них более семидесяти – в США. Он всегда был и оставался до последних дней своих летописцем Русской Америки – в красках и в слове. Его жизнь неразрывно связана с «Новым Журналом»; на протяжении долгого времени он был его автором и президентом корпорации.

Сергей Львович Голлербах похоронен на Русском кладбище в Ново-Дивеево. Прими, Господи, его душу!

*Редакция «Нового Журнала»,  
The New Review Inc.*

## Едокам лотоса

*Вместо некролога*

«...он подумал: так, возможно, душа ведет на поводке наше бренок тело. Душа вечна и неизменна, а тела изнашиваются, как всякая одежда. Перевоплощение – это смена костюмов, а недовоплощение – вечные короткие штанишки. Говорят ведь, что в самом зрелом мужчине остается что-то от маленького мальчика, а у зрелой женщины – от маленькой девочки. Поэтому быть недовоплотившимся – нормальное состояние», – так заканчивается последняя книга эссе Сергея Голлербаха. Он ушел на рассвете 19 февраля, во сне. Легкая смерть – как поцелуй Господа, будящего сына своего: пора, возвращайся ко Мне!

Тема недовоплощения занимала его все последние годы. Она зрела в нем от ощущения подмененной судьбы. Впервые эта мысль возникла у Сергея Львовича после поездки в Россию. В Москве он попал на дни празднования Победы – и вдруг испытал что-то вроде смущения от того, что его опыт войны отличен от опыта его школьных товарищей. Странное такое чувство отделенности от своего поколения – его коллективной памяти и воспоминаний. Странная тоска по судьбе непрожитой. Кажется, это и принудило задуматься о вариативности человеческого существования, о подмене судьбы и о недовоплощенности Божьего замысла собственно о нем.

Пережитого же самим Голлербахом хватило бы на несколько поколений.

Родился Сергей 1 ноября 1923 года в Детском Селе – бывшем Царском, что уже не могло не наложить отпечаток на его личность. Да и семья была особенной, замечательной семьей. Предки его со стороны отца, отправившиеся из бедной Баварии на заработки в Российскую империю, удачно повели свой бизнес: дед был знаменитым кондитером в Царском Селе и, по городским легендам, именно в его кафе ели пирожные влюбленные Ахматова и Гумилев. А мирискусник дядя Эрих Голлербах блистал на лоне отечественной культуры... Мать тоже принадлежала к семье именитой – в других кругах, офицерско-имперских, – и дедушка генерал-майор Алексей Алексеевич Агапов, конечно же, не одобрил бы этот брак-мезальянс; но союз с инженером Львом Федоровичем Голлербахом оказался счастливым.

Впрочем, трудно говорить о счастье в годы Большого террора. В «чистке» Ленинграда после убийства Кирова брата Людмилы Алексеевны, бывшего белого офицера Сергея Агапова, услали в ГУЛаг, жену и дочь его – на Урал. Эта ссылка окажется судьбоносной для всей мировой культуры, ибо именно к поселянке Анне Агаповой, бывшей балерине Дягилева, придет на занятия худенький башкирский мальчик Рудик, и она «поставит» ему ножку, и вырастет из него звезда Рудольф Нуреев. Такой вот зигзаг судьбы.

Сослали и семью Голлербахов. – «Отца арестовали, но через две недели выпустили, дав нам трехдневный срок собрать вещи и ехать в административную ссылку в Воронеж. Там мы прожили два года, отец получил амнистию, и мы смогли вернуться в г. Пушкин (так стало называться Детское Село).» В это же время в Воронеже жил ссыльный Мандельштам, но они не встретились. А уже в США Сергей Голлербах станет автором обложки первого Собрания сочинений поэта (в 3-х тт.), подготовленного Глебом Струве и Борисом Филипповым в издательстве «Inter-Language Literary Associates» (этим изданием еще долго будут пользоваться как единственным).

Мать начала преподавать в Политехническом – была она, к тому же, замечательной переводчицей с немецкого; одаренный подросток Сережа поступил в Художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры.

С началом войны отца мобилизовали, в почти мгновенно оккупированный немцами Пушкин известия от него не доходили, – он воевал, был ранен, комиссован, успел доехать до Анны Агаповой, единственной оставшейся родственницы, – там и скончался вскоре; могила его утеряна. Впрочем, всё это узнал Сергей Львович лишь в конце 1970-х, когда встретился с кузиной Мариной и она поведала о судьбе семьи Голлербахов-Агаповых.

А Сергей с матерью, прямо от окопных работ, оказался закры-

тым «на оккупированной территории». Пушкин умирал от голода. Рядом умирал блокадный Город Петра. Первой же военной зимой их вывезли немцы, на принудительные работы, – парадоксальным образом, тем самым сохранив жизнь. Хотя ад трудовых лагерей для остарбайтеров трудно определить как «жизнь», скорее – как длящуюся в ней паузу; рабский труд, голод, насилие сливаются в один бесконечный сюрреалистический замерзший звук.

Звук бомбежки. Сергей Львович не раз рассказывал об американских бомбежках 1945-го – когда земля словно оживала и билась в тело прижавшегося к ней человека, а единственная мысль – «только не в меня!» – стучала в висок... Как вдруг он понял: если не в него, то значит – в рядом лежащего. И четкое осознание своей ничтожности, своей почти греховности захлестнуло... Он так и не избавился от этого чувства *стыда за несовершенное, за помысленное* лишь, вновь и вновь переживая его.

Очищает ли нас осознание собственной греховности? На это ли возвышенное движение духа рассчитывает Господь, подвергая нас испытаниям во имя нашего воскресения?.. Многие ли способны понять смысл такого испытания?.. Да и – просто пережить его...

Голлербах часто говорил о «банальности зла» – простая мысль Ханны Арендт не давала ему покоя, отторгая от принятой бытовой морали – но и искушая «живой жизнью»: наслаждаться и радоваться, как в последний раз.

О банальности. Здесь необходимо внести уточнение: в своем диалоге с Мефисто художник является его безусловным, но и равным, собеседником-оппонентом, – пусть искушаемым Фаустом, но различающим всю полноту гаммы Света. Иначе он не художник.

Творчество Голлербаха – «трагедофарс по преимуществу», когда-то заметил умный Борис Филиппов. Друг Иван Елагин в шутовском стихе написал о героях Голлербаха: «угловатые уроды голлербаховской породы»... Сам же Сергей Львович искренне признавался мне: ведь для художника нет некрасивой природы; более того, чем уродливее, безобразнее человек или предмет – тем он интереснее, потому что в нем ярче выражена форма. Для Голлербаха форма была и оставалась основой творческого метода, его эстетики – и художника, и эссеиста, и человека. Он опирался на немецких экспрессионистов и любил эту мысль о первичности формы – именно из нее рождается всё. Профессор Герман Каспар, учитель Голлербаха в Мюнхенской Академии художеств, ценил византийские мозаики и русскую икону и провозглашал случайной паре русских студентов-дипломцев: «Вот ваше лучшее, а остальное – картинки!» Форма канона как абсолютная форма – фундамент высокого искусства и духовности...

...А обучение в Академии Голлербах оплатил «дипийской валютой»: две пачки американских сигарет за семестр. Сигареты же он получал, рисуя солдат и офицеров в военном клубе.

Молодость легко адаптирует обстоятельства. Но в тех первых послевоенных годах очень важно различить еще и упорство, и труд молодого Голлербаха в его противостоянии судьбе. Кажется, он всерьез решил тогда сам лепить форму своей жизни.

О форме Голлербах много размышляет в книге философских эссе на темы искусства «From a Personal Point of View». В целом легко принимая любое течение в искусстве, он иной раз с жестким сарказмом оценивал то или иное произведение – не оглядываясь на имена и авторитеты. Так досталось и известной «меховой чашке» Мэрет Оппенгейм – именно за посягательство на форму, всё остальное Голлербаха не смущало. Он и сам был всегда готов к эксперименту – искусно балансируя на грани смыслов и самых фантастических сюжетов, но поражая органичностью форм высказывания, – великолепный немецкий экспрессионизм на американской земле. Русская душа, немецкий ум, американский дискурс.

И первой четкой линией в этом скетче своей новой судьбы было решение не возвращаться в СССР. Желания поработать в ГУЛаге как-то не возникало, он «унес Россию с собой», как унес его старший друг и наставник Роман Гуль, – как унесли миллионы беженцев от «коммунистического рая» до и после Голлербаха.

На новую землю он попал 5 ноября 1949, на американском транспортном судне «Генерал Баллу», перевозившем дипийцев из Германии в США; прибыл в Бостон. Оттуда в тот же день Голлербах добрался до маленького городка Уильтон в штате Коннектикут, где жила его «поручительница», спонсировавшая отъезд. Всего четыре дня назад Сергею исполнилось 26 лет, за его плечами оставалась старая, отброшенная навязанная судьба. Нужно было всё нарисовать по-своему.

У милой старушки Кумпф он прожил три месяца: в качестве «сезонного работника» сгребал листву, подрезал кусты, выгуливал собак, убирал дома богатых соседей. В Нью-Йорк, в «Город греха», заботливая «поручительница» ехать не советовала. И, конечно же, уже 11 ноября Сергей ступил на Пятую Авеню – шел парад в честь Armistice Day. Мирный праздник с военным уклоном. В феврале 1950-го он переехал в «Город греха» окончательно.

Голлербах был подлинным певцом Города Большого яблока – понимая, как никто, его искусительную притягательность. Они были похожи в главном: в абсолютной освобожденной творческой энергии, требующей всё новых и новых форм, – что не позволяло им обоим воплотиться до конца... Но Голлербах, без сомнения, нашел свой город.

Первое рабочее место он обрел в мастерской шелкографии «Хильда Ньюмен Студио» на углу 112-й и Бродвея. Там же трудились многие эмигранты второй волны. Затем была ненависная Квинс-Плаза, литографическая фирма «Киндред МакЛин», где он проработал десять лет рекламщиком... Параллельно – учеба в Art Students League (1951) и American Art School (1952). Он лепил себя нового – кропотливо отсекая всё лишнее, прорисовывая образ.

Свою первую комнату он снял за сорок долларов у черной хозяйки на углу 135-й и Бродвея. И дом, и район были обильно заселены русскими эмигрантами. Обо всем этом Сергей Львович позднее напишет в своих книгах – его мемуары станут уникальным архивом послевоенного русского Нью-Йорка, собранием фактов, портретов и рассказов из ненаписанной истории дипийцев, потерянной истории Зарубежной России. Другого такого источника нет – и им стоило бы воспользоваться, чтобы хоть чему-то научиться.

Он оставил себя в этой эмигрантской истории и как автор книжных обложек – известных эмигрантских изданий Осипа Мандельштама и Николая Гумилева, книг Ивана Елагина... без этих книг в современной России так и не узнали бы – не вспомнили – о тех, кого она потеряла.

Но он лепил себя не как эмигрант. Это была *его* земля – и *его* жизнь. И эта новая жизнь вмещала всё – и его русский мир, и его вне-национальную вселенную. Через пять американских лет Голлербах стал членом American Watercolor Society. В течение двадцати лет он преподавал в художественной школе National Academy of Design. Он был среди ее пяти русских академиков; он состоял в престижных профессиональных союзах American Watercolor Society, Allied Artists of America, Audubon Artists и National Society of Painters in Casein and Acrylic. Его персональные выставки проходили в Европе и США; сегодня многие галереи могут похвастаться тем, что в их коллекциях представлены его работы... Он – автор нескольких учебников по рисунку, его бывшие студенты и есть основа творческого интеллектуального мира современной Америки. И не без гордости – но с огромной иронией – рассказывал он мне, как принимали его в члены старейшего американского закрытого мужского клуба «Лотос», – из «советских» там оказались лишь Голлербах да, позднее, Барышников.

Согласно легенде, люди, отведавшие лотоса, остраниются от будней и переносятся в мир возвышенных чувств. Какой изящный завиток, выведенный в судьбе ироничной рукой художника...

Работая над большинством его богатого иллюстрированных книг эссе – а особенно над еще готовящейся к печати книги графики – я каждый раз поражалась четкой уверенной линии: рука художника не

знала сомнений. Он, безусловно, был мастером. И, безусловно, в совершенстве владел ремеслом. Но еще он был *гением линии*. Этому нельзя обучиться – это подарок от Бога.

В литературе он выбрал жанр эссе – в чтении легкий, неприужденный (как он сам в общении с людьми), но какой же тяжелый в работе! Умеющих писать эссе сегодня практически нет – жанр требует тонкого понимания сути темы и, главное, абсолютного владения словом – расписывается крыло бабочки, филигранное, тонкое, лаконичное, четкого рисунка... Голлербах владел жанром.

На его писательский талант обратил внимание еще Роман Гуль. Первый текст уже знакомого ему молодого художника Гуль опубликовал в «Новом Журнале» в № 121 за 1975 год; позднее из текстов родилась книга «Записки художника». Более сорока лет Голлербах писал для НЖ. Десятки книг вышли из-под его пера, в том числе – и в новожурнальном издательстве. Много лет он возглавлял корпорацию «Нового Журнала», всегда – был ее душой.

После выхода в 2013 году первой книги мемуаров в издательстве The New Review Inc. – «Нью-йорский блокнот» – Сергей Львович вступил в Союз американских писателей, National Writers Union; и ребячливо пошутил: «Ну вот, теперь я не только известный художник, но еще и признанный писатель»...

Когда-то Вячеслав Завалишин заметил о нем: «Эти статьи и эссе похожи на беседы – как бы на прогулке тебе объясняют живо и просто, а то и с иронией, что есть мир искусства и мир людей искусства. Рисунок у него – это жертвенный дар земному, обиходному. А краски – это мольба, обращенная к небесному. В этом смысле многие работы С. Голлербаха построены на умеренном контрасте между земным и небесным.»

Умеренный контраст. Воздушность линии. Деликатность чувства. Жертвенный дар земному. Мудрость любви. Тонкой иронией пронизано всё его существо. Ирония – такое удивительное свойство нашего интеллекта, которое остраивает нас от мира, усаживает в плетеное кресло уличного кафе и убеждает наблюдать за происходящим – со стороны; оценивая, но не вынося вердикта. Да и какой вердикт! Ведь мир так обыден. Так неповторим в своей обыденности. Собственно, в этом и есть правда его формы.

«Всё же... всё же как хочется знать, что такое полное воплощение! Далеко не все одержимы этим желанием, но знающих его называют творческими натурами со всеми вытекающими отсюда последствиями». – Сергей Голлербах, «Размышления недовоплотившегося человека».

*Марина Адамович*

# ОБ АВТОРАХ

АРУТЮНОВА Каринэ. Художник, прозаик, поэт. Автор книг «Пепел красной коровы», «Скажи: красный», «Нарекания от Лилит», «Падает снег, летит птица», «Цвет граната, вкус лимона» и др. Финалистка литературного конкурса «Малая проза» (2009, Израиль). Лауреат литературного конкурса памяти поэта Ури Цви Гринберга в номинации «Поэзия» (2009). Лауреат премии НСПУ им. Владимира Короленко (2017).

БАТШЕВ Владимир (1947, Москва). Прозаик, поэт, издатель. В СССР был членом нелегальной группы СМОГ, приговорен к 5 годам ссылки. Участник диссидентского движения. Окончил ВГИК. 23 года публиковался под псевдонимом. Возглавлял московское представительство изд-ва «Посев» (1989–1991). В 1993 году организовал издательство «Мосты». В 1995 г. эмигрировал в Германию. Редактор журналов «Литературный европеец» и «Мосты». Автор 15 книг, в том числе романа «1948» (Часть 1, 2019). За 4-х-томное литературное исследование «Власов» удостоен международной премии «Veritas» (2005). Лауреат литературной премии им. Марка Алданова (2007).

БЕЛЯЕВ Александр (1982, Москва). Поэт, переводчик, теоретик и практик японского и китайского письма. Окончил РГГУ. Член Американского ПЕН-центра, лауреат международного поэтического конкурса Atlanta Review (2016). Автор около 50 публикаций, поэтических сборников на русск. и англ. языках (Россия, США). Каллиграфические работы неоднократно выставлялись на различных выставках в Москве и на биеннале в Южной Корее.

ВЕЛЕВ Георгий (1952, Казанлък, Болгария). Литературовед, журналист, издатель. Окончил Софийский университет им. Св. Климента Охридского. Преподавал, работал редактором агентства «София-Пресс», в издательствах «Септември», «Летописи». Автор книг «Непрочтената 'Илиада'», «Посланието Побити камъни» (на англ. «The Message Pobiti Fossil Forest»), «Български литературни загадки: Елин Пелин, Йордан Йовков, Емилиян Станев», «Достоевски. Шекспир. Приключения зад сцената». Живет в Софии.

ВЕЙЦМАН Александр (1979, Москва). Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Окончил Гарвардский и Йельский университеты. Автор публикаций в журналах «Знамя», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Дети Ра» и др. Автор книги стихотворений «Лето, взятое в скобки». Член редколлегии журнала «Интерпоэзия». Живет в Нью-Йорке.

ВУЛЬФИНА Лариса (г. Чехов). Историк, журналист, коллекционер. Окончила исторический факультет КГУ (Киев). Автор статей в журналах и



научных изданиях о художниках первой и второй волн русской эмиграции, книг «Москва как место проживания. Д. П. Сухов. Архитектор. Реставратор. Художник» (соавтор Т. А. Дудина), монографии о художнике Н. Ремизове «Неизвестный Ре-Ми». Американский корреспондент альманаха «Панорама искусств» (Москва) и журнала «Антиквар» (Киев). Живет в Филадельфии.

ГЕРРА Ренэ. Доктор филологических наук Парижского университета, литературовед, издатель, собиратель и исследователь культурного наследия Зарубежной России. Основатель издательства «Альбатрос» (Франция); выпустил более 40 книг писателей первой и второй волн русской эмиграции. Автор, соавтор или составитель многочисленных книг о писателях и художниках-эмигрантах, в т. ч. «Русское искусство в изгнании в Париже 1920–1970»; «Русское искусство в изгнании во Франции»; «Они унесли с собой Россию...»; «Младшее поколение писателей Русского Зарубежья»; «Культурное наследие Зарубежной России» (2020) и др. Автор более 400 научных и публицистических статей по культуре русской эмиграции. Президент-основатель Общества по сохранению русского культурного наследия во Франции. Почетный член Российской академии художеств, лауреат Царскосельской художественной премии, Литературной премии им. Антона Дельвига и др.

ЁХИНА Наталья Александровна (1971, Москва). Историк. Окончила исторический ф-т МГУ, там же аспирантуру; кандидат исторических наук. В сфере научных интересов – история Русского Зарубежья. Автор публикаций в периодике и научных сборниках. Принимала участие в съемках документального фильма «Владимир Ипатьев. Химия жизни» (2018).

ЖУРБИНСКИЙ Илья (Молдавия). Поэт, прозаик. Работает консультантом по программному обеспечению информационных технологий. В 1994 году был председателем 5-го Международного конкурса поэзии «Пушкинская лира», лауреат конкурса 1992 года, конкурса Клуба поэтов (Нью-Йорк, 1995), премии газеты «Литературные известия» (2017). Стихи, эссе и проза печатались в «Литературной газете», НГ Ex-Libris, в «Новом русском слове», на портале Textura и др. Автор сборника стихов «По грибы» (Кишинев). Участник международного поэтического проекта CORONAVERSE. С 1992 живет в США.

ЗАХАРОВ Сергей Валерьевич, (1976, Беларусь). Прозаик. Окончил Гомельский ГУ по специальности «английский язык». Работал преподавателем английского языка, переводчиком, служил в пограничных войсках Республики Беларусь, был фермером, торговцем, грузчиком, радиотелеграфистом. Живет в Каталонии (Испания), занимается экскурсоводческой деятельностью. Лауреат Премии им. Марка Алданова.

КАПОВИЧ Катя. Двуязычный поэт, прозаик, переводчик. Автор 9-ти поэтических сборников на русском языке и двух на английском, в том числе «Город неба» (2020). Публиковалась во многих журналах, включая «Знамя», «Новый мир», «Звезда», «London Review of Books», «The New Republic», «Harvard Review», «The American Scholar» и др.; в антологиях «Poetry-180» и «Best American Poetry». Книга «Gogol in Rome» получила премию Библиотеки Конгресса (США) в 2001. В 2007 г. получила стипендию Амхерст Колледжа «За мастерство в литературе». Лауреат «Русской премии». Участник международных поэтических фестивалей в Лондоне, Роттердаме, Москве, Париже, Осло и др. Живет в США.

КАЦОВ Геннадий (1956, Евпатория). Поэт, журналист. Окончил Николаевский кораблестроительный институт. С 1989 года живет в США. В 1989-91 гг. вел передачи по культуре в программе «Поверх барьеров» на радио «Свобода». С 2010 г. – владелец и гл. редактор портала RUNYweb.com; также работает на телевидении RTN/WMNВ. Автор книг «Притяжение Дзэн», «Словосфера», «Меж потолком и полом», «25 лет с правом переписки», «Три 'Ц' и Верлибрий», «Нью-йоркский букварь», «На Западном фронте. Стихи о войне 2020 года» (2021) и др. Живет в Нью-Йорке.

КОЛМОВСКАЯ Елена (Москва). Прозаик. Инженер и экономист по образованию, работает в сфере финансового аудита. Занимается историей Белого движения. Автор романов «Белый крест» (2008), «Симфония гибели. Finale» (2010), «Путешественник и Сирены» (2014), а также сборника стихов «Жизнь в стиле ретро». Незданные рассказы представлены на сайте [www.kolmovskaya.com](http://www.kolmovskaya.com)

КУЛЕН Елена (1964, Архангельск). Историк культуры, переводчик. Окончила историко-филологический факультет Северного университета (Архангельск), Институт Восточной Европы при Свободном Университете Берлина (Freie Universität). Работает в качестве историка-слависта в рамках научного исследования о русских ДиПи в послевоенной Баварии.

МОРГУЛИС Михаил Зиновьевич (1942, Киев). Писатель, евангелический миссионер. Окончил Ленинградский институт водного транспорта и школу журналистики Киевского университета. В 1977 г. эмигрировал в США. Окончил Норвичский университет. Один из основателей и главный редактор «Slavic Gospel Press» (ныне изд-во «Христианский Мост»). Автор десятка книг. Лауреат литературной премии им. Марка Алданова (2012). Основатель религиозных организаций Christian Bridges International и Spiritual Diplomacy Foundation.

НЕМИРОВСКИЙ Александр (Москва). Поэт, писатель, хай-трек антрепренер. Основоположник поэтического стиля «Джаз-поэзии». Автор семи книг стихов и прозы. Многочисленные публикации в США, Франции, Финляндии, Германии, России. Лауреат Канадской премии имени Э. Хемингуэя, журнал «Новый свет» (2007). Член Петербургского СП. Основатель и редактор первого звукового литературного журнала «Западное Побережье».

ОБОЛЕНСКАЯ-ФЛАМ Людмила Сергеевна (1931, Рига). Публицист, радиожурналист. Внучка литератора и правоведа Петра Якоби. В 1944 году вместе с семьей оказалась в Германии. После войны окончила Русскую гимназию в Мюнхене, вступила в НТС. В 1970-х гг. работала на радиостанции «Голос Америки»; проработала на радио около 40 лет, пройдя путь от диктора до начальника отдела. С 1997 года два десятилетия возглавляла общественный комитет «Книги для России» (США). Автор книг «Вики, княгиня Вера Оболенская» (1996, 2005), «Правовед П. Н. Якоби и его семья: воспоминания». Публиковалась в русских изданиях эмиграции «Новый Журнал», «Русская Мысль», «Русская Жизнь», «Посев».

ПОПОВ Сергей (1962). Поэт, прозаик. Окончил Воронежский мединститут и Литературный ин-т в Москве. Печатался в журналах «Новый мир», «Звезда», «Юность», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Волга», «Дети Ра», «Новая юность», «Литературная учеба», «Крещатику», и др. Автор книг стихов «Папоротник», «Транзит», «Вопрос времени». «Травы и тропы» (2020) и др., прозы – «Встречи без продолжений», «Мыльный пузырь». Живет в Воронеже.

РАНСКАЯ Алла Геннадьевна (1961, Иркутск). По образованию врач. Возглавляет благотворительный «Фонд П. П. Ершова» в Калифорнии. Работает волонтером в Музее-архиве русской культуры при Русском центре в Сан-Франциско. Автор ряда публикаций в «Новом Журнале», «Художественном вестнике», газете «Русская жизнь» и др. Живет в г. Санта-Круз, США.

САМАРЦЕВ Александр (1947, Москва). Поэт. Окончил Куйбышевский авиационный институт, учился в Театральном училище им. Б. В. Щукина (режиссерское отделение). Публиковался в «Новом мире». Автор пяти книг стихов. С 2014 г. живет в Киеве.

СИДОРОВА Татьяна Александровна (1951, Калуга). Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ Онкологии им. Н. Н. Блохина. Круг научных интересов, помимо медицины, – история. Более 10-ти лет ведет исследовательскую работу по семье Ипатьевых. Стояла у истоков создания единственного в России Музея В. Н. Ипатьева в средней школе № 1 села

Товарково (открыт в 2018). Принимала участие в съемках документального фильма «Владимир Ипатьев. Химия жизни» (2018).

СКОБЛО Валерий Самуилович (1947, Ленинград). Поэт, прозаик, публицист. Окончил матмех ЛГУ. Сборники стихов: «Взгляд в темноту», «Записки вашего современника», «О воде и воле», «За тайной печатью». Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Публикации в журналах: «Арион», «День и ночь», «Звезда», «Зеркало», «Зинзивер», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Нева» и др. Лауреат премии им. Анны Ахматовой (2012).

ШАБАЛИН Сергей (1961, Москва). Поэт, эссеист, переводчик. Окончил нью-йоркский художественный колледж Center for the Media Arts. По профессии – художник-дизайнер. Автор трех сборников стихов. Лауреат журнала «Новая Юность» (2009). Член СП Москвы. Публикации в журналах: «Континент», «Новый Журнал», «Время и мы», «Новая Юность», «Слово/Word», «День и Ночь», «Арион» и др. Эмигрировал в 1977 году. Живет в Нью-Йорке.

ХВИЛОВСКИЙ Эдуард (1946, Одесса). Окончил филфак университета, занимался преподавательской и журналистской работой. С 1993 года живет в США. Автор трех поэтических сборников. Публикации в журналах «День и ночь», «Слово», «Новая Юность».

**The New Review / Novyi Zhurnal** is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

*Patron:* The Tcherepnine Society, Mr. Peter Tcherepnine; Russian Nobility Association in America;

*Sponsors:* American-Russian Aid Association “Otrada”; Mr. Serge Hollerbach; Eli & Ludmila Flam Living Trust; Mrs. Krinka Petrov & Mr. Alexander Petrov; Mrs. Larysa Vulfin & Mr. Yan Vulfin;

*Fellows:* Mr. Gleb Glinka; Mr. Ara Moussaïan;

*Friends:* Mrs. V. Gashurova, Mr. & Mrs. G. Golovin, Mr. A. Nemirovsky, Ms. C. Raëff.

It requires the support of loyal friends for year 2020:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

**THE NEW REVIEW**  
**1216 Broadway, 2nd floor**  
**New York, NY 10001**

**НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ**

**Москва, Россия: Андрей Красильников** – 111024 Москва, а/я 61

**Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах** – тел.: 7-921-940-0421

**Париж, Франция: Виталий Амурский:** [vitaly.amoursky@gmail.com](mailto:vitaly.amoursky@gmail.com)

**Израиль: Марина Кособок-Полонски:** [Polonskybooks@gmail.com](mailto:Polonskybooks@gmail.com)

**«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:**

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2

Магазин «Фаланстер»: Москва, Тверская 17; тел.: 7+495-629-88-21

Магазин «Подписные издания»: 191014 Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 57

Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France

RBC Video / Bukinist: 269 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY, USA

Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel; +972 55 968 24 16

На сайте журнала через PayPal (кнопка: Подписка)

Вы можете оформить годовую подписку на журнал. Подробности на сайте: [www.newreviewinc.com](http://www.newreviewinc.com) (кнопка: Подписка)

---

# Новый Журнал THE NEW REVIEW

## УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2021

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):

для университетов и организаций

в США – \$ 150.00, за границу – \$ 200.00

(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка

(4 книги, включая пересылку):

в США – \$ 80.00, за границу – \$ 120.00

Цена отдельного номера – \$ 16.00

дополнительно за пересылку:

в США – \$ 7.00, за границу – \$ 25.00

E-access на год – \$ 185.00

Комбинированная подписка на год

(E-access и 4 журнала)

в США – \$ 320.00

за границу – \$ 360.00

(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте

[www.newreviewinc.com](http://www.newreviewinc.com) (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:

The New Review

1216 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10001

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478

[www.newreviewinc.com](http://www.newreviewinc.com)

[newreview@msn.com](mailto:newreview@msn.com)

---